ISSN 0130-6545

6.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ
В поисках Дины
(Сын Счастья)

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН
Двое

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД
Заметки об Англии

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
МОСКВА

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

А. Н. СУСОКОЛОВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, М. Н. ВАКСМАХЕР,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

6 **июнь** **1994**

СОДЕРЖАНИЕ

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ — В поисках Дины (Сын Счастья) *(Роман. Перевод с норвежского и предисловие Л. Горлиной)* 5

ЭРНЕСТИНА де ЧАМПУРСИН — Стихи *(Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен)* 85

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН — Двое *(Роман. Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой. Предисловие Н. Демуровой)* 92

Публицистика

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД — Заметки об Англии 222

Критика

Трибуна переводчика

А. КАРЕЛЬСКИЙ — Творческая индивидуальность переводчика и его «стилистический слух»... 237

У книжной витрины 248

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Очередной выпуск «Литературного гида» назван **«Феномен бестселлера»** и посвящен явлению, далеко шагнувшему за рамки чисто экономического понятия и ставшему неотъемлемой частью западной культуры.

В «Литературный гид» войдут:

Роман-бестселлер английской писательницы СЬЮ ТАУНСЕНД **«Мы с королевой».** Кому из нас не хотелось бы побывать в Букингемском дворце и поближе познакомиться с его обитателями? Но встреча с королевской семьей нас ожидает в жалком лондонском переулке с многозначительным названием «Ад», куда переселяют королеву победившие на выборах демагоги-популисты.

Статьи В. БЕЙЛИСА, А. МОКРОУСОВА, Б. ХЛЕБНИКОВА, В. Раннева, рассматривающие феномен бестселлера с точки зрения издателя, писателя, читателя.

Кроме того, читайте в номере:

Впервые на русском языке — три новеллы современного израильского писателя МОРДЕХАЯ ЦАНИНА, короткую прозу которого отличают тончайшая стилистическая нюансировка, зримая рельефность и ощутимость психологической среды.

Новые переводы стихов французского поэта лауреата Нобелевской премии СЕН-ЖОН ПЕРСА.

Эссе МИЛАНА КУНДЕРЫ **«Когда Панург перестанет быть смешным»** из новой книги писателя.

Цветные иллюстрации номера — работы норвежских художников:

На 1-й стр.— ПЕДЕР БАЛКЕ «Маяк в Варде» (1860)
На 2-й стр.— ХАРАЛД ДАЛ «Птичий базар. Лофотены» (1966)
На 3-й стр.— ХАРАЛД СУЛБЕРГ «Зимняя ночь в Рондских горах» (1911—1914)
На 4-й стр.— ТЕОДОР КИТТЕЛЬСЕН «Лесной тролль» (1890)

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**
Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61
Сдано в набор 05.03.94. Подписано в печать 12.05.94. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр.-отт. 23,80. Уч.-изд. л. 27,36. Заказ № 4449.

Тираж 66 500 экз. Цена по подписке 330 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ

В поисках Дины (Сын Счастья)

РОМАН

Перевод с норвежского Л. ГОРЛИНОЙ

От переводчика

В 1979 г. норвежская учительница Хербьёрг Вассму, пятнадцать лет преподававшая в школе на севере Норвегии, временно оставила свою работу, чтобы заняться изучением истории литературы. Но получилось так, что вместо изучения литературы она сама написала роман, который назвала «Дом со стеклянной верандой». Успех этого романа превзошел все ожидания, а она сразу сделалась знаменитой. До того имя Хербьёрг Вассму мало что говорило норвежским читателям: на ее счету было всего два поэтических сборника.

«Дом со стеклянной верандой» — это проникновенный рассказ о девочке Торе, жившей в небольшом рыбацком поселке на севере Норвегии и несшей на себе проклятие своего рождения — отцом Торы был немецкий солдат, в которого ее мать влюбилась во время гитлеровской оккупации. И, словно этой ноши было недостаточно, судьба взвалила на нее еще одну — Тору растлил отчим, и робкая, безответная девочка терпеливо сносила его посягательства, боясь сказать о них ничего не замечавшей матери.

В том же году «Дом со стеклянной верандой» был выдвинут на соискание литературной премии Северного Совета, вопреки правилу, которое предписывает не выдвигать первые произведения молодых авторов. И, хотя роман премии не получил, это выдвижение было признанием того, что книга является лучшим прозаическим произведением норвежской литературы года.

Вскоре Хербьёрг Вассму доказала, что успех первого романа не был случайным. В 1983 г. вышел роман «Немая комната», продолжение «Дома со стеклянной верандой», а в 1986-м — «Беззащитное небо», заключительная часть трилогии. В 1987 г. Вассму за последний роман получила литературную премию Северного Совета. Она была первой женщиной из пяти норвежских писателей, удостоенных этой премии. В тот день Лёдингген, родной поселок Хербьёрг Вассму, поднял в ее честь флаги.

Героиню «Книги Дины» Вассму, по собственному признанию, увидела во сне: какая-то женщина толкала в пропасть, из которой доносился шум водопада, сани с привязанным к ним человеком. Она записала этот сон, и он положил начало циклу романов о Дине. Два года Дина держала писательницу в плену, и вышедшая в 1989 г. «Книга Дины» была в 1991 году названа критиками лучшим произведением норвежской художественной литературы восьмидесятых годов.

© Gyldendal Norsk Forlag A/s 1992

Дина — прямая противоположность Торы. Она не позволяет ни людям, ни судьбе распоряжаться своей жизнью и распоряжается ею сама. А заодно и жизнями людей, которые попадаются ей на пути. Она, как стихийное бедствие, оставляет метку на людях, которых столкнула с ней судьба.

Жизнь Дины складывается из причудливого сплетения событий, главную роль в которых играют смерть и любовь. Характер Дины определила страшная душевная травма, полученная ею в пятилетнем возрасте, когда она стала невольной виновницей и свидетельницей гибели матери, обварившейся в прачечной кипящим щелоком. Это событие преследует Дину всю жизнь, делает ее не похожей на всех и дает ей необъяснимую власть над людьми. И не всегда Дина пользуется этой властью, сообразуясь с требованиями высокой морали: добро и зло свойственны ей в равной степени, она может быть одинаково милосердной и жестокой, справедливой и пристрастной. И лишь беззаветно любимая ею музыка способна смягчить ее нрав.

После смерти матери потерявшая дар речи Дина живет в усадьбе у арендатора ее отца, ленсмана. Только учителю Лорку, увидевшему в этой трудной девочке человека, удается вернуть ее к нормальной жизни, и под его началом Дина проявляет недюжинные способности в музыке и математике. В пятнадцать лет она выходит замуж за богатого пятидесятилетнего торговца Иакова Грёнэльва, владельца усадьбы Рейнснес, постоялого двора и рыбачьих шхун — «хозяина» поселка, от которого зависит благополучие всей округи.

Дину никогда не привлекали обычные женские обязанности, и она успешно продолжает вести дела после смерти мужа, которого, узнав о его измене, вместе с санями сбросила в пропасть. Последней жертвой Дины оказывается человек, которого она горячо полюбила, но не смогла смириться с тем, что не их любовь была в его жизни главным.

Дина не знает удержу в своих чувствах и желаниях. Неспособная на компромиссы и половинчатость, она не терпит этого и в других, из-за чего вокруг нее постоянно возникают драматические ситуации, и страсти, бурлящие в ней, направляют ход событий.

Хербьёрг Вассму — великолепный рассказчик, недаром ее в Норвегии называют Королевой прозы. Ее произведениям в равной мере свойственны и глубокий психологизм, и острый напряженный сюжет, и яркий музыкальный язык.

В свое время один из крупнейших знатоков норвежской литературы Брикт Йенсен так сказал о Вассму в связи с присуждением ей литературной премии Северного Совета: «Вассму — писатель, который умеет сделать своих героев более живыми, чем если б они существовали в действительности. Трилогия о Торе войдет в историю норвежской литературы так же, как «Кристин, дочь Лавранса» Сигрид Унсет».

А вот как оценила критика романы Вассму о Дине.

«Этим романом Хербьёрг Вассму подняла перчатку, брошенную лауреатом Нобелевской премии Кнутом Гамсуном» — писала газета «Верденс ганг».

«Книга Дины» пленительна и загадочна. Этот роман запомнят многие, героиня Вассму оставит след в душах читателей». (Йорунн Хареиде, профессор скандинавской литературы Тронхеймского университета).

На вопрос одного интервьюера о том, как, по ее мнению, «Книгу Дины» примут читатели, особенно мужчины, Вассму ответила так: «Эта книга разделит читателей на две части: одни будут захвачены ею, другие ее не примут. Что же касается мужчин, то я немало узнала о них, когда писала этот роман. Думаю, многие мужчины изо всех сил стремятся стать именно такими, как Дина: властными, подавляющими всех и вся...»

Произведения Вассму разошлись по многим странам мира. «Книга Дины» была переведена на двенадцать языков, а роман «В поисках Дины» («Сын Счастья»), вышедший в Норвегии в конце 1992 г., к концу 1993 г. был переведен уже на пять европейских языков.

Главным героем книги, которую журнал предлагает вниманию читателя, становится сын Дины — Вениамин.

Посвящается Ибу

Если бы человек действительно стремился к счастью, то идиот, несомненно, представлял бы собой образцовый экземпляр человеческого рода.

Фридрих Ницше

Пролог

И ГОВОРИТ ЕМУ ИИСУС: ЛИСИЦЫ ИМЕЮТ НОРЫ, И ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ — ГНЕЗДА; А СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НЕ ИМЕЕТ, ГДЕ ПРИКЛОНИТЬ ГОЛОВУ.

Евангелие от Матфея, 8,20

Я муравей в вереске. Или птица, заблудившаяся в мироздании. Далеко от земли. И все-таки Дина так близко, что я чувствую на лбу ее дыхание.

Она стоит как столп, широко расставив ноги и вытянув вперед руки. Из рук что-то падает. Сердито поет металл, ударившись о камень. Я никогда не забуду этой песни.

Потом, когда мне покажется, что наступила тишина, зашевелится вереск. Я услышу его сухой шелест. Башмаки Дины, прикрытые юбкой, медленно отступят назад. И исчезнут из круга того, что случилось.

В круге останусь я. И человек. Он лежит в вереске, и голова его покрыта красной пеной. Пена движется, ползет. Дальше, шире. Вокруг нас все становится красным. Вокруг него и меня. А она уходит от нас. И нам ее не достичь. Она покинула пределы, очерченные ее юбкой.

Я не муравей и не птица. Я никто. И все-таки я заставляю себя подняться. Заставляю себя возникнуть из воздуха так, чтобы она меня увидела.

Тогда я чувствую на себе ее руки. Они касаются моей головы. Плеч. Шеи. Лица. Она медленно надавливает пальцами мне на глаза. И все становится черным. Мне не больно. Но страшно.

Она обнимает меня, как хрупкий и легкий предмет. Держит в руках, крепко прижав к себе.

Я чувствую запах ее кожи. Это запах выжженной солнцем травы и пота. Пряный и соленый. Но самой Дины я не вижу, потому что она пальцами закрыла мне глаза раз и навсегда.

Я почувствую, как напрягутся ее мышцы еще до того, как она оттолкнет меня. Оттолкнет грудью, животом и руками.

Я слышу, как бьется ее пульс. Словно быстрое течение подо льдом. Близко и страшно.

К коже приникает холод. И я, слепой, бреду один во вселенной. Боясь упасть, я поджимаю ноги. Я готов к тому, что меня ожидает. Закрываю руками лицо. Хочу защититься от падения.

Потом я понимаю, что парю в воздухе. Лечу. И голос Дины, словно ночной ветер, влетает в мое окно: «Благословляю тебя, Вениамин, ты — Сын Счастья!»

Говорят, что скрытая правда легко оборачивается ложью. В таком случае лжи в мире больше, чем мы думаем.

Я никому не сказал, кто бросил ружье в вереск. Может, уже тогда я пустился на поиски своей правды?

Может, правда, о которой мы молчим, на самом деле — ложь?

Бог молчит. Так неужели Бог поэтому лжец?

В Писании сказано, что мы созданы по образу и подобию Божьему.

В таком случае не своим ли искусством умалчивать правду мы больше всего походим на него?

ТОЛЬКО ТОТ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ, НАХОДИТ ПОКОЙ, ТОЛЬКО ТОТ, КТО СПУСКАЕТСЯ В ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО, СПАСАЕТ ЛЮБИМОГО, ТОЛЬКО ТОТ, КТО ОБНАЖАЕТ НОЖ, СПАСАЕТ ИСААКА.

Иоханнес де Силенцио [1]. «Страх и трепет»

И это тоже я. Человек, который в чужом городе пытался обрести себя. Но ничто не соответствовало действительности. Моя жизнь мчалась мимо меня. То вверх, то вниз. То вперед, то назад. Люди, которых я встречал на улице, носили маски. Все без исключения. Они были Диной, то и дело менявшей костюмы, чтобы я не узнал ее.

Небо казалось большой блестящей монетой, на которую плевались выстроившиеся рядами кирпичные трубы.

Кто-то написал мне и попросил забрать Динину виолончель. Как обычно друзья или родственники после смерти владельца забирают его вещи. Я не позволил себе поверить в смерть Дины, потому что хотел найти ее живые следы.

Впереди меня, покачивая бедрами, шла женщина в широкополой шляпе. Я вспомнил то, что однажды сказал мне Андерс: «Берегись женщин, которые прячут лицо под шляпой, тогда как бедра их словно обнажены. Эти женщины не так застенчивы, но и не так уж обнажены, как тебе кажется».

Можно представить себе, что виолончель похожа на женщину с обнаженными бедрами. Виолончель Дины стояла где-то здесь, в чужом городе, прислоненная к стене, и чрево ее было полно рыданий.

Можно убедить себя, что, найдя виолончель, ты найдешь рыдания. Или смерть. А может, и то и другое.

Можно также бесконечно спорить с собой, как назвать свои действия — поступком безумца или естественной реакцией ребенка. Но как ни назови их, все это одинаково смешно.

Я никогда не играл на виолончели, и у меня даже в мыслях не было научиться играть на ней. Наверное, она не представляла собой большой ценности, и я спокойно пережил бы ее утрату. Но решение было принято: я найду инструмент и отвезу его в Рейнснес.

Люди, торопливо пробегавшие мимо меня, чужие голоса, непонятный язык, моя собственная растерянность — все это стало адом, отрава которого проникала в каждую пору. Я был маленьким мальчиком, Дина посадила меня на лошадь и сказала, что поведет ее под уздцы, пока мы не минуем двор усадьбы, а потом отдаст поводья мне.

Уже на грязном, чадящем вокзале меня охватило чувство, будто я попал в подземное царство. Я Орфей. Я спускаюсь в царство мертвых в поисках женщины.

По дороге с вокзала я несколько раз ощупывал внутренний карман пальто — на месте ли письмо с адресом, хотя уже дважды назвал этот адрес извозчику и он кивком головы подтвердил, что все понял.

Большой дом стоял отступя от улицы и был обнесен высокой оградой. Вход преграждали решетчатые ворота, заостренные вверху и внизу зубья напоминали наконечники копий. Дикий виноград и сорняки уже давно завоевали клумбы у подъезда. Дом выглядел необитаемым.

[1] Псевдоним, под которым датский философ Сёрен Кьеркегор (1813—1855) выпустил в 1843 г. свой трактат «Страх и трепет».

Я попросил извозчика подождать, а сам подошел к воротам и дернул позеленевшую ручку звонка. Где-то в доме ворчливо залился колокольчик. Но на этом все и кончилось. Я попробовал открыть ворота. Они грозно заскрежетали, однако не открылись.

Я подергал их. Покричал. Меня охватил детский гнев. Одиночество, разочарование, усталость. Виной всему был этот жесткий язык, которым я не владел. Вениамин рвался к Дине. К своей матери!

Я презирал себя. Но удержаться не мог. В ту минуту не мог!

Наконец извозчику надоел весь этот шум. Он хотел, чтобы с ним расплатились — ему пора ехать.

В соседнем доме открылось окно, из него высунулась женщина и что-то крикнула мне. Я не понял. Но слово «wahnsinnig» [1] объяснило мне, что меня бранят. Открылось еще несколько окон. Новые крики. Послышалось слово «полиция».

Тогда я сдался. И с чувством, что этот дом существовал только в моем сознании, сел на извозчика.

Мне удалось найти поблизости дешевый пансион, и я каждый день по нескольку раз подходил к тому дому. Меня мучили теплые солнечные дни. И моя черная одежда. Конечно, я мог бы купить себе что-нибудь полегче. Денег на это у меня хватило бы. Но что делать с этой одеждой потом? К тому же хозяйка пансиона сказала, что холода могут начаться со дня на день.

В пансионе все, вплоть до жесткой подушки, пропахло свининой и колбасой. Стены были покрыты живым узором из клопов. Из-за них я часто сидел на площадях и в парках, глядя на летящие листья. Люди спешили по своим делам, не обращая на меня внимания. Однако меня преследовало чувство, будто кто-то наблюдает за мной.

Человеку вовсе не нужно сердце, чтобы гнать кровь по жилам, думал я. Сила, которая заставляла циркулировать мою кровь, называлась одиночество. Им была пронизана каждая клетка моего существа.

Умерла! — шептало мне мое одиночество.

Я был Орфеем. Я должен был совершить свой подвиг. Ради кого?

Чужой язык утомлял меня. Сперва мне казалось, что все вокруг говорят голосом матушки Карен. Я вернулся в детство, и она, чтобы научить меня немецкому языку, читала мне вслух по-немецки разные приключения. Я полагал, что немного владею им и могу вести на нем простой разговор. Но, начав говорить, я быстро терял нить. И тогда мне казалось, будто люди издают эти странные звуки нарочно, чтобы сбить меня с толку.

Вечером, когда я лежал под окном, которое выходило на крышу и глядело на отсутствующего Господа Бога, у меня в голове продолжали звучать чужие голоса, незнакомые слова. Понимали ли люди, к которым я обращался, о чем я их спрашиваю? Понимал ли я сам, что они мне отвечали?

Я надеялся, что Дина жива. И в то же время боялся этого.

Но Орфей должен был вернуться домой, разрешив эту загадку.

Я представлял себе, что она когда-то сидела как раз на этой скамейке или переходила ту же улицу. Один раз мне даже показалось, что я вижу ее. И несколько кварталов я шел за какой-то женщиной. В конце концов она обернулась, и на меня обрушился поток гневных слов.

— Не бойтесь! Я всего лишь Орфей! — сказал я дружелюбно.

Тогда она бросилась бежать. Сумочка била ее по бедру.

Из-за высоких каблуков она бежала крохотными шажками. И почти не продвигалась вперед. Вид у нее был преглупый. Догнать ее ничего не стоило. Догнать и схватить за руку или за платье. Она даже как будто просила об этом.

Прошло три дня, я по-прежнему бродил по улицам. Грязь и листья липли к моим башмакам, словно были частицами меня самого, от которых мне не удавалось избавиться.

---

[1] Сумасшедший *(нем.)*.

Я встал рано, твердо решив расспросить о Дине людей, живших в соседних домах. Тщательно выбрился и надел чистую рубашку.

Я ходил от подъезда к подъезду и звонил. Стоял и прислушивался к далеким, бездушным шагам больших ног, обутых в башмаки на кожаной подошве, маленьких — в мягкой суконной обуви. Металлический стук высоких каблуков внушал мне страх. Так повторялось без конца. Я совершал один и тот же ритуал с небольшими вариациями. Люди как будто издевались надо мной, пытались запутать и заставить позабыть о цели моего приезда.

Дины Грёнэльв не знал никто. Некоторые отвечали вежливо, но равнодушно, словно смотрели сквозь меня. Другие были раздражены и испуганы, точно я собирался напасть на них. Третьи отвечали холодно и кратко. Четвертые принимали меня за сумасшедшего. Человек, который ходит от одной двери к другой, спрашивает о какой-то женщине и даже не может объяснить, как она выглядит.

К вечеру я снова пришел по указанному адресу. Позвонил. Я приходил туда каждый день.

И вдруг ритуал оказался нарушенным. За дверью послышались шаги! Шаркающие, но быстрые. В дверях стоял мужчина с длинными серебристыми усами и острым взглядом. Мгновение мы внимательно разглядывали друг друга. Потом он нетерпеливо спросил:

— Что вам угодно?

Я представился и ждал, что он признает меня. Но он смотрел на меня, как на постороннего.

— Мне написали, что я могу забрать у вас виолончель фру Грёнэльв,— объяснил я.

И тут на меня обрушился поток дружеских гримас.

— Так это ты! Меня зовут Карл Майер. Да, да, виолончель хранится у меня.

Мне трудно было поверить, что все это происходит со мной наяву. Я разволновался. Вопросы хлынули разом. Я начал заикаться.

Хозяин, кивая, внимательно смотрел на меня. Я так и не знаю, понял ли он, что я говорил ему. Однако он пригласил меня пройти в большую мрачную прихожую. Тяжелая, массивная мебель поглощала весь воздух и свет. Среди стенных шкафов и стульев с высокими спинками хозяин как будто съежился, стал меньше ростом.

Он оказался учителем музыки. Да, он взял на хранение виолончель Дины Меер. «Дина Меер». Значит, Дина жила здесь под вымышленной фамилией.

Мне следовало показать, что я это знаю. И в то же время нужно было выведать у него о ней все, чего я не знал.

Дрожа от нетерпения, я протянул ему руку и сказал, что счастлив, наконец-то застав его дома. Мы обменялись парой пустых фраз, пока я вешал пальто на вешалку, которая была похожа на виселицу. Он выразил сожаление, сказав, что уезжал на несколько дней. Потом провел меня через какие-то заставленные комнаты. Наконец мы очутились в зале, посредине которого на темном паркетном полу стоял огромный рояль. На стенах висели всевозможные музыкальные инструменты. Несколько скрипок, альт, духовые.

Я глубоко вздохнул. В углу стояла Динина виолончель. У меня брызнули слезы.

Карл Майер сказал, что хочет выпить со мной. К сожалению, все будет по-холостяцки — у его экономки сегодня выходной.

Я подошел к виолончели. Потрогал ее. Гладкое дерево. Холодное и в то же время теплое. Сбоку царапина. Я узнал эту царапину. Как друга. От виолончели исходила тайная сила. Мне так недоставало этой виолончели!

Меня захлестнули воспоминания. Все эти тайны. Ужас. Горе. И радость. Я не знал, что стою и плачу, пока не вернулся Майер.

Стоя к нему спиной, я старался взять себя в руки. Слышал, как он

ставит на столик у высокого окна графин и рюмки. В противоположность загроможденным комнатам, через которые мы проходили, у этой было лишь одно назначение — музыка. Ни тяжелых гардин. Ни лишней мебели. Ни ковров.

У меня появилось чувство, будто я уже был здесь когда-то. Потому что здесь бывала она.

— Она была одаренная.— Майер жестом пригласил меня к столу.— Необычайно одаренная. Но уже старовата для концертных залов. К тому же она женщина,— заключил он.

Я отметил, что он говорит «была». Как ни странно, это возмутило меня. Хотя я был готов к этому. Я сел.

— Чего-то ей недоставало. Гибкости пальцев... Слишком она была необузданная. Слишком жесткая. И слишком поздно попала к настоящему учителю.

Он помолчал. Как будто думал о ней.

Я спросил, не знает ли он, где сейчас Дина. Он склонился над рюмкой, потом поднял голову и встретился со мной глазами.

— Она уехала. Не так давно.

— Куда?

— Трудно сказать. Разговор шел о Париже.

Я пытался понять по его голосу, не скрывает ли он чего-нибудь. Но не смог. Нужно хорошо знать человека, чтобы понять, лжет он или говорит правду.

— Нынче трудные времена,— мрачно буркнул он.— В Париже ужасно... Такое унижение для людей, и считать это неизбежным...

— Что считать неизбежным?

— Войну.

Он помолчал. Потом заговорил снова, обращаясь скорее к себе, чем ко мне:

— Она была такая очаровательная, такая великодушная. Всегда привлекала к себе внимание. Многие искали ее общества. Люди из самых разных кругов.

Почему он все время говорит о ней в прошедшем времени?

— Она умерла? — спросил я.

— Нет, откуда вы это взяли? — Он удивился.— Времена, конечно, трудные... Но нет никаких оснований полагать, что она умерла. В последний раз, когда мы виделись, она была бодра и здорова, но от виолончели тем не менее отказалась.

Почему она отказалась от виолончели?

— Слишком трудоемкий инструмент. Она говорила, что должна принести жертву. У нее были твердые убеждения.

Я попытался объяснить Майеру, что не верю, будто Дина могла добровольно отказаться от виолончели или оставить ее в чужом городе.

— Она относилась к тем людям, которые оставляют все, что не может быть бессмертным,— медленно произнес он.

Я показал ему письмо с адресом и подписью, которую я не мог разобрать.

— Она очень спешила. Сами понимаете, отъезд...

Он вопросительно глянул на меня, потом кивнул на виолончель.

— Особой ценности виолончель не представляет, но это хороший инструмент. Заберите ее!

— Где она жила в Берлине? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Она бросила виолончель по вашему совету?

— О нет! — Он даже испугался.— Но я откровенно сказал ей, что великой виолончелистки из нее не получится и что концертировать она не сможет.

— Как бессердечно! — дерзко сказал я.

— Это было необходимо!

— Вы лишили ее всего!

— Напротив, я вернул ей мужество! — тихо проговорил он.

— Мужество? Для чего?

— Чтобы стать самой собой.

— Дина всегда была самой собой!

Мы смотрели друг на друга. Его усы были похожи на смешных лохматых зверьков.

— Скажите, вы хорошо знали эту женщину? — спросил он.— Должно быть, вы близкий ей человек, если она подарила вам свою виолончель.

Я отметил эти слова, но не удивился. Значит, Дина не говорила обо мне. Скрыла все о своей прежней жизни. Не воспользовалась именами Андерса или Иакова. Она просто растворилась в центре Европы и назвала себя фру Меер.

Он подумал, что я не понял его, и повторил:

— Скажите, вы хорошо знали Дину Меер?

— Нет, не думаю,— ответил я и тут же понял, что это правда.

— Так кто же вы ей? Родственник? — спросил он.

— Да. Впрочем, скорее друг...

— Для друга вы слишком молоды.

Я почувствовал себя глупо.

Мы молча пили вино.

— По-моему, вам надо решить, кого вы ищете, виолончель или женщину,— медленно проговорил он.

— Виолончель,— спокойно ответил я.

— Ну вот вы ее и нашли.

— Вы знаете еще что-нибудь о Дине?

Он покачал головой и улыбнулся. Я почувствовал раздражение. Мне показалось, что он надо мной смеется. Я с трудом сдерживался.

— Она ведь и вас тоже бросила? Правда? — с удивлением услышал я собственный голос.

Он вдруг как-то изменился. Какая-то тень мелькнула в его глазах, чуть заметно шевельнулась рука. Я вдруг понял, что моя догадка верна. Она покинула и его!

— Почему вы решили, что у нас были близкие отношения? Ведь я старый человек,— сказал он с улыбкой.

— Не знаю.

Он снова улыбнулся.

— Подобные заключения делают только по молодости. Понимаете... Они приходили ко мне и уходили. Мечтали о славе. Так же, как и я в молодые годы. Одни попадали ко мне своевременно, но у них не хватало таланта или воли, необходимой для самоотречения. Другие обладали и талантом, и волей, но попадали ко мне слишком поздно. Третьих уводила в сторону жизнь.

— Что вы имеете в виду?

— Все что угодно — семью, отсутствие денег, любовь или какое-нибудь другое безумие...

— Что же остановило Дину?

— Прежде всего то, что она начала слишком поздно. Чтобы стать виртуозом, руки должны быть мягкими, как воск, и в то же время надо обладать железной волей. Но самое главное — нельзя тосковать по дому и таить в сердце скорбь.

— Это вы про нее говорите?

Он промолчал, не сводя с меня глаз.

— Почему же тогда она не вернулась домой?

— Этого я не знаю,— быстро ответил он.

Не слишком ли быстро?

— Вам что-то известно?

— Она была не из тех, кто доверяется первому встречному.

— Но ведь вы не были для нее первым встречным? Вы были ее другом, учителем.

— Это не то же самое, что быть доверенным. Что вы надеялись узнать от меня?

— Где ее можно найти?

— Очень жаль, но вы обратились не по адресу,— со вздохом сказал он.

Через несколько минут Майер вынул из кармана часы и сказал, что скоро к нему придет ученик. Потом встал и снова кивнул на виолончель.

Когда мы опять вернулись в прихожую, он дал мне свою визитную карточку.

— Между прочим, могу дать вам адрес театра, в котором она постоянно бывала. Думаю, там многие ее знали.— Повесив трость на руку и опершись о массивный дубовый стол, он написал адрес на обратной стороне карточки.

Я поблагодарил его.

И вот я уже на улице с Дининой виолончелью. Ручка футляра была порвана. Пришлось нести виолончель под мышкой. За углом лицо мне обжег ледяной ветер. Два больших кленовых листа, подлетев, приникли к моему пальто.

Я мог сколько угодно мечтать, как бы мы встретились, найди я ее. Но что толку. У Орфея было некое предназначение. И можно даже сказать, что он его выполнил. Ведь известно, что он должен был вернуться из подземного царства ни с чем. На этот же раз он возвращался, неся под мышкой футляр с виолончелью.

Я шел домой и думал о наших студентах, мечтавших уехать в Европу. Они мечтали об этом на студенческих пирушках в коллегиях Регенсен и Валкендорф [1]. А то и просто в трактирах, когда на столе появлялось пиво. Мы мечтали о том, чтобы вырваться в большой мир, сделать великие медицинские открытия, прославиться.

Мне оставалось только посмеяться над собой. Вот я и в Европе. И что с того? Пыль и грязь здесь, во всяком случае, те же, что и в любом другом месте.

Дина тоже всегда мечтала уехать. Я мысленно видел, как она поднимается на борт «Принца Густава» и ветер рвет поля ее шляпы. Как я ненавидел ее носовой платок, которым она обычно махала мне на прощание! Я пытался разглядеть ее лицо. Но расстояние между нами было слишком велико.

Осуществились ли ее мечты? Обрела ли она покой, избавившись от меня? От страха, что я ненароком могу ее выдать?

Как, интересно, с ней обошлось время? Какие у нее были любовники? На что она жила? Как выглядит? Почему не уехала сразу, как только поняла, что не может иначе? Я пытался припомнить, чем именно мог быть вызван ее отъезд. Что я такого сказал или сделал, чем напугал ее? Может, проявил в чем-то слабость и она усомнилась, что я выдержу? Не выдам ее? Буду молчать?

Виолончель оказалась нелегкой. Я шел и подбадривал себя, вспоминая, как Дина садится на лошадь или закрывает двери. Она всегда была в движении. Всегда стремилась прочь от меня.

Это воспоминание помогло мне быстрее принять решение: завтра же я возвращаюсь в Копенгаген.

Но на другой день я не уехал на вокзал, а пошел в театр, адрес которого мне дал накануне учитель Дины. Не удержался. Сперва я, заикаясь, попробовал объясниться с серым мужским лицом, глядевшим на меня из окошечка в стене. Я ищу Дину Меер, не может ли он помочь мне? Он покачал головой и продолжал что-то есть из бумажного пакета. Каждый раз, когда он нырял в пакет, лицо его исчезало из окошечка. Я старался вежливо объяснить ему, что мне очень важно поговорить с кем-нибудь, кто ее знал.

Он смотрел на меня пустыми глазами. Пока мне не пришло в голову показать ему купюру. Тогда он задумался, высасывая из зубов пищу, и быстро схватил деньги. Потом аккуратно сложил бумажный пакет,

[1] Коллегии Регенсен и Валкендорф — два общежития, в которых предоставлялись комнаты студентам Копенгагенского университета.

открыл дверь своей клетушки и поманил меня за собой. Мы пошли на нестройные звуки, доносившиеся из залы, где репетировал оркестр.

— Шрёдер! Первая скрипка! — произнес он и исчез.

Я дождался паузы. Потом пробрался к музыканту, который, по моим понятиям, играл первую скрипку. Он выглядел не так враждебно, как я боялся. Я сразу заговорил о деле. Представился Дининым родственником — я приехал в Берлин и очень хотел бы встретиться с ней. Он, не задумываясь, дал мне адрес учителя Майера.

— Она там живет? — спросил я, не говоря, что уже побывал там.

— Да,— ответил он и тут же, повернувшись к дирижеру, сказал ему что-то, чего я не понял.

Судя по ветхому занавесу и потертым креслам, это был один из третьесортных театров. И оркестр, естественно, тоже был третьесортный.

Как только дирижер отошел, я спросил у Шрёдера, не найдется ли у него времени побеседовать со мной. Он растерялся — вообще-то он собирается завтракать. Я пригласил его быть моим гостем. Нет ли поблизости подходящего заведения? Но у него было мало времени. Нетерпеливым движением он указал мне на кресла и сел сам.

Шрёдер был человеком неопределенного возраста. Узкое лицо. Черные волосы с сединой у правого виска на макушке торчали ежиком. Странно. Он знал Дину!

— Она больше не живет по тому адресу, который вы назвали,— сказал я.

— Вот как? — Он пожал плечами.

— Она играла у вас?

— Нет.— Он улыбнулся, как будто даже мысль об этом была нелепой.

— Откуда же тогда вы ее знаете?

— Она приходила сюда с господином Эренстом.

— Кто это?

— Владелец театра.

— А что она здесь делала?

Он снова пожал плечами и быстро глянул на дверь.

— Присутствовала на спектаклях. Слушала концерты...

— На чем играл господин Эренст?

— Он не музыкант. Он проектирует и строит дома,— сдержанно ответил Шрёдер.

— Я хотел бы поговорить с ним!

— Он уехал.

— Куда?

— В Париж.

— Дина могла уехать вместе с ним в Париж?

Шрёдер отрицательно покачал головой. Потом повернулся ко мне спиной и заговорил с оркестрантом, который только что вошел. Схватив смычок, он начал играть. Словно меня не существовало.

Человеку приходится потратить много сил, прежде чем он поймет, что мир невежлив и безрассуден. Я ходил от одного оркестранта к другому и пытался втолковать им, что меня интересует все, касающееся жизни Дины Меер, а также адрес господина Эренста в Париже. Я терпеливо сносил пытку, которой меня подвергли эти недалекие, равнодушные, неприветливые и глупые люди. Грубо скроенные и пущенные в мир с единственной целью: помешать всем добрым связям.

Вот, значит, где обитала Дина! Она приходила сюда на репетиции. И, наверное, они играли так же грубо, как говорили, думал я, уже идя по улице.

Из сточных канав несло зловонием, и колеса телег громыхали по брусчатке. Я вспомнил, как плакал в детстве от злости или от страха, и пожалел, что не могу заплакать теперь. Вместо этого я положил пальто на выщербленные каменные ступени и сел.

Потом я долго бродил по улицам. А когда взошла луна и зажглись

уличные фонари, снова оказался у здания театра. Я купил билет, даже не потрудившись узнать, что сегодня играют.

Мне хотелось бы иметь при себе несколько тухлых яиц.

Я нашел свое место. Поднялся занавес, и мне стало ясно, что сегодня будет концерт. Оркестр сидел не в яме, а на сцене. Я узнал кое-кого из оркестрантов, дирижера и скрипача.

Зал был почти полон. Какофония настраиваемых инструментов действовала мне на нервы. Я не понимал, зачем пришел сюда. Лучше бы встретиться с этим Шрёдером после концерта.

Женщина у меня за спиной беспрерывно болтала со своей соседкой о каком-то мужчине, который был так невоспитан и которого так возбуждало ее присутствие, что она с трудом его выдерживала. Я оглянулся, потому что она раздражала меня. На ней было красное платье с кружевом на груди. Она оживленно жестикулировала, пальцы ее были унизаны кольцами. На меня она не обращала никакого внимания.

Наконец свет погас, и женщина сзади умолкла. Скрипач и все музыканты взялись за смычки. Плечи Шрёдера не вязались ни со скрипкой, ни со сценой вообще. Это были плечи каменотеса. Он выглядел до того не на месте, что мне стало смешно.

Но тут грянула музыка!

Оркестр оказался не таким третьесортным, как занавес. Я почувствовал это с первых тактов, стараясь понять, что же они играют.

И оказался в плену! Я больше не связывал эти лица, склоненные над инструментами, с тем, что произошло утром. Больше не ненавидел эти поднимающиеся и опускающиеся руки. Затылки. Пальцы. Тени на заднем занавесе.

Ибо все стало музыкой. И музыка была Диной.

Я наконец понял, почему она терпела этих людей. Почему приходила в театр, чтобы послушать, как они репетируют. Пожилой виолончелист в потертом фраке куда-то исчез. Один за другим исчезли все оркестранты. Осталась только музыка.

Там, на сцене, сидела Дина, зажав виолончель между коленями. Из утробы виолончели неслось рыдание. Неожиданно рядом со мной на свободное кресло сел русский в надетой набекрень шапке из волчьего меха. Прислонившись ко мне, он улыбался и кивал на сцену. Но вот замерли последние аккорды, он стал неистово аплодировать и свистеть. Публика обернулась и с удивлением уставилась на него. Я заволновался. Одет он был хуже, чем я.

Понял ли кто-нибудь что-нибудь, кроме нас? Мы с ним единственные знали Дину. Или вереск в ту осень окрасился кровью только потому, что он ничего не понял?

В антракте я опять увидел женщину в красном платье. Темные волосы обрамляли лицо. Они казались тяжелыми, точно были смазаны смолой. Она слушала молодого человека в белых брюках и темном пиджаке. Потом она покачала головой, пригубила бокал и зажатила глаза.

Мы не всегда в состоянии объяснить свои поступки. Неожиданно я вступил в освещенное кольцо, образовавшееся вокруг нее. Оказался между ней и молодым человеком и произнес на этом жестком языке, от которого так устал:

— Извините, не знали ли вы случайно фру Дину Меер?

Она не спускала с меня глаз. Но когда ее кавалер, действуя плечами, попробовал вклиниться между нами, она как будто очнулась.

— Нет,— ответила она почти дружелюбно.

— Кто вы? — раздраженно спросил молодой человек.

Я решил не замечать его.

— Вы уверены?

— Да.— Она улыбалась. У нее были неровные зубы, большое родимое пятно на щеке и дерзкие брови. Она была слишком высокая, слишком накрашенная. И все-таки очень красивая.

— Эта женщина должна быть сегодня в театре? — спросила она и успокоила своего кавалера, положив руку ему на плечо.

Я заметил, что между нами возникло некое силовое поле.

— Да,— сказал я, не спуская с нее глаз.

— Тогда я желаю вам удачи.

— Она играет на виолончели,— проговорил я испуганно, видя, что она собирается уйти.

— Как интересно! Женщине трудно играть на таком инструменте.

Тогда я сделал последний шаг — больше мне ничего не оставалось. Я решительно взял ее под руку и увел от друзей, с которыми она стояла.

Звонок позвал на второе отделение. Мы остановились возле красного бархатного занавеса и смотрели друг на друга. На фоне занавеса она казалась красной тенью. Я весь налился тяжестью. Наполнился ею, словно кожаный мешок вином или маслом.

Я стоял, широко расставив ноги. Так мне было легче. Мои пальцы шевелились под ее локтем. Кожа у нее была влажная и прохладная. Я словно опьянел. Все свое чувство я вложил в пальцы. И видел, что она принимает мои сигналы.

— Однако вы не из робких. И вы не берлинец! — тихо сказала она.

— Вы не ошиблись. Мне бы очень хотелось, чтобы вы знали женщину, которую я ищу.

— Эта женщина, которую вы ищете... ваша любовница? — Последнее слово слилось с ее дыханием.

Мне стало понятно, почему у нее такие дерзкие брови.

— Нет. Друг.

— Вы не условились о месте встречи?

— Нет. Я потерял ее из виду. Давно потерял.

— Друзей не теряют,— сказала она.

Я что-то затронул в ней, это несомненно. Не только любопытство. Я слышал это по ее дыханию.

— А я потерял! — Глядя ей в глаза, я взял обе ее руки в свои. Руки у нее были мягкие. Мне всегда недоставало этой мягкости.

— Кто вы? Вы не очень-то вежливы,— прошептала она, не отнимая рук.

— Просто я не уверен в себе.

— Вы похожи на безумца. Дерзкий, но странный... Вы напоминаете мне одного человека...

Раздался второй звонок. Мы медленно пошли в зал.

Когда мы уже сидели на местах, ее рука в темноте один раз нечаянно коснулась моего затылка. Она сказала что-то своей соседке. Меня это больше не раздражало. Я медленно повернул голову, чтобы поймать ее взгляд. Но темнота погасила свет в ее глазах. Мои ноздри уловили слабый аромат ее духов. Я приоткрыл рот, чтобы не пропустить ни капли. Пил их. Глотал.

Запели скрипки, виолончели и трубы.

Я не думал о русском. Не заметил, сидит ли он рядом со мной. Но Дина сидела на сцене в своем зеленом дорожном костюме с широкой юбкой. Колени у нее были раздвинуты, лицо замкнуто.

В то время, как ее танцующие пальцы наполняли меня музыкой, одежда постепенно слетала с нее и уносилась к потолку. Там хрустальная люстра своими бесчисленными руками подхватывала вещь за вещью. Наконец Дина осталась в одной рубахе, расстегнутой на груди.

Тень от Дининой одежды падала на людей, сидевших в зале, но они не замечали этого. Кто-то кашлял. Музыка то взмывала, то падала. Я больше не чувствовал одиночества. Пусть даже город был неприветлив и грязен, а люди — смешны, грубы и ненадежны.

У меня за спиной сидела женщина в красном платье.

Музыка лилась не только из инструментов. Моя кожа, чресла — все стало музыкой. Я принюхивался к запаху висевшей на люстре одежды. К запаху женщины в красном, сидевшей у меня за спиной. Ноздри мои трепетали. Я откинул голову и закрыл глаза.

Раздались аплодисменты, и я почувствовал на плече ее пальцы. Протянув руку, я взял ее визитную карточку. И тут же на меня с темной люстры упали Динины одежды. Однако я успел пожать кончики пальцев женщины в красном. Потом освободился от ароматных Дининых одежд и продолжал аплодировать.

— В четверг в пять вечера,— прошептала она, вставая и следуя за потоком публики.

Мой взгляд упал на программу, которую кто-то держал в руке. Моцарт.

Дина собрала свои потрепанные ноты, отставила виолончель и, покинув сцену, повела меня сквозь толпу. Мелькнула ее рубаха, и она исчезла. Духи у нее были те же, что и у женщины в красном.

На визитной карточке было написано: фру Бирте Шульц. Адрес мне ничего не сказал. Я был в чужом городе.

Скрипача не было видно. Я прошел за кулисы и спросил, где Шрёдер. Мне сказали, что он уже ушел. Да и зачем он мне теперь?

Я чувствовал себя судном, у которого при сильном боковом ветре подняты все паруса. Нужно было взять курс по ветру, смирившись с тем, что на это уйдет лишнее время, либо задраить люки и отдаться во власть стихии. Приходилось признать, что я плохой моряк. Но, помня советы Андерса и в отношении женщин, и в отношении судов, я понимал, что следует изменить курс.

Поэтому я дождался четверга, всем телом предчувствуя победу.

Безусловно, меня должно было шокировать, что она, вопреки всем правилам приличия, дала свою визитную карточку совершенно чужому человеку. Но в теле у меня скопилось слишком много грубой силы и одиночества. И это решило все.

Я был приговорен к поискам в этом проклятом городе.

Мне пришлось взять извозчика. Фру Бирте Шульц жила в роскошном доме на краю города. Дом окружали высокие деревья и колючий кустарник. Решетку ворот венчали острые шипы. Шипы были, по-видимому, и у фру Бирте.

Привратник спросил у меня, к кому я иду и ждут ли меня. Я кивнул и показал ему визитную карточку фру Бирте Шульц.

— Третий этаж,— с почтительным поклоном сообщил он и вместе со мной поднялся на пять внушительных ступеней с медными кольцами для дорожки, которые вели к черной двустворчатой двери подъезда.

Я вдруг понял, что чувствовали ребятишки бедных арендаторов, когда стояли на белом песке из ракушечника перед дверьми главного дома в Рейнснесе. Потом они обходили дом кругом, чтобы войти через кухню. Поднимаясь по лестнице, где мои шаги отзывались эхом, я как будто поднимался от причалов, и дом в темноте казался мне освещенным дворцом. Но шел я к Стине в бывший Дом Дины.

Неужели можно испытывать своеобразную ностальгию по родному дому перед парадным подъездом незнакомой женщины и снова чувствовать себя оскорбленным ребенком?

— Дина! Пусть твоя виолончель сгинет к чертовой матери! — сказал я себе, когда фру Бирте открыла мне дверь. Сегодня она была не в красном. Она была в желтом.

Как сказал Андерс в тот раз в Бергене, когда я хотел пойти с моряками к шлюхам, ютившимся в переулках? Он не был против того, чтобы я прошел испытание на мужественность, но предупредил:

— Возьми с собой нож и денег не больше, чем требуется!

Девушка в тот раз оказалась моложе меня. Худая и грязная. Она привела меня в маленький домишко и усадила на кровать, застланную обтрепанным покрывалом. Она обращалась со мной как с несмышленышем. Мне пришлось столкнуть ее с себя. Я щедро заплатил ей и ушел. Если б я не боялся, что кто-нибудь увидит меня, я бы заплакал. Не потому, что

и девушка, и кровать были грязные и отвратительные. И не потому, что мои мечты не совпали с действительностью. Просто мне чудилось, будто я наступил на руки девочке, которая упала в черную заводь и теперь хватается за ветки, чтобы не утонуть.

На вороте блузки у нее не хватало пуговиц, и руки были худые.

Уж лучше было думать об Акселе и Мадам из переулка Педер Мадсенс-ганг в Копенгагене.

У фру Бирте руки были округлые, и желтую блузку она выбрала не случайно. На ней было множество мелких пуговок. Двадцать, если уж быть точным.

Через полутемную переднюю она провела меня в гостиную. Я чуть не задыхался от бешено пульсирующей крови. Больше всего мне хотелось схватить и крепко сжать фру Бирте. А потом получить то, что положено.

Вместо этого я обнаружил, что сижу на мягком диване.

Горничная принесла на подносе чайные чашки и печенье. Я жадно ловил какой-нибудь знак, который дал бы мне повод приступить к действиям. Это было похоже на заклинание духов или сеанс спиритизма.

Тем временем я занял место кандидата медицины Вениамина Грёнэльва в анатомическом театре. И рассматривал женское тело, держа наготове скальпель. Вскрытие трупов под руководством профессора Шмидта производилось по строго определенным правилам. Сперва следовало отделить от костей пленки и мышцы. Но мне нужно было собрать в пригоршню всю кровь фру Бирте так, чтобы профессор Шмидт не заметил на моих манжетах ни капли.

Тело фру Бирте было не против такого вмешательства. Несмотря на целомудренные пуговки.

— Вы так и не нашли свою подругу? — спросила она.

— Нет, к сожалению.— Я не отрывал от нее глаз.

Мне было ясно, что этот разговор предназначался для горничной. Пока та разливала чай, я узнал, что фру Бирте ждет к себе нескольких приятных гостей, с которыми хотела бы меня познакомить. Через некоторое время горничная снова вошла и спросила, должна ли она перед уходом еще что-нибудь сделать. Фру Бирте весело махнула ей рукой, поблагодарила и сказала, что больше ничего не нужно.

Дверь закрылась, и я спросил, когда придут друзья фру Бирте. Тут она снова легла на стол в анатомическом театре, и я мог вернуться к своей работе.

— Мой муж сейчас в отъезде. Было бы не совсем прилично... Если б мы остались только вдвоем...— Она отодвинула в сторону чашку и предложила мне шерри.

Я не сразу нашел подходящие слова. Но слова ей были как будто не нужны. Все исчезло в жарких движениях и дыхании.

Пена. Не знаю, когда я впервые увидел пену. Но с тех пор она возникала в моем сознании как меняющаяся, но вечная картина. Пена под руками женщин, доивших коров. Пенящиеся валы, набегающие на береговые скалы и на подводные камни у больших шхер. Белые крылья бурлящей пены, которую режет нос судна, набиравшего скорость. Пена! На руках Стине, стиравшей морские рукавицы. Пена! На волосах Дины, когда она летом мыла голову в озерке за холмом. Пена, летевшая из ноздрей жеребца, который делал прыжок. Прыжок к фру Бирте в Берлине. Эта пена всегда сопутствовала мне, словно тяжелая, мощная мелодия. Я таскал ее за собой. Был окружен ею. И не хотел бы от нее избавиться. Женщины. Запах соленых морских водорослей. Щелок. Волосы. Духи. Белье на веревке. Карна! Аромат ее тела смешивался с запахом крови и плоти. В полевом госпитале в Дюббеле.

Пена присутствовала всегда. И в радости, и в страхе. Отвратительная и в то же время прекрасная.

Нынче ночью в анатомическом театре должно было состояться тайное вскрытие. Запретное и обжигающее. Но подобно волнам, схлынувшим

после непогоды и оставившим после себя пену, я должен был схлынуть так, чтобы никто не мог предъявить мне никаких претензий и счетов.

Разве я не получил визитную карточку? И приглашение? Разве мне не подали за столом знак? Или это не я расстегнул все двадцать пуговок, собирая в пригоршню кровь фру Бирте?

Лишь один раз я все-таки смешался с чужой пеной. С пеной русского. Красной. Брызнувшей из его головы. С миллионом крохотных лепестков, которым не суждено было распуститься. Потому что все изображение сковал лед.

Дина и русский в вереске. Сперва белая пена, потом — красная.

И вдруг Бог исчез. Фру Бирте была вскрыта. Пена покрыла и ее, и русского.

Кто же стоял там в вереске во весь рост?

С губ Дины срывались мощные звуки виолончели. Они взмывали ввысь и падали обратно. Словно она пыталась петь и не могла.

Она положила к себе на колени две разбитые головы — русского и мою.

Когда я собрался уходить, фру Бирте спросила, приду ли я еще.

— Возможно.

— Мой муж будет отсутствовать до следующего четверга,— скромно проговорила она.

Я был схлынувшей волной. Схлынувшей далеко в море. Я смотрел на оставшуюся после меня пену. Из высокого окна падал серый свет. Лицо фру Бирте было белое как бумага. Я сам себе казался чужим.

Уже наступил новый день.

Книга первая

Глава 1

ПОТОМУ ЧТО ВО МНОГОЙ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ; И КТО УМНОЖАЕТ ПОЗНАНИЯ, УМНОЖАЕТ СКОРБЬ.

Книга Екклесиаста, или Проповедника, 1,18

Мальчик стоял на дворе, глаза у него были безумные. Он что-то кричал. Был в бешенстве. Сперва люди удивленно подняли головы. В хлеве и на кухне. В доме, где жили работники, и в дворовых постройках. Кажется, знакомый голос?..

Первой прибежала Стине. Она же первая и растолковала слова Вениамина. Вскоре там собрались все, кто мог ходить или ползать. Даже матушка Карен и Иаков, вырвавшись из пут старых саванов и давно забытых событий, стояли вместе со всеми. Но они молчали, ибо не имели права голоса.

— Ружье выстрелило русскому в голову! В голову!..

На холмах и горных вершинах эхо повторило эти слова и вернулось к нему, словно хотело предупредить его о чем-то, успокоить. Заставить замолчать. Но он все повторял и повторял их, безудержно и отчаянно. Пока Стине не обхватила его руками и не прижала к себе.

Теперь об этом знали уже все. Вениамин бежал перед мужчинами, показывая дорогу. Кричал, объяснял и плакал. Русский вдруг скрылся от них за деревьями. Сам он поднялся на скалу, чтобы посмотреть, где тот спрятался. Тут он услышал выстрел. И увидел русского в вереске. Там же валялось и ружье. Дина попросила его сбегать в усадьбу за помощью. Но помочь русскому было уже невозможно. В голове у него зияла большая дыра.

Рахиль из Ветхого Завета назвала сына, стоившего ей жизни, Бенони, что означает Сын Боли. Однако старый патриарх Иаков поступил по-своему и дал ему имя Вениамин — Сын Счастья.

Никто никогда так и не узнал, что имела в виду Дина Грёнэльв, назвав сына Вениамином. И никто никогда не узнал, что думал об этом Иаков Грёнэльв, который в церковных книгах значился отцом мальчика. Но все видели, что у этого сильного, невысокого подростка глаза старика и что в глубоких морщинах на его лбу можно посадить два ведра картошки.

У него была хорошая голова, и трудно бывало тому, кому приходилось отвечать на его непростые вопросы обо всем, что происходит на земле, под водой и в потусторонней жизни.

Его вскормила и воспитала лопарская девушка Стине, которую за ее образ жизни и колдовские чары следовало бы покарать смертью, однако вины мальчика в этом не было. Как и в том, что его властолюбивую мать больше боялись, нежели любили. Ее способность служить мамоне и извлекать из всего выгоду была беспредельна. Люди недолюбливали его мать за то, что ее прозрачный, как вода, взгляд заставлял их перед ней пресмыкаться. Если погода была ясная и мать находилась в море, глаза ее приобретали мягкий зеленоватый оттенок. Когда же небеса хмурились, зрачки матери промерзали до самого дна.

Однажды поздней осенью, когда Вениамину уже стукнуло одиннадцать, он понял, что потусторонние силы противодействуют ему и что ни на одного человека на земле нельзя положиться. До того дня, как вереск в Эйде окрасился красной человеческой кровью, Вениамин верил, что людей, по крайней мере его, кто-то охраняет. Теперь же он знал: все может случиться. Все без исключения! И было ясно, что истина открыта только ему.

Он словно смотрел через увеличительное стекло матушки Карен. Будь то буквы в Библии или разорванный Ханной муравей. Все было так же близко, так же явственно. И так же не похоже на себя. От этого прозрения он становился беспокойным, как воробей.

Вереск и без крови был уже красный. Ведь стояла осень. А человек, что неподвижно лежал на земле, успел украсть у него Дину. Поэтому Вениамин не горевал о нем. И каким бы ненастоящим все ни казалось, жить с этим, в общем-то, было бы можно...

Нельзя было вынести только того, что там была Дина.

Чтобы исправить это, Вениамин, не говоря прямо, дал им понять, что русский сам выстрелил себе в голову.

Дине пришлось бодрствовать над покойником. Сперва в горах, где мог объявиться медведь, привлеченный запахом свежей крови. В лицо ей дул слабый осенний ветер, в затылок светило яркое низкое солнце. Но оно не согревало ее.

Бодрствование продолжалось и дома, в Рейнснесе, при открытых окнах, завешенных простынями. При колеблющемся огне оплывших восковых свечей. Мужчины с трудом подняли большого, тяжелого русского и внесли его в залу. Так распорядилась она.

Дина нарушила все законы приличия — она сама обмыла и обрядила покойника. Словно когда-то вступила с ним в брак и знала все тайны его тела. Сперва она выпроводила служанок, которые еле держались на ногах от этого страшного зрелища. Потом коротким кивком приказала уйти Фоме и работнику.

Оставшись одна, она накрыла верхнюю часть головы Лео чистыми тряпками и туго забинтовала ее. Нижняя часть лица не пострадала. Рот был приоткрыт, словно от удивления. Изящно изогнутые губы были синие и спокойные. Наконец-то они успокоились.

Лео Жуковского положили в подобающий его положению гроб и похо-

ронили возле каменной церкви. И это несмотря на то, что он не был протестантом, а был шпионом, католиком и чужаком, если не хуже.

Похороны были пышные. Люди считали, что Дине Грёнэльв следовало бы устроить все поскромнее. Неприличным сочли и то, что человека, который, как всем было известно, умер от собственной руки, хоронил сам пробст.

Но пробст выполнил свои обязанности потому, что Дина Грёнэльв подчинялась только своим законам и сама решала, что прилично, а что — нет. У нее было достаточно средств, чтобы следовать своим законам.

А первые ночные заморозки кололи своими иглами всех одинаково.

Глава 2

— Как я понимаю, теперь она целый год просидит у себя в зале,— заметила Олине на другой день после похорон.

Полдень уже миновал, а Дина еще не показывалась.

Ни Стине, ни две горничные не посмели высказаться по этому поводу. Занимать либо ту, либо другую сторону было одинаково опасно.

— Бог свидетель, теперь на нее трудно полагаться!.. Теа! Эта кастрюля плохо отмыта! Ты забыла залить ее холодной водой!

Теа искоса глянула на Олине, но промолчала. Взяла кастрюлю и унесла в сени, где стояла бочка с холодной водой.

— Как я понимаю, теперь она опять месяцами будет ходить по ночам.— Олине со свистом выпустила воздух через уголки рта. Казалось, будто штормовой ветер пытается проникнуть под черепицы и оторвать их.

По-прежнему никто не отозвался. Стине продолжала складывать салфетки, которыми накрывались блюда с бутербродами.

Стине черпала силы из тайного источника. Не из того, который обычно питает женщин, обреченных годами хлопотать по дому. Ее силы походили на широкие реки. Поток их был всегда одинаково ровен. Он всегда несся мимо, не иссякал и не замедлял своего течения. Все, кто видел Стине за работой, лучше понимали неумолимое движение планет. Ее работа была больше ее самой.

— Она ночью спускалась в погреб! Я слышала. А потом просто бросила ключи на стол. Их мог взять кто угодно! У нее наверху вдоль всех стен стоят пустые бутылки. Но берегитесь, если вы об этом скажете хотя бы слово за пределами дома! Вам это ясно? — угрожающе спросила Олине.

Неожиданно ее полное тело перегнулось пополам. Она стала похожа на замерзший спальный мешок, который повесили, чтобы проветрить. Олине упала на ящик с торфом и закрыла лицо не совсем чистым передником.

— Несчастные! Несчастные люди! — причитала она из-под передника.— Что их ждет? Что их ждет?

Женщины не поняли, над кем она причитает, над русским или над Диной. Но спросить не осмелились.

Дина спустилась из залы к вечеру. Несколько раз прошла по комнатам. Иногда она останавливалась и брала в руки то одну вещь, то другую.

Потом пришла на кухню и сама взяла себе поесть. Ела, стоя у кухонного стола. Выпила из ковша воды, которую зачерпнула в бочке, стоявшей в сенях. Вид у нее был озабоченный, словно какие-то цифры, которые она считала в уме, никак не сходились. Между бровями и у рта лежали глубокие морщины. Но волосы, в виде исключения, были причесаны и свернуты узлом на затылке. Глаза покраснели, как у человека, попавшего в песчаную бурю. Она удивлялась и даже как-то смущалась, встречаясь с кем-нибудь глазами. Точно не узнавала никого или вдруг обнаруживала, что находится совсем не там, где предполагала.

Однако все вздохнули с облегчением уже потому, что Дина появилась внизу и отвечала всем, кто с ней заговаривал.

Андерс был в Страндстедете, когда это случилось. Он вернулся вечером и застал покойника уже в зале.

Конечно, он испытал скорбь. Но ему было трудно поверить в случившееся. После того как покойника вынесли из дома и опустили в могилу, он сделался Андерсу почти другом.

Потому что был мертв?

У Андерса всегда было полно дел. Теперь же их стало еще больше. На причалах. На шхуне «Матушка Карен». Но только не в усадьбе.

За обеденным столом они с Диной сидели друг против друга. Он держался как дальний родственник и вежливо передавал очередное блюдо или солонку. Андерс знал свое место.

Он не позволял себе обращать на это внимание. Но понемногу это копилось. Словно тончайший слой пыли на лице. И не смывалось по субботам, когда все мылись в бане. Это были многолетние наслоения все той же пыли — знать свое место!

Андерсу казалось, что он сидит за одним столом с призраками. Но он не уходил. Накладывал себе на тарелку. Ел. Позволял ухаживать за собой. Произносил обычные фразы. А иногда получал и дружеский ответ, что его удивляло. Случалось, его охватывало волнение, когда они с Диной оставались в столовой одни в ожидании супа или десерта и им нечем было занять свои руки. Тогда Андерс начинал вдруг рассказывать последние новости, услышанные в лавке или в Страндстедете. Дина обычно смотрела на него с выражением равнодушной симпатии. И тем не менее с каждым днем ему все больше казалось, что она его не видит.

Вначале Вениамин сидел между ними тихо, как мышка. По распоряжению Дины он ел теперь вместе с ними. Но через некоторое время он вернулся к выскобленному добела столу Стине. По будням там не пользовались скатертью. Зато там можно было и есть, и дышать.

Вениамин спал в доме у Стине и Фомы. На тринадцатый день после похорон, в три часа пополуночи низкий, властный голос русского позвал его туда, где стояла кровать с пологом. В ночной рубашке и с увеличительным стеклом матушки Карен, висевшим у него на шее, Вениамин выбрался из теплой постели и покинул дом Стине.

Замерзшая трава и обледеневшая галька кололи босые ноги, как осколки стекла. Вениамину было жарко, хотя ночь была такая холодная, что изо рта шел пар.

В большом доме светились только два окна в зале. Желтоватый свет поведал Вениамину, что у Дины горят восковые свечи. Когда-то он так же стоял на дворе и смотрел на Динины окна. И даже пытался проникнуть к ней. Но это было уже давно. Теперь он большой. А большие мальчики не бегают в постель к маме.

Было темно. Но Вениамин различал дом. Колодец посреди двора. Деревья, клонившиеся к земле. Тяжелые от замерзшей росы листья тихонько перебирал ветер. В ушах у Вениамина опять зазвучал знакомый хрупкий звук. Несколько деревьев стояли полуобнаженные, похожие на пугала, с которых содрали одежду.

Вениамин не знал, откуда вдруг появился свет, что упал на изломанные стебли у его ног. Свет передвигался. Стоило Вениамину шагнуть вперед, и свет тоже двигался вперед. Если Вениамин делал шаг в сторону, свет тоже сдвигался в сторону. Наверное, это потусторонние силы показывали ему дорогу.

Голос русского слышался и близко, и далеко. Он чего-то требовал от Вениамина, но Вениамин не хотел его слушать. Поэтому он пытался на ходу думать о чем-нибудь приятном.

Резьба на входной двери представилась ему в виде головы дракона с оскаленной пастью. Обычные мысли превратились в камни, которые ворочал голос русского. Вениамин открыл дверь. Дом был раковиной, миражом. Когда-то было решено, что Вениамин должен спать у Стине. Ему не хотелось вспоминать, почему они так решили.

Однако к сегодняшней ночи это решение не имело ни малейшего отношения. Вениамин держался за кованую ручку двери, которую мороз превратил в острое лезвие косы.

Наконец он вошел внутрь. Теперь голос русского звучал гораздо спокойнее. Как будто тот понял, что все делается по его желанию. Запахи здесь были совсем другие. В этом доме пряный запах Стине ощущался не так явственно. Все запахи здесь теснили друг друга и дрались за место. Некоторые из них казались Вениамину старыми, забытыми мыслями. Другие он легко узнавал. Запах золы, сигар, книг и розовой воды. Все они сталкивались друг с другом в коридорах. Прятались в овчинных тулупах и шалях, висевших под лестницей. Стены пахли людьми, жившими здесь сто лет назад. Вениамин знал их по историям, которые о них рассказывали.

Скрипело все, к чему бы он ни прикоснулся. Звуки окружали его как частокол. Из каждой черной овальной рамки, висевшей на стенах лестницы, на Вениамина смотрела самое малое пара глаз. Из всех сразу. Ему было безразлично, кто они, хотя имена их были ему известны. Глаза, как фосфорические огоньки, злобно светились в темноте. Он не смел отвернуться от них. Тогда бы они подожгли его, и он еще на нижней ступеньке лестницы превратился бы в горящую ночную бабочку.

Не разжимая губ, он читал молитву матушки Карен и, ступенька за ступенькой, поднимался по лестнице.

— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя... И остави нам до́лги наша, яко и мы оставляем должником нашим...

Дверь в залу чуть-чуть скрипнула. Пламя свечей в высоком подсвечнике у кровати заколебалось от сквозняка. С кровати доносился голос русского. Здесь, в зале! Здесь гремели громы и сверкали молнии, как при появлении Зверя из Откровения Иоанна. Вениамин видел по Дине, что и она тоже их слышит. Она приподнялась на подушках. Черная волна на белом фоне.

Несколько раз она открыла и закрыла рот. Он подошел поближе и положил ее под увеличительное стекло матушки Карен. Ноздри у нее были синеватые, белки глаз налились кровью. Она напоминала плохо раскрашенную восковую куклу. Вениамин выждал мгновение. Потом его начало трясти.

— Я пришел... Русский так страшно кричал на меня...— прошептал он, неуверенно шагнув от стула к кровати.

Светлые глаза Дины строго смотрели на него, но он понял, что она не прогонит его.

Пододеяльник зашуршал, как увядшие осенние листья, когда она откинула перину, давая ему место рядом. Как только он ощутил тепло ее тела, русский умолк. Простыни мягко прильнули к коже. И наступил мир.

— Он недобрый,— проговорил Вениамин через некоторое время.

— Т-с-с,— прошептала она в его волосы.— Т-с-с, т-с-с...

— Почему он зовет меня по ночам? — Вениамин не сдавался.

— Не знаю.

— Но он будит и пугает меня.

— Так бывает.

— Но почему, Дина? Почему?

— Этого не знает никто.

— Что нам с ним делать?

— Ничего, Вениамин. Ничего.

— А если он ночью позовет кого-нибудь еще? И все им расскажет?

— Он ничего никому не расскажет.— Дина подоткнула вокруг него перину.— Он обрел покой.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все.

Вениамин перестал сопротивляться. Он чувствовал, как его окутали тепло и аромат ее тела. Цыпленок под крылом у наседки. У Олине было свое имя тому, что он сейчас испытывал,— Блаженство. Ему не хотелось

думать о том, почему он так несчастлив. Не хотелось задаваться вопросом, когда последний раз он лежал рядом с Диной. Да и лежал ли когда-нибудь. Все мысли как будто испарились.

Вениамин заснул, уткнувшись лицом Дине под мышку и засунув колени между ее ног. Руки его заблудились в ее рубашке и блуждали, пока не нашли впадинку между грудями. Ее тепло было словно мед и ласка после пронизывающего холода. Если б эта ночь могла длиться вечно!

Однако ночь не бывает вечной. Уже под утро день начал показывать свои когти, как будто грозил стать последним.

Стине повсюду искала Вениамина. Ханну тоже отправили на поиски, а следом за ней и всех остальных обитателей усадьбы. Никому не пришло в голову, что он может спать в зале у Дины. В этом месте пропавших вещей не искали.

Но громкие крики людей долетели до залы. И пробуждение обернулось позором. Вениамин сполз с кровати и хотел бежать вниз. Однако Дина удержала его и вернула на место.

— Подожди, Вениамин!

Сперва он сердито смотрел на нее. Потом опустил глаза. Рубашка на груди у нее раскрылась. Такой он Дину еще не видел. Это была чужая женщина со вздувшимися синими жилами и складками в углах рта.

Вениамин заплакал.

Она толкнула его в постель. Мягко. Неуклюже. Как самка, которая вдруг обнаружила, что ее детеныш вот-вот вывалится из логова. Потом встала, надела халат и вышла в коридор. Он слышал, как она кого-то зовет. Снизу донесся громкий и встревоженный голос Олине.

— Вениамин у меня! — крикнула Дина вниз.

Теплое эхо пронеслось над его головой и сладко согрело: «Вениамин у меня... Вениамин у меня...» Он плакал, потому что не знал, сможет ли продлить этот миг. И еще потому, что ему было стыдно.

Дина вернулась в залу и подошла к кровати. Протянула ему носовой платок, потрепала по волосам. Он не смел смотреть ей в глаза. Ее пальцы сжали его руку. Он ответил на пожатие.

— Я пришел потому, что он кричал слишком громко,— объяснил Вениамин.

— Я понимаю.

— Вообще-то я не бегаю по ночам от страха. Но он так ужасно кричал,— упрямо повторил он.

Взгляд Дины. Почему она так смотрит на него?

— Теперь я уже не боюсь спать один! — в отчаянии сказал он.

Она не ответила. Стояла как прежде.

— Почему ты не разговариваешь со мной, Дина? — рассердился он и впился ногтями ей в ладонь.

— Ты слишком шумишь, Вениамин,— наконец проговорила она.

— Но не так же, как русский!

— Кто тебе сказал, что стыдно бояться своих снов?

— Никто.— Вениамин растерялся.

— Тогда почему ты сердишься?

Он сидел среди подушек опустив голову.

— Только дураки ничего не боятся, у них просто не хватает на это ума! — твердо сказала Дина и освободилась от его руки. Потом она поставила перед умывальником ширму и занялась своим туалетом.

По комнате поплыл запах душистого мыла, и Вениамин, вздрогнув, подумал, что она моется холодной водой. Он лежал совершенно неподвижно, поворачивались только его зрачки, следя, как Динина рука берет с табуретки, стоящей рядом с ширмой, одну вещь за другой. Наконец она вышла из-за ширмы, пристегивая к блузке брошку Ертрюд. Глаза ее были прикованы к брошке, пальцы двигались уверенно.

Он знал, что запомнит эту Дину, стоящую перед ширмой с изображением Леды и лебедя и прикалывающую брошку между грудями.

— Почему ты сказала, что только дураки ничего не боятся. Разве ты боишься?

Дина повернулась перед овальным зеркалом, проверяя, как сидит юбка, потом ответила:

— Конечно.

— Когда?

— Постоянно.

— Чего?

— Того, чего нет. Того, чего я не сделала или не сделаю.

— Как это?

— Мне следовало куда-нибудь уехать... Туда, где хороший учитель научил бы меня играть на виолончели.

Она остановилась посреди комнаты. Как будто собственные слова удивили ее.

Вениамин вздрогнул и насторожился, словно она подняла руку для удара.

— Ты меня обманываешь! Ты умеешь играть! — быстро сказал он.

— Нет.— Она подошла к кровати и встряхнула его.— Вставай, соня!

Слезы обожгли ему глаза. Это было унизительно.

— Ну? — весело сказала Дина.— Кажется, ты явился ко мне без штанов и без рубашки?

Он кивнул, его охватил мучительный стыд оттого, что в доме, где он спал, не оказалось его штанов. Он даже заплакал.

Дина вышла из комнаты.

Когда она вернулась с его одеждой, он уже принял решение.

— Можно я и сегодня буду спать с тобой? — быстро спросил он, слова спотыкались друг о друга.

Она протянула ему одежду и отвернулась.

— Нет, но ты можешь спать в южной комнате.

— А я хочу здесь!

— Нет. У тебя должна быть своя комната.

— Почему?

— Тебе уже одиннадцать лет.

— Плевать я на это хотел!

— А я — нет!

— Я могу спать в чулане.— Он кивнул на большой чулан, где хранилась одежда и еще стояла кушетка Иакова.

— Нет.

— Потому что все говорят, будто Иаков спал там, когда ты на него сердилась?

— Кто это говорит?

Он увидел ее глаза и быстро одумался.

— Не помню!

— Не повторяй чужих слов, тем более если не помнишь, от кого ты их слышал.

— Хорошо. Но Иаков умер, ему больше не нужно то место.

Стало тихо. Почему вдруг стало так тихо?

— Ты однажды сказала, что в доме Стине нет привидений. Хотя там и повесился Нильс,— задыхаясь, скороговоркой проговорил он.

— Да.

— Значит, и в чулане нет Иакова!

— Конечно, нет. Но и покойникам тоже требуется место.

— А русский? Он в чулане? — шепотом спросил Вениамин и спустил с кровати худые ноги.

Дина, не отвечая, стала поправлять перину и простыни.

— Я не займу много места,— с мольбой сказал он.

Дина хлопнула его по плечу.

— Ты занимаешь гораздо больше места, чем думаешь,— сказала она.— Можешь спать в южной комнате. Если вдруг ты не сможешь заснуть, я тебе разрешаю прийти и разбудить меня. Мы сыграем партию в шахматы.

— Я не умею играть в шахматы,— буркнул он.

— Ты хорошо соображаешь, я тебя научу.— Она сказала это так мягко, что он понял: разговор окончен.

— Только не уезжай! — быстро проговорил он; слова так спешили, что наступали друг другу на пятки.

— Разве я сказала, что собираюсь уехать?

— Ты сказала, что боишься... Что тебе следовало...

— Ах вон оно что!

— Ты не уедешь! И ты ничего не боишься! Правда, Дина? Или боишься?

Она замерла над кроватью с подушкой в руках. Потом медленно повернулась к нему.

— Не думай об этом, Вениамин. Обещаю, что предупрежу тебя, если чего-нибудь испугаюсь.

Он не знал, что обычно дети не ведут таких разговоров с матерями. Но догадывался об этом. И потому ничего не сказал Стине с Фомой, когда вернулся к ним.

Стине ни словом не обмолвилась об его ночном исчезновении, но Фома не сдержался:

— Как я понимаю, ты ночью сбежал к мамочке!

Вениамин склонился над тарелкой с кашей и не поднимал глаз.

Ханна, предчувствуя бурю, переводила взгляд с одного на другого.

— Я снова перееду в большой дом,— сказал Вениамин, набравшись храбрости.

— Недолго счастью длиться, она не захочет...— Фома замолчал. Но и этого было достаточно.

— Тебя это не касается! — прошептал Вениамин и бросил ложку так, что каша полетела во все стороны. Лицо у него исказилось. Он пулей вылетел в другую комнату, и они услыхали, как он там буйствует.

Фома растерялся, он пошел туда и схватил Вениамина за ухо — его следовало научить повиновению.

— Отпусти меня!

— Я тебя научу, как вести себя за столом! — прошипел Фома сквозь зубы и встряхнул Вениамина.

— Сам научись вести себя за столом! Говоришь о том, чего не знаешь!

— А что прикажешь с тобой делать, если ты дерзишь и шумишь на всю усадьбу? Кто будет тебя воспитывать?

— Ты мне не отец!

Фома отпустил Вениамина. Его рука так и повисла в воздухе.

Вениамин долго, мигая, смотрел на закрывшуюся за Фомой дверь. Он остался один. Почему-то ему было трудно думать. На некрашеных деревянных панелях было много сучков. Он сосчитал их от одного угла до другого. Для этого ему пришлось повернуться. И пошевелить ногами. Вот это и было самое главное — пошевелить ногами.

Мир за оконным стеклом выглядел неприветливо черным.

Глава 3

Ленсман должен был сообщить властям о трагической гибели русского. После рассказа Вениамина о том, как все случилось, отпала необходимость вести расследование. Но ленсман хотел посоветоваться с Диной, куда отправить вещи русского. Он был достаточно умен и сообразил, что у этой истории есть своя темная сторона. Однако решил: если кто-нибудь узнает об этом, дело запутается еще больше.

Нечаянный выстрел вполне мог сойти и за самоубийство. И поскольку у русского здесь не было близких, которые потребовали бы расследования, ленсман решил: пусть предположения так и останутся предположениями.

Если смерть русского как-то связана со шпионажем и большой политикой, копание в этом деле вызовет нежелательные отклики. Отношения же русского с его дочерью Диной никого не касаются. Возможно, ноша господина Лео после разоблачения и тюрьмы оказалась для него непосильной, но она не станет легче, если сделается достоянием общественности.

Эта смерть не оставила ленсмана равнодушным. Ему нравился русский. У ленсмана даже теплилась слабая надежда, что русский мог бы обуздать Дину, хотя, судя по всему, ему было нечего добавить к ее состоянию. Ленсман был готов даже забыть о том, что русский сидел в тюрьме. Однако теперь думать об этом было уже поздно.

Ленсман выждал какое-то время и был подчеркнуто спокоен, когда постучал в дверь залы, чтобы поговорить с Диной.

Она приняла его не как отца, приехавшего к ней в гости, а как представителя власти. Во время беседы она не проявила ни сердечности, ни неприязни.

Ленсман запутался в собственном вступлении и не знал, как его закончить. Дине пришлось помочь ему перейти к делу.

— Не больно-то много вещей было у него с собой,— сказала она.— Только одежда да книги. Да еще серебряный нож. Насколько я знаю, близких у него нет. Так что бессмысленно посылать все это в Россию.

— Все должно быть по закону.

Дина пожала плечами.

Ленсману всегда было не по себе, когда он попадал в залу. Какой бы красивой эта комната ни была, ему не нравилось, что Дина пользуется своей спальней для деловых встреч и разговоров. Какое отношение имеют кровать под пологом и музыкальные инструменты к серьезным решениям и важным сделкам? Неуместность этого он почувствовал еще в тот раз, когда поднялся в залу, чтобы заставить Дину поехать на похороны Иакова. Он уже давно раскаялся в своем поступке. Ему даже захотелось сказать ей об этом. Однако не получилось. Он кашлянул и сказал:

— Что же все-таки там произошло? Почему ружье выстрелило?

Дина подняла голову. Словно прислушивалась к какому-то дальнему звуку.

— Ты хочешь, чтобы я сказала, будто сама застрелила его? — немного удивленно спросила она.

Он вздрогнул.

— Такими вещами не шутят. Я только хочу, чтобы в протоколе было написано, как это случилось. Ты думаешь, он намеренно выстрелил в себя?

— Нет. Просто он не умел обращаться с этим ружьем.

— Ты видела, как он нес ружье на плече? Он что, упал на него?

— Нет.

Ленсман задумчиво кивнул головой.

— Кажется, Вениамин тоже был там в ту минуту?

— По его словам, нет. Но ты сам знаешь... Дети видят то, что им хочется.

— Значит, ты не знаешь? Вы с ним не говорили об этом?

Дина посмотрела на него и не ответила.

— Ну, хорошо. С мальчиком придется поговорить. Можно сейчас позвать его сюда?

— Нет! Я считаю, что его нельзя мучить таким разговором!

— Но это необходимо.

— Ты думаешь, что стрелял Вениамин?

— Нет, сохрани Боже! — воскликнул ленсман, крик его вырвался из самой глубины легких. Он не мог выдержать окутавшую его тишину и должен был нарушить ее.

Вениамин Грёнэльв торжественно предстал перед своим дедом ленсманом, чтобы дать показания, каким образом господин Лео получил пулю в голову. Он сразу понял, что ему придется давать показания, как только увидел подошедший к причалу ленсманский синий карбас.

Дина извинилась и ушла. Она не хочет, чтобы ее ребенка мучили у нее на глазах. С Вениамином она разминулась в дверях.

Создалось трудное положение, и ленсман не мог найти из него выхода. Наконец позвали Андерса, чтобы он присутствовал при этом разговоре.

Вскоре они услышали, как Дина пронеслась верхом через двор.

Едва она свернула с дорожки на мягкую почву, как стук копыт изменился. По этому изменившемуся звуку Вениамин мог точно определить, где она сейчас едет. Эхо, вернувшееся с гор, тоже помогало ему. Горы звали ее к себе.

Так он подумал. И эта мысль поразила его.

Увидев, как Вениамин напуган, Андерс захотел посадить его к себе на колени. Однако он подумал, что Вениамин и без того чувствует себя униженным. Поэтому он просто положил руку ему на плечо и отчетливо повторял то, что шепотом произносил мальчик.

— Выстрел был очень громкий,— сказал Вениамин, он весь покрылся испариной, но не мог даже вытереть лицо, потому что его руки и ноги бессильно висели под столом.

— Понимаю.— Ленсман был явно смущен.— А где ты был в это время?

— Не знаю. Я выбежал... И вот...

— Что «и вот»?

— И вот он лежал там. И вокруг все было красное.

Вениамин положил обе руки на стол и опустил на них голову. От дерева пахло воском. Он так и подумал: от дерева пахнет воском. Это была самая обычная мысль.

— Ты с матерью не ссорился?

— Нет,— тихо шепнул он, не поднимая головы.

— Где она была, когда это случилось?

— Точно не знаю... Она стояла в кустах...

— А ты?

— Я прибежал...

— Почему ты прибежал?

— Выстрел! Как ты не понимаешь...

— Подними голову со стола, а то я не слышу, что ты говоришь. Кто с кем был в это время?

— Никто... Ни с кем...

Вениамин медленно поднял голову. Снял со стола руки. И все взмыло в воздух. Он видел себя парящим перед большими серьезными глазами ленсмана. Но это ничего не изменило. Потому что наконец-то он нашел объяснение всему.

— Никто ни с кем не был вместе. Мы все были по отдельности. Я собирал ягоды.— Вениамин, торжествуя, швырнул в комнату эти слова.

Все молчали. Он тщательно продумал свои слова и повторил их еще раз. Они звучали убедительно.

Ленсман вздохнул. Он выполнил свой долг. И с большим старанием заполнил документы. В них говорилось, что Лео Жуковский, подданный Российской империи, проезжая через Нурланн, погиб по собственной вине от нечаянного выстрела в уезде ленсмана Ларса Холма. Жуковский был на охоте, и никого во время этого нечаянного выстрела рядом с ним не было. Дина Грёнэльв и ее малолетний сын Вениамин услышали выстрел и немедленно бросились к пострадавшему. Но спасти ему жизнь было уже невозможно.

Ленсман прочитал протокол вслух. Голос его дрогнул, когда он читал: «но спасти ему жизнь было уже невозможно».

Андерс незаметно кивнул. Все было кончено.

Только тогда Вениамин понял, что обмочился.

Он последним вышел из залы и тихонько улизнул в свою комнату, чтобы переодеться.

После полудня, когда карбас ленсмана уже отошел от берега, у Андерса возникло чувство, будто он участвовал в каком-то постыдном деле. Он не знал, как ему загладить свою вину перед Вениамином. Единственное, что ему пришло в голову,— он взял мальчика с собой на рыбалку и выложил перед ним целую гору бурого сахара и жевательного табака.

Вениамин ел сахар и жевал табак, пока его не вырвало. Когда его нутро очистилось, ему, по-видимому, стало легче. Однако несколько дней Андерс все-таки не спускал с него глаз. Порой у него мелькала мысль, что Дина тоже могла бы заняться Вениамином, все-таки она мать. Раз или два он порывался сказать ей об этом. Только не знал, с чего начать.

Так все и шло.

Дининого русского больше не существовало. И, как ни странно, Андерс чувствовал себя соучастником преступления. Да, русский был ему по душе. Он вызывал в Андерсе восхищение и зависть. Этот человек не терял времени даром. Ковал железо, пока горячо. Но он завоевал Дину. Вот единственное, что Андерсу не нравилось. И все-таки он считал, что лучше бы его вообще не существовало.

Теперь он исчез из их жизни.

Перетащив в большой дом свою перину, ракушки, увеличительное стекло матушки Карен и письменные принадлежности, Вениамин первым делом обследовал и обнюхал все комнаты. Он должен был заново познакомиться со всеми запахами и снова почувствовать себя здесь дома. На это ушло несколько дней. Он часами сидел в комнате матушки Карен. Смотрел на портрет Иакова, на его задорные усы и красивое лицо. Казалось, Иаков скрывает под ними улыбку.

В овальном зеркале, висевшем над комодом, он подолгу разглядывал свое отражение, пытаясь найти сходство с Иаковом. Но вскоре он отказался от этих попыток и решил вернуться к этому, когда у него вырастет борода.

Олине была очень довольна.

— Ребенок вернулся домой,— говорила она всем, кто выражал желание слушать ее.— Все-таки он не сын арендатора, а единственный наследник Рейнснеса!

Стине молчала. Но ежедневно приносила разные мелочи, которые Вениамин забыл у нее. Или же давала ему всякие поручения. И это безгранично раздражало Олине.

— Вениамин не работник! — прошипела она однажды, когда Стине попросила Вениамина помочь сделать уборку в погребе.

— Конечно,— сказала Стине.— Но он сильный и проворный мальчик. А Ханна нерадивая и слабая.

Олине, желая защитить статус Вениамина, разразилась потоком жестких слов. Дина проходила мимо неплотно прикрытых дверей кухни, когда Олине сказала:

— Можешь отправляться к себе и делать там что угодно, но без помощи Вениамина! С ним слишком долго обращались как с мальчишкой из конюшни.

Дина вошла на кухню. Олине замолчала и отвернулась к столу, на котором готовила рыбу. Большая деревянная ложка жадно зачавкала в рыбном фарше. Новая чугунная плита раскалилась докрасна, и первые котлеты шипели на сковородке. Аромат рыбных котлет со слабой примесью муската уже забрался во все углы.

— Вениамину невредно время от времени исполнять какие-нибудь поручения,— сказала Дина.

Олине грозно молчала.

— Вениамин плохо спит по ночам. Ему снятся кошмары. Ничего не случится, если он и разбудит меня, я тоже плохо сплю. Поэтому он и переселился в южную комнату. Но иногда поработать ему только полезно.

— Я не хотела ссориться,— сказала Стине.

— Ты никогда не ссоришься,— заметила Дина.— А у Олине и так слишком много дел, чтобы заботиться еще и о Вениамине!

— Но ведь это неправильно! — воскликнула Олине.— Неправильно, чтобы господский сын жил на своей родной усадьбе в доме у работников и исполнял работу, от которой все другие отказываются!

Собственная смелость взволновала Олине, и она, чтобы подчеркнуть свое достоинство, надула щеки, словно дула в почтовый рожок.

— Господ в мире достаточно и без Вениамина,— бросила Дина.— Вениамин и так знает, кто он. Не хватало, чтобы он боялся испачкать руки черной работой!

Олине проглотила ее слова и поклялась больше никогда не открывать рта.

В тот вечер она не нарушила своей клятвы.

Сначала Вениамин думал, что он теперь будет обеспечен и лакомым кусочком от Олине, и вниманием Стине, и близостью Дины. Но все оказалось не так просто. Поддерживать добрые отношения сразу с тремя главными женщинами в усадьбе было так же трудно, как балансировать на проволоке, натянутой для сушки сена от стены хлева до сеновала. Он часто падал, набивал синяки и получал царапины.

Иногда ему все надоедало. Или русский начинал кричать даже днем. Тогда Вениамин шел на причал к Андерсу. Андерс ни о чем не спрашивал и ничего ни за кого не решал. Его можно было спросить о чем угодно и получить дельный ответ. Он ни с кем не был в родстве, у него не было ни жены, ни детей, и он не дружил с пробстом. У него было свое постоянное место за обеденным столом Дины, он командовал ее судами и вел ее бергенскую торговлю. Вот и все. Никто не мог бы запретить Андерсу уехать, если б он того захотел, или, наоборот, остаться. Никому не пришло бы в голову заставлять Андерса наводить порядок в погребе. Поэтому он так легко улыбался.

Однажды Вениамин спросил у Андерса, как тот попал в Рейнснес. И Андерс ответил ему, не вынимая изо рта трубки, при этом его выдающаяся вперед нижняя губа странно изогнулась в улыбке:

— Из-за кораблекрушения! Кораблекрушения занимают важное место в жизни людей. От них зависит и жизнь и смерть. После кораблекрушений люди часто попадают в новое место... И это истинная правда. Я, например, попал в Рейнснес.

— Ты потерпел кораблекрушение?

— Кораблекрушение потерпели мои покойные родители. Я тогда был еще ребенком.

И он рассказал о первой жене Иакова, Ингеборг, которая взяла на себя заботу об Андерсе и его брате Нильсе. Эта история произвела на Вениамина такое сильное впечатление, что он стал здороваться с портретом Ингеборг, когда проходил мимо по коридору.

Олине часто рассказывала ему о родственных связях между всеми бывшими и нынешними обитателями Рейнснеса. Но она пользовалась иными красками, чем Андерс. Вениамину было интересно слушать ее запутанные истории и бесконечные подробности. Эти истории никогда не кончались. Андерс, напротив, рассказывал так, что Вениамину сразу становилась ясна суть дела. Однако, когда Вениамин сопоставлял истории Андерса и Олине, они непостижимым образом совпадали.

Вениамин перестал считать Иакова неудачником, умершим слишком рано, как внушала ему Олине. Иаков был веселый моряк, он сошел на берег и женился сперва на одной женщине, потом — на другой. А когда ему все надоело, он упал с обрыва. И ему неизменно сопутствовало уважение Андерса и любовь Олине.

Вениамину было приятно думать: «Иаков — мой отец».

— А если бы мой отец был жив, он взял бы меня с собой на Лофотены?— спросил он однажды у Андерса, когда они сидели на причале и чинили сети при свете большого фонаря.

— Дело не в этом... Ты и так пойдешь на Лофотены, только подрасти чуток. Отец тут ни при чем. Главное, чтобы ты сам что-то умел.— Андерс искоса глянул на Вениамина.

— А что именно? Что надо уметь?

— А черт его знает. Тут многое требуется,— не сразу ответил Андерс.

Потом он набил трубку и заговорил о своем отце:

— Он умел переворачивать тарелку с горячей кашей так быстро, что масло не успевало соскользнуть с каши! Как сейчас помню!

— Так не бывает!

— А вот у некоторых это получается. Отец не боялся обжечь руки. Да-да... Он утонул.

— А отец Ханны повесился?

— Да.— Андерс спокойно отнесся к этому вопросу.

— Почему так всегда бывает?

— Не всегда. Так кажется, только если смотришь на это из Рейнснеса.

— А ты чей отец?

— По-моему, ничей.

— Ты не знаешь?

— Нет. Мужчине трудно за всем уследить.

Андерс сплюнул, чтобы скрыть улыбку.

— Почему не ты мой отец? — спросил Вениамин, внимательно глядя на Андерса.

— Об этом ты лучше спроси у Дины.

Андерс перерезал шнур маленьким ножичком, который был прикреплен к кольцу, надетому на палец. Ножичек клюнул шнур, словно острый клюв.

— Женщины сами решают, кто будет отцом ребенка?

— Не всегда. Но Дина, конечно, решала сама.

— Иаков был очень хороший отец?

— Как сказать... Не знаю, выбрала ли она его только затем, чтобы он был отцом ее ребенка. Дина была слишком молоденькая, когда приехала сюда.

— Зачем же тогда она его выбрала?

Андерс вспотел. И шнур, которым он чинил сеть, кончился.

— Иаков был очень достойный человек. И ему принадлежал Рейнснес. Думаю, что и ленсман хотел, чтобы Иаков стал его зятем. Но точно не знаю. Спроси лучше у Дины...

Вениамин пропустил последние слова мимо ушей, как пустую болтовню, и спросил:

— А Дина сама хотела выйти за Иакова?

— Думаю, да...

— Зачем ей муж, который умер?

— Никто не знал, сколько проживет Иаков. И вообще, может, это ленсман решал, за кого выйдет Дина.

Они помолчали.

— Вот этому я никогда не поверю! — твердо сказал Вениамин.

Андерс невольно улыбнулся.

— Это было так давно, Вениамин.

Вениамин замолчал; он сидел, перебирая сеть и не замечая в ней большую дыру.

— Жаль, что не ты мой отец,— сказал он после долгого раздумья.

— Почему?

— Так мне хотелось бы... Мы бы вместе ходили на Лофотены.

Вениамин в упор смотрел на Андерса.

У Андерса почему-то никак не получалось раскурить трубку.

— Как думаешь, я был бы тогда другим? — спросил Вениамин.

Андерс вынул изо рта трубку, долго откашливался и смотрел на Вениамина. Потом медленно покачал головой.

— Нет. Я думаю, ты был бы точно такой же, как сейчас. Несмотря ни на что.

— Значит, ты все-таки можешь быть моим отцом?

Андерс помолчал, потом протянул Вениамину руку.

— Конечно! Если ты считаешь, что тебе нужен именно такой отец. Но, думаю, пусть это останется между нами, ведь в церковных книгах это не записано.

Они обменялись рукопожатием и серьезно кивнули друг другу.

Глава 4

На Рейнснес опустился невидимый гнет. Старые бревна приняли его на себя. Спрятали в своих трещинах. Между вечным дыханием покойников. Между клочками мха и старым тряпьем, что лежало там раньше.

Дом наполнялся людьми и голосами, которые утоляли скорбь. Дина не ходила ночами по зале и не пила в беседке вино, как пророчила Олине. По утрам в доме не находили брошенных ею недокуренных сигар и пустых бутылок. Все было белое и чистое, как выпавший на поля снег.

Иногда Вениамин просыпался от плача русского. А иногда и от своего собственного. Тогда он шел в залу к Дине. Они играли в шахматы, чтобы прогнать страх темноты и то, чего никто не мог исправить.

В этой части дома спали только Андерс, Дина и Вениамин, и потому Андерс слышал все, что происходит ночью. Он часто просыпался от плача Вениамина. Потом слышалось шарканье ног и скрип двери. В печку подбрасывались дрова. Из-за этого в комнате Андерса становилось как будто еще холоднее, постель казалась влажной. И ему хотелось уплыть куда-нибудь подальше. Потому что происходившее напоминало ему о том, чего у него никогда не было. Андерс лежал с открытыми глазами и смотрел на черную стену, зная, что те двое, через коридор, сейчас не спят.

Однажды утром Вениамин не вышел к завтраку. Но кандидат Ангелл, учитель Вениамина и Ханны, сидел за столом.

— По-моему, он просто перепутал день с ночью. Бодрствование по ночам не может быть полезно для занятий,— заметил кандидат.

Дина метнула на него недобрый взгляд.

— У Вениамина бывают кошмары. Мы боремся с ними, играя в шахматы.— Она обеими руками протянула Андерсу хлебницу, хотя он не просил ее об этом. Ее рука скользнула по его запястью.

Андерс не совсем понимал, как ему лучше держаться с Диной. Он уже давно замечал, что глаза у нее красные и в уголках рта залегли глубокие складки. Он отвел взгляд, оставив в покое ее измученное лицо.

— Ночью было так холодно, что бочка под стрехой промерзла до дна,— небрежно сказал он и передал хлебницу кандидату.

— Дело идет к зиме,— тут же отозвался кандидат, обрадованный, что его замечание не вызвало более серьезных последствий.

Перед Рождеством Ханна едва не утратила навеки расположения Вениамина. Несомненно, из-за русского и Дины. Вениамин уже давно незаметно наблюдал за Ханной. Это давало ему пищу для размышлений. Например, как выглядела бы Ханна, если б она умерла. Или оказалась без головы. Он потихоньку разглядывал Ханну в увеличительное стекло матушки Карен, точно какое-нибудь насекомое. Представить себе Ханну в виде дохлой мухи на подоконнике он не мог. Но в то же время, кто знает. Русский тоже был не такой... Его тоже невозможно было представить себе мертвым.

Или тогда ему это просто не приходило в голову? Ведь он был маленький. И мысли у него были обычные.

Однажды они сидели за обеденным столом в столовой. Вениамин наблюдал, как Ханна вырезает из бумаги рождественские ясли. На верхней губе у нее был легкий пушок. Она напоминала кошку. Этот пушок можно было разглядывать в увеличительное стекло, не отвлекая Ханну от работы.

В столовую вошла Дина. Зрачки у Ханны сузились, будто закрылись, и лицо стало мрачным.

Вениамину это не понравилось. Он сразу вспомнил, что ноги у Ханны

слишком маленькие и круглые колени немного повернуты внутрь. Так он мысленно наказывал ее, не прикасаясь к ней.

А вот с глазами Ханны дело обстояло труднее. Они были карие, как кофейные зерна, которые свободно плавали в круглой чашке, наполненной молоком. Когда Ханна моргала, они скрывались в лесу черных ресниц. Никто не умел моргать так долго и выразительно, как Ханна.

— Ты не любишь Дину? — через стол спросил Вениамин у Ханны, когда Дина ушла.

— С чего ты взял? — Ханна заморгала.

— Я вижу,— твердо сказал он и снова начал рассматривать ее сквозь увеличительное стекло.

Из-под ресниц показались кофейные зерна. Они мерцали, глядя на Вениамина. Потом Ханна снова моргнула.

— Если тебе нравится говорить обо всем, что ты видишь, пожалуйста, говори.— Она не переставала моргать.

Ярость, вызванная ее словами, была способна ворочать камни. Но на этот раз Вениамин не спешил.

— Ты не любишь Дину, потому что я снова переехал в ее дом,— решительно изрек он.

Ханна, надув губки, вырезала крылья для ангела, и только потом выяснилось, что она все-таки слышала его слова. Она вздохнула:

— Переехал? Но ты же все равно постоянно торчишь у нас.

— Ты считаешь, что я провожу у вас слишком много времени?

— Нет, но я не понимаю, какое отношение к этому имеет Дина?

— Она моя мать! У кого еще есть мать, которая умеет скакать верхом и ездила в Берген?

Ханна сделала гримаску, передразнив его, завязала потуже передник и продолжала заниматься своим делом.

— Вот вырасту и уеду из Рейнснеса! Так и знай! — заявил он.

Вырезая нимб для младенца Христа, Ханна проговорила со вздохом:

— Ты стал такой противный в последнее время!

От удивления он открыл рот.

— Почему?

— От тебя только и слышишь что Дина да Дина! Дина сказала, Дина считает, Дина сделала... Твоя Дина вовсе не женщина! Она сатана!

— Кто это сказал? — шепотом спросил он.

— Мужики в лавке.

— Ты лжешь! — Он всхлипнул, бросил на стол увеличительное стекло и выбежал из столовой.

В ожидании Вениамина Ханна вырезала руки и ноги младенца. Вениамин все не возвращался, и она пошла искать его, даже не накинув платка. Она нашла его на сеновале. Он раскидывал сено, словно собирался один накормить всех коров.

— Оставь сено в покое,— примирительно сказала Ханна.

Тогда он налетел на нее. Толкнул на пыльный пол и вцепился ей в волосы так, что она заплакала.

— Так тебе и надо! Сама сатана! — крикнул он и опустился на колени рядом с ней.

Она ударила его по щеке. Обороняясь, он крепко схватил ее за руки и уперся головой ей в живот. По ее дыханию он слышал, что она уже сдалась. Он бы с удовольствием вывалял ее в сене, чтобы она перестала плакать, но ее слезы мешали ему.

Кончилось тем, что он нежно обнял ее. И снова Вениамин разглядывал и гладил Ханну, нюхал и играл с ней в тайные игры, о которых знали только они. Когда эти игры открылись, им не разрешили больше спать вместе в одной кровати, и даже в одной комнате.

В самый разгар игры Вениамин заметил, что все изменилось. Ведь он видел в вереске Дину и русского. После этого старая игра стала недоброй и постыдной. И вместе с тем ему не хватало решимости сделать с Ханной то, что хотелось. А тот, у кого не хватает решимости, трус.

Вскоре они услыхали, что их зовет Стине. Ханна молча оправила платье и убежала. Но он понял, что они опять друзья. Иначе и быть не могло. Вениамин чувствовал, что избежал большой опасности, и стал спокойно чистить лошадь.

То был день необычных встреч. Дина пришла в конюшню за своей лошадью, и, когда Фома через некоторое время тоже зашел туда, он услыхал звонкий голос Вениамина, заглушаемый шуршанием скребницы и дыханием лошади:

— Хотя русский и умер, тебе не надо искать себе нового мужа!

Дининого голоса Фома почти не слышал. Лошадь била копытом. Звуки долетали будто с другого конца света. Он подошел поближе и остановился, словно его пригвоздили к полу конюшни. Плечи у Фомы вдруг налились свинцом.

— Не надо! Мы с тобой и сами справимся,— говорил Вениамин.— Скоро я стану взрослым. По крайней мере, конфирмация не за горами. А кроме того, я спросил у Андерса, не может ли он до тех пор быть моим отцом.

— Что???

Дина закашлялась от сенной трухи.

— И он сказал, что может.

— Значит, вы все решили вдвоем, без меня?

— Да. Я не хотел приставать к тебе с этим.

— И что же он будет делать как твой отец?

— Я тоже спросил его об этом. Его отец, например, умел так ловко переворачивать тарелку с кашей, что с нее не успевало стечь масло. Андерс этого не умеет. Но это неважно. Он будет учить меня водить судно, торговать с Бергеном и всякое такое. Это у меня получится. Я могу брать с собой учебники, чтобы не терять времени.

— Конечно, можешь.

Они молча седлали лошадь.

— Ты часто думаешь о том, что тебе нужен отец? — снова услыхал Фома голос Дины.

— Да нет, иногда... Не часто...

— А что еще сказал тебе Андерс?

— Андерс! С ним можно разговаривать о чем угодно, как с отцом. Он слушает и тихонько посмеивается. Знаешь, как он любит посмеиваться? Если бы в тот раз ты выбрала мне в отцы Андерса, а не Иакова, твой муж и сейчас был бы жив. Только тогда ты этого знать не могла,— великодушно заключил он.

— Дело в том, Вениамин, что жениться на мне захотел Иаков, а не Андерс.

— Значит, Андерс в тот раз свалял дурака! Он говорит, что ленсман выбрал тебе в мужья Иакова, потому что Иаков был видный мужчина и владел Рейнснесом.

— Ты только Андерсу ничего не говори о нашем разговоре! — попросила Дина.

— Как же не говорить, если он согласился быть моим отцом!

Фома вдруг опомнился. Он тихонько вышел из конюшни и спустился к лодочным сараям.

Глава 5

Наступило Рождество с его суматохой и весельем. Угощения, игры, пунш. Кое-кто еще помнил мелодии, которые пел и под которые плясал русский.

Ленсман со своей семьей гостил у Дины. Мальчики носились по лестнице и хлопали дверями. Олине бранила их, Теа прибирала разбросанные

ими вещи и приносила все, что они просили. Комната Вениамина была завалена мокрыми шерстяными носками и запретными окурками сигар. Чадила игрушечная паровая машина. Пахло потом и сладким какао со сливками. Этот обычный рождественский запах начинался уже на лестнице. Хлопья пыли беззаботно летали из одного угла комнаты в другой, подхваченные сквозняком.

В коридоре на втором этаже пришлось поставить сразу три туалетных ведра. На второй день Рождества Теа удивлялась, откуда в людях берется столько мочи. В нынешнем году, по мнению Теа, ее было гораздо больше, чем в прошлом.

Мальчики то ссорились, то смеялись, взрослые не вмешивались в их отношения. Теперь они стали старше еще на год. Все стало старше на год.

Никто не придал значения тому, что уже в первый день Рождества Вениамин тихонько перебрался вниз в комнату матушки Карен.

Дина мимоходом объяснила, что у него разладился сон. Услыхав это, сыновья ленсмана с удивлением уставились на Вениамина. Сон может разладиться только у стариков. Но на этот раз они его не дразнили. Разладился сон — это звучало даже торжественно. Хуже было то, что Вениамин уклонялся от игр. Он часто сидел в комнате матушки Карен и читал, хотя никто не принуждал его к этому.

В первый же прилив после Нового года шхуну «Матушка Карен» спустили на воду. Помогать пришли все соседи — и ближние, и дальние. Задержавшиеся после Рождества гости тоже принимали участие в этой шумной работе. Женщины вымыли каюты зеленым мылом и шутили, что в койке Андерса вши оказали им особенно упорное сопротивление. Андерс не остался в долгу:

— Должно быть, их привлекало туда тепло — в этой койке всегда было жарко!

Девушки возмутились дерзким ответом Андерса и воспользовались случаем, чтобы потолкаться с ним.

Дина стояла у открытого окна каюты. Ее появление удивило всех. День был нехолодный, но серый, солнце еще не вернулось, хотя в полдень на юге уже угадывалось его приближение, заставлявшее острова искриться.

Девушки подняли головы, когда Дина позвала Андерса к себе.

Вениамин лежал в шлюпке на животе и ловил плотву среди камней. Он тоже услыхал голос Дины. И день показался ему не таким уж серым.

Закончив уборку и пошутив с Андерсом, девушки собрали свои тряпки и ведра и приготовились плыть на берег. Они украдкой поглядывали на каюту, в которой скрылся Андерс.

— Ну как, развлекся? — спросила у него Дина.

— Сам не развлечешься, никто тебя не развлечет,— хохотнул Андерс.

— Я припасла немного рома, чтобы выпить за твою поездку на Лофотены.

— А-а!..— Андерс сел на одну из коек. Сбоку он наблюдал, как Дина разливает ром.

— Кажется, ты не очень рад?

— Просто ты застала меня врасплох. Я не ожидал... Уже очень давно...— тихо забормотал он.

— Да, много чего случилось за это время.

— Даже слишком много,— твердо сказал он.

— Но теперь стало светлее, уже можно жить! — Дина села рядом с ним и протянула ему рюмку.

На этой самой койке она боролась со смертью, когда в Фолловом море у нее случился выкидыш.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Андерс, вспомнив кровавый сгусток, который он выбросил за борт.

— Что наступают более светлые дни.

— Понятно...— Он ждал продолжения.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросила она.

— Потому что не понимаю, чего ты от меня хочешь.

Дина откинула голову. «Сейчас она похожа на свою лошадь, когда та ржет, стреноженная, в загоне»,— подумал Андерс.

— Уж и не помню, когда мы с тобой последний раз беседовали наедине...

— Это верно,— согласился он.

Она сидела, взвешивая в руке рюмку.

— Тебя, Андерс, иногда трудно понять.

— Ну, это уж слишком... А что, собственно, ты имеешь в виду?

— Ты никогда не говоришь о том, что у тебя перед глазами,— ответила она, поставив рюмку на ладонь и поддерживая ее другой ладонью.

— Что же у меня перед глазами?

— Я, например.

— Этот курс не для меня,— буркнул он и смущенно поглядел на нее.

Лодка с девушками шла к берегу, они громко смеялись. Поднятая ею волна плескалась о борт шхуны. Воздух был пряный и соленый. Дина и Андерс остались одни.

В каюте возникла напряженность. Андерс не поднимал глаз.

— Мне хотелось бы, чтобы ты взял на себя заботу о Рейнснесе. Я собираюсь уехать на юг. Когда ты вернешься с Лофотенов, меня здесь, наверное, уже не будет.

Андерс медленно глотнул ром и отставил рюмку на маленький столик, прочно привинченный к настилу каюты. Ему пришлось протянуть руку, чтобы поставить ее.

— И куда же ты поедешь?

— В Копенгаген. А может, и дальше. Я поеду на пароходе...

— Значит, на юг? В Копенгаген? А можно спросить, по какому делу?

— Я не обязана отчитываться,— сухо ответила Дина.

Свет сделался фиолетовым. Динины пальцы беспокойно двигались на коленях. Овальные ногти блестели на фоне темной шерстяной ткани.

— Тебе тяжело? — спросил он.

Она взяла его руку и придвинулась к нему. Кожу Андерса кололи тысячи острых иголок. Он растерялся.

— Мне здесь тесно! Здесь нечем дышать! Понимаешь?

— Понимаю или не понимаю, какая разница... И долго ты намерена отсутствовать?

— Не знаю.

— Что с тобой творится? — спросил он и хотел встать.

Дина наклонилась и схватила его за обе руки. Она была сильная. Ему стало приятно и в то же время тревожно. Дина молчала, он сказал:

— Боюсь, мне все-таки придется задать тебе один вопрос. Что тебя тревожит в Рейнснесе? Тень русского?

— Что ты хочешь этим сказать? — прошептала она.

— Неужели ты так оплакиваешь Лео Жуковского, что вынуждена даже бежать из дома?

— Оплакиваю?

— Все понимали, что в нем ты могла найти нового хозяина Рейнснеса. В том числе и я.

— Оплакиваю? — повторила Дина, глядя на что-то за окном каюты.— Здесь нечем дышать... Всегда одна и та же морока. Зима, весна, лето. Полевые работы. Люди. Счета.

— И только смерть Лео открыла тебе на это глаза? — тихо спросил он.

— Я понимала это и раньше.. И ты бы тоже понял, если б, как я, был навеки осужден на это...

— Я понимаю.

Они помолчали.

— Но я не тот человек, который может заменить тебя в Рейнснесе. Я редко бываю дома.

— Мне некого просить, кроме тебя.

— Значит, это серьезно?

— Да!

— Ну, а если тебе выйти замуж? Тогда бы ты была уже не одна,— наугад сказал он.

По их лицам скользнула тень — это за окном каюты пролетела чайка.

— Мне уже предлагали.

— И что же ты ответила?

— Это было очень давно... Я спросила, кого мне прочат.

— И тебе предложили кого-нибудь?

— Да.

— Кого же?

— Тебя, Андерс!

Он вспыхнул. Но заставил себя поднять на нее глаза. Он ждал ее презрительного взгляда. И не дождался.

— О чем только люди не болтают! Я помню эти разговоры, когда ты отписала мне шхуну.

— Может, они были правы,— медленно проговорила Дина.

— Правы? В чем?

— Что мне следовало выйти за тебя замуж.

— Мало ли кто что считает,— сказал он и продолжал, не дав ей вставить слово: — А теперь, значит, ты надумала уехать в Копенгаген, потому что здесь нечем дышать?

— А ты принял бы мое предложение? Если б я его тебе сделала?

— Если бы ты сделала мне предложение?

Он в растерянности провел руками по волосам.

— Да, если б я предложила тебе жениться на мне.

— Я бы согласился,— просто сказал он.

Дина вздохнула.

— И что же тебя больше привлекает, я или Рейнснес? — спросила она.

Он долго смотрел на нее, потом ответил:

— Должен признаться, что из-за Рейнснеса я не взвалил бы на себя такую ношу!

— И, как думаешь, чем бы все это у нас кончилось? — спросила она.

— Да уж добром не кончилось бы.

— Почему?

— Ты бы встретила русского. А я сбежал бы в Берген,— честно признался он.

— А если бы я не встретила русского?

— Тогда, кто знает...

— Но теперь русского уже нет.

— Это для меня его нет, а для тебя...

— Почему ты так думаешь?

— У тебя появились седые волосы, я вижу их даже здесь, в сумраке. Ты не спишь по ночам, и бодрости в тебе не больше, чем в вяленой треске. От тебя остались одни глаза. А теперь к тому же ты хочешь сбежать из дому. Пуститься в дальнее плавание.

Она не могла удержаться от смеха. Они весело, но серьезно смотрели друг на друга.

— А если бы я тебя спросила, хочешь ли ты теперь взять меня в жены? — вдруг сказала она.

Он долго размышлял, не понимая, как можно увязать все это вместе, а потом сказал:

— Если бы ты спросила меня об этом, а потом уехала в Копенгаген?

— Если бы я спросила тебя об этом, а потом уехала бы с тобой в Берген.

— Мне пришлось бы ответить тебе «нет»,— прошептал он.

— Почему?

— Я не могу жить с женщиной, все мысли которой заняты покойником!

Она ударила его с такой силой, что оба упали на койку. Потом она подняла обе руки и ударила снова. Сперва одной рукой, потом — другой. Его рюмка скатилась на пол. По звуку Андерс понял, что она не разбилась. Не успев опомниться, он навалился на Дину всем телом. Он даже покрылся испариной, заламывая ей руки за спину, она затихла.

— Вот так-то лучше,— прошипел он.

Дина лежала под ним! Он не знал, кого из них бьет дрожь. Может, обоих?

Она не двигалась. Сперва он притворился, что не замечает этого. Ему хотелось продлить мгновение. Потом его руки разжались, он отпустил ее и встал. Пристыженный, не глядя на Дину, он оправил на ней платье.

— Извини меня,— пробормотал он, ощупью добрался до двери и вышел.

Уже на палубе его стало трясти. Дрожь началась с колен и поднималась все выше. Он хотел заправить рубаху, которая во время борьбы вылезла из штанов, но руки не слушались. Ему пришлось ухватиться за поручни. Прошла целая вечность, прежде чем он смог вздохнуть. Тут он услышал тихий голос Дины:

— Андерс!

Он вскинул голову, не спуская глаз с горных вершин. И снова услышал очень отчетливое:

— Андерс!

Одно мгновение он чуть не бросился обратно в каюту. Но что-то удержало его.

— Все в порядке! — хрипло крикнул он.— Я позабочусь о Рейнснесе!

Потом он спрыгнул за борт и вброд пошел к берегу.

Шлюпка с Вениамином чуть не опрокинулась течением. Вениамин окликнул Андерса.

Андерс скользил на обледеневших камнях, с трудом передвигал ноги и рвал водоросли, которые пытались затянуть его вниз. Когда он поднимался по аллее к дому, с него бежали потоки воды. Мокрый до нитки, он шел через двор у всех на виду. Целеустремленно, точно морж в брачный период, пыхтя и отплевываясь.

Таким Андерса не видели еще никогда. И дело было не только в том, что ниже пояса он был весь мокрый и на ботфортах у него болтались зеленые водоросли. Андерс был вне себя. Или его состояние можно было назвать иначе?

Впервые Андерс ушел на Лофотены, не испытывая при этом никакой радости. Не думая о предстоящем возвращении домой. Он проклинал себя, что не сумел поступить иначе. И вместе с тем ему было ясно, что все эти годы он жил мечтой.

Но одно дело — мечта. Другое дело — жизнь. Он всегда знал, что Дина не для него. Он мог провести шхуну и в шторм, и в снежную бурю и благополучно доставить ее в порт, но не мог сознательно пуститься в дальнее плавание на судне, у которого не было руля.

А ведь все обстояло именно так! Ладно, пусть она едет в Копенгаген, а он — на Лофотены.

Глава 6

Вениамину повсюду мерещились покойники. Их мертвые лица. Сами по себе они были не такие уж и страшные. Во время забоя скота убитые, непоправимо изуродованные животные выглядели куда страшнее. Лицо покойной матушки Карен походило на белую матовую вазу, что стояла на буфете в столовой. Прозрачная глазурь была покрыта беспорядочным узором, нанесенным желтоватыми штрихами. При желании он так отчетливо представлял себе лицо матушки Карен, что уже не думал о том, что тело ее умерло и больше не существует.

С русским все было иначе. Русский кричал, хотя лица у него не было. Поэтому отделаться от него было невозможно. Он был непоправимо изуродован, как забитая скотина.

Если на обед подавали мясо, Вениамин представлял себе, что Олине,

потихоньку от всех, готовит из русского разные блюда. Он не знал, почему ему в голову лезут такие мысли, но Олине казалась ему чудовищем. Чувство это бывало таким сильным, что в животе у Вениамина начинало бурлить, и он, извинившись, бежал в отхожее место.

Когда Олине таким образом извела уже всего русского и остались лишь голова да сапоги, Вениамин решил, что наконец-то избавился от него. Но русский возродился целехоньким в голове Вениамина. Его сапоги скрипели по ночам, заставляя Вениамина ворочаться в кровати, а крик был похож на крик привидения.

После таких ночей Вениамин часами сидел в комнате матушки Карен и пустыми глазами смотрел на свои ногти. Пока кандидат Ангелл или кто-то другой не требовал, чтобы он наконец занялся делом. По утрам, до того как начинали топить печи и в комнате стоял ледяной холод, Вениамин представлял себе, что он монах, искупающий в келье свой грех. Грех за русского.

Каждый день имел свои приметы. Вениамин вычитывал их в старинном календаре матушки Карен. Собственно, это был не календарь, а кусок пергамента с надписями и беспомощными рисунками, вставленный в рамку. Этот календарь всегда висел у матушки Карен над секретером.

В первый день нового года, еще задолго до возвращения солнца, Вениамин встал пораньше, чтобы посмотреть, нет ли на небе красноватого зарева. «Красное небо утром в первый день нового года сулит страшное несчастье, а то и войну» — было написано в календаре.

Вениамин вздохнул с облегчением, обнаружив за окном снегопад, даже сосульки чувствовали себя неуютно.

Он не знал, что такое война, о которой все говорили. Но ему было ясно: на войне люди гибнут как мухи. И не только в бою, когда им дырявят головы. Андерс говорил, что во время войны не меньше людей умирает от голода.

Вениамин сам видел оборванных, изможденных людей, которые бродили по стране и ели все, что попадалось под руку. Однако война тут как будто была ни при чем. Какая же это война без кавалерии и военных мундиров?

Несколько раз ему удавалось представить себе солдат. Они лежали на поле боя с кровавыми дырами в головах.

Но что-то тут было не так. В ту зиму война стала как будто неопасной. Почти такой же мирной, как церковная служба. Особенно если учесть, каково на войне в действительности. Вениамин расставлял оловянных солдатиков, подаренных ему Андерсом. Но это было совсем не то. Тогда он смахивал солдатиков в угол и брал книгу, в которой рассказывалось о приключениях в лесных дебрях Америки.

Весь февраль он внимательно следил за светом, ползущим по подоконнику в комнате матушки Карен. Он сидел на полу и терпеливо ждал, когда луч коснется его босых ног. Вениамин вдруг понял, что раньше никогда по-настоящему не видел солнца.

С одной стороны, в солнце было что-то торжественное, с другой — оно внушало такой ужас, что хотелось плакать. Подобное чувство он испытывал на кладбище, когда смотрел на могильные камни, а люди кругом болтали о чем попало. В такие минуты ему казалось, что только он один по-настоящему знаком со смертью.

Вениамину страстно хотелось поговорить с кем-нибудь о солнечном свете, но слова застревали у него в горле. Нечего было и пытаться.

Однажды он признался Ханне, что всегда считает до ста, когда идет в темноте до уборной, и до тысячи, если осенним или зимним вечером ему нужно дойти до летнего хлева. Это был закон. Объяснить его Вениамин не мог. Но знал, что если он, досчитав до ста, не успеет закрыть задвижку на двери уборной, на него ополчится вся нежить земная. И тогда, кто знает, чем дело кончится. Растолковать все это Ханне он был не в силах. Однако она внимательно слушала его и моргала длинными ресницами.

— Без уборной, конечно, не обойдешься. Но зачем тебе ходить в летний хлев, если ты так боишься темноты? — спросила она.

— Нужно время от времени навещать место, где ты родился,— ответил Вениамин и дунул в щель между сомкнутыми ладонями, где была зажата прошлогодняя травинка. Раздался писк, будто взвизгнул поросенок, которого хлестнули прутом.

— Ты не должен говорить, что родился в летнем хлеве. Это кощунство. Так считает Олине.

— А я и не говорил. Ты сама спросила. Чего стрекочешь как сорока!

Ему следовало предвидеть, что она ничего не поймет. Она всегда видела в его словах что-то дурное или извращала их до неузнаваемости. Ханна ничего не понимала в нежити и ее повадках. Он тут же раскаялся в своем признании. Вдруг в один прекрасный день она подстережет его и собьет со счета, лишь бы увидеть, что произойдет, если он не досчитает до ста? С нее станется.

Но Ханна не знала, что он познакомился с солнцем и собирается сосчитать шаги до сапог русского, которые все еще валялись в вереске.

24 февраля Вениамин прочел в календаре: «Маттис ломает лед. Если льда нет, он сделает лед».

Вениамин ждал, что Андерс подаст о себе весть. Все отцы подают о себе весть. Но писем не было. Вениамин понял, что Андерс молчит, потому что рассердился на Дину в тот день, когда они готовили шхуну к отплытию на Лофотены.

Он ломал себе голову, пытаясь понять, что имел в виду Андерс, когда крикнул Дине, что позаботится о Рейнснесе, и почему он не дал себе труда написать Вениамину письмо.

Никто прежде не видел, чтобы Андерс прыгал в море. Тут было чего испугаться: высокий, сильный человек бредет к берегу в ледяной воде, которая доходит ему чуть ли не до подмышек. И ведь в том не было никакой надобности — Вениамин был рядом со своей шлюпкой и ждал, чтобы перевезти их на берег.

А потом Андерс ушел на Лофотены. Конечно, он попрощался с Вениамином и даже ущипнул его за щеку, но Вениамин не усмотрел в этом доброго знака.

Там, где была замешана Дина, все всегда шло шиворот-навыворот, и не только у него одного. И тем не менее ему очень хотелось, чтобы Андерс прислал с Лофотенов письмо.

Но от Андерса не было ни слуху ни духу. Вообще-то Андерс был не из тех, кто долго сердится, и Вениамин решил, что на Лофотенах уже начался конец света. Он пытался расспросить Дину, но она сказала, что Андерс никогда не писал писем. Ее тон лишь подтвердил его догадку о конце света.

«Если льда нет, он сделает лед»! Вениамин толковал эти слова так, будто матушка Карен ждала от него великих подвигов. И это вызывало в нем чувство усталости. Но не той усталости, от которой просто клонит ко сну. От своей усталости он был не способен даже испытывать страх.

Но дело было не только в русском, который кричал и днем, и ночью. Вениамина раздражало, что Дина все время возится со своим дорожным сундуком, выдвигает и задвигает ящики комода. Однажды, услыхав, что она в зале, он ворвался к ней не постучавшись. Она склонилась над сундуком и складывала туда вещи. Он налетел на нее с кулаками, выкрикивая злые слова, которые сам тут же забывал. Кажется, он кричал, будто она хочет бросить его с русским один на один, хотя наступает конец света. Дина молчала. Он этого не ждал. Но ледяной холод, который она излучала, придавил его своей тяжестью. Он немного успокоился, лишь когда увидел, что она снова убрала сундук в чулан Иакова.

Забыв о том, что он с Фомой в ссоре, Вениамин спросил у него, неужели на Лофотенах у людей не бывает свободной минутки, чтобы написать домой хотя бы два слова. Фома как будто не понял его. Во всяком случае, он буркнул в ответ что-то невразумительное — мол, на Лофотенах люди часто забывают послать весточку домой по той или по иной причине.

— Андерс не такой! — сказал Вениамин.

— Твой Андерс ничем не лучше других,— усмехнулся Фома.

— А может, они потерпели кораблекрушение?

— Ну, об этом-то нас бы уже известили,— решительно заявил Фома.

После этого разговора Вениамин не мог заставить себя приходить к Стине и Ханне, если знал, что Фома дома.

Календарь показывал уже равноденствие: «На Грегора день и ночь сравняются друг с другом». А от Андерса по-прежнему не было ни слуху ни духу.

Андерс пытался представить себе Рейнснес без Дины. Как он будет проводить дни и ночи. Пытался убедить себя, что мысль об одиночестве за обеденным столом не внушает ему страха. Раньше такие мысли мало занимали его. Теперь он засыпал и просыпался с думой об этом.

«Главное, чтобы в стене был крючок для куртки! — говорил он себе и добавлял: — Дело не в том, как человек живет, а в том, как он к этому относится. Вот в чем суть». Вооружившись этой мудростью и утешаясь ею, он еще на Лофотенах собрался пораньше отправиться в Берген. Пытался вызвать в себе тоску по долгому пути на юг. И увещевал себя, что одна беда — не беда.

Тем не менее, когда они вошли в пролив и почувствовали себя дома, берег, помимо его воли, показался Андерсу темным. Он повернул штурвал, снял зюйдвестку и засвистел, как обычно, когда они подходили к Рейнснесу.

Сперва он решил, что Дина ему пригрезилась. Но вот Антон сказал: «Никак это Дина сама стоит на причале»,— и Андерс точно проснулся. Да, это была Дина. Андерс не верил своим глазам. Ведь он всегда считал, что Динино слово незыблемо.

Он привык подлаживаться к временам года и к ветру. Это было не просто, но отгоняло посторонние мысли. Появление же на причале Дины словно без предупреждения поменяло местами зиму и лето.

Андерс постарался держаться как ни в чем не бывало, он всегда так держался на людях. Он улыбнулся Дине и поздоровался с ней за руку. Но тут же повернулся к Вениамину, спросившему, почему он не писал.

— Какой из меня писака! — отшутился Андерс.

Он предоставил заботы о шхуне другим, обнял Вениамина за плечи и ушел с ним с причала, толкуя о каком-то пакете, который привез с собой. Уйти с причала иначе он не мог.

На кончиках черных ветвей висели замерзшие капли. В навозе, разбросанном на полях, копались вороны. Приближались более светлые дни.

Вениамин засыпал Андерса вопросами. Андерс, смеясь, отвечал ему. Он слышал, что Дина идет за ними. Должно быть, у нее были новые башмаки. Они поскрипывали при каждом шаге. Но он не оглядывался.

Ящики со свежей треской вызвали всеобщий восторг, треску разделили между арендаторами и старыми покупателями. Бочки с соленой треской должны были опустить в погреб. Несколько ящиков трески предназначались для сушки или слабого посола. Рыбаки рассказывали, сколько у них рыбы сушится на Лофотенах, и гордо похлопывали себя по карманам.

Постепенно у причалов собралось множество лодок. Все, кто видел, как мимо прошли «Матушка Карен» и карбас, тут же поспешили в Рейнснес. Чтобы, как говорится, посмотреть, не завелись ли вши у рыбаков, вернувшихся с Лофотенов, и какой длины выросли у них бороды.

Торжественно отпраздновали возвращение. Мужчины рано разошлись на покой. В большом доме ночевал только штурман Антон. Остальные разъехались по домам или ушли ночевать к работникам.

У кандидата Ангелла было несколько свободных дней, и он уехал в Странстедет. Служанки еще гремели на кухне посудой, а Вениамин уже ушел к себе в штурманской фуражке, которую ему привез Андерс. В этой фуражке он сидел даже за столом, но никто не сделал ему замечания по этому поводу.

Антон несколько раз зевнул и пожелал всем доброй ночи. Половицы на втором этаже заскрипели под его ногами.

Дина по обыкновению расположилась на кушетке, раскинув на спинке руки. Недокуренная сигара лежала в пепельнице. Глаза у Дины были прикрыты. Андерс кашлянул, потом спокойно сказал, что не прочь допить тот ром, который ему не удалось выпить перед Лофотенами.

Дина удивилась, но не подала вида и позвала из буфетной Теа.

Усталая Теа заглянула в дверь.

— Андерс хочет выпить рома,— сказала Дина.

Теа с удивлением посмотрела на бутылку, стоявшую рядом с Диной, но принесла рюмки и разлила ром.

— Можно мне пойти спать? — спросила она, сделав реверанс.

— Об этом ты спроси у Олине,— ответила Дина.

— Она уже спит.

— Тогда и ты можешь идти спать. Спасибо тебе. Сегодня был трудный день,— мягко сказала Дина.

Теа быстро подняла на нее глаза.

— Большое спасибо.— Теа наградила их беглой улыбкой, снова присела в реверансе и ушла.

— Смотри, какие уже светлые вечера,— весело сказал Андерс.

Дина промолчала.

Андерс невольно закашлялся. Потом заговорил о том, сколько они заработали на Лофотенах. Хотел тут же показать Дине счета, чтобы она их проверила.

— Цифрами мы займемся завтра,— сказала Дина.

Потом она встала и пошла к столику, на котором стояла коробка с сигарами. Андерс хотел напомнить ей, что у нее уже лежит недокуренная сигара. Проходя мимо него, она ударила его по плечу. Совсем как в былые времена. Тогда ее не смущали даже посторонние. Так было до смерти русского.

Андерс слишком долго спал в холодной каюте и работал на морозе без рукавиц. Глаза его скользнули по Дининым щиколоткам — садясь, она не потрудилась поправить юбку. На ней были легкие туфли. Из-под юбки выглядывала стопа с высоким подъемом. Все это подействовало на Андерса.

Он смотрел на Динины ноги и небольшими глотками пил ром. Потом понял, что надо что-то сказать, откинулся на спинку кресла и поглядел на Дину.

— Много гостей приезжало в Рейнснес, пока нас не было?

— Как обычно зимой, не больше.— Она ответила на его взгляд.

— А в остальном? Все в порядке?

— Как обычно.

Дина глубоко, с удовольствием затянулась новой сигарой.

— Ты так и не уехала?

— Нет.

— Почему?

— Поняла, что лучше подождать. По крайней мере до лета. Но я поеду с тобой в Берген.

Со стены за ними наблюдали часы. Маятник мешал Андерсу думать.

— Это из-за Вениамина...— сказала Дина.

— Я рад, что ты передумала!

Собственные слова удивили его. Неужели это произнес он?

— Мне не следовало говорить того, что я сказал тебе на шхуне,— проговорил он.

Она пожала плечами и выпустила дым, следя за ним широко открытыми глазами.

— А мне не следовало бить тебя! — Она не смотрела на него.

— Я, признаться, не ожидал... У тебя тяжелая рука!

Он хотел улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Вениамин сказал мне, что ты обещал быть ему отцом?

Андерс медленно залился краской, но кивнул.

— Ему так хотелось...

— Ясно.

Маятник продолжал терзать Андерса.

Нервы у него были как старые пересохшие просмоленные нитки. Только бы они выдержали. Ему казалось, он висит на волоске. Он набрал полные легкие воздуха.

— Ты кое о чем спросила меня перед моим отъездом. Впрочем, может, теперь уже не стоит говорить об этом?

Дина подняла голову.

— Я там думал над этим... И решил, что приму твое предложение.

— Андерс?

Их разделяла курительная комната. Ковер, который матушка Карен привезла из Копенгагена. Пушистый, с узором из стеблей оливкового и бордового цвета. Андерс сидел возле столика с сигарами. Дина — на кушетке спиной к окну. Луны не было. Только чистое синее окно.

— Да?

— Ты понимаешь, что говоришь? — прошептала она через минуту.

Он кивнул, прокашлялся. Но не шелохнулся.

— Ты понимаешь, что́ ты получишь?

— А уж это ты должна мне объяснить.

— Не знаю, могу ли я дать тебе что-нибудь.

Она по-прежнему говорила шепотом, словно у обитых шелком стен были уши.

— Поживем — увидим,— сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней.

— Непохоже, чтобы ты очень обрадовался.

— Я еще не разобрался. Столько лет я даже думать не смел об этом...

— Ты считаешь, у нас получится?

— Все зависит от тебя...

Дина отложила сигару и подошла к Андерсу. Он обнял ее, положил ее голову себе на плечо и робко погладил по волосам.

— Я хорошо вымылся или от меня еще пахнет рыбой?

— От тебя пахнет Андерсом.— Она прижалась к нему.

— Откуда ты знаешь, как пахнет Андерс?

— Теперь знаю.

— Много же тебе понадобилось времени, чтобы это узнать.

— Сколько понадобилось, столько понадобилось. Ты все еще мой брат?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это слишком много для одного человека.

Андерс сидел в курительной комнате в Рейнснесе. Он с детства мечтал, что когда-нибудь станет здесь хозяином. Курительный столик с подставкой для трубок и коробкой с сигарами. Горка со старинными голландскими рюмками. И вдруг он понял, что все это не имеет никакого значения. Выходит, счастье не в вещах?

Он чувствовал идущее от Дины тепло. Прижимался щекой к ее голове. Перед глазами у него проносились картины. Дина и Иаков. Дина и русский. Дина, отгородившаяся стеной музыки.

— Я должен задать тебе один вопрос,— сказал он.

— Задай.

— Ты покупаешь меня, Дина?

— Ты так считаешь?

— Нет, но люди будут считать именно так.

— Какие люди?

— Те, которые думают, что между нами уже давно что-то есть.

— И чем же я плачу в таком случае?

— Рейнснесом.

— А я сама? Что я приобретаю взамен? — Она высвободилась из его объятий и встала.

— Ты получаешь мужа, который возьмет на себя заботу о Рейнснесе. И о твоем сыне.

— Андерс! Почему ты заговорил об этом именно сейчас?

Она стояла перед ним стиснув руки. Он опустил голову и не смотрел на нее.

— Чтобы ты сказала мне все как есть.

Эти слова прокатились эхом по всем укромным уголкам.

В дыхании Дины слышались всхлипы, которые выдавали ее волнение.

— Ты думаешь, я у тебя в руках? — Дина проплыла обратно к кушетке.

— Нет. Но я уже не так молод, чтобы, не зная фарватера, в туман выходить в море на открытом карбасе. Поэтому мне нужно знать, как ты смотришь на наш брак. Мне ни к чему этот дом с его серебром, бархатом и плюшевой мебелью. Если у меня на карбасе есть парус и весла, мне больше ничего не требуется.

— Прекрасно! — сказала Дина, глядя на хрустальную люстру.

— Дина, я вовсе не принуждаю тебя сказать, что ты меня любишь. Я только хочу знать... Ведь это уже на всю жизнь...

Она пошарила в поисках погасшей сигары, нашла ее. Пальцы у нее немного дрожали, она была очень бледна. Андерс встал и дал ей прикурить.

Маятник часов продолжал взывать к нему.

Андерс понимал, что ему до боли хочется услышать от нее, что она его любит. Чтобы избавиться от этой мысли, он спросил:

— Какой был Лео? Что он тебе обещал?

Андерс вернулся на прежнее место. Дина все еще молчала. Чего он ждал? Вспышки гнева? Презрения из-за слишком рано проявившейся ревности? Чего угодно. Но только не того, что случилось.

Дина поджала под себя ноги и обхватила плечи руками. Несчастный живой клубок.

Андерс снова подошел к ней и спас ее волосы от дымящейся сигары.

— Дина,— тихо позвал он и опустился перед ней на колени.

Сперва он положил руку на кушетку. Но этого было мало. Тогда он просто обнял ее.

— Дина, не молчи... Только, пожалуйста, не молчи! Слышишь!

Она была как старая шарманка, которая слишком долго стояла на холоде. Теперь ее внесли в дом и стали быстро крутить ручку.

— Если тебе хочется плакать, плачь, но только скажи хоть слово! — молил он.

— Его больше нет здесь,— жалобно проговорила она.— Он исчез! Другие остались, а он исчез! Можешь объяснить мне, почему так случилось? Я думала, он принадлежит мне... Но я ошиблась...

— Ты хотела бы, чтобы он был сейчас здесь?

— Да.

— Кто эти другие, о ком ты говорила?

Она помотала головой, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Почему ты выбрала меня, Дина?

— Потому что мне давно следовало выбрать тебя.

— Как давно? — хрипло спросил он.

— Вениамин прав. Мне следовало выйти замуж за тебя, а не за Иакова!

— Неужели тебе так легко полюбить, Дина?

— Полюбить? — удивленно переспросила она.

— Да, а как еще можно назвать это чувство. Ведь я для тебя лишь человек, который иногда жил в доме Иакова.

— А ты сам? Когда ты понял... что это любовь? Я знаю одно — ты всегда старался держаться подальше — так, чтобы не обжечься.

— Я и не думал, что такое возможно... Разве ты подала мне когда-нибудь хоть один знак, а я его не понял? Может, очень давно?

— Ты всегда налетал точно ветер. Не успеешь привыкнуть, что ты сидишь с нами за одним столом, как ты уже в море за много миль отсюда.

— Когда ты первый раз обратила на меня внимание? Я имею в виду...

— Когда мы ездили в Берген. Я не знала, какое это будет иметь для меня значение. Кроме того...

— Кроме того, у тебя был Лео?

— Да,— жестко сказала она.

Он встал, стараясь сохранить чувство собственного достоинства. Вряд ли оно пострадало бы, если б он сам посмеялся над собой. Но он этого не сделал.

— Кого ты сейчас видишь перед собой?

— Когда ты встал на колени, я подумала, что ты хочешь посвататься ко мне.

— Кого ты сейчас видишь перед собой? — повторил он.— Меня или русского?

— Может, уже довольно, Андерс? Или ты хочешь заставить меня вылизать языком все половицы, по которым ходил Лео?

— Если бы речь шла только о половицах...

— Если речь идет обо мне, то я считаю, что вылизывать половицы следует тебе,— процедила она сквозь зубы.

И исчезла прежде, чем он успел опомниться.

Ночью Андерсу снилось, что русский в тяжелых сапогах ходит по коридору и собирает все, что имеет отношение к Дине. Поднятые вверх уголки губ, которые так красиво изгибались при улыбке. Завитки волос. Груди.

Русский запихивал частицы Дины в свой саквояж и тащил их за собой. Даже во сне Андерс жалел, что русский уже мертв, что нельзя вышвырнуть его за дверь.

Он проснулся оттого, что юго-западный ветер стучал в окна. Полежал, чувствуя усталость во всем теле, так всегда бывало после возвращения с Лофотенов. Потом вспомнил: он дома! Вспомнил вчерашний вечер.

Что бы с ним ни случилось, Андерс каждый день встречал с надеждой. И дневной свет играл тут не последнюю роль.

Андерс съездил на шхуну за счетами и накладными. Потом подкараулил, когда Дина пошла в контору. Документы он нес в клеенчатом портфеле под мышкой, чтобы приказчик в лавке и горстка покупателей, подпиравших там стены, видели, что он идет по делу.

Дина подняла голову, когда он открыл дверь.

— Андерс! — воскликнула она.

На всякий случай он закрыл дверь. Готовый к буре и к чему угодно.

— Хочешь прямо сегодня заняться делами? — спросила она.

— Да. Пусть это будет уже позади. Может, мы хоть из-за этого не поссоримся.

— А разве мы поссорились?

— По-моему, да.

— Из-за чего же?

— Не могли решить, кому из нас, тебе или мне, наводить чистоту после Лео.

Он видел, как ее глаза сузились и руки схватили лежавшие на столе бумаги. Поэтому быстро продолжал:

— Я понял, что сделать это следует мне! И если ты не против, я сразу же приступлю к делу. Дина Грёнэльв, согласна ли ты выйти за меня замуж?

Она вскочила, точно солдат, услыхавший команду.

— Да! — выдохнула она почти сердито.

Андерс не знал, куда вдруг пропали его руки. А найдя их, сделал то, чего еще накануне ни за что не позволил бы себе. Он подошел к шкафу, где у Дины хранились рюмки и ром, которым обмывались сделки, и протянул ей пустую рюмку.

— Держи!

У обоих слегка дрожали руки. Андерс налил всклень, ром побежал у нее по пальцам. Он наклонился и слизнул его.

Дина не шелохнулась. Время остановилось. Раньше он не позволил бы себе ничего подобного.

— Я сразу же и начну,— проговорил он, не отнимая губ от ее руки.— Должен же я наконец выпить тот ром, который ты обещала мне еще перед поездкой на Лофотены!

— Если мы так будем пить ром, то скоро разоримся,— заметила Дина.

— Значит, разоримся! — согласился он.

Андерс распрямился и встретился с ней глазами, увидел ее губы. Но не коснулся ее. Они долго смотрели друг на друга. Потом Дина начала смеяться, и по лицу у нее потекли слезы.

В лавке слышали, как они смеются над счетами. Сперва послышался низкий смех Дины, потом раскатистый хохот Андерса. Видно, прибыль пришлась по душе им обоим.

Глава 7

Весть о том, что Дина выходит замуж за Андерса, успокоила людей. Всех, только не Олине.

— Что знаю, то знаю. И никого это не касается,— твердила она, делая вид, что давно все знала. Но если говорить правду, она даже не подозревала о намечавшемся событии. Его не предвещали ни ночные хождения, ни переглядывания, ни мимолетные ласки. Известие о Динином замужестве Олине восприняла как измену. И еще не созрела для прощения.

Возможность вернуть себе утраченный авторитет предоставилась ей, когда Теа сообщила, что молодые будут спать не в зале, а во второй по величине комнате, в которой спал Юхан, когда последний раз жил дома.

Сперва Олине сокрушалась из-за несообразительности моряков: неужели не ясно, что кровать с пологом в ту комнату просто не поместится.

Но Андерс объяснил ей, что со следующим пароходом из Тронхейма прибудет новая кровать. Не такая большая. Олине хотела возразить, но промолчала. Этот человек просто издевается над ней! Заказана новая кровать! А ей даже не сказали, что надо шить новые простыни и пододеяльники! Порядочные люди так не поступают!

Андерс выразил сожаление — он не знал, что все это так важно. Он в таких делах не разбирается.

— Но она-то должна разбираться! Мужчине простительно и не сообразить, что к чему. Теперь-то ты понимаешь?

— Не сердись, Олине! Всегда можно найти какой-нибудь выход,— добродушно сказал Андерс.

— Я сама поговорю с ней об этом. Нужно безотлагательно пригласить белошвейку!

— Но ведь в доме полно белья! Неужели нельзя...

— Боже милостивый! Мы как-никак готовим постель для молодоженов, а не койки для твоих матросов! Ясно? И пробст должен сперва сделать оглашение. Неужели ты совсем ничего не понимаешь?

Прелюдия семейной жизни Андерса и Дины не имела свидетелей.

Однажды вечером, когда все уже улеглись и в доме воцарилась тишина, Дина пригласила Андерса к себе в залу. Андерс сидел и с просветленным лицом слушал Мендельсона.

Комната слушала виолончель с задернутыми портьерами. Андерс сидел в простенке между окнами на кончике стула.

Сквозь густые светлые ресницы он смотрел, как руки и пальцы Дины летают по струнам. Водят смычком. Пальцы левой руки, точно маленькие зверюшки, сновали по струнам, а потом, дрожа, замирали на месте. Чтобы вскоре снова совершить прыжок на свободу. Выражение ее лица тронуло Андерса. Он был очарован и не мог противиться этому чувству, хотя ничего не понимал в музыке.

При виде Дины, которая, откинув голову, ловила ритм и потом переда-

вала его инструменту, в нем всколыхнулась прежняя тоска. Лицо ее сияло, губы шевелились, словно с них срывался короткий, сдавленный стон.

Но вот Дина опустила руку со смычком к полу, и портьеры с пологом поглотили последние звуки. Наклонившись вперед, она как будто чего-то ждала.

Наконец, не глядя на Андерса, она отставила виолончель.

— Слушать музыку — это как утешение...— тихо произнес он. И тут же пожалел о своих словах. Они прозвучали так, словно он обращался к чужому человеку, который развлекал его из вежливости.

— Ты узнал, что я играла?

Он покачал головой и ждал, что она сама скажет ему это. Но она молчала. Он растерялся. Ее молчание не предвещало ничего доброго. Ведь он не знал, что́ она играла. Наверное, она сейчас думает: даже этого он не знает...

— Уже поздно. Мы мешаем спать Олине и девушкам.— Андерс встал, собираясь уйти.

Дина с усмешкой повернулась к нему:

— Ты все откладываешь до свадьбы, Андерс?

Безжалостный весенний свет проник сквозь тяжелые портьеры, на щеки и шею Дины легли черные тени.

Она стояла слишком близко к нему. Он был не в состоянии поднять руки и прикоснуться к ней. Половицы ухватили его за ноги, цветочные стебли соскользнули с обоев и обвились вокруг шеи. Ему нечего было ответить ей.

Поэтому он взял ее за руку и решительно повел за собой. В темный коридор, где отблеск горящей на лестнице лампы осторожно крался по стенам.

У себя в комнате Андерс отпустил Дину и задернул занавески. Он видел все поры у нее на лице, усаживая ее на свою кровать.

— У тебя слишком узкая кровать, Андерс,— прошептала она.

Он заметил ее взгляд, брошенный на стену, и вспомнил, что за этой стеной спит Вениамин. Но она промолчала.

— Главное — не кровать, а мужчина,— тоже шепотом проговорил он, садясь рядом с ней.

— Ишь какой ученый!

— Не ученый, я еще только собираюсь учиться.— Он обхватил рукой ее волосы, словно хотел их взвесить.

— У меня в зале удобней,— сказала она.

— Тебе — да, но не мне.

— Что ты имеешь в виду?

Обеими руками он осторожно сжал ее голову. Попробовал что-то сказать. Сдался. Снова набрал в легкие воздуха. И наконец произнес небрежно, точно говорил о самой обычной вещи:

— Сколько человек, Дина, находили блаженство в твоей кровати или лежали там в ожидании последнего пути?

Он тяжело дышал. Но все еще держал ее голову обеими руками.

— Андерс! Опять? Ведь ты знаешь, что я была замужем!

— Знаю.

— Ну так в чем же дело?

— А твоя морская болезнь в Фолловом море? Это что, был подарок от Иакова, полученный спустя столько лет после его смерти?

Она вырвалась из его рук и фыркнула.

— Выкладывай все свои претензии и покончим с этим! Но сперва я хочу спросить у тебя. Скажи, я когда-нибудь донимала тебя расспросами, чем ты занимаешься по пути в Берген? Я припирала тебя к стенке за то, что у тебя была своя жизнь до того, как мы с тобой договорились жить вместе?

Он покачал головой.

— Нет, никогда. Но я не тот человек, который может делить кровать с русским. Даже если я согласился разделить с ним тебя!

Он ждал, что она ударит его. Вспомнив прошлый раз, он быстро

прикрылся рукой. Но лицо у нее было такое, словно она сидела в море на скале и сквозь туман смотрела на него.

Он обнял ее.

— Я не хотел сейчас ссориться из-за этого. Но я чувствую, что гибну.

Она промолчала. Однако что-то, должно быть, поняла, потому что крепко прижалась к нему. Он сидел и покачивался вместе с ней.

Потом начал расшнуровывать ее ботинки. Руки его скользнули по ее щиколоткам, икрам, бедрам. Головы их столкнулись.

Он медленно поднял ее юбки и уложил их красивыми складками вокруг ее бедер. Словно сдавал экзамен на мастера.

С улыбкой он разглядывал кружева на ее нижней юбке, а потом уткнулся лицом ей в колени. Как странно, он всегда знал ее запах. Но теперь этот запах предназначался только ему. И запах, и теплая кожа под тонкой тканью, к которой прижималось его лицо. Он слышал, как кровь стучит у нее в жилах и переливается в него.

Потом он почувствовал на себе ее руки. Она снимала с него одежду. Точно давно уже знала все пряжки и пуговицы на его платье. Заставив его встать с кровати, она ждала, что последнюю одежду он снимет сам. На мгновение она отстранилась и оглядела его. Как будто что-то искала на его теле. Родимое пятно или какой-то шрам. Кончики ее пальцев легко пробежали по его чреслам, и она сказала глухим голосом:

— Я всегда знала, что у тебя красивое тело, Андерс.

Он беззвучно смеялся. Кожа его покрылась пупырышками. Каждое ее прикосновение дарило блаженство. Он спрятал лицо у нее на шее и закрыл глаза, скользя пальцами по ее коже. В нем вспыхнула хрупкая радость. Потом он уже потерял власть над проснувшейся в нем силой. Комната закружилась.

Простыни были гладкие и прохладные. Андерс натянул перину на Дину и на себя. Хотел согреть ее. Защитить. Но прежде всего хотел овладеть ею.

Узкая холостяцкая кровать плыла в мироздании самостоятельным небесным телом. Дина была с ним! И его тревога, вызванная опасением, что он не сможет парить вместе с ней, постепенно утихла.

Накатила большая волна. Могучая и неодолимая. Она пенилась, играла, и наконец Дина, рыкнув, тяжело обмякла у него в руках. Он не знал, что и с женщинами бывает такое. Думал, что это удел только мужчин. Все его понятия перепутались.

Когда волна отхлынула, на берегу остались обломки, благоухающие водоросли и мокрые круглые камни. И тяжелое дыхание. Мучительно тяжелое дыхание, выпадавшее росой на все ровные поверхности.

Слушая ночные звуки, долетавшие из комнаты Андерса, Вениамин наконец понял, для чего существуют отцы. Он засыпал с Андерсом, а просыпался с русским.

Среди этих звуков он находил и Дину. На зеленых, мокрых от дождя полях. С блестящими, черными, неподвижными слизняками.

Вот, значит, для чего существуют отцы! Таким образом, русский тоже был ему как бы отцом. Потому что до того, как все кончилось, Дина и он завязались там в вереске в один большой узел. Неужели то же самое было у нее и с Андерсом? Эта мысль тревожила Вениамина. Ведь так ведут себя только враги?

Из-за этих вопросов и черных слизняков он почему-то чувствовал себя виноватым. Должно быть, потому, что знал больше, чем Дина и Андерс. Гораздо больше. И не мог предупредить Андерса. Хотя он сам еще раньше выбрал его себе в отцы.

Он не спускал с Андерса глаз. Тот был в опасности. И не знал об этом.

Когда Дина положила руку ему на затылок и сказала, что они с Андерсом решили пожениться, Вениамин понял, что она хочет пощадить Андерса ради него.

Он судорожно глотнул воздух и кивнул. Она спросила, рад ли он этому известию.

— Так будет лучше,— сказал он.
— Лучше?
— Да, значит, он... не умрет.
У нее вдруг изменилось лицо, и он пожалел о своих словах. Но ведь она сама спросила его! Люди не должны задавать столько вопросов.
— Не умрет? — прошептала она, склонившись к его лицу.
Он снова судорожно глотнул воздуха и кивнул.
— Ты не должен думать о таких вещах!
— Должен, ты сама знаешь.
Он хотел пройти мимо нее.
— Но разве ты не рад, что он будет твоим отцом?
— Он уже давно мой отец. Но теперь он принадлежит и тебе,— буркнул Вениамин, не понимая, стоит ли это говорить.
— Ты не хочешь, чтобы мы поженились?
— Хочу, так будет лучше,— ответил он как взрослый.

Готовилась пышная свадьба. В Грётёй, Хьеррингёй, Тьелдёй, Трондарнес, Бьяркёй и Странстедет были разосланы приглашения. Пригласили и Юхана, и он обещал приехать.
Май заколдовал скалы и творил чудеса на полях. Он играл в заливах и падал на землю солнечным светом и дождем.
Супружескую кровать поставили там, где приказал Андерс. И невеста не бегала по комнатам в панталонах и не пряталась от жениха на дереве. И матушка Карен не плакала на лестнице из-за такого позора.
Борьба с устоявшимся в доме запахом сигар и мужчин казалась почти безнадежной. Олине наняла дополнительно пять девушек. Но покойный Иаков был безутешен и бродил из комнаты в комнату. Он путался под ногами у служанок, выпускал в комнаты дым из печей и разбрасывал по подоконникам дохлых мух. Хотя окна только что были вымыты с зеленым мылом.

В день свадьбы шел снег. Пролив был перегорожен белой стеной.
Утром Вениамин открыл у себя окно и засмеялся. Он ловил снежинки теплыми руками и смотрел, как они тают. Потом приложил к щекам мокрые ладони. В эту ночь русский забыл о нем.
За обедом он сидел между Дагни и женой пробста. Это было место для взрослых. Дина и Андерс сидели рядом в торце стола. Вениамин заметил, что Дина почти не ест. Но глаза ее улыбались.
Все последние дни Вениамин то радовался предстоящей свадьбе, то страшился ее.
С одной стороны, он был рад, что теперь-то Дина никуда не уедет. И не застрелит Андерса. Ведь она сама вышла за него замуж. С другой стороны, радость омрачалась непредвиденным обстоятельством: Вениамин оставался с русским один на один. Теперь Дине будет не до него.
От всех этих мыслей у Вениамина иногда темнело в глазах и становилось трудно дышать. Он жадно ловил все добрые знаки. Утренний снег показался ему хорошим предзнаменованием. В это время года снег обычно уже не идет. А все необычное чаще всего бывает к добру. Однако не всегда.
Страх не отпускал Вениамина, пока они не сели в карбас, чтобы плыть в церковь. Там на него снизошло «Торжественное». Взглянув на Андерса, он понял, что́ имела в виду матушка Карен, когда говорила о «Торжественном». Это было такое внутреннее состояние человека, которое вдруг проявлялось тем или иным образом. «Торжественное» Андерса проявилось в карбасе, когда он, сидя среди только что распустившихся листьев, обнял одной рукой Дину, а другой — Вениамина. Оно проявилось светом, игравшим на его скулах.
Вениамин не был уверен, что Дина это заметила.

А теперь все со счастливыми лицами сидели за свадебным столом. Дина, во всяком случае, выглядела необычно. В каком-то смысле лучше. С нею ни в чем нельзя было быть уверенным.

Юхан выглядел очень строгим. Но он нарочно напустил на себя эту строгость. Вениамин видел, что ест он с удовольствием.

Фома был молчалив и ел, стараясь соблюдать все правила приличия. Наливал себе мало и следил за тем, чтобы есть и пить так, как его учила Стине. Утром он брился с таким ожесточением, что все лицо у него было в кровавых порезах. Костюм, присланный из Тромсё по мерке, снятой Стине, жал ему в груди. Фома считал, что с них безбожно содрали за эту тряпку.

Он то и дело поднимал на Стине глаза — один голубой, другой — карий. И если она незаметно кивала, он знал, что все делает правильно. Он медленно и тщательно прожевывал пищу. И вообще ел даже красивее, чем жена пробста. Можно было только удивляться, как эта благородная дама быстро и жадно глотает еду.

Глава 8

Весна отступила и наказала всех, кто работал в поле. Листья перестали распускаться, и цветы закрыли свои бутоны.

Однажды все собрались в гостиной за круглым столом, над которым висела лампа. Андерс, Дина, Юхан, кандидат Ангелл и Вениамин. Вениамин решал примеры по математике, которые должен был закончить до ужина. Правая рука скользила по зеленой плюшевой скатерти, карандаш он держал в левой.

От него не укрылось, что кандидат Ангелл пытается поддакивать и Дине, и Юхану. Смешно, неужели он не понимает, что это невозможно? Кандидат Ангелл восхищался Юханом, потому что тот был пастором, и во всем ему поддакивал. Однако ему нравилась Дина, поэтому он соглашался и с нею.

Андерс прочел в «Тромсё стифтстиденде», что бергенские цены на рыбу уже определились. Нурланнская сайда дошла до девяноста шести скиллингов за вог [1]. Тресковая икра стоила шесть талеров тридцать скиллингов за бочку.

Юхан и кандидат Ангелл заговорили о русском царе. Это невероятно! Царь хочет отменить крепостное право, заявив, что лучше провести реформу сверху, чем она будет проведена снизу с бунтами и кровопролитием!

Кровопролитие! В этом слове было что-то страшное. Непредсказуемое. Оно застревало в горле и мешало дышать. Вениамин не мог понять, как русский царь может быть одновременно и добрым и опасным.

Андерс считал, что царь, бесспорно, действует умно. Но кандидат Ангелл не был в этом уверен. Он считал русских дикарями, с которыми можно справиться только силой.

Юхан сказал, что Крымская война и Парижский мир показали, что происходит в России. Русский народ был унижен и этой войной, и этим миром. Но империя сохранилась! Поэтому государству нужен царь, который превосходил бы обычные человеческие мерки.

Теперь уже Вениамину было точно не до примеров.

— Не понимаю, как это возможно,— вмешалась в разговор Дина.

— Что именно? — спросил Андерс.

— Быть царем и в то же время обладать обычными человеческими качествами!

— Цари так же едят, пьют и любят, как и все Божьи создания,— объяснил Андерс.

— Дина имела в виду любовь к ближним,— поправил его Юхан.

Андерс наморщил лоб.

— Хорошо, что у нас есть Юхан, он нам все объяснит,— улыбнулась Дина.

---

[1] Вог — старинная мера веса, равная 17,932 кг.

— А то как же,— добродушно согласился Андерс и погладил Дину по руке.— Я-то вообще считал, что без любви к ближнему нельзя быть человеком,— прибавил он.

— Грех и жестокость исключают любовь к ближнему,— заметил Юхан.— А вся история русских царей зиждется на жестокости.

— Грехов у всех хватает,— сказал Андерс.

— А как обстоят дела с грехами среди духовных лиц, милый Юхан? — спросила Дина.

Вениамин видел, что Юхану не по себе. Он вертел в руках щеточку, которой прочищают трубки. Стучал ею по кончикам пальцев, лицо его залила краска.

За столом стало тихо. Вениамин предпочитал не смотреть на собравшихся. Мало, что ли, с него примеров?

Дина вдруг заговорила таким тоном, как будто вспомнила, что ей надо выяснить с Юханом один вопрос:

— Вот бы поехать туда и увидеть все своими глазами! Это такая большая страна... Она непостижимо богата. Не только землей и сырьем. Там замечательное искусство. И музыка! У нас же все измельчало — и люди, и грехи. Нас просто душат эти мелкие грехи!

Зачем она это сказала? Вениамин решил, что она хочет уехать.

Правда, не думает ли она уехать? В страну русского? Боже всемогущий! Господи, ведь ты знаешь, что «Торжественное» Андерса может снизойти на них всех. Скажи ей, что она не должна уезжать! А то здесь случится неурожай, голод, и весна никогда не начнется.

Понимает ли Господь такие неоспоримые истины?

Вениамин должен был найти что-нибудь, что заставило бы Дину забыть об отъезде. Взгляд его упал на страницу газеты, где было написано об англичанке Флоренс Найтингейл. Он начал читать вслух о том, как она в Турции ходила с фонарем среди раненых солдат и не ограничивалась одной только молитвой о спасении их душ. Все свои силы она отдала полевым госпиталям, пропитанным вонью и кровью, она ставила на место даже генералов, если у них не хватало милосердия к раненому врагу. Наконец-то кончилась эта война, которую никто не выиграл, но все проиграли. Теперь ангел с фонарем вернулся домой, в Англию. Флоренс Найтингейл осталась жива, но была морально сломлена и потеряла веру в то, что человеку свойственна доброта.

Все молчали, пока Вениамин читал. Поэтому он смог тут же задать свой вопрос:

— В какую доброту она потеряла веру?

— Она же была на войне, а там мало встретишь человеческой доброты,— объяснил Андерс.

— Почему? Разве, когда нет войны, доброты становится больше? — спросил Вениамин.

Андерс сложил газету на коленях.

— У нас здесь хотя бы не стреляют,— сказал Юхан.

Вениамин почему-то слышал только те звуки, которые доносились из кухни и буфетной. Обеими руками он схватился за край стола. Стиснул зубы. Он с трудом сидел прямо. Если бы можно было положить голову на стол, все прошло бы. Его дурноты никто не заметил. Но он чувствовал странную вялость. Руки и ноги перестали его слушаться.

— Вениамин! — позвала его Дина ясным, твердым голосом.

Тогда он вырвался из оцепенения. Если на них не смотреть, все обойдется. Он нащупал ногами пол. Теперь оставалось только подняться. Однако он не вскочил. Он сделал два осторожных шага, и пол ринулся ему навстречу.

Дина была уже рядом. Она поддержала Вениамина. И вывела его из комнаты.

А мужчины остались с русским царем, ценами на рыбу и английской леди с фонарем.

Из глубины пещеры доносились крики. Вениамин уже знал, кто его зовет. Он не отрывал глаз от рыбацкой сети. Глаза были старые. Слезящиеся. И не выносили света. Он не мог вырваться отсюда. Следы ночи сохранялись в сверкающем узоре, оживавшем при дневном свете. Сети были похожи на белые занавески, висевшие на открытых окнах.

Русский держал Вениамина мертвой хваткой. Его крики слышались со всех сторон. Давили на уши, на виски. Снова и снова. Понять этот чужой язык было невозможно. Русский был то близко, так что Вениамин чувствовал его дыхание, то далеко, и Вениамин терял его из виду.

Когда он был близко, Вениамин падал в красную яму, которая становилась тем больше, чем отчаянней звучал крик русского.

Когда же он был далеко, Вениамин задерживал дыхание и таким образом спасался.

Он проглотил скопившуюся слюну и соскочил с кровати. Чтобы принести обратно свои глаза.

Тогда он понял, что стоит на каменной россыпи и смотрит на Дину и русского, которые, словно змеи, извивались в вереске. Они сдирали друг с друга одежду, хватали друг друга за руки. Как будто не могли решить, слиться ли им в объятиях или разбежаться в стороны, друзья они или враги. Они боролись, чтобы оторваться друг от друга. И не отпускали друг друга.

Наконец голова русского окрасилась красным, и он затих, широко раскинув ноги. Точно пугало, упавшее на поле. Ружье валялось в вереске, и эхо, рыдая, еще летело от вершины к вершине. Все звуки были словно окутаны шерстью, и птица, взлетевшая с куста, так медленно двигала крыльями, что казалось, она вот-вот упадет.

Вениамину пришлось открыть рот, чтобы выпустить из себя невыносимую тишину.

И вдруг рядом оказалась Дина. В его комнате, босиком, в одной рубашке. Он попытался удержать ее ноги, чтобы она не подходила к нему. Потому что вокруг нее все еще витал крик русского. И вместе с тем ему хотелось, чтобы она обняла его. Она была одновременно и сеном, и водорослями. И высоким деревом с черной листвой. Очень высоким. Но он должен был залезть на это дерево. Ветки были гладкие. В стволе что-то стучало. Словно там была заперта птица. Тук-тук.

Вениамин забрался как можно выше. Дерево раскачивалось из стороны в сторону.

Вскоре там оказался и Андерс. В халате. Его глаза оплели Вениамина. Он был не похож сам на себя. Руки Андерса превратились в летящих ворон, хватавших ветки и листья. Ветки трещали и ломались. Андерс падал и снова лез на дерево. Падал и лез. Вениамин понял, что это дерево не для Андерса.

Наконец он оторвал взгляд от занавесок и заплакал.

— Что тебя так напугало? — спросил Андерс.

— Русский! Он стал царем! Он лежит там, кричит и спрашивает.

— О чем спрашивает?

Опасность была близка. Андерс провалился сквозь пол. Наверное, он расшибся насмерть. Неужели Дина не понимает, что ей следует поднять его? Ведь он не знал, что об этом нельзя спрашивать!

— Дина все знает! Дина. Она знает даже русский!

Боже, как изменилось ее лицо! Испуганное и как будто плоское. Его просто не стало. Она сейчас уйдет! Уедет! Возьмет с собой картонку для шляп и поедет на лодке к пароходу. Самое страшное уже случилось!

Но Дина не ушла. И позволила Андерсу остаться с ними.

Однажды Дина пришла в конюшню к Фоме и распорядилась, чтобы он унес оттуда и где-нибудь запер ружье и порох. Фома пожал плечами и обещал сделать, как она велит. Но поинтересовался, зачем ей это понадобилось. Узнав, что все дело в Вениамине, он не удержался от замечания:

— Парень растет, ему надо привыкать к таким вещам, даже если русский и застрелился.

— Сделай так, как я сказала!

— Мы не сможем всю жизнь оберегать его от ружей. Все-таки он мужчина.

— Я тебе сказала, что делать.

Фома долго смотрел на нее. В руках он держал охапку сена для лошадей, его окружал аромат первобытного жаркого лета.

— А что об этом говорит Андерс?

— Андерсу ружье ни к чему.

— Да, этот человек на охоту не ходит.— В голосе Фомы звучало презрение.

— Тебя не касается, что делает Андерс! Сейчас меня тревожит Вениамин.

— Я всегда заботился о Вениамине. Или ты забыла?

— Спасибо за твою заботу, Фома!

— Иначе и быть не могло! Я думал, мы оба с самого начала делали для него все, что могли.

— Фома!

— Ты боишься, что я скажу об этом Андерсу?

Дина собралась было уйти, но теперь замерла на месте. Потом подняла руку и обернулась к Фоме так резко, что он подумал: сейчас она ударит его.

— И что же ты скажешь ему, Фома? — Она подошла к нему так близко, что он ощутил на лице ее дыхание.

Он не ответил ей, но и не шелохнулся.

— Ты стоишь на сене,— заметил он наконец.

— И что же ты скажешь Андерсу? — повторила Дина.

— Что Вениамин мой сын!

Дина прикрыла глаза. Когда она снова открыла их, она была спокойна.

— И ты думаешь, тебе удастся дожить до старости на усадьбе Андерса после того, как ты сообщишь ему эту новость?

— Нет,— коротко бросил он.

— В таком случае подумай о своих детях и о том, будут ли они счастливы с отцом, который мотается с места на место и сплетничает. Вениамину ты не нужен.

— А раньше был нужен! Мы со Стине...

— За то, что было раньше, спасибо! Но это еще не причина, чтобы ты теперь начал мстить. Разве тебе плохо живется? По-моему, ты живешь, как граф,— с кафельной печью и хрустальной люстрой. Еды у твоей семьи довольно. Все тебя уважают. Чего еще тебе надо? А?

Он весь сжался от ее слов. Они смотрели в разные стороны.

— Если бы нам было суждено...

— Нам никогда ничего не было суждено,— прервала она его.

— А слово? Почему ты не дала мне слова?

— Слово давать опасно. У тебя память, как у лошади. И ты слишком сильно тянешь.

— Ты забыла?

— Я ничего не забыла! Ничего!

Двери конюшни открылись. Словно по знаку, Дина отступила от сена, а Фома нагнулся, чтобы поднять охапку.

— Значит, договорились! — громко сказала она.

В конюшню вошел работник.

Когда Фома пришел домой перекусить, Стине сияла. К ней заходила Дина и обещала привезти ей из Бергена новый ткацкий станок. На старом было трудно натягивать основу.

— Из-за десяти средних нитей приходится снимать пол-основы,— сказала она.

Фома кивнул. Он стянул с головы шапку и вымыл руки.

Глава 9

Однажды в конце осени Андерс и Вениамин разговорились за какой-то работой.

— Я думаю, следующим летом тебе стоит пойти со мной в Берген матросом,— как бы случайно обронил Андерс.

От этих слов у Вениамина подозрительно покраснели глаза.

За работу он будет получать деньги, спать будет в кубрике вместе с матросами. Если во время вахты будет травить за борт, у него будут удерживать из жалованья. Они ударили по рукам, ничего не сказав об этом Дине.

Храня их общую тайну, Вениамин чувствовал себя более взрослым. Однажды он увидел у себя на верхней губе пушок, который вырос за одну ночь и стал темнее. Вениамин торжественно взял опасную бритву Андерса и забрался на стул, чтобы лучше видеть себя в зеркало, висевшее над комодом. Но его рука, на которую он смотрел в зеркало, дрожала. Он даже порезал себе нос. С кровоточащим носом ему пришлось обратиться за помощью к Дине. Она не бранила его, лишь взглянула на бритву и промыла порез, чтобы остановить кровь.

— Я просто играл,— сказал он, стараясь обратить все в шутку.

— Я понимаю. На этот раз порез зарастет. Но в другой раз, боюсь, ты отхватишь себе полноса.

Он кивнул и скользнул мимо нее в дверь.

— Ждать недолго, скоро эта забота будет преследовать тебя каждый день! — крикнула она ему вслед.

Не удержавшись, он остановился и крикнул ей в ответ:

— А ты не знаешь, о чем мы с Андерсом договорились! Это наш с ним секрет!

Дина вышла на площадку лестницы.

— О чем же вы договорились?

— А вот увидишь! — крикнул он и бросился вниз.

Всю зиму и весну Вениамин интересовался только тем, что имело отношение к Бергену. Он вытащил картины и книги, когда-то привезенные оттуда. Кандидат Ангелл не мог ничем помочь Вениамину. Сам он никогда не бывал южнее Тронхейма.

После ухода Андерса на Лофотены в усадьбе не осталось ни одного человека, который хоть что-то знал бы о Бергене. Вениамин вздохнул с облегчением, лишь когда Дина призналась ему, что знает о Бергене все. И действительно ответила на все его вопросы, хоть и коротко.

Вениамин быстро сообразил, что нельзя спрашивать о Бергене ночью, когда они с Диной бодрствовали из-за криков русского. От этих вопросов глаза у нее становились злыми.

Но вот птицы с гомоном принялись вить гнезда, скот выпустили на пастбища, и Вениамин изумился, что испытывает такую глубокую радость после всего, что он пережил.

Однажды он понял, что Ханна вовсе не радуется вместе с ним его предстоящему отъезду, и очень удивился. Это уже слишком! Она не имеет никакого права дуться на него!

— Пойми же, я мужчина, а ты женщина! — Он глубоко вздохнул, стараясь не показать, что ему тяжело нести по коробке в каждой руке.

— Я помню, как ты кричал и плакал, когда Дина уезжала без тебя,— сказала Ханна, вытирая слезы.

— Это было давно,— высокомерно, по-мужски сказал он.

— Может, меня уже здесь не будет, когда ты вернешься!

— А где же ты будешь?

— Это еще не решено.

— Значит, я не смогу навестить тебя, если не буду знать, где ты.— Он усмехнулся.

— Дурак!

— А ты умная, если хочешь сбежать из дому потому, что я уезжаю в Берген!

— Без тебя у меня здесь никого не будет! — жалобно сказала она.

Он огорчился и поставил ношу на землю.

— Когда я вырасту и сам буду все решать, ты всегда будешь ездить со мной!

— Когда еще это будет, ты растешь так медленно!

— Даже если я останусь небольшого роста, я все равно буду взрослым и буду сам все решать! — отрезал он и толкнул ее.— Я и сейчас больше, чем ты! Замарашка! — Он схватил свои коробки и побежал вниз по склону.

— Я совсем не то думала! — крикнула Ханна ему вслед.

Они помирились еще до его отъезда. Ссора была тяжела для обоих. Вениамин обещал привезти ей в подарок куклу с фарфоровым личиком и настоящими волосами.

— Мне просто интересно посмотреть на такую куклу,— сказала Ханна, считавшая, что ей уже неприлично играть в куклы.

Вениамин знал, что побороть морскую болезнь будет непросто, однако если он ее не поборет, ему на такой подарок не заработать.

В то утро, когда шхуна взяла курс на юг, ветер дул как на заказ, но солнца не было. Андерс стоял за штурвалом и был такой, как всегда. Он говорил, что в море ему лучше думается.

Вениамин стоял у поручней, глядя на острова, берега и заливы, которых никогда раньше не видел. Мир открывался перед ним, становился бескрайним, и он крикнул тем, кто мог его слышать:

— Во летим, аж чертям тошно! Видела бы нас сейчас Ханна!

Андерс взглянул на иллюминатор каюты, где была Дина. Она не сказала ни слова о его бездумном обещании взять Вениамина в Берген. Кажется, она была даже довольна.

— Боюсь, как бы у тебя не было слишком много хлопот с семьей,— сказала она ему.— Мы же не знаем, как Вениамин переносит море.

— Вот и узнаем,— сказал Андерс, радуясь, что их заговор с Вениамином не рассердил Дину.

Всех удивило, что штурман Антон не воспротивился присутствию на борту женщины и мальчика. Его как будто даже забавляли бесконечные вопросы Вениамина, он чувствовал себя еще более незаменимым.

Ветер в основном был хороший. Однако не настолько сильный, чтобы у Вениамина началась морская болезнь. Каждый день он делал зарубку на одном из ящиков с рыбой. А потом, поплевав на руки и посвистывая, принимался выполнять то, что ему поручили.

Когда все задания Андерса были выполнены, он усаживался на ящик с биноклем в руках и рассказывал обо всем, что видит. Или сидел с книгой в каюте, слушая скрип мачты и крики чаек. Играл в карты с матросами. Они незаметно подыгрывали ему и забавлялись этим.

— Твоя матушка лучше играла в карты, чем ты, когда первый раз отправилась с нами в Берген,— сказал Антон.

— Она была старше и уже замужем.— Андерс покосился на каюту.

— Ей, кажется, было тогда шестнадцать? — спросил кто-то.

— Во всяком случае, я помню, что Иакову не нравилось, когда она сидела с нами под парусом и играла в карты,— сказал Антон.

— Ладно, хватит об этом,— оборвал разговор Андерс.

Слова Андерса не вызвали у Вениамина удивления, а вот его тон... Все вдруг заговорили о другом и, насвистывая, стали заниматься своими делами.

Однажды они увидели на берегу кучку домов и причалы. Дина с Андерсом сказали, что у них там есть знакомые, и Вениамин попросил, чтобы они пристали к берегу.

— Впрочем, нам надо спешить в Берген, а то опоздаем и упустим покупателя на наш товар,— поправился он прежде, чем ему отказали.

— На обратном пути мы непременно здесь остановимся. Будешь спать на настоящей кровати и сидеть на стуле! — пообещал Андерс и стал говорить о том, что в нынешнем году очень доволен своим товаром. Он даже отказал кое-кому из арендаторов, предлагавших ему рыбу, качество которой не отвечало требованиям.

— Я понимаю, такой отказ не способствует дружбе. Кому понравится, что его рыбу признали негодной. Других-то заработков здесь у людей нет. Но Рейнснес в Бергене пользуется хорошей репутацией, и мы должны о ней заботиться. Ясно? Наш товар должен быть только первого сорта. Согласен?

Браковщики в Бергене не подчинялись никому, у кого бы они ни служили. Их слово было законом. Если они считали партию голландской вяленой трески первосортным товаром, это был закон, изменить который не мог никто.

Андерс произнес длинную речь о рыбе:

— Запомни, Вениамин, в Бергене главный товар — это голландская вяленая треска. Она должна быть определенного синеватого цвета, чистая и в длину не превышать локтя. Вес же ее не должен быть больше полутора фунтов. А еще лучше — один фунт! Понимаешь, парень? Бременская вяленая треска тоже отличный товар, но для голландской она слишком велика. Ее везут в Бремен, в Голландию и на Средиземное море. Вот где интересно побывать, верно? Да, еще есть линёк. Линёк должен быть блестящим, белокожим, свежим, его разрезают до самого хвоста. Первый товар для Голландии! Это тебе не шутки!

Андерс всегда очень придирчиво следил за тем, как вялилась рыба. Свежую рыбу следовало сразу же выпотрошить, засыпать солью и выдержать в чанах двадцать четыре часа. Потом вымыть и уложить штабелями не выше локтя в высоту. Мякоть к мякоти. И уже потом разложить для просушки на чистых скалах. Сушить рыбу на траве или на земле — последнее дело. Снова в штабеля ее складывают лишь после того, как она окончательно высохнет.

— Я никогда не повезу в Берген рыбу, которую солили на полу в пакгаузах. Бергенцы могут на меня положиться!

Вениамин удивлялся, что в море Андерс стал таким разговорчивым. Он столько рассказывал о рыбе! До этого Вениамину казалось, что вся вяленая рыба выглядит одинаково, как бы она ни называлась.

Пока «Матушка Карен» шла на юг, русский не издал ни звука. Должно быть, он не мог последовать за ними.

Мир был бескраен.

Люди на берегу даже не подозревали, какими неприступными и острыми бывают горы и скалы. Для этого нужно было проплыть мимо них светлой летней ночью.

А запах моря! Он ощущался всегда. Даже во сне. И заглушал все остальные запахи. От него люди менялись до неузнаваемости.

Ночи, впрочем, тоже изменились. Чем дальше на юг, тем они становились синее. И повсюду, где они бросали якорь и сходили на берег, чтобы запастись свежей водой и провиантом, люди говорили по-разному.

Вениамин читал, как Господь смешал языки в Вавилоне, но не подозревал, что подобное смешение может встретиться и в его родной стране.

— Так Норвегия же длинная, как кишка. И в каждой долине говорят по-своему,— объяснил Антон и отрезал кусок от соленого окорока, висевшего на сыромятном ремне на мачте.

— Нет,— возразил Вениамин,— вовсе не поэтому. Просто, когда в Вавилоне смешались языки и люди перестали понимать друг друга, им пришлось разъехаться по свету и поселиться по отдельности!

Антон перестал жевать.

— Вот черт, как легко все объясняется, а я и не знал,— серьезно сказал он.— Но подожди, ты еще не слышал, как кудахчут женщины в Бергене! Вот кто, наверное, первый покинул Вавилон!

Удивительным в Бергене оказался не только язык. Вениамин слушал и смотрел. Ему приходилось следить за собой, а то он забывал даже дышать. Время от времени он громко и жадно втягивал в себя воздух и затихал до следующего вздоха. Неожиданно для себя он обратил внимание на новую Динину шляпу.

— Красивая, как сад Эдемский! — одобрительно сказал он.

Но когда Дина попыталась вести его за руку, он отскочил в сторону.

— Еще не хватало! Не пойду за руку с женщиной! Неужели ты этого не понимаешь?

И пошел рядом с Андерсом. Одной рукой он держался за отворот куртки, другую заложил за спину.

Больше всего его поразил Воген. Суда. Паруса. Крики. Все это было терпимо на расстоянии, но когда они сошли на берег, вся эта новизна обрушилась на него. Бесконечные ряды крыш, островерхие фронтоны домов, причалы. Телеги и кареты, с лошадьми и без них. А как здесь одевались! Такую странную одежду Вениамин видел только на картинках. Дамы несли на головах целые ширмы. А он-то думал, что такие шляпы носит только ленсманская Дагни!

На Рыбном рынке все было гораздо проще. Даже запах тут был знакомый. Но сюда приходило и отсюда уходило столько людей, что Вениамин невольно подумал о муравьях, снующих из муравейника и обратно. Неясно было только, о чем все они хлопочут. Деревянные башмаки стучали по брусчатке, и каждый был занят своим делом, совсем как в Рейнснесе. Во всяком случае, те, что ходили пешком. Те же, что сидели в каретах с откидным верхом, выглядели так, словно направлялись к пастору на Рождественский вечер, который почему-то устроили в середине лета.

Вениамин понял, почему в Бергене нужно быть прилично одетым, когда сходишь на берег. Андерс привез с собой часы на цепочке и теперь ходил в расстегнутом сюртуке.

Горы в Бергене выглядели смешно. Казалось, они не могут распрямиться под тяжестью этакой массы людей. Близость гор была даже неприятна. Но бергенцы, по-видимому, привыкли к тому, что каменные кочки нависают над крышами их домов. Вениамин сказал об этом Андерсу.

— Только не советую говорить про это уроженцам Бергена,— посмеиваясь, заметил Андерс.

Однажды они взяли извозчика и поехали кататься по городу. Андерс напомнил Дине, что они бывали здесь раньше. Она улыбнулась, глаза у нее были совсем прозрачные. Вениамина обдала волна жаркой радости, оттого что Дина и Андерс так смотрят друг на друга. Иных оснований для радости у него не было. С ним они не разговаривали.

Чем больше был дом, мимо которого они проезжали, тем больше был и сад, и деревья вокруг него. Лишь в центре города дома так тесно жались друг к другу, что казалось, будто у очередного бергенца не хватило денег на одну стену и ему пришлось пристроить свой дом к дому соседа.

Когда они подошли к своей гостинице, Вениамин был слишком переполнен увиденным. Ему нужно было, чтобы Дина и Андерс поняли его. Он остановился и, прищурившись, посмотрел на крыши домов.

— Что за удовольствие строить такие большие города? И как людям удается покупать и продавать все, что им необходимо?

Глава 10

По дороге обратно на север Вениамин спросил у Андерса, откуда у него фамилия Бернхофт.

— Этот род в свое время построил селение на Хьеррингёе,— ответил Андерс. Правда, от этого Андерсу было ни жарко ни холодно. А вот его

родственники с материнской стороны происходили из усадьбы Шюнингене на Грётёе. Сёрен и София, что живут там, всегда рады приезду Андерса.

Сёрен и София приезжали в Рейснес на свадьбу Дины и Андерса, и теперь Дина и Андерс намеревались посетить их.

— Мы с Сёреном всегда дружили,— сказал Андерс.— Ему не повезло во время Крымской войны. Его галеас, груженный мукой, застрял во льдах и вернулся домой, когда цены на муку уже упали. Сёрен тогда ничего не заработал. Да-да, бывает и так,— Андерс поднял глаза к небу.

Они миновали Фоллово море и вошли в узкий пролив, что вел к Грётёю. Вечернее солнце одним-единственным лучом подожгло море, и оно вспыхнуло ярким огнем. За островами чернела стена Лофотенов. Бесконечные островки и скалы удерживали прибой на расстоянии. Но его вечная песнь доносилась из открытого моря как предупреждение.

— Не очень-то бывает приятно, когда по эту сторону островов тихо, а по ту — море грохочет, как церковный орган. Тогда жди, что ветер того и гляди переменится и ударит со всей силой! — сказал Антон.— Вот когда надо в оба следить за парусами, а то вмиг окажешься на мели с обломком штурвала в руках. Фарватер здесь опасен подводными скалами и коварными мелями, их тут столько, что они могут опрокинуть вверх килем целую армаду,— прибавил он.

— Сейчас это нам не грозит,— заметил Андерс.

Усадьба лежала на крайнем острове, но смотрела не в открытое море, а на материк. В главном доме было по десять окон в каждом этаже, а веранда на столбах тянулась по всему фасаду. Мощная каменная стена удерживала море, не подпуская его к саду с высокими деревьями и беседкой. Вокруг главного дома располагались прачечная, поварня и другие строения. И всюду бурлила жизнь. Суда, инструменты, люди. Однако земли было мало, и по сравнению с полями Рейснеса она выглядела неплодородной.

Вениамин бродил среди домов и знакомился с новым местом. Он забыл, что он уже почти взрослый, и приставал ко всем со своими вопросами. Однако не бегал, а ходил степенно. Таких деревьев, как тут, он прежде не видел. Ему объяснили, что их привезли издалека. Потом его угостили соком с печеньем и отпустили на скалы к лодочным сараям.

Усадьба была небольшая. Тесная. Но здесь имелось все. И люди были совсем не такие, как в Рейснесе. Или они только казались другими, потому что принимали гостей? Здесь все лежало на своих местах. Особенно это было заметно на причалах. Все было сложено штабелями. Канаты и веревки свернуты в аккуратные бухты. Никакого беспорядка. Не то что в Рейснесе. Там каждый мог взять любой инструмент и оставить его после работы до другого дня, лишь бы он не валялся под ногами.

Только одно место в Рейснесе содержалось строже, чем здесь. Это была кухня. Здесь на кухне работали две молоденькие смешливые служанки в белых передниках. У одной были косы, и она была еще моложе Вениамина. Старшая уже могла похвастаться пышной грудью, стянутой коротким корсетом. Она понравилась Вениамину больше, чем младшая, хотя и была на полголовы выше его. У нее были светлые, короткие, как у мальчика, волосы. Вениамина прошибал пот, когда она была рядом. Поэтому он оставил их чистить картошку и ушел.

Прогуляв несколько часов, Вениамин уселся в гостиной со взрослыми. Сёрен внимательно следил за работой Лофотенской комиссии, которая должна была узаконить три положения: первое — море принадлежит всем. Второе — уроженец Норвегии имеет право беспрепятственно ловить рыбу в любом месте. И третье — общественность должна следить за тем, чтобы эти условия неукоснительно соблюдались.

Сёрен похвалился знакомством с господином Кетилем Моцфельдом, который считался автором этого закона. Андерс больше помалкивал, предоставляя говорить Сёрену. Он всегда помалкивал.

— Ну, а хозяева торговых усадеб? Что о них говорится в этом законе? — спросил наконец Андерс.

— Мы в нем приравнены ко всем остальным,— ответил Сёрен.

— Значит, на место лова первым будет приходить тот, кто раньше других пронюхал, где есть рыба, и у кого суда быстроходней? Верно? А нам, как и раньше, придется грести из последних сил, так что рукавицы будут прикипать к ладоням,— усмехнулся Андерс.

— Да, зато у тебя не будет никаких неприятностей, если ты невзначай окажешься на чужой территории, не заплатив за разрешение вести там лов.

— Люди все равно пойдут на свои старые места,— сказал Андерс.

— Посмотрим! Во всяком случае, теперь никто не будет безраздельно владеть морем, даже если ему принадлежит берег и дом.

— Ты-то почему так ратуешь за этот закон, ведь у тебя большая береговая полоса и дом? — удивилась Дина.

— Вот и я говорю то же самое,— вздохнула София.— Сёрен ездил на встречу и толковал с богатыми людьми с Лофотенов, да все впустую.

— Новые времена не только для богатеев,— задумчиво сказал Сёрен.

Дина краем глаза наблюдала за ним. Это встревожило Вениамина.

— Я вижу, ты заботишься о простых людях, Сёрен,— сказала она.— Где ты этому научился? Здесь, на Грётёе?

— Научился? Справедливости не нужно учиться, достаточно просто пораскинуть мозгами. Воздух, огонь и море должны принадлежать всем!

Андерс заметил, что владеть морем так же справедливо, как владеть птичьими базарами или морошковыми болотами. Но спорить не стал.

Дина, к счастью, больше ничего не сказала. Однако время от времени поглядывала на Сёрена. Вениамину это было не по душе.

Со двора слышались музыка и смех, люди собирались на танцы. Вечер был теплый. Окна и двери были открыты настежь. На дворе толпились и молодые, и старые. Слуги и моряки, родственники и работники. Никто и не думал ложиться спать. Лица у всех сияли.

— Надеюсь, Вениамин, ты не упустишь случая погулять? У нас тут есть две хорошенькие девушки,— поддразнил его Сёрен.

Кивнуть Вениамин мог в любом случае.

— Пригласишь их потанцевать? — мягко спросила София.

К счастью, Сёрен тут же обратился к Андерсу:

— Что, батюшка, пришел конец твоим холостым поездкам в поисках девушек?

Андерс только улыбнулся.

— Я помню, ты говорил, что женитьба — это не для тебя и что ты вряд ли когда-нибудь женишься. А вот поди ж ты! Давайте выпьем за любовь в Рейнснесе!

Взрослые подняли бокалы. Они как будто исподтишка наблюдали друг за другом. Вениамин потянул нитку, торчавшую из свитера. Этого делать не следовало. На рукаве спустилась петля.

София заметила это и принесла иголку. Пришлось снять свитер и отдать ей, чтобы она зашила дырку.

Рейнснес и Грётёй сильно отличались друг от друга. В Рейнснесе никому не пришло бы в голову зашивать дырку, когда все пили за любовь. Или когда Дина играла.

Вениамин украдкой поглядел на Дину, не испортила ли все эта проклятая нитка? Но Дина выглядела как ни в чем не бывало. Почти. Он все-таки пожалел, что надел свитер в такую жару.

— Я слышала, Андерс, что тебе у нас на Грётёе нос натянули? Девушка вышла замуж в Бергене? — София бросила быстрый взгляд на Дину и снова склонилась над свитером.

— Когда это было! — засмеялся Сёрен, ему как будто хотелось замять разговор, хотя к нему это отношения не имело.

— Я всегда являлся к шапочному разбору! — Андерс встал и налил себе еще вина, совсем как дома.

— Это всем известно. Уж больно ты терпеливый, кого хочешь переплюнешь! — засмеялся Сёрен.

Дина поправила рукав платья. Сёрену не следовало так говорить! Нет, не следовало! Вениамину захотелось вскочить и убежать. Но свитер еще не был готов. И он должен был поблагодарить Софию за работу.

— Молодость, молодость,— засмеялся Андерс.

— Не такой уж ты был тогда и молоденький,— заметила София.

— Может быть, не помню,— буркнул Андерс.

— Не думаю, чтобы Дине была интересна наша болтовня,— вмешался Сёрен и поднял бокал за Дину.

Нет-нет, не следовало ему так говорить. Наконец свитер был готов! Почему София так медлит?

— Мы, в Рейнснесе, не боимся говорить в глаза все, что думаем. Хуже, если начинаются разговоры у нас за спиной. Тогда человек не имеет возможности постоять за себя,— сказала Дина.

— Да, конечно...— София смущенно разглядывала кончики пальцев.

Разговор замер. Молчание было неприятно, как дохлые мухи на чистом подоконнике. Сёрен сцепил пальцы, потом сказал:

— Мы Андерса знаем куда лучше, чем Дину. Надеюсь, Дина, ты не истолкуешь превратно наши шутки?

София вздохнула и заметила, что к ночи, наверное, соберется дождь. Слишком хорош вечер. Потом она протянула Вениамину его свитер. Смущенно улыбнулась ему.

Вениамин поблагодарил Софию. Пока он натягивал свитер, Андерс подошел к креслу, где сидела Дина. Голова Вениамина вынырнула из ворота, когда Андерс невозмутимо, как дома, взял из коробки сигару. Провел по ней языком. Губы Андерса были словно созданы для сигары. Вениамин и раньше замечал это. Он едва было одобрительно не кивнул Андерсу, глядя, как тот мягко обхватил губами сигару. Андерс поднес к сигаре огонь, несколько раз глубоко затянулся и протянул сигару Дине.

— Дине ничего не стоит заставить любого мужчину забыть о своих прежних глупостях. Они сразу становятся не в счет. К тому же та девушка и без меня удачно вышла замуж,— сказал он.

Андерс постоял перед Диной, потом втиснулся в кресло рядом с ней. Вениамину это показалось ребячеством. И вместе с тем обрадовало. Дина улыбнулась Андерсу и подвинулась, освобождая ему место.

Из двери, выходившей в сад, подул ветер. Перст Божий коснулся лица Дины, и она повернулась к Андерсу.

Позже, когда Вениамин уже успел подергать за косы одну девушку и поболтать с другой, во двор вышла София и спросила, не хочет ли он подняться в свою комнату — уже поздно. Девушки слышали ее слова, и ему стало стыдно. В дверях появился Андерс.

— Вениамин взрослый человек,— сказал он.— Он у нас на шхуне не пассажир, а матрос. Таким парням спать некогда.

— Я только подумала...— начала София, но Андерс схватил ее за руку и увлек танцевать.

— Это твой отец? — восхищенно спросила одна из девушек.

— Да,— ответил Вениамин, для него было естественно так ответить.— Андерс мой отец!

Девушки не спускали с Андерса глаз.

— Ты на него не похож,— сказала та, у которой были косы.

Так говорить не следовало. Почему она так сказала? Неужели весь мир потерял рассудок? Однако он сдержался и не ответил.

— Ты похож на свою мать, Дину Грёнэльв, она очень красивая! — сказала девушка с мальчишеской стрижкой и наклонила голову набок.

Вениамина осенило: он должен потанцевать с ней! А другая пусть подпирает стену, глядя на них. И он закружил девушку, наступая ей на ноги. Впрочем, она танцевала не намного лучше.

— Я плохо танцую,— запыхавшись, проговорила она.

— Совсем не плохо! Да и какая разница! — ответил он, и неудержимая радость острыми иголочками пробежала от шеи куда-то в низ живота.

Они поднялись в комнаты на чердаке, где им были приготовлены постели, пожелали друг другу покойной ночи, и Андерс закрыл дверь, разделявшую их комнаты. Однако Вениамин не мог забыть, что они рядом.

Он уткнулся лицом Дине между грудями и полетел с нею в море. Русский тоже был с ними, он лежал в луже дурно пахнувшей тягучей смолы. Вениамин хотел отделаться от него — пусть бы его поглотило море. Почему он не оставит их с Диной в покое? Но тяжелый запах смолы преследовал его. Он крикнул об этом Андерсу, хотя расстояние до кормы «Матушки Карен», где Андерс стоял на вахте, было слишком велико.

Большое безобразное существо — не змей, не ворон, не чайка, но какая-то диковинная помесь всех этих существ — беспрестанно кружило над ними. Оно то взмывало ввысь, то падало к самой воде.

— Дина не твоя! Разве ты этого не видишь? — сказала эта странная птица ему на ухо.— Она должна уехать. Потому что она черная!

Лететь с Диной было неприятно. Мучительно. Вениамин хотел разжать руки, но не мог. Она летела рядом. И была ужасно тяжелая. Ему снова захотелось позвать Андерса. Но у него не было сил. Что делать? Дина летела с ним, несмотря на то, что была не его и хотела уехать.

Птица сбросила с себя оперение, и оно упало на Вениамина. Это был русский, и в то же время как будто не он.

— Скажи что-нибудь! — крикнул Вениамин этому существу. Но птица не ответила, она шла по водорослям, высоко поднимая ноги. Кругом стоял отвратительный запах.

Появилась девушка с косами. Она развела среди камней большой костер. Жар ударил Вениамину в лицо, опалил его. У него загорелся живот. Горело то, чему он не знал имени. Все деревья на берегу были охвачены пламенем.

— Это за то, что нам всегда приходится выходить замуж не за того, за кого хочется,— презрительно сказала девушка. Она расплела косы. И ее волосы летели к Вениамину сквозь дождь искр. Тонкие золотые нити на фоне черного моря.

Дина несколько раз произнесла его имя. Словно только что нашла его и еще не верит этому.

Он сделался вдруг большим, внутри у него была пустота. Глаза его смотрели сквозь воду. И в этом не было ничего удивительного. Он видел дно точно сквозь стекло.

Можно было смотреть и наверх. Сквозь воду и воздух. Со дна. И в этом тоже не было ничего удивительного. Небо раскололось. В образовавшуюся трещину медленно-медленно падал Андерс. Словно бумажная птичка, пущенная из чердачного окна. Вздыхая и стеная, Андерс приземлился на выстиранную и высушенную на солнце шерсть. Он слишком долго пробыл в ледяной каше Лофотенского моря.

Вениамин чувствовал, как у Андерса от мороза покалывает кончики пальцев. Это было одновременно и мучительно, и приятно. Так покалывает пальцы у людей, попавших с мороза в тепло.

Глава 11

Когда они вернулись домой, уже стояла добрая осень с ее привычными запахами. Вениамин бродил по усадьбе, заглядывал в лавку и рассказывал о Бергене и далеком мире.

Тогда он еще не знал, что будущей осенью поедет учиться в Тромсё. Узнал он об этом случайно, сидя в комнате матушки Карен. Дверь в гостиную была прикрыта неплотно. Он часто забывал закрыть ее.

Андерс читал Дине вслух газеты. Компания «Йевер и сын» предлагает хороший старый портвейн, мускат, малиновый уксус и лампадное масло по сходной цене. Он помолчал, потом снова продолжал чтение. Главная почтовая дирекция сообщает о невостребованном письме на имя Дины

Грёнэльв от пастора Юхана Грёнэльва, сумма выкупа — двенадцать скиллингов.

В голосе у Андерса послышались странные нотки. Словно он хотел выучить эти слова наизусть и никак не мог их запомнить.

— Почему ты не выкупила письмо Юхана, Дина? — спросил он.

— А я и так знаю, что в нем написано,— невозмутимо ответила Дина, будто они говорили о направлении ветра.

— Знаешь, что в нем написано?

— Да.

— Господи Боже мой!.. Ты сошла с ума?

— В нем написано то же самое, что и в предыдущем.

— Ах вон что! И что же было написано в предыдущем?

— Что Юхану нужно немного денег, чтобы снова поехать в Копенгаген и заняться теологией.

Андерс как будто растворился за газетой.

— Я ничего не знал об этом.

— А зачем тебе знать? Я не хотела тревожить тебя.

Слышалось только тиканье часов. Оно, словно клювом, долбило их дыхание и заполняло уши Вениамина нестерпимым шумом.

— Ты поможешь Юхану?

— Нет!

— Ты шутишь?

— Нисколько!

— Не может быть, Дина!

— За все эти годы Юхан получил больше, чем ему причиталось. При этом он никогда не работал, а только ходил по городу с книгами под мышкой. Теперь учиться должен другой. А это стоит недешево.

— Кто же этот другой?

— Вениамин.

Газете явно стало не по себе. Она зашелестела. И под столом задвигались большие ноги.

— А можно спросить, куда ты собираешься отправить Вениамина?

— В реальное училище в Тромсё. Он будет изучать иностранные языки и готовиться к экзамену артиум [1]. Только за одно училище придется платить тридцать шесть талеров. А еще комната, питание...

— Тромсё! Комната, питание! Но, Дина, он же еще ребенок!

— Вениамин не может жить здесь вечно...

— А он знает об этом?

— Пока нет. Но вообще-то мы с ним раньше говорили об этом.

— Он слишком мал.— Таким голосом Андерс отдавал приказ бросить якорь. Голос был не сердитый. Но остановить якорь не мог уже никто.

Дина остановила якорь:

— Чем раньше он начнет учиться, тем лучше.

— Но кандидат Ангелл — хороший учитель.

— Я не хочу, чтобы Вениамин торчал в Рейнснесе. Через некоторое время он уже ничего, кроме Рейнснеса, и знать не захочет.

Кажется, Андерс смеется?

Кто это там смеется?

— Дина, к чему такая спешка? У Вениамина впереди много времени.

— Зачем ему годами сидеть на необитаемом острове?

— Ты чувствуешь себя здесь как на необитаемом острове?

Кто-то прошел по гостиной. Куда они собираются? Почему не сидят на месте?

— Дина, ему будет трудно.

— Я знаю.— Голос Дины.

От этих слов голова Вениамина сжалась и превратилась в ничто. Внутри этого «ничто» колотился орех. Он причинял боль и хотел вырваться

[1] Норвежский экзамен на аттестат зрелости, позволяющий поступить в любое высшее учебное заведение.

наружу. Вениамин попытался встать и выйти к голосам. Но не смог. Об этом нечего было и думать.

— Как я понимаю, ты сама сообщишь Вениамину, что ему предстоит уехать из дому?

Голос Андерса звучал близко-близко.

— Да.

Нет, нечего было и думать о том, чтобы куда-то пойти.

— А мне доложишь, когда все будет уже решено? — Голос Андерса звучал словно в жестяном ведре. Это было неприятно.

— Ты неправильно к этому относишься, Андерс.

— А как я должен к этому относиться?

— Просто мне кажется, что я лучше понимаю, что Вениамину надо.

— Еще бы, ты же мать!

Послышалось смачное посапывание. Значит, Андерс набил трубку. Набил трубку! Странно иногда ведут себя люди.

Некоторое время пахло трубкой, потом Дина сказала:

— Почему ты рассердился?

— Я не рассердился. Просто я чувствую себя дураком, с которым никто не считается. Ты нас всех задавила, Дина. Ничего хорошего из этого не получится, вот увидишь. Я знаю, ты привыкла решать все одна. Но если уж ты выбрала меня в мужья, тебе придется смириться с тем, что я захочу принимать участие в твоих решениях.

— Ты и принимаешь в них участие,— мягко сказала Дина. Слишком мягко.

— Нет. Ты даже словом не обмолвилась, что собираешься отправить мальчика учиться. И не спросила, как я к этому отнесусь.

— Я бы непременно спросила. Просто я еще не привыкла к тому, что у меня есть муж.

Вениамин так и видел, как она то прячется, то появляется в мыслях Андерса. Верткая, точно ласка. Она, как ласка, могла проникнуть в любую, даже самую узкую, щель прежде, чем успевали заметить кончик ее хвоста.

— Дина, а его ночные кошмары?

— Это болезнь, она пройдет, когда он уедет из Рейнснеса.

Она сказала «болезнь». Но ведь она-то знает, что это неправда. Болен был не он, а русский. Русский был смертельно болен. У него была пробита голова. Зачем Дина лжет? Чтобы спастись? Неужели и она лжет, как все остальные?

Вениамин стоял посредине комнаты матушки Карен, протянув вперед руки. Ему хотелось погладить зеленый стеклянный купол керосиновой лампы, сделанной в виде херувима. Это хоть немного утешило бы его. Он растопырил пальцы. Но он был никому не нужен, даже лампе матушки Карен. Лампа отомстила ему. Зеленые осколки впились ему в голень. Под запах керосина русский вытекал из него маленькими красными каплями.

Вениамин продолжал стоять, не двигаясь, даже когда все сбежались к нему и заговорили разом, перебивая друг друга.

Глава 12

Олине не должна так кричать, думал Вениамин. В Рейнснесе вообще никто не кричал, кроме него самого и Олине. Но крик Олине был невыносим. В нем было что-то зловещее, потому что она как будто имела на это право. Не зря же она была Олине!

— Боже всемогущий, покарай всех, кто злоупотребляет твоими дарами! — кричала она с пылающим лицом.

Открытые двери кухни внушали страх. Вот опять. Наверное, лучше перебраться обратно в дом к Стине. Но ведь и там было ненадежно. Там был Фома.

— Хозяйка не должна так обращаться с мукой!

Злой, визгливый поток тек с губ Олине, из глаз струились слезы. Она не

предполагала, что у нее будут свидетели, кроме Теа. Но ведь у людей есть уши! Дина с мукой уже давно была в конюшне.

— Да ведь она и взяла-то самую малость,— бормотала Теа.— Там было на донышке.

— Я тебе покажу «на донышке»! — бушевала Олине.

Вскоре Вениамин услыхал смачный чавкающий звук. Словно на стол швырнули мокрую тряпку. Ему следовало вести себя по-мужски, посмеяться и сказать, что все это бабьи глупости. Но это было не так просто.

— Я сама видела, сколько она взяла. Это отвратительно! И к тому же большой грех! В Рейснесе больше не придерживаются старых обычаев: скотину нельзя кормить дарами Божьими. Бог покарает за это. Вот увидишь. Мы все еще примем возмездие за то, что Дина кормит скотину крупой да мукой!

Вениамин решил показать, что он взрослый, и пошел на кухню. Теперь-то она замолчит. Но Олине даже не заметила его. Она подошла к отпрянувшей от нее Теа и прошептала грозно и громко, точно заклинание:

— Как думаешь, почему в Рейснесе так не везет и людям, и лошадям? А? Я только спрашиваю, я ничего не утверждаю. Сперва лошадь понесла и вырвалась из оглобель, так что бедный Иаков погиб в омуте. Потом Дина собственноручно зарезала эту лошадь. А сколько уже лет у нас лошади болеют и дохнут? Истинная правда! Я это и перед пробстом могу повторить! Дина злоупотребляет дарами Божьими, и это возмездие!

Вениамин спросил, нет ли в кладовой просмоленной бечевки. Ему нужно обмотать ручку ножа, а то она слишком скользкая.

Но Олине по-прежнему не замечала его. Он попал в центр тайфуна.

— Дина лучше тебя знает, что нужно ее лошади! — заорал он тогда, чувствуя, как его бьет дрожь.

— Знает! — фыркнула Олине, словно она разговаривала с Теа.— А почему у нас тогда такая напасть с лошадьми? Последняя лошадь хромает так, что на нее больно смотреть. Фома ходит мрачнее тучи. Ты думаешь, это почему? А наш жеребец? Да у него с каждой страдой все больше сводит сухожилия. Суставы воспалены, брюшные колики...

— Как будто на других усадьбах такого не бывает,— слабо возразила Теа.

— Не смей говорить так о Дине! Она лучше всех умеет лечить колики у лошадей! Она разводит в пол-литре воды столовую ложку молочной кислоты или берет пол-литра разведенного уксуса... Сперва сама попробует, а потом уже дает лошади! — Вениамин грозно двинулся на Олине.

Но она сегодня словно помешалась. Остановить ее было невозможно.

— Дина перестает давать лошади корм и растирает ей брюхо теплыми тряпками! — Теа поспешила на помощь Вениамину.

Олине хотела было плюнуть в их сторону, но вместо этого сощурила глаза, и из этих щелок вырвались огонь и горящая сера.

— Она осквернила дар Божий! И за это ее ждет возмездие! Я спрятала мешок с мукой в чулане и прикрыла его коробками. Я знала, что спрашивать она не станет. И верно, не спросила. Но мучной след показывает, что она нашла мой тайник и украла муку! Что скажете? Чтобы хозяйка вела себя как варвар и крала дар Божий из собственного чулана! Для поганой лошади!

Олине так шумно втянула в себя воздух, что показалось, будто головы палтуса посыпались в бочку с солью.

— Что, скажите, в этой лошади такого особенного? Может мне кто-нибудь объяснить, что особенного в этой лошади? Чем она лучше коров, которые дают молоко, масло и мясо? От верховой лошади нет никакой пользы! Последний жеребенок вырос кривоногим, с цыплячьим крупом. Это возмездие! Нельзя злоупотреблять даром Божьим. Теперь Андерсу опасно выходить в море, потому что его жена нарушает простейшее из всех правил!

— Не смей так говорить о Дине! Замолчи! А то я... Я тебя застрелю из ружья! — крикнул Вениамин.

Олине наконец опомнилась. Она захлопнула рот так, что щеки у нее задрожали, и уставилась на Вениамина.

— Боже, сохрани и помилуй нас всех! И прежде всего это несчастное дитя! Теперь она к тому же хочет отослать его из дома! — Олине всхлипнула и обняла Вениамина.

Он погрузился в кисло-сладко-мучной мир.

Но хотя бы мог снова думать о чем-то другом. Все было позади.

Вениамин пошел к Андерсу, чтобы предупредить его о возмездии, о котором говорила Олине. Ему хотелось хоть что-то противопоставить этому возмездию, даже если от этого не будет большой пользы.

Андерс на причалах следил за погрузкой судов, уходящих на Лофотены. Выслушав Вениамина, он нахмурился.

— Дина это слышала?

— Нет, она была в конюшне.

— Дина на такую болтовню внимания не обращает. А у Олине слишком много предрассудков.

— Ты бы только послушал, что она говорит!

— Забудь об этом. Олине надо иногда побраниться. Она как паровая машина! Выпустит лишний пар и живет дальше. Останься со мной, поможешь мне считать.

Андерс усмехался, но было видно, что пророчество Олине немного смутило его.

— Не в пример лошади, каждый рыбак, идущий на Лофотены, согласно двухсотлетнему правилу, имеет законное право на трехмесячное питание,— сказал он и, развернув ветхий лист бумаги, прочитал вслух: «Каждому рыбаку положено: один бисмерпунд [1] масла, столько же старого сыра и два — обычных сыров. Два вога лепешек. Двадцать четыре бисмерпунда ячменной муки для селедочного супа. А также сырой бараний окорок и солонина. Двадцать лефсе [2] и четверть бочки селедки. Кислое питье [3], два литра водки и на одну марку табаку. Кроме того, каждый может брать по потребности патоки и муки для каши. Всего провианта на сумму десять талеров».

— И они все это съедают?

— Этого еще мало! Хочешь, чтобы у тебя была лучшая команда, бери больше, чем положено. Рыбаками командую я, независимо от того, что говорит Олине, а вот рыба в руках Господних. Но если рыба идет, тут уж все зависит от команды.

— Хорошо бы побывать там...

— Да, там есть на что посмотреть. Рыбаков видимо-невидимо. Говорят, что на Лофотенах собирается до двадцати тысяч рыбаков. И у каждого своя снасть. И каждому требуется пища. Вот и считай, сколько бочек с хлебом и сундуков с провизией надо припасти каждый год. Сколько морских роб и бахил. И за каждым судном обычно тянутся связки рукавиц, которые таким образом отмывают от грязи и льда.

Вениамин представил себе сорок тысяч замшелых от грязи рукавиц, которые, связанные друг с другом, плывут по Вест-фьорду. Это не шутки! Странно, что раньше никто не говорил ему об этом.

— Если Олине жаловалась тебе, что Дина скармливает лошади дар Божий, то не вредно тебе узнать и то, что именно твоя мать много лет назад подсчитала, сколько сыру, масла и табаку требуется каждый год посылать на Лофотены. Тогда-то я и начал возить туда товар на продажу. Олине смотрит на все со своей колокольни, то есть из кухни в Рейнснесе... А мы с Диной — немного иначе.

Он сказал: «Мы с Диной». Это все искупало. Андерс участвует во всем, что делает Дина. Значит, Олине ошибается.

---

[1] Бисмерпунд — старинная норвежская мера веса, равна 12 фунтам, или 6 кг.

[2] Лефсе — мягкие лепешки с картошкой, хорошо хранятся; едят с маслом или с вареньем.

[3] Кислое питье приготовляют из 1/3 молока и 2/3 воды и заправляют уксусом. Этот напиток долго хранится и хорошо утоляет жажду.

— Хоть ты и поедешь в Тромсё, чтобы стать ученым человеком, все-таки тебе неплохо знать: ловля рыбы — это свобода и приключения! Только там человек спит как убитый! Она дарит ему и силу, и мужество. Даже если рыбы не будет, все равно вырваться из дома — это счастье. А все остальное пусть ждет окончания сезона.

— А можно мне пойти с тобой на Лофотены?

Вениамин видел, что Андерс растерялся. И все-таки повторил свой вопрос.

— Я поговорю с Диной,— неуверенно пообещал Андерс.

Но оба понимали: об этом нечего и мечтать.

Андерс кашлянул:

— У тебя хорошая голова, парень. Пользуйся этим, пока молод.

— А у тебя, Андерс, разве плохая голова? Тебя небось никто не отправлял в Тромсё к чужим людям!

— Когда я был молодой, порядки были другие. Тогда мы радовались, если нам давали работу, да еще притом и кормили. К тому же у меня не такой характер, чтобы корпеть над книгами.

— Мне тоже хочется стать шкипером! Андерс, скажи Дине, что мы с тобой так решили!

— Дина считает, что из тебя шкипер не выйдет.

— Это еще почему? Я ей докажу!

— Вообще-то я с ней согласен.

— Значит, если я не гожусь в шкиперы, мне надо сдохнуть в Тромсё?

— Нет. Я уверен, что ты будешь счастливым. Из тебя может получиться большой человек. Поэтому тебе надо учиться.

— Кем же я буду?

— Со временем определишься. Но ты станешь большим человеком, это точно!

— Я думал, раз ты теперь мой отец, тебе и решать, а все равно все решает Дина! — не сдержался Вениамин.

Любой рассердился бы на его месте. Но сказанного не воротишь. Андерс не поднимал глаз.

— Дина лучше знает, что тебе надо. На то она и мать.

— А ты посмотри, что вышло из Юхана. Лежит на диване в своей рясе и клянчит у Дины деньги.

Андерс не мог сдержать улыбку.

— Юхан не такой, как ты. Он не сын Дины,— улыбаясь, сказал он.

— Ну и что с того?

— Вы с ним очень разные.

— Откуда ты знаешь?

— Это по тебе видно, когда ты злишься. Впрочем, когда не злишься — тоже.

— Но ведь у нас с Юханом был один отец. Ты помнишь, как умер Иаков? А теперь он украшает стену и является привидением в Динин чулан.

— Кто это тебе сказал?

— Дина говорит, что он там.

— Понятно.— Андерс задумался.

— Но он никому не причиняет зла.

— Это уж точно.

Андерс повозился с трубкой и раскурил ее.

— Андерс, а ты веришь в привидения?

— Нельзя сказать, чтобы они очень донимали меня.

— А меня донимают.

— Кто же тебя донимает?

— Русский. Я знаю, он и в Тромсё со мной поедет. С кем я буду там по ночам играть в шахматы?

— Он все еще снится тебе?

— Да.

— Что же он делает?

— Кричит. И просит.

— О чем просит?

— Чтобы я был его свидетелем.

Этого говорить не следовало! Вениамин понял это, как только закрыл рот. О таком не говорят!

— Ты все забыть не можешь, как ленсман допрашивал тебя после того случая?

— Не знаю...

— Никак не забудешь, что русский застрелился?

— Это все ружье!

Вениамин несколько раз повторил эти слова, чтобы у Андерса не закралось каких-нибудь сомнений.

— Конечно, ружье,— согласился Андерс.

— Разве люди могут стрелять друг в друга? — спросил Вениамин, понимая, что задает глупый вопрос.

— Иногда случается. Правда, не в наших местах.

— И что за это бывает?

— Пожизненная каторга. Стрелять в людей можно только на войне.

— Ты знаешь кого-нибудь, кто стрелял бы в людей?

— Слава Богу, нет!

— А ты подумай! Может, все-таки вспомнишь?

Вениамин понимал, что идет по краю пропасти. Но удержаться не мог. Он уже задал свой вопрос.

— Перестань, парень! Выкинь ты из головы все эти мысли!

Вениамин как ни в чем не бывало разглядывал маленького жука с черной спинкой, который медленно полз по полу. Черная блестящая спинка. Вениамин не знал, что на него нашло. Его вдруг заполнила невыносимая пустота. Он встал и раздавил жука каблуком.

— Бедный жук! Зачем ты его раздавил? Ведь он тебе ничего не сделал! — тихо сказал Андерс.

— А русский? Он тоже никому ничего не сделал,— сказал Вениамин и бессознательно сел на бочку. Бочка под ним закачалась. Пол был неровный.

— Это верно,— согласился Андерс.

— Скажи, как Дина может?.. Как она может жить, будто ничего не случилось? — Вениамин с удивлением вслушивался в собственный голос.

— Ты ошибаешься, она все помнит. Но только она не сдается,— ответил Андерс, лицо у него вдруг изменилось. Можно было подумать, что ему все известно.

Но ведь это невозможно!

— У Дины есть ты!

Как просто, оказывается, сказать эти слова: «У Дины есть ты!».

— Я есть и у тебя.

— Тот, кто принадлежит Дине, не может принадлежать кому-то еще! — выпалил Вениамин.

— Наверное, именно поэтому она и хочет, чтобы ты уехал из дому. Тогда бы ты перестал быть только сыном Дины.

— Ты так думаешь?

— Примерно так.— Андерс был как-то не похож сам на себя.

— А русский?

— Русский останется в Рейнснесе. Если же нет, сообщи мне, я сразу приеду и потолкую с ним.

— А если ты в это время будешь на Лофотенах?

— Можно приехать и с Лофотенов.

— Это долго.

— Но возможно. Какое-то время тебе придется справляться с ним в одиночку. Мужчина должен ко многому привыкнуть.

— Ты считаешь, что я не мужчина, если боюсь мертвого русского?

— Я видел взрослых мужиков, которые пугались куда менее страшных несчастий,— серьезно ответил Андерс.

— А тебе когда-нибудь было страшно?

— Случалось.

— Дина говорит, что страшно бывает всем.

Лицо у Андерса вытянулось от удивления. Видно, он еще многого не знал, этот Андерс. И всегда верил только хорошему.

— Вот как?

— Да. Она говорит, что ей тоже бывает страшно.

— И чего же она боится?

Любой разговор требовал осторожности. Нельзя откровенничать для того, чтобы на душе стало легче. Надо терпеть. Теперь следовало перевести разговор на другую тему. Неопасную.

— Давай поговорим о чем-нибудь нестрашном,— предложил Вениамин.

Андерс кивнул и не стал больше задавать вопросов. Он во всех отношениях был замечательный отец. Знал, когда надо поставить точку. Вместо этого он рассказал Вениамину, как во время одного плавания его даже рвало от страха, и морская болезнь была здесь ни при чем.

— А стоит сойти на берег, где тебе не угрожает опасность, сразу все забываешь,— с улыбкой заключил он.

Уже на другой день Андерс сообщил Вениамину, что, к сожалению, его обваляют в грамматике и поджарят на математике, чтобы подготовить к поступлению в классическую гимназию в Тромсё. Времени в обрез, так что с Лофотенами придется повременить.

— Почему она такая злая?

Вениамин мог позволить себе так сказать тому, кто должен был быть его отцом.

— На то есть много причин,— заметил Андерс и отвернулся.

Вениамин часто сидел в комнате матушки Карен и размышлял над тем, что ему многое следует забыть. Хорошая память вовсе не благословение Божье. Но чем больше он думал об этом, тем лучше все помнил.

Иногда эти мысли одолевали его во время чтения и портили ему все удовольствие. Они взывали к нему его собственным испуганным голосом. Читая приключения и романы, он слышал, как сам рассказывает себе все то, что следовало забыть.

Это было даже похуже, чем крики русского.

Иногда он видел себя со стороны. Словно пылинку, положенную кем-то под увеличительное стекло матушки Карен. Может, даже он сам положил себя туда. Тогда он представлялся себе непобедимым великаном, который шагает по вселенной, накинув на плечи вместо плаща звездное небо. Однако чаще всего он отождествлял себя с тем, что лежало у него под увеличительным стеклом. Несколько раз ему казалось, что он мотылек, который летит через комнату, никем не замеченный.

Вениамин часто пытался понять, почему он подчиняется всем решениям Дины. Но, может, она ничего и не решала? Может, это он сам всегда пытался угадать, чего она ждет от него?

Иногда он очень хорошо понимал, что она ни в чем не виновата. И вообще никто не виноват. Но не смел собрать воедино эти мысли, потому что тогда оказалось бы, что виноват он. Он трус. Он не такой добрый, каким следует быть. Он плачет и кричит без всякого повода еще почище, чем Олине.

В самые тяжелые дни он думал, что Юхан лучше его, хотя оба они сыновья Иакова. Матушка Карен больше гордилась Юханом. Юхан — хороший человек, это бесспорно. И если он однажды ударил Вениамина, значит, на то были свои причины. И очень веские.

Однажды после свадьбы Дины и Андерса Вениамин попытался поговорить с Юханом. Ведь Юхан был его единственный брат. В тот день Юхан был непривычно весел. Поэтому Вениамин без приглашения отправился с ним на прогулку по берегу. Однако во время прогулки обнаружилось, что

его присутствие не доставляет Юхану ни малейшего удовольствия. Можно было, конечно, сделать вид, будто ничего не замечаешь, и выдержать прогулку до конца. Но это было бы уже совсем другое дело. Вениамин понимал, что плохо поступает по отношению к брату, что он уже достаточно взрослый и должен знать, что об этом говорить нельзя, и все-таки не удержался.

— Теперь Дина вышла замуж за Андерса, и тебе придется спать одному, когда ты приезжаешь в Рейнснес,— выпалил он то, что давно вертелось у него на языке.

Юхан замер. Прибой плескался о скалы. Солнце залило отмели зеленым светом, было очень тихо. Лишь где-то в отдалении слабый ветер наводил свой порядок. Но сердце Вениамина сковал лед. Юхан побелел, как песок из ракушечника, на котором он стоял. Его бледность предвещала беду. Бледность брата, который слегка покачивался от ветра.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил этот брат, почти не разжимая губ.

Вениамин прекрасно знал, что Юхану будет трудно стерпеть его слова, поэтому он сказал:

— Ведь ты спал у Дины, когда она жила в бывшем доме для работников! Признавайся!

— Откуда ты это взял?

Юхан грозно шагнул к нему. Оставалось только повернуться к нему спиной. Сердце Вениамина стучало в кончиках его пальцев.

— Я тебя видел!

Юхан схватил Вениамина за плечи. Его ногти впились ему в кожу. Вениамину было почти приятно. Как будто у них была общая вина.

— Молчи! Ты ничего не мог видеть! — крикнул Юхан и еще крепче сжал Вениамина.

Вениамину следовало закричать. Человек не может молчать, если в него так вцепились. По крайней мере, известно, отчего он кричит.

— А что в этом такого? — крикнул Вениамин, вырвался и убежал вперед.

На бегу он обернулся и прибавил к сказанному такое, что Юхан бросился за ним, уже не сомневаясь в том, что Вениамин действительно видел его.

— Это наглая ложь! Попробуй только повторить это хоть одной живой душе! — просипел он.

«Я не лгу! Но если ты боишься, я никому ничего не скажу!» — мог бы Вениамин крикнуть своему брату. Это было так просто. У них с Юханом появилась бы общая тайна. Думая о ней, Юхан неизбежно думал бы и о нем.

Глава 13

Перед Рождеством ленсман с семьей приехал в Рейнснес. Настроение за столом было не из веселых. Мальчики поехали с Фомой развозить рождественские подарки арендаторам.

Тучи сгустились после того, как ленсман за обедом заметил, что в Рейнснесе нет покоя даже ночью. Все время кто-то ходит, хлопает дверьми. В приличных домах люди так себя не ведут.

— Вениамину до сих пор снятся кошмары,— коротко объяснил Андерс.

Дина вся напряглась, она сидела с каменным лицом и едва притрагивалась к еде.

— Каждую ночь? — спросила Дагни.

— Да, в последнее время,— ответил Андерс.

— Это уже никуда не годится... Почему он у вас вырос таким неженкой? — спросил ленсман и потянулся за второй порцией рыбы.

— Это все тот случай с русским,— тихо ответил Андерс и передал ленсману блюдо с рыбой.

Палтус пах уксусом и лавровым листом. Белый, плотный, усеянный по краям бусинками и прожилками жира.

— Но ведь прошло уже столько времени.— Ленсман положил себе большой кусок.

— Это произошло у него на глазах. Такое зрелище могло потрясти и взрослого,— сказал Андерс.

— Но тогда, как только это случилось, он выглядел совершенно здоровым,— заметила Дагни — ей очень хотелось сохранить за столом мир.

Ленсман, продолжая жевать, долго смотрел на нее. Потом кивнул и многозначительно изрек:

— Чем меньше с детьми носятся, тем лучше.

— Как со мной, например? — спросила Дина.

— Ну-ну...— забормотал ленсман.

Андерс и Дагни заговорили одновременно, их слова столкнулись в воздухе.

— Что ты понимаешь? Ты видел, как упал русский? — продолжала Дина.

— Ну-ну...— добродушно повторил ленсман.

— Или как обварилась Ертрюд? — прошептала Дина.

Ленсман Холм вдруг побледнел и схватился за сердце.

— Дина, пожалуйста, не затевай ссору,— попросила Дагни, приподнявшись со стула. Ее нож упал на пол. Серебряная ручка звенела еще некоторое время.

— Или ты видел, как Иаков упал с обрыва? — холодно продолжала Дина. Она сплела руки перед тарелкой и пристально смотрела в закрытые глаза ленсмана.

— Дина...— попросил Андерс.

— И как повесился Нильс?

От Дины веяло ледяным холодом.

— Если бы ты все это видел, возможно, даже у тебя после этого началась бы бессонница. Так что лучше молчи!

Она спокойно отодвинула стул, сложила салфетку и положила ее рядом с нетронутой едой. Потом кивнула каждому в отдельности и вышла из столовой.

Андерс высидел до конца. Но потом сослался на усталость, пожелал всем доброй ночи и ушел спать. Наверху, перед тем как войти в спальню, он постоял, собираясь с духом.

Дина раздевалась за ширмой. Андерс подошел к ширме и долго смотрел на Динину голову, пока она не подняла на него глаза.

— Я не могу выносить эту вечную войну между тобой и твоим отцом,— без обиняков начал он.

— И что ты намерен делать?

— Буду куда-нибудь уезжать, пока они гостят у нас. Если ты не позаботишься, чтобы за обеденным столом царил мир,— ответил он и снял пиджак вместе с рубашкой.

Дина молча повесила блузку на ширму. В неярком свете он видел только ее руки и голову. За окном шел снег. Андерс задернул занавески и разделся.

Высказав все, что у него было на душе, он сразу успокоился. Но Дина не унималась. И в конце концов Андерс не выдержал:

— Теперь другое, и самое главное: нельзя отправлять Вениамина в Тромсё, пока он в таком состоянии. Ведь он совершенно не спит! — сказал он.

— Там ему придется думать о другом, и он забудет о том, что мучило его здесь,— возразила Дина.

— Ты к нему слишком сурова.— Андерс заметил, что начинает сердиться.

— А что, по-твоему, мне делать?

— Оставить его дома, пока все не уляжется.

— А если это так и не уляжется?

Андерс смотрел на ее спину, она расчесывала волосы щеткой. Как обычно, когда он незаметно для Дины наблюдал за ней, лицо у него стало беспомощным.

— А если все так и останется? Навсегда? Значит, ему всю жизнь жить здесь, в Рейнснесе, со своими кошмарами?

— Ты пробовала поговорить с ним? Что его мучит?

— Я знаю, что его мучит,— устало сказала Дина и вышла из-за ширмы.

— Понимаю, это смерть русского. Но надо объяснить Вениамину, что его вины в этом нет.

Дина быстро обернулась к Андерсу и посмотрела ему прямо в глаза:

— Никто и не говорит о его вине!

— Я знаю. Но он-то это понимает? Мы могли бы помочь...— Андерс помолчал, потом медленно произнес: — Впрочем, может, ты не совсем подходишь для такого разговора.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты ведь тоже была там. Вы с Вениамином вместе нашли русского. Поэтому лучше, чтобы с ним поговорил кто-нибудь другой.

— Кто же, по-твоему? Пастор? — презрительно спросила Дина.

— Зачем пастор? Я!

Дина смерила его взглядом и отложила щетку для волос на место.

— Не слишком ли ты высокого мнения о себе, Андерс?

Он почувствовал ее сарказм.

— А ты какого обо мне мнения? Разве не высокого? — По его лицу скользнуло подобие улыбки.

— Конечно, высокого. С твоей стороны очень великодушно предложить свою помощь,— с отсутствующим видом сказала она.

Уже лежа в постели, Дина проговорила, глядя в пространство:

— Это не тебя, а меня не должно быть в Рейнснесе.

— Любопытно. Значит, твои родственники будут приезжать в гости ко мне одному?

— Возможно, так и будет.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думаю, мне придется уехать.

В комнате не осталось ничего, кроме тишины.

— Дина, опять? Но почему? — прошептал он наконец.

— Уеду куда-нибудь, где смогу учиться играть на виолончели.

— Играть на виолончели! О Господи!

Он слышал только ее дыхание. Очень холодное.

— Ты уже говорила об этом.— Он глубоко вздохнул.— Стало быть, опять все дело только в этом? Ты уже раскаиваешься, что вышла за меня замуж?

Она покачала головой и прижалась к нему.

— Что с тобой происходит? Неужели до сих пор в этом доме царит русский?

— Здесь нечем дышать.

— Помнишь, ты и на шхуне говорила об этом? Потом захотела исправить это с моей помощью. Но теперь и я уже не помогаю!

— Я не виновата!

— Кто же тогда виноват?

Дина не ответила. Она лежала неподвижно, словно хотела показаться спящей. Андерс рассердился. Но он не любил показывать свой гнев.

— Ты все еще горюешь о нем? — спросил он наконец.

— Что значит... горевать? — ответила она вопросом на вопрос.

— Не знаю. Для меня это... Но я не знаю, что значит горевать *для тебя.*

— Я тоже,— еле слышно сказала она.

Его охватила смертельная усталость. И все-таки он выдержал. Он должен был заставить ее сказать все.

— Может, тебе все-таки следует разобраться в этом? Ты всю жизнь о ком-нибудь горевала. Сначала о матери, потом об Иакове. Теперь вот о Лео... Может, тебе следовало разобраться в этом до того, как ты попросила меня жениться на тебе?

Кто-то поднимался по лестнице на второй этаж. Дагни и ленсман, тихо разговаривая, осторожно закрыли за собой дверь залы. Когда все стихло, Дина несколько раз прерывисто вздохнула.

— Наш брак не имеет отношения к моему горю,— сказала она.

— Ты уверена? А ты вышла бы за меня замуж, если бы Лео по-прежнему приезжал в гости в Рейнснес?

— Опять начинаешь, Андерс?

— Нет!

Они лежали, прижавшись друг к другу под большой периной. И не двигались. Прошло столько времени, что он невольно пошевелился.

— Поймать бы неводом все твои мысли! — сказал он и обнял ее.

Она промолчала и тоже обняла его. Это было уже немало.

— Дина!

— Да?

— Ты не веришь... что и к нам когда-нибудь... придет любовь... Или если хочешь...— Он начал заикаться.

— Любовь...— проговорила она.

— За себя я могу поручиться.

— Почему?

— Я знаю, что это так.

Она провела рукой по его волосам, по затылку. От этого он почувствовал себя еще более несчастным.

— Ты не ошибаешься? — шепнул он в ее ладонь.

— Нет, Андерс, нет! Не ошибаюсь!

Он задал ей очень важный вопрос. Поняла ли она его?

— Может, тебе станет легче, если ты поговоришь о нем? О Лео? — Андерс вздохнул.

Дина не ответила. Но он понял, что она думает над его словами. Она задержала дыхание. Он повернул ее к себе, чтобы увидеть ее глаза. Однако было слишком темно. Он увидел лишь две далекие звезды. Потом и они исчезли.

— Нет. Давай спать, Андерс. День был тяжелый.— Дина попыталась закутаться в перину.

— Ты казнишь себя из-за того, что он застрелился? И за то, что Вениамин видел это?

— Давай спать, Андерс,— повторила она.

— Нет! Почему ты хочешь уехать? — Он повернул ее к себе.

Андерс рассердился. И сам слышал это. Рассердился, потому что ему стало страшно.

Тогда она села, подтянув колени к подбородку и обхватив себя руками. И стала тихонько покачиваться из стороны в сторону. Андерс попытался обнять ее. Но она отбросила его руку. Потом закрыла лицо руками, словно в ожидании удара, и проговорила, заикаясь:

— А если бы я сказала тебе... что он не сам... Что бы ты тогда сделал, Андерс?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказала.

— Это был несчастный случай?

— Нет.

В тенях у двери было что-то подозрительное. Андерс не мог понять, откуда они появились.

— Дина!

— Что?

— Ты хочешь сказать?..

— Да!

Когда в комнате не осталось ничего, кроме их дыхания, она громко повторила:

— Да!

Было темно. Андерс снова стал маленьким мальчиком. Он сидел на коленях у матери. Но ведь его мать уже много лет как утонула! Никто ничего не знает о времени. Он нашел Динину руку. Разжал и переплел свои пальцы с ее.

— И Вениамин видел это? — услыхал он собственный голос, доносившийся откуда-то издалека.

— Не знаю,— ответила она так тихо, что он долго вслушивался в тишину, чтобы различить в ней ее слова.

Потом он переплел их пальцы и на другой руке. Так крепко, что у него заболели суставы. Но Дина, наверное, не чувствовала боли.

— Что ты теперь сделаешь? — спросила она.

Он прокашлялся. Потом сообразил, что им обоим холодно, и натянул на них перину.

— А черт его знает! — воскликнул он наконец и рывком привлек ее к себе. Словно это было для него самое главное.

Время текло, точно песок, принесенный волной.

— Чем же он перед тобой провинился? — вдруг вырвалось у Андерса.

Она покачала головой. Это движение отдалось дрожью во всем ее теле. Он не мог понять, плачет она или нет. Но ее лицо, прижавшееся к его груди, было сухое.

— Дина?

— Я не могла позволить ему уехать. Меня ослепила страсть...

— И это говоришь ты? А сама грозишься уехать от меня! Может, и мне надо зарядить ружье?..

Ее глаза блеснули в темноте.

— Да! — твердо сказала она.— Если у тебя хватит на это любви. Сделай это! Люди всегда поступают одинаково, пока кто-нибудь не осмелится нарушить привычный порядок. Всю жизнь. Но кто-то же должен осмелиться!

Он смотрел в темноту.

— Не может быть, чтобы ты говорила серьезно!

— Пожалуйста, Андерс! Освободи меня! И только таким образом! В Писании сказано, что любовь не бывает напрасной! Что она переживет все! У меня получилось иначе. Он больше не пришел...

Андерс чувствовал, как его сердце разрубает тело на части. Мощными ударами оно перерубало кости и мышцы, наконец его голова отделилась от тела и покатилась на колени Дины.

— Боже милостивый, спаси нас обоих! — выдохнул он и обнял ее обессиленными руками.

Он водил суда в непогоду, когда волны на море были выше церкви. Он разнимал мужчин, бросавшихся друг на друга с ножами. В тяжелую минуту он призывал и Бога, и дьявола. Но он еще никогда не обнимал никого, кто бы...

Однако это была его жизнь, и он не мог от нее отказаться.

— Что ты теперь сделаешь? — ворвался в его мысли голос Дины. Чужой и жесткий.

Он набрал в легкие воздуха. Много-много.

— Я не выпущу тебя из объятий, пока ты не расскажешь мне все, что мне следует знать. И после этого тоже! Но только не бросай меня! Слышишь? Не уезжай от меня!

— И ты сможешь все это вынести?

Он ответил не сразу, но когда заговорил, голос его звучал твердо:

— Я вынесу все, что мы будем нести вместе! Все, что я буду знать!

— Теперь ты знаешь!

Дина издала хриплый короткий смешок и освободилась из его объятий. Потом, прежде чем он успел помешать ей, слезла с кровати. Ощупью.

словно спросонья, вытащила из-под кровати ночной горшок и присела. Послышалось журчание. И вдруг этот звук смешался с рыданием.

Андерс сбросил перину и присел рядом с ней, вдыхая острый запах мочи и пота. Не зная, что делать, он пальцами расчесывал ее волосы. Потом помог ей лечь.

Дрожащими руками он зажег свечу. Поставил ее на стул возле двери, чтобы свет не раздражал Дину. Подошел к умывальнику. Намочил водой из кувшина полотенце и неловко выжал его.

Вернувшись к кровати, он обтер Дине лицо и шею, она бормотала что-то, но он не сразу понял ее слова:

— Я видела их всех. Учителя. Учеников. Иоанна. Иуду. Симона-Петра. Они все еще лгут. Лгут, отрекаются, предают. По-моему, они сами не ведают, что творят. А Христос, сколько бы падших женщин ни лежало у его ног, всего лишь младенец,— она замолчала, словно не знала, как выразить все, что у нее на душе.— Но ты, Андерс!.. Ты взвалил на себя слишком тяжелую ношу. Тебе с ней не справиться!

— Я справлюсь со всем, с чем справишься ты!

Она покачала головой и вернула ему полотенце.

— Все повторяется. Мы всегда поступаем одинаково. Всегда. До сегодняшней ночи ты не понимал этого. Но теперь... Теперь ты все знаешь, Андерс!

Он бросил полотенце на пол.

— Помню, мне приходило в голову, что Лео не из тех мужчин, которые могут жить с одной женщиной... Но я думал, ты понимаешь это. Господи Боже мой! Дина, мог ли я изменить что-нибудь, пока еще было не поздно?

Она покачала головой.

Он крепко схватил ее за плечи и сказал:

— Значит, нам надо решить то, что еще можно решить!

Краем уха он услыхал, как во двор въехали сани. Свет факела брызнул кровью на занавески. Вскоре осторожно открылась входная дверь, и три пары ног прошаркали к своим постелям.

Метель бросала в окна снежные комья, они прилипали к стеклу. Росли. А потом беззвучно срывались вниз под собственной тяжестью. И снова надолго в окне была видна ночь. И на стекле нарастали новые комья. И все повторялось сначала.

Утром Дина и Андерс настороженно следили друг за другом. Словно каждый из них удивлялся, что другой еще здесь. Несмотря на то, что всю ночь они тесно прижимались друг к другу. Если бы кто-то накануне сказал Андерсу, что с такой тяжестью можно жить, он бы ни за что не поверил.

С этим они встали. Она первая. Он — за ней. Прошел к ней за ширму и обнял ее. Оба молчали.

За завтраком он смотрел на ее руки, намазывающие масло на хлеб. Длинные пальцы сжимали нож, удерживали на тарелке хлеб. И вдруг Андерс увидел руку, прижимавшую к щеке ружье. Услышал выстрел. Он раскатился по всему дому, но никто даже головы не поднял.

Тошнота. К этому предстояло привыкнуть. Подавлять ее и скрывать.

Глава 14

Вениамин слышал, как старики говорили, будто время идет слишком быстро. Теперь и он это чувствовал. После того, как стало известно, что его отправят в Тромсё. В его жизни не осталось ничего, кроме занятий и кандидата Ангелла. Словно он уже не принадлежал к сонму живых.

Андерс один ушел на Лофотены и потом в Берген, в нынешнем году раньше, чем обычно. Теперь он редко бывал в Рейнснесе. А взгляд Дины был прикован к чему-то, чего не видел больше никто.

У Ханны же обязанностей было не меньше, чем у взрослой женщины.

Вениамин даже жалел, что уже давно отдалился от Фомы. Впрочем, как только сходил снег, Фома не интересовался ничем, кроме улучшения земель. Он настоял на своем и обратился в Сельскохозяйственное общество за советом, как улучшать земли, чтобы получать более богатые урожаи.

К тому же Фома уговорил Дину купить в Трённелаге молодого быка айрширской породы. Теперь все только и говорили что об этом быке, будто других быков на свете уже не существовало. Андерс должен был привезти быка в Рейнснес, возвращаясь из Бергена.

Новый ткацкий станок Стине по-прежнему вызывал у всех восторг.

— Благословенный станок! — время от времени говорила Стине.— Превосходный навой, и ручка очень удобная. Сам широкий, а прибой легкий, просто чудо!

Чтобы никто не сомневался, кому принадлежит станок, Дина велела вырезать на навое инициалы Стине. Стине могла взять его с собой хоть в Америку, если бы захотела.

В усадьбу приходили женщины и просили у Стине разрешения поткать на ее новом станке. Со своей пряжей, лоскутами и дочерьми. Потому что станок с места не трогали! Его установили в самой большой комнате людской, в которой проводили свободное время все работники усадьбы. Мужчинам даже нравилось, что в усадьбе появились станок и чужие женщины, хотя им и приходилось выходить по вечерам на порог со своими вонючими трубками.

Чужие женщины резали тряпки на длинные лоскуты, сшивали их и помогали с уборкой. Они смеялись, сплетничали и пели. Их вид наводил Вениамина на мысль о свежесбитом масле или о ручьях, журчавших в горах.

Ткачихи приходили по очереди. Они набегали, как мелкие волны на берег. Одна, две... Сперва в аллее шуршали юбки. Потом за углами людской или уборной звучали веселые возгласы и тихий смех. Из открытых окон по ночам доносился шепот. Днем звенели, переливались веселые голоса. Не один только Вениамин наблюдал за работой этих чужих созданий. Все мужчины в усадьбе поглядывали на них. Вениамин слышал, как они спрашивали у женщин, не нужно ли чего принести. Или наколоть дров. Или прибить лишние крюки для светильников. Самый молодой из работников даже предложил смастерить полки для корзин с клубками из лоскутов, чтобы они не путались под ногами. Когда станок Стине предоставляли в распоряжение чужих ткачих, в Рейнснесе не было отбоя от новых работников.

Вениамин тоже придумывал любой предлог, чтобы поглядеть на ткачих. У одной из них была такая тонкая талия, что он даже боялся заговорить с ней. Ткачихи склонялись над станком, и их обтянутые лифами груди слегка колыхались.

В лавку стало приезжать больше народу, чем обычно. Это начиналось уже в феврале. Мужчины приплывали на больших и маленьких лодках, чтобы повидаться с женами, сестрами, возлюбленными. Или с теми, кого надеялись застать в Рейнснесе. А уж вытянув лодки на берег, покупали сладости, нюхательный табак и всякую мелочь.

Иногда даже сам кандидат Ангелл, прислонившись к открытому окну, умолкал посреди диктанта. Это означало, что мимо прошла одна из незнакомых женщин.

Однажды в мае Вениамин стоял на табурете и медленно поворачивался кругом, разведя руки в стороны. Если он делал неосторожное движение, многочисленные булавки больно кололи его.

— Стой спокойно — скорее закончим! — говорила ему портниха.

Вениамин и сам понимал, что это единственный способ скорее избавиться от врага.

— Вениамин почти не вырос за этот год,— заметила портниха, рот у нее был полон булавок.

На ней были синий передник и строгая наколка в волосах. Вениамину хотелось, чтобы она проглотила булавки. Все сразу. Конечно, это было скверное желание. Но естественное. Чтобы Бог простил его, он постоял, не двигаясь, лишнее время.

— Вениамин не спит по ночам и слишком мало ест, вот он и не растет! — объяснила Теа, она разглядывала его, словно он уже усох и умер.

— Что тебя мучает, юный Вениамин? — вкрадчиво спросила врагиня и уколола ему руку булавкой.

Он не ответил, но в отместку вытер нос рукавом, отчего на рукаве осталась белая полоска. Потом он невольно чихнул. Это уже непреднамеренно. И тут же раскаялся, потому что булавки пришлось перекалывать заново.

Стине тихонько пожурила его за испачканный рукав и пошла на кухню за тряпкой.

Вениамин промолчал. Пусть занимаются своим делом и судачат о том, что он не вырос. Он не будет им мешать.

Вошла Дина и оглядела его, склонив голову набок.

— А нельзя ли сшить костюм, который был бы ему впору? — спросила она.

— Мальчикам всегда шьют одежду навырост. А то еще до Рождества он будет ходить по Тромсё полуголый,— ответила портниха и показала, что она заложила складки внизу на штанинах и на рукавах рубашек.

Стине и Теа поддержали портниху. Они сняли со стены в прихожей большое зеркало и держали его перед Вениамином. И он сам, и костюм на нем выглядели как взятые напрокат.

Дина кивнула, но он прекрасно видел, что она даже не взглянула на него. Ей было наплевать, что он похож на огородное пугало. Однако это его не задело.

Вениамин позволил портнихе вертеть себя из стороны в сторону под строгим взглядом Стине. Он был всего лишь деревянной фигурой, которую должны нарядить и послать в Тромсё. Правда, перед тем ему предстояло ответить в церкви на вопросы пастора. Вениамин был готов на все, лишь бы Андерс успел вернуться из Бергена до его конфирмации.

Ханна теперь думала только о том, чтобы хорошо и быстро выполнить все, что ей поручали. Случалось, она тихонько садилась рядом с Вениамином и слушала, как он читает вслух. Но только потому, что не любила оставаться одна. Несколько раз она даже засыпала под его чтение.

Больше он не изучал ее тело, как раньше. Она говорила, что они уже слишком взрослые для таких игр. А он не находил нужных слов, чтобы возразить ей. Взрослые так взрослые, с этим уже ничего нельзя было поделать. Но несколько раз он все-таки зарылся носом в ее волосы. На затылке. Там хранилось такое странное тепло. Однако Ханна отказывалась долго сидеть неподвижно. Впрочем, и это было неважно. Он все равно уедет отсюда.

Сейчас он больше всего нуждался в одиночестве. Ему хотелось о многом подумать. Все неслось мимо, и он уже ничего не успевал удержать. Наверное, по той же причине и тело его перестало расти. Даже пушок на верхней губе и тот перестал расти.

Если он сидел в комнате матушки Карен и никому не мешал, все о нем забывали. И если бы в один прекрасный день вообще не вышел оттуда, никто и не заметил бы, что он куда-то исчез.

Вениамин много времени проводил в летнем хлеве. Через маленькое оконце туда проникал синеватый свет. Пахло коровами, навозом и клевером. Он сидел в открытых дверях и размышлял над сложными вопросами: кто он, за кого его принимают другие и за кого ему следует себя выдавать, чтобы никто ничего не обнаружил.

Иногда, осмелев, он задавал себе вопрос: ради чего он живет? Ради себя? Или ради того, чтобы быть свидетелем, который не дает показаний?

Ответа он не находил. Зато привык к постоянно живущей в нем тревоге. Голова его казалась слишком большой по сравнению с туловищем. Не спасало и то, что по совету Стине он держал ее очень высоко.

Вениамин уже не помнил, когда ему на ум первый раз пришла мысль, что никто ни от чего его не спасет. Он сам должен спасти себя. Эта мысль белым червем ползала в его позвоночнике. Червь извивался, копошился и плодил новых червей. В конце концов Вениамину стало трудно держаться прямо. У него не хватало сил даже бояться по-настоящему. Он знал, что этот страх может убить его. Потому вместо страха и пришла эта тревога с червями. Вот черви сожрут его, и останется пустота. Нельзя было беспрестанно думать об этом, но ведь он все равно знал, что останется пустота.

Вениамин видел, что Дина тоже ждет Андерса. Она ежедневно поднималась на холм, где стоял флагшток. Похудела и сама стала как флагшток. Где уж ей было думать о том, как выглядит Вениамин или что на нем надето. Зачем? Ей хватало своих забот.

Вениамин старался приходить на холм одновременно с Диной. Следил, когда она пойдет к флагштоку, словно у них там было назначено свидание. Только у них двоих. Хотя он знал, что она ждет не его, и даже не Андерса. Она ходила туда из-за русского.

Дина не сердилась на появления Вениамина, но почти не разговаривала с ним. Она стояла не двигаясь, и волосы ее летели по ветру, точно черный парус. Если светило солнце, они оба прикрывали глаза ладонью. Словно сговорились.

Так они стояли на ветру, когда шхуна Андерса вошла в пролив. Вениамин закричал от радости и бросился в дом, чтобы надеть длинные брюки, непомерно большой пиджак и белую манишку. Ни дать ни взять перелетная птица, которая уже сменила свое летнее оперение и совсем скоро отправится за море.

Сапоги были Вениамину впору, поэтому ступал он твердо и не спотыкался о камни и бревна. Он очень ждал возвращения Андерса. Но радости как будто не чувствовал. Поэтому сперва громко кричал и смеялся, а потом замолчал и ждал вместе со всеми среди прибрежных камней.

На воду спустили лодки. Одну, другую. Люди уже замолчали, а ветер еще долго носил над водой и хлопьями пены их голоса.

Наконец-то мечта Фомы осуществилась! Быка торжественно доставили на берег. Из-за сильной качки у него расстроился желудок. Стойло, в котором быка везли, и сопровождавший его парень были в навозе.

Андерс вздохнул с облегчением, когда на быка накинули веревку и свели его на берег. Он тут же приказал начисто отдраить шхуну после такого пассажира.

— Бык, конечно, тоже человек, да только на море ему делать нечего,— засмеялся Андерс, когда днище лодки царапнуло о камни.

— Его зовут Туре Собака, как одного древнего викинга, и стоил он тридцать талеров,— сообщал Фома всем налево и направо.

— Солидные деньги за скотину,— заметил один из арендаторов, он нырнул быку под брюхо и что-то там делал.

Мужчины с интересом следили за ним, женщины стыдливо отвернулись. Бык грозно замычал и вскинулся на ручную тележку.

— Мы еще на нем заработаем,— гордо сказал Фома.

— Что будешь брать за одну случку? — спросил кто-то.

— Шесть талеров,— ответил Фома и погладил рассерженного быка.

— Не многовато ли?

— Арендаторам будет скидка,— негромко сказал Фома.

Все сошлись на том, что такого могучего быка им видеть еще не доводилось.

На берег спустилась Дина. Она пожала Андерсу руку и поздравила его с возвращением домой. Вокруг Фомы с быком вдруг воцарилась тишина. Теперь остались только Дина и Андерс.

Рейнснес слишком долго страдал от сырого тумана. Андерс был для них все равно что спасительное шерстяное одеяло. Вениамин заметил, что и Дина испытывала подобное чувство, когда они все вместе поднимались к дому. Андерс шел по аллее и нес русского на спине, точно пушинку. Но лишь когда Андерс, поставив локти на стол, начал рассказывать о поездке, дышать вдруг стало легче, чем раньше.

Вениамин чувствовал себя упакованным в сундуки и чемоданы, но жаловаться было не на что. Все могло быть гораздо хуже. В дорогу могла собраться сама Дина.

Однажды он стоял с Андерсом возле голубятни и смотрел на голубей. Неожиданно Андерс сказал:

— К Рождеству я приеду за тобой! Клянусь! Дотерпи только до Рождества! А там я приеду за тобой в любую погоду!

Вениамину пришлось кивнуть — это было сказано с добрыми намерениями.

Ленсман с семьей приехал на конфирмацию Вениамина. Дагни хвалила Вениамина за то, как он отвечал в церкви на вопросы, касающиеся святой веры, и пространно толковал катехизис.

Ленсман считал, что такая светлая голова ни в коем случае не должна пропасть. Золотые запонки он преподнес Вениамину еще накануне.

Вениамин больше не дрался с Оскаром и Эгилем. С забавами было покончено. Олине уже не кричала на весь дом, что отпрыски ленсмана убьют Вениамина. Оскар и Эгиль ходили по пятам за Диной. Они говорили только с ней или о ней, как будто она принадлежала им. Вениамин так и не привык к тому, что они ее единокровные братья. Все портило еще и то, что он был моложе их.

Он сблизился с Дагни. За это лето она заметно изменилась в его глазах. Упрямая, вечно недовольная чем-то женщина вдруг стала очень привлекательной. Опасной и необходимой. Ему хотелось всегда быть рядом с ней. Ее волосы. Тяжесть ее тела, когда она наклонялась над его кроватью, желая ему покойной ночи. Дагни сохранила этот обычай, хотя, на ее взгляд, мальчики были для этого уже слишком большие.

Она была далеким облаком. Невыразимо прекрасным. Вениамин пользовался всеми мыслимыми приемами — и теми, которым выучился совсем недавно, и теми, которые знал давно,— чтобы заставить Дагни обратить на него внимание.

После возвращения из церкви женщины в ожидании обеда собрались в беседке и возле нее. Вениамин прошел мимо открытой двери беседки. Тени от листьев дрожали на лицах, плечах. Вениамин погрузился в аромат, исходивший из корсетов и блузок. Это было не очень по-мужски. Но ведь можно позволить себе опять ненадолго стать маленьким!

Дагни наклонилась к нему, чтобы рассмотреть его запонки. Коснулась его руки. Это было немного странно. Сказала, что он вырос и стал красивый.

Голова Вениамина превратилась в мягкий клубок. Рука поднялась. И против его воли коснулась ее груди. Дагни не шелохнулась. Но спрятала его руку у себя на груди. Как будто вместе с ним участвовала в игре, о которой никто не должен был знать. Тогда он превратился в щенка и ткнулся носом в вырез ее платья. Только на мгновение. И все было кончено.

Но аромат Дагни он ощущал потом много дней.

Глава 15

Фома предполагал, что 1859 год будет урожайным. Не только на картофель и овощи. Благодаря дождю и теплым дням трава выросла

сочная и высокая. Вениамин с трудом по ней пробирался. Книги были отложены в сторону. Взрослые не возражали. Они вообще одобряли все, что бы он ни делал.

Сразу после сенокоса в Рейнснес приехала женщина с острова Бьярёй, чтобы воспользоваться станком Стине. С ней приехала длинноногая, белокожая и светловолосая дочка. Вениамин еще не видел таких девочек. Она была совершенно не похожа на Ханну.

Ханна приняла ее как свою. Они вместе работали. Хихикали над чем-то своим, разрезая тряпки на полосы, чтобы ткать половики. Вместе ходили в уборную. Их смех разносился по двору, точно крик обезумевших моевок.

Ханна воспользовалась появлением подружки, чтобы наказать Вениамина за то, что он уезжает в Тромсё. У него не было возможности ответить ей тем же.

Несколько раз он пытался приблизиться к девочкам, чтобы поговорить с Элсе Марией, но Ханна что-то шептала ей на ухо, и та начинала смеяться, закрыв лицо руками.

Однажды утром Вениамин увидел ее одну на дворе. Элсе Мария! Она стояла у колодца и вычерпывала из бадьи воду. Не заплетенные в косы волосы сливались с низко стоявшим солнцем. Она была босиком. Льющиеся на нее лучи очерчивали ее фигуру под тонким полотном рубашки. Вениамин быстро огляделся по сторонам и подошел к ней.

Из-за скрипа ворота она не слышала его шагов. Он подошел сзади и хотел взять у нее из рук ручку ворота, чтобы помочь ей, но она вздрогнула и отпустила ее. Железная ручка содрала кожу с ладони Вениамина, и бадья с глухим плеском упала обратно в колодец.

Он зажал ладонь другою рукой, они не спускали глаз друг с друга.

— Я хотел помочь,— сказал он.

— А-а...

— Тебя зовут Элсе Мария? — спросил он и схватился за ручку ворота. Она была в крови.

— Да,— застенчиво ответила девочка и в ужасе воскликнула: — Господи, у тебя кровь!

Вениамин начал крутить ворот.

— У тебя кровь! — повторила она.

— Пустяки!

— Я же вижу! Позвать кого-нибудь?

— Глупости.

Он вращал ручку как одержимый. Элсе Мария молчала.

— Тебе нравится нарезать ткань для половиков? — спросил он.— Ты ничем другим не занимаешься.

— Нет.

Вдруг ей стало смешно. Она вся согнулась от смеха, поглядывая на него светлыми голубыми глазами. Совсем не похожими на темные глаза Ханны. Вениамин стоял так близко, что видел у нее на руках и на носу мелкие светлые веснушки. И на шее, потому что ворот рубашки был не застегнут.

Вениамин отвел глаза и старательно крутил ручку. Из колодца с глухим стуком показалась бадья, вода выплеснулась на них обоих. Темное пятно приклеило юбку спереди к телу Элсе Марии. Он не мог отвести глаз от этого пятна. Изгибы ее тела завораживали его своей округлостью.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он, беря ведро.

— Да.

— Кто же?

— Вениамин Грёнэльв, хозяин Рейнснеса.

— Откуда ты знаешь?

— Это все знают.

— Ты из-за этого боишься меня?

Она прикрыла обеими руками мокрое пятно на юбке и из-под приспущенных век наблюдала за ним.

— Нет.

— Почему же тогда ты не хочешь со мной разговаривать?

— Я этого не говорила.

— Я могу показать тебе что-то интересное. Возле летнего хлева. После ужина. Когда подоят коров и станет тихо. Но приходи до того, как солнце зайдет за Тюлений остров, иначе ничего не получится.

— Сколько тогда будет времени?

— Сама увидишь.

— А где Тюлений остров?

Он повернулся и махнул рукой в сторону острова.

— А что ты мне покажешь?

— Сейчас не скажу.

Она засмеялась и наклонилась над мокрой юбкой. Приподняла ее, опустила. Юбка снова приникла к ней. С Вениамином что-то произошло. Воздух застрял у него в горле.

Он положил на плечо коромысло и подцепил оба ведра. Положив руки на ведра, он сказал:

— Увидишь всякую нечисть.

Произнеся эти слова, Вениамин понял, что поступил глупо. Но было поздно. Забрать их назад он уже не мог. Вениамин судорожно глотнул воздух и почувствовал, что краснеет. Потом быстро, как мог, повернулся с полными ведрами и отнес их к дверям людской.

В тот же день он помогал Фоме перевозить с поля жерди для сушил. Работа есть работа, и рана на руке не могла освободить от нее Вениамина. Фома не очень обращал внимание на такие мелочи.

Переход от занятий с кандидатом Ангеллом и торжеств по поводу конфирмации к работе с Фомой дался Вениамину нелегко. Но он не жаловался. Да это и было бы бесполезно.

Вениамина мучило его глупое обещание показать Элсе Марии всякую нечисть. Где он ее возьмет?

К тому же ему было не по себе в обществе Фомы. Он чувствовал, что Фома наблюдает за ним, как будто ждет удобного случая, чтобы доказать ему, что он еще ненастоящий работник. Что-то в Фоме заставляло Вениамина сторониться его. Но что именно, он не знал.

Однажды, проходя мимо открытых дверей конюшни, Вениамин услыхал голос Фомы:

— Парень слишком бледный и хилый. Ему вредно столько сидеть над книгами. Смотри, как бы он от них не заболел.

Ответа Дины Вениамин не разобрал.

Кто-то из них тут же вышел из конюшни. Вениамин спрятался, ему было неприятно. Почему Дина говорит о нем с Фомой? Зачем?

С того дня его поставили работать на земле.

Сегодня он вместе с Фомой возил жерди.

Под взглядом Фомы у него начинало чесаться все тело. Но приходилось терпеть и даже поддерживать разговор, начатый Фомой.

— Ну и жара нынче.

— Да.

Каждый из них принес по охапке жердей и сложил на тележку.

— Скоро поедешь учиться в Тромсё?

— Да.

— Интересно, правда?

— Не знаю.

— Учиться небось легче, чем носить жерди... Ты как считаешь?

— Угу.

— Тебе там должно понравиться.

— Да.

— Ханна будет скучать без тебя.

— Угу.

— На Рождество приедешь домой?

Вениамин обрушил на тележку сразу все жерди. Распрямился. Лицо его завязалось в багровый узел.

— Чего ты все выспрашиваешь?

Это было несправедливо. И все-таки он не удержался. Фома растерялся, не зная, что ответить. Вид Фомы вызвал у Вениамина жалость, но ему не хотелось жалеть Фому.

Фома спокойно опустил жерди на тележку и ответил, не поднимая глаз:

— Потому что желаю тебе добра.

Смешное заявление для взрослого мужчины.

— Я слышал, как ты говорил Дине, что я никудышный работник!

— Когда это было?

— Не так давно... в конюшне.

— Я говорил, что тебе следует больше бывать на воздухе, а не сидеть все время над книгами.

— Какое тебе до этого дело?

Фома облизнул губы кончиком языка.

— Да в общем-то никакого...

Теперь он говорил шепотом. И это почему-то насторожило Вениамина. Точно Фома знал, что один из них скоро умрет. И ему было важно сказать Вениамину именно эти слова: «Я желаю тебе добра... В общем-то никакого...»

Вениамин глубоко вздохнул. Его гнев улегся. Что-то тут было не так. Почему он должен возить эти жерди и выслушивать то, на что не мог возразить? Чего он даже не понимал? Неожиданно для себя самого он схватил неполную еще тележку и быстро повез ее к хлеву. Жерди подпрыгивали на тележке, солнце палило. Он просто спасался.

Таща тележку мимо изгороди, Вениамин увидел Ханну и Элсе Марию. Они сидели на скамейке и резали свои вечные лоскуты. Он запыхался, но все-таки свистнул. Ханна даже не взглянула на него. Элсе Мария подняла руку. И все. Но этого было достаточно.

Вениамин подкатил тележку к хлеву. Штуку за штукой перекидал жерди в подпол. Рана на ладони открылась. Ее окружала краснота. Вениамина замутило. Из раны текла кровь. Он никогда не видел своей крови. Не знал, что она такая красивая. Его прошиб пот. По лицу побежали струйки.

— Элсе Мария! Элсе Мария! Элсе Мария! — кричал он про себя. Однако следил, чтобы наружу не вырвалось ни звука. Он посидел немного. Высморкался здоровой рукой. Но это не помогло.

Когда он шел обратно за новыми жердями, девочки стояли у изгороди и смотрели на него. Бросив на него презрительный взгляд, Ханна наклонилась к Элсе Марии и что-то шепнула ей. И они обе засмеялись, прикрывшись руками.

Вениамин потерял власть над собой, в нем что-то как будто оборвалось. Где-то внутри. Он не знал, что с ним. Все произошло слишком быстро. В нем вспыхнула злость. Глаза от злости стали сухими, как трут. Голова превратилась в змеиное гнездо. Бешенство разбудило силу. Он подтащил тележку к изгороди. Изгородь была невысокая, такая, чтобы ее не перепрыгнули овцы. Выкрашенная в белый цвет. Сверху доски были заострены.

Не сознавая, что делает, Вениамин перегнулся через изгородь, обхватил Элсе Марию за талию и перенес на свою сторону. Опуская ее на землю, он встретился взглядом с черными глазами Ханны. Ему стало трудно дышать.

Но он пересилил себя. Вдохнул воздух так глубоко, что у него зашумело в ушах. И снова поднял приезжую девочку. Он держал ее над головой на вытянутых руках. Ее башмаки царапнули о доски. Она вздохнула, а может, всхлипнула, когда он посадил ее на тележку. Потом, обернувшись к Ханне, он рассмеялся ей в лицо. Но не был уверен, что это у него получилось.

На талии у Элсе Марии остался след от его руки. Красная полоса шла по всей талии. Теперь она принадлежит ему!

Вениамин схватил ручки тележки, на которой сидела Элсе Мария, и побежал по полю.

Как ни странно, она пришла вечером к летнему хлеву. Вениамин спрятался в кустах и видел, как она поднимается по тропинке. Неправдоподобно белокурая. Он и не знал, что такие бывают. Проходя мимо куста малины, она сорвала несколько ягод и нанизала их на стебелек. Это ему не понравилось. Куст принадлежал Ханне, и никто не смел прикасаться к этой малине. Но его вины тут не было.

Элсе Мария как будто почувствовала, что за ней наблюдают. Она остановилась и подняла голову. Глаза ее смотрели прямо на него, но она его не видела. Вениамина охватило сладкое томление. Оно ощущалось толчками в низу живота и сбегало по бедрам. Вдруг он вспомнил, что не сможет показать ей никакой нечисти.

Скорей бы все было уже позади. Он вышел из кустов и поднял руку. Элсе Мария медленно подошла к нему, неся на стебельке красные ягоды. Когда она подошла ближе, он увидел, что лицо у нее покрыто испариной. На лбу и на верхней губе выступили крохотные капельки пота. Кожа под ними была совершенно белая.

Можно протянуть руку и коснуться ее лица кончиками пальцев. Вот так.

Она не двигалась и спокойно смотрела на его пальцы. Это было смешно. Он невольно засмеялся, хотя они еще не сказали ни слова. Она тоже засмеялась. Она была такая же невысокая, как Ханна. Хотя наверняка ей уже исполнилось пятнадцать. Водя пальцем по ее щеке, носу и лбу, он начал рассказывать ей о хюльдре [1] в синем платье, которая явилась из-под земли, потому что ей захотелось искупаться в ручье, где купались люди.

Он никогда не слышал этой истории, но это не имело значения. История явилась к нему помимо его воли. Ему оставалось только рассказать ее. Вскоре он заметил, что Элсе Мария затаила дыхание.

— Хюльдра стояла в водопаде и по ней стекала вода,— рассказывал он.

Элсе Мария по-прежнему не дышала. Она с удивлением смотрела на него. Сейчас она задохнется, подумал Вениамин. И виноват будет он. Но он ничего не мог поделать — ему было приятно, что она стоит здесь и сейчас задохнется, слушая его рассказ.

Когда он подумал, что конец уже близок, Элсе Мария качнулась и снова начала дышать. Качнувшись, она оказалась ближе к нему. Так близко, что ей пришлось упереться в него руками, чтобы не упасть на него.

Какие теплые у нее руки! Вениамин никогда не испытывал ничего подобного. Руки были живые. Непостижимо живые.

Он снова прикоснулся кончиками пальцев к ее лицу. Какая у нее нежная кожа! Какая светлая! Может, свет жил в Элсе Марии и заставлял ее парить над землей? И Вениамин единственный знал об этом?

— Когда хюльдра вышла из-под водопада, она сняла с себя свое синее платье. Оно было мокрое. Она повесила его сушить на березу. На обычную березу, как все в этой роще.— Он быстро махнул рукой. Слишком быстро, потому что не мог надолго оторвать руку от ее лица.

— Потом хюльдра легла на траву спать. А этого ей делать не следовало. Ее увидел темноволосый парень, и она показалась ему очень красивой, потому что в ней жил солнечный свет. Парень хотел обнять хюльдру, ведь он не знал, что она не человек. Но едва он прикоснулся к ее щеке, вот так... как она проснулась и увидела, что лежит голая. Ей стало стыдно, и ее стыд ощутили все ее родичи, которые жили в горе. Они поспешили хюльдре на помощь и заколдовали парня. С тех пор он перестал быть самим собой. А хюльдра уже не могла вернуться обратно в гору, где жила. С тех пор она сидит голая под водопадом и мерзнет или бродит здесь по роще... Т-с-с! Слышишь, Элсе Мария? Слышишь, хюльдра все еще бродит тут! Слушай!

Элсе Мария испуганно слушала его рассказ. Он взял ее за руку. Она ни разу не улыбнулась. Синева вокруг них постепенно сгущалась. Пахло первозданным летом и коровами. Она так и не сказала ни слова.

[1] Хюльдра — персонаж из норвежского фольклора, выглядит как красивая женщина, но имеет коровий хвост, который прячет от людей. Коварна и опасна.

Он заставил ее сесть в густом кустарнике. Потом просительно протянул руку к стебельку с ягодами. Она словно опомнилась и дала ему одну ягодку. Он покачал головой и поднес ягодку к ее губам. Она открыла рот и взяла ягоду. Один из пузырьков малины лопнул, и красный сок нарисовал точку на ее подбородке. Вениамин должен был вытереть ее. Но его руки были заняты, и он не знал, что делать, а потому просто слизнул эту каплю.

Элсе Мария по-прежнему не спускала с него глаз. Она смотрела только на него. Он задрожал оттого, что сидел так близко, оттого, что она смотрела на него и молча ела малину.

Ягоды кончились, но Элсе Мария до сих пор ни словом не напомнила ему о том, что он обещал показать ей нечисть. Впрочем, он не был уверен, что она забыла об этом. Поэтому он обеими руками коснулся ее талии. Легко-легко. Осторожно. Чтобы она не испугалась. И тут что-то случилось. Элсе Мария закрыла глаза. Она не зажмурилась, словно ничего не хотела видеть. Нет. Ее веки просто скользнули вниз. Легко-легко. Точно маленькие крылья. Ресницы у нее были такие светлые, что казались ненастоящими. На белых веках просвечивали синие прожилки. Словно кто-то нарисовал их тонким карандашом. Они оба дрожали и пытались скрыть свой страх.

Судорожно глотнув, он положил руки ей на грудь. Но не прямо на грудь, а чуть-чуть сбоку, так, чтобы это выглядело не намеренно, а случайно. Ему было невыносимо, что она так долго не произносит ни слова и что у нее дрожат ресницы.

Он снова судорожно глотнул, и его рука скользнула в вырез платья. Кожа у Элсе Марии была шелковистая и влажная. Невероятно, но она сидела все так же не двигаясь.

Он уже хотел расстегнуть верхнюю пуговку корсета, как в кустах послышались треск и голос Ханны.

— Я знаю, что вы здесь! Я знаю, что вы здесь! — кричала она.

Элсе Мария мгновенно вскочила и бросилась бежать вниз по тропинке. У Вениамина свело судорогой и живот, и лицо. Словно он собирался заплакать из-за пустяка. Мир был совершенно синий. Вениамин еще долго слышал треск веток, хотя Элсе Марии не было уже видно.

Ну и пусть! Вскоре он услыхал внизу их смех.

Вениамин пошел в летний хлев к коровам. Они дышали на него и брали у него из рук пучки травы. Он обнимал их теплые шеи. Одну за другой.

— Я Вениамин Грёнэльв из Рейнснеса. Ты меня знаешь? — шептал он каждой. Они жевали жвачку, кто стоя, кто лежа. Некоторые долго смотрели на него и кивали.

— Но теперь я должен уехать отсюда.

Последняя корова жарко и влажно дохнула ему в лицо.

— Я не гожусь даже на то, чтобы возить жерди.

Корова решительно отвернулась от него.

Не успев опомниться, он с силой ударил ее ногой в бок и крикнул:

— Я вам покажу! Я вам всем еще покажу! Слышите!

И тут случилось нечто неожиданное.

Все коровы вытянули шеи и подняли головы к потолку. Тени от их больших голов внушали ужас. Дикое мычание вырвалось из их глоток и швырнуло Вениамина в желоб для навоза. Дрожащий, испуганный, он лежал там, чувствуя, как навоз просачивается у него между пальцами. Проникает сквозь одежду. Коровы мычали. Били копытами в пол. Набирали полные легкие воздуха и снова мычали.

Вениамин поднялся и отступил к двери.

Глаза! Глаза коров преследовали его. Жгли огнем. С каждым его шагом этих глаз становилось все больше и больше, пока все они не слились в один огромный коровий глаз.

Наконец он почувствовал спиной дверь. Выскочил наружу и задвинул засов.

Деревья, точно призраки, окружали хлев. Они все видели и слышали. Они тянулись к Вениамину, царапали его и что-то шептали. Он побежал

сквозь них. Другого пути не было. К реке. Мгновение он стоял и смотрел в бурлящий омут на середине реки. Потом бросился в него.

Ему нужно было смыть с себя свою тень. Она пахла навозом.

Холодная вода приняла Вениамина. Он находил самые глубокие места и погружался по шею. Подставлял себя мчавшемуся потоку. Вода струилась мимо. Холодная и прозрачная. От этого шума и движения у него закружилась голова. Все стало таким хрупким. Все разбивалось. Но он должен был выдержать. Сколько бы это ни продолжалось. Он услыхал обращенный к нему шепот. Сперва он подумал, что это вода. Или хюльдра. Потом понял. Это шептал русский.

Вениамин не знал, сколько просидел в воде. Тело перестало существовать. Он не чувствовал холода. Руки и ноги исчезли. От него осталась лишь голова, она лежала в реке, и ее ледяные мысли с потоком устремлялись прочь. А с бескрайнего лилового неба на Вениамина смотрели светлые коровьи глаза.

■

ЭРНЕСТИНА ДЕ ЧАМПУРСИН

Перевод с испанского и вступление НАТАЛЬИ ВАНХАНЕН

ГОЛОС ПОД ВЕТРОМ

Имя Эрнестины де Чампурсин у нас пока неизвестно. И в Испании его знают разве что большие любители поэзии. Причин тому много, и они разные: географические, политические, психологические. Между тем это ясный, спокойный и независимый голос, долгая и достойная жизнь, отданная творчеству.

Отчасти поэтесса — такой же «последний из могикан», каким был для нас Арсений Тарковский. Современница поэтов блестящего поколения двадцать седьмого года — Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти, Мигеля Эрнандеса, ученица Хуана Рамона Хименеса, близко дружившая с ним и его женой Зенобией и оставившая свои воспоминания о поэте [1], автор пятнадцати поэтических сборников и нескольких книг прозы, Эрнестина де Чампурсин умудрилась — по-другому не скажешь — до последнего времени оставаться в тени, продолжая при этом активно работать.

Она родилась в Витории (Страна басков) в 1905 году. Семья была интеллигентная, либерально настроенная, корни ее тянулись в разные стороны света: мать родом из Уругвая, отец — барселонец, но предки его — французы. Есть в Провансе местечко под названием Чампурсин — отсюда и фамилия.

Воспитание свое поэтесса сама характеризует как вполне космополитское: французский и английский преподавались ей наравне с родным языком, читала она много и без разбора, но больше всего — французских романтиков и символистов: Ламартина, Гюго, Верлена, по ее признанию, сильно повлиявших на ее литературный вкус.

Знание языков очень пригодится Эрнестине в дальнейшем, уже в эмиграции, когда она всерьез займется переводом, а привычка считать родиной весь мир, с детства радостно воспринятый через литературу, облегчит ей годы изгнания — оно станет не причиной для ностальгии, а долгожданным путешествием, одним из тех, о которых мечталось в юности.

Поэтическое призвание открылось Эрнестине рано. Свои первые стихотворные опыты она уничтожила, недовольная результатами, однако уже в 1926 году выходит в Мадриде ее первая книга стихов «В тишине». За ней с интервалом два-три года появляются сборники «В этот миг», «Голос под ветром», «Песнь без ответа». Поэтесса попадает в веселую, бесшабашную, буйную атмосферу литературного Мадрида конца двадцатых годов. Знакомится с Хуаном Рамоном Хименесом, сближается с поэтами своего поколения — среди них ее будущий муж, поэт и писатель Хуан Хосе Доменчина. Эта беспечная, отважная, цветущая талантами эпоха дружеских прогулок, пирушек, чтений стихов, разговоров об искусстве и о будущем оборвется резко и страшно — началом гражданской войны.

Сторонники Республики, Эрнестина и Хуан Хосе пройдут с республиканцами весь путь сопротивления, вынужденного отступления, отхода. Его вехи: Мадрид, Валенсия, Барселона, переход через французскую границу, Тулуза — все это поэтесса позже опишет в поэме «Начало изгнания». Дальше нужно было искать постоянное пристанище, всерьез на что-то решаться, и они решились, хотя и не сразу: как и многие испанские интеллигенты, Эрнестина с мужем отправляются в Мексику. Там начнется ее переводческая деятельность, выйдут новые книги стихов: «Ты дал мне имя», «Бытие и присутствие» и другие. В Мадрид она вернется только в 1972 году, уже вдовой.

Поэзия Эрнестины де Чампурсин — поэзия света, и в этом смысле случай довольно редкий. Это и свет солнца, и свет сияющей под солнцем тропинки, свет родника в пустыне и свет Бога. Это свет, пронизывающий душу и со

[1] «Белка и роза». Мадрид, 1981.

временем наполняющий ее настолько, что внешнее освещение становится уже необязательным.

Мне ни к чему
ни этот свет дневной,
ни тонкий профиль
тучи надо мной...

— скажет поэтесса в одном из своих поздних стихотворений. Не нужен, потому что свет отныне — внутри, душа впитала его в себя и может уже нести свет и тепло самостоятельно.

«Мадридской ворожеей» называет ее Х. Р. Хименес в своей книге «Испанцы трех миров», отводя ей место в ряду таких имен, как Сальвадор Дали, Антонио Мачадо, Мигель де Унамуно, и восхищаясь своеобразной магией ее поэтического слова — «слова, бьющегося в кольце собственных отголосков».

Даже одиночество в ее стихах — не иссушающее угрюмое чувство, а звонкая полуденная пустота знойной улицы, свободная открытость, распахнутость сердца перед жизнью, смелое одиночество человеческого голоса на вольном ветру времен.

Ее отношения с миром интимны и доверительны. Таковы же и ее отношения с Богом. Тут, вероятно, сказалась и литературная традиция — очень личное, даже страстное обращение к Создателю в стихах другой испанской поэтессы, замечательного писателя-мистика XVI века Святой Тересы Авильской. Скрытые цитаты из Святой Тересы можно встретить в стихах Эрнестины де Чампурсин, а ее «ты» в обращении к Христу скорее напоминает «ты» любовной лирики, чем молитвы. «С добрым утром, Боже мой» — не знаю, можно ли беседовать со Всевышним человечнее и просветленнее.

Эта просветленность и отзвук какой-то неистребимой надежды привлекают и завораживают, заставляя со вниманием прислушиваться к этому далекому голосу, и хрупкому, и мужественному.

Обновление

Март.
По нечетным —
ясно.
Март.
Вернисаж. Картины.
Звезды в миндальных сучьях.
Их урожай —
из лучших.
Слишком декоративны.
Облака серебрятся.
Капнуть чуть-чуть багрянца?
Техника? Что в ней толку!
«Измы» — на барахолку.
Или на свалку —
вовсе не жалко.
Только и нужно — смелость.
Критика с ветром спелась.
Вот он, качает ветки:
— Да-с, времена упадка!
Веласкесы нынче редки.
Это ли не загадка?
Март.
Как горит под солнцем
мокрый мазок тропинки!
Угольный штрих приволья.
Выставка барбизонцев
в долгой прохладе поля.

© Antropos. Barcelona, 1991 y E. Champurcín.

Из книги «В ЭТОТ МИГ»

Кануны, что за вами?
Не радость ли несете?
Зелеными ветвями
подсечена в полете
измученная птица —
предвестье торжества,
но будет светом биться
во тьме, пока жива.

Одно крыло — в грядущем.
Зыбка его опора.
Другое — в твердом сущем,
что станет мертвым скоро.

Канун рожденья мира, предвестие чего-то:
свершаемого чуда гигантские ворота.

ОСЕННИЕ ПЕСЕНКИ

Дождик

Дождик внакрап —
невеселый звук:
кап-кап-кап,
тук-тук-тук.

Словно в корыте,
плещет вода.
— Что ж вы бежите?
Куда? Куда?

Брошки, застежки
блестят, скользя,
чудо-одежки —
надеть нельзя.

Как из колодца!
Ах-ах-ах!
Дождик смеется,
а стекла в слезах.

Листья

Клонятся кисти
под ветра свист:
— Где наши листья,
где каждый лист?

— Порх-порх-порх,— шум в ответ.—
Был нас ворох, а нынче — нет!

— Серьги с топазом,
браслет золотой!
Что ж вы все разом?
Куда? Постой!

— Порх-порх-порх,— говорят, шурша,—
под шум-шорох поет душа.

— Воет ветер,
а холод жжет.
Дети, дети,
вам осень лжет!

— Поздно ли, рано,—
чуть слышен вздох,—
в пасть урагана:
порх-порх-порх!

Из «СТИХОВ О КАСТИЛИИ»

1

Древний край с глухим посевом
стародавних серенад,
я вернусь к твоим напевам,
но уже на новый лад.
Край суровых очертаний,
посвящу тебе стихи
без сусальных причитаний
и лирической трухи.
Древний край, чей говор четок,
мне искать не надоест
голос твой среди трещоток
общих слов и общих мест!

3

Романс солнца

В альбом Тересе Санта Крус

Солнце — старый обожатель
здешних пашен и дорог,
неустанный наблюдатель,
выходящий за порог,
чтоб увидеть оттиск робкий,
легкий след девичьих ног —
на высокой горной тропке
неотчетливый следок.
Расцелует колос каждый
сердцеед и озорник,
что к полям, томимым жаждой,
поцелуями приник
и погнал по кромке лета
оросительный поток
и шальную искру света
в сердце девушек зажег.
Не ходи в дневное время
на горячий горный склон —
там, где солнце сеет семя,
опасайся видеть сон.
Золотые нитки эти
не сплетай в тенёта сна,
чтоб тебя в твои же сети
не запутала Луна!

Из книги «ПЕСНЬ БЕЗ ОТВЕТА»

Одиночество

У всех своя забота,
своя стезя земная.

Зачем ты, кто ты, что ты
лишь я одна не знаю —

считаю повороты,
путей не разбирая.

Любой тропинке снится
былых следов отметка.

Знакома каждой птице
ее родная ветка.

Приводят тропки к дому.
Ласкают ветки крышу.

Неведомым ведóма,
я только ветер слышу.

И крыльев мне не дали,
пустив меня с разлета

оплакивать печали
в небесные пустоты.

Ни тиши мне, ни глади,
я все утрачу разом

звезды единой ради,
неразличимой глазом.

Из книги «ТЫ ДАЛ МНЕ ИМЯ»

Над землею рассветает.
С добрым утром, Боже мой.
В горних высях пролегает
путь, венчаемый горой.
Лишь ступить — и он продлится,
обернуться на бегу,
заблудиться, очутиться
на Господнем берегу.
Как пройти по той дороге,
не петлять и не юлить,
с сердца, полного тревоги,
грузный камень отвалить?
Рассветает в сердце сиром.
Где, Господь, дорога та?
А над городом и миром
весть благая разлита.

Из книги «БЫТИЕ И ПРИСУТСТВИЕ»

Присутствовать, чтоб быть.
Бегущее — не в счет.
Нетрудно то избыть,
что льется и течет,
и к вечности Господь
текучесть не причтет.

И чтобы вправду быть,
не двигайся, врасти
корнями. Никогда
не выбирай пути.
Не торопись, забудь, не трогайся в поход.
Выходит Марфа в путь —
Мария только ждет.
А день по временам
с затишьем заодно,
и целокупно нам
всё небо отдано.

Чтоб быть — существовать.
На Вечере Его
незримо предстоять,
и больше — ничего.

Из книги «ПРОЗРАЧНАЯ СТЕНА»

Стена посредине

Поперек дороги,
поперек удачи,
поперек времен.
Между мной и вами,
реками, морями
встал ее заслон.

Пусть покрепче встанет:
даль зовет и манит
вширь и в высоту,
от моста к мосту,
мимо грузных плит...

Меж тобой и мною
жизнь стоит стеною,
и всему виною
злой ее гранит.

* * *

Когда мне дерево снится,
встает на цыпочки тополь
коснуться неба губами.

Когда мне дерево снится,
красноголовые буки
горят сухими кострами.

Когда мне дерево снится,
в поклоне клонится ива
и гладит руками землю.

Когда мне дерево снится,
стволы бредут молчаливо,
и я в забытьи объемлю
поросшее лесом взгорье,
где в листьях шепчутся весны.

Когда мне дерево снится,
стадами в синее море
сбегают старые сосны.

Когда мне дерево снится,
весь мир вмещает зеница
от маковок до подножий.

Когда мне дерево снится,
не образ ли это Божий?

* * *

Довольно кипариса.[1]
Ж. Мамбрино

Довольно кипариса,
что и посажен не был,
и не тянулся к выси,
и не тянулся к небу.

Рожденный без рожденья
и выросший без роста
могучим ходом тайным
над гулким серым камнем
бесслёзного погоста.
Небывшего собора
незримая игра,
чья прозелень, без спора,
была и не была.

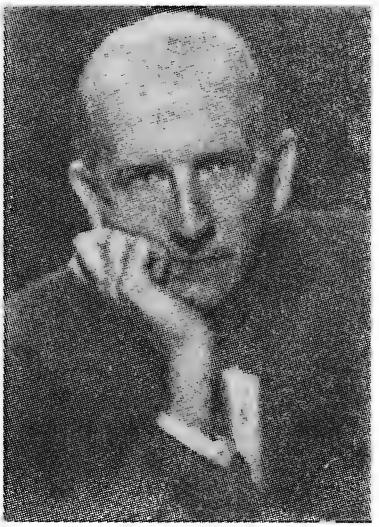
Довольно кипариса,
чтоб отыскать ответ.
Довольно кипариса,
какого в мире нет.

Из книги «ПРОЩАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»

Мне ни к чему
ни этот свет дневной,
ни тонкий профиль
тучи надо мной,
ни эта вот магнолия в цвету —
душистый снег на солнечном свету.

И даже снами я не дорожу —
я даже их легко воображу.

[1] Парафраз из стихотворения поэта-мистика Св. Тересы Авильской: «Преданным Богу/надо немного:/Бога довольно».



АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН

Двое

РОМАН

Перевод с английского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

Стоит кому-нибудь произнести имя А. А. Милна, как перед нашим внутренним взором встают Медвежонок, всегда готовый немножко подкрепиться или спеть очередную «ворчалку», старый ослик Иа-Иа, очень любящий думать о Серьезных Вещах, Кристофер Робин, Джеймс Джеймс Моррисон Моррисон и многие-многие другие нежно любимые герои, и губы сами собой расплываются в улыбке. Однако мало кто из нас знает, что помимо четырех тоненьких детских книжек, принесших ему мировую известность, А. А. Милн написал множество эссе, пьес и романов, пользовавшихся огромным успехом в период между двумя войнами. Сам Милн был недоволен тем, что слава его детских книжек затмила все другие его произведения. Так уж нередко бывает с писателями — их оценка собственных произведений далеко не всегда совпадает с читательской. Не будем спорить с автором, а просто отметим, что некоторые из его «взрослых» произведений с удовольствием читаются — и переводятся на другие языки! — и по сей день. К их числу относится и роман «Двое» (1931), предлагаемый ниже вниманию читателей.

Скажем прямо, роман Милна принадлежит к жанру, решительно непопулярному у нас в пресловутое старое время. Радетели чистоты отечественной идеологии, отдавая решительное предпочтение пафосу и разоблачению, относились с предубеждением к легким юмористическим жанрам. В результате лишь очень немногим из «легкомысленных» авторов удалось прорваться к советским читателям сквозь мощные идеологические заслоны, воздвигаемые на их пути. Таким исключением был, например, Джером К. Джером, едва ли не единственный представитель блестящей плеяды английских юмористов, печатавшийся у нас. Конечно, бывали порой неожиданные прорывы, которые тем более и ценились, что были совершенно непредсказуемы. Таким исключением была психологическая комедия Дж. М. Барри «То, что знает каждая женщина» в ленинградском Театре имени В. Ф. Комиссаржевской (сезоны 1956—1958 гг.), главную роль в которой исполняла замечательная актриса М. И. Бабанова. Собственно, только благодаря ей пьеса и была поставлена. Барри у нас был совсем неизвестен — его детская повесть «Питер Пэн и Венди» вышла лишь в 1969 г., после долгой борьбы, решающую поддержку в которой мне оказал К. И. Чуковский. А ведь Барри, подобно Милну, был автором многочисленных комедий, с успехом идущих на английской сцене. Кстати, именно Барри, большой поклонник таланта Милна, помог ему в его первых шагах на литературном и драматургическом поприще.

Можно было бы назвать много блестящих имен, которые и по сей день остаются неизвестными в России. Даже несравненный П. Г. Вудхаус.

которым с 1899 года зачитывается англоязычный мир, лишь недавно, после перерыва в несколько десятилетий, снова зазвучал по-русски. Тут, правда, существует огромная трудность: как передать на другом языке блеск словесных фейерверков знаменитого юмориста? Да и в какой мере вообще юмор поддается адекватному переводу? Ну, а наше телевидение, показавшее английский сериал по книгам Вудхауса о прославленном Дживзе, кажется, просто *забыло* назвать имя автора! Словом, будем радоваться тому, что публикация романа «Двое» закрывает один из многих наших пробелов, тем более что это не только веселое и смешное, но и трогательное и поучительное чтение.

Друзья и критики называли Милна чрезвычайно «автобиографичным» писателем. Это особенно верно в отношении романа, герой которого, писатель, живет в деревне, не любит Лондон, имеет дело с издателями, режиссерами и актерами — словом, делает многое из того, чем занимался сам Милн. Есть у них и другие черты сходства: скажем, Милн тоже не умел работать руками, неважно водил машину, был в армии во время первой мировой, обожал Диккенса.

Конечно, не следует думать, что все происходящее в романе в точности соответствует биографии Милна. В отличие от своего героя Милн получил образование в Кембридже (где, как это ни странно, занимался совсем не литературой, а математикой) и сразу же после окончания университета стал писателем-профессионалом. Прежде чем обратиться к театру и написать первый роман, он в течение девяти лет работал журналистом. В 24 года он стал помощником редактора известнейшего английского юмористического журнала «Панч», где еженедельно печатал свои рассказы. Он был пацифистом и либералом, поборником равноправия женщин и в молодые годы посвятил много сил политике. Его жена Дороти, урожденная де Селинкур, которую друзья и близкие называли Дафной или просто Даф, хотя и любила свой сад и проводила многие часы, работая в нем, отнюдь не была, подобно Сильвии, красавицей, и брак их был далек от романтической идиллии. Более того, героиня романа Дафну раздражала, она сердилась, когда в Сильвии видели ее портрет.

Все же, несмотря на эти и многие другие различия, герой романа глубинно близок Милну. Не случайно именно в его уста он вкладывает свои самые заветные мысли — о любви, о браке, о войне, о красоте, о природе и творчестве. Конечно, он окружает их легким, искрящимся контекстом, а высказав серьезную мысль, тут же смягчает ее шуткой. Именно так Милн обычно говорил или писал о самом себе — более всего он боялся показаться высокопарным или помпезным.

Кристофер Милн в проникновенной книге воспоминаний, посвященной отцу, находит нужным сделать оговорку о том, что в своих произведениях Милн подчинялся классовым условностям, существовавшим в его дни. Эти извинения представляются мне излишними. Конечно, Милн был тем, что в его время называли *джентльменом,* с соответствующим кодексом поведения. Однако гораздо более важным мне представляется то, что, подобно Дж. Б. Шоу или Дж. М. Барри, он не сводил этот кодекс к одежде или манерам. Он не смотрел на людей ни сверху вниз, ни снизу вверх, а только как равный. Обратите внимание на то, что точно так же ведет себя в романе и Реджинальд. В этой связи вспоминается эпизод, рассказанный Кристофером Милном. Когда он обедал, отец обычно поднимался к нему в детскую. Как-то Милн обратил внимание на то, что Кристофер держит вилку и нож остриями вверх. «Знаешь,— сказал Милн,— пожалуй, не стоит так их держать». «Почему?» — спросил сын. Конечно, вспоминает Кристофер, он мог просто ответить: «Потому что так не делают» или «Потому что я так тебе говорю». Однако он не сделал ни того, ни другого. Он посмотрел на потолок и задумчиво ответил: «Представь, что кто-то провалится к нам сквозь потолок — и наткнется на них. Ведь ему будет больно, правда?» В этом коротком эпизоде, на мой взгляд, ключ и к личности Милна, и к его творчеству.

Н. ДЕМУРОВА

Дафне, в ее саду

Глава первая

I

Реджинальд Уэллард набивал трубку, а сам ждал, что скажет жена. И дождался.

— Подумать только! — произнесла она.

Реджинальду, непонятно почему, вдруг захотелось оправдаться.

— В конце концов,— сказал он,— человеку нужно чем-то заниматься.

— Дорогой,— улыбнулась Сильвия,— я же не упрекаю тебя.

Реджинальд на минуту задумался. Теперь он определенно чувствовал себя припертым к стенке. Что за ерунда!

— Когда человек признается жене, что написал роман,— начал он,— отсутствие упреков, несомненно, можно считать одобрением. Но если бы ему достался менее сдержанный прием...

— Дорогой,— возразила Сильвия,— я ведь сказала «подумать только!»

— Ну да. И все.

— Просто от неожиданности. Мне кажется, это замечательно. Я бы ни за что в жизни не написала романа.

Реджинальд Уэллард собрался было ответить, но раздумал. Что тут ответишь? Ничего. Разговор угасал. Жаль. Когда Шекспир сообщил Энн Хэтуэй, что закончил «Отелло», сказала ли она: «Подумать только! Я бы ни за что не написала»? Наверное, нет. Впрочем, он ведь оставил ее прежде, чем написал «Отелло», так что... А когда Мильтон объявил жене, что завершил «Потерянный рай», как по-вашему, она... нет, это тоже не пойдет. Ведь Мильтон диктовал «Потерянный рай» жене, значит, она сама объявила ему, что написала поэму. Хорошо, а когда Китс... нет, Китс не был женат. К чертям всех. Что ж, ничего не поделаешь, Сильвия снова сморозила глупость. Какая жалость, она так хороша и мила, но то и дело, сама того не желая, говорит глупости. И какая жалость, что в последнее время он, сам того не желая, замечает ее промахи. Но он все так же любит ее. В каком-то смысле это расплата за их любовь.

Реджинальд вернулся к разговору:

— Скажи, что бы ты предпочла — прочитать роман сейчас или подождать, пока он будет напечатан.— Его позабавила собственная самонадеянность.— Я хочу сказать, если будет.

— Конечно, будет, дорогой.

Это должно было ободрить его, но по непонятным причинам не ободрило.

— Я думаю,— продолжала она,— если ты написал книгу, конечно, любой издатель ее опубликует с радостью.

Всякая надежда Реджинальда когда-либо увидеть свою книгу напечатанной исчезла.

— Так как же? — спросил он.

— Лучше подождать, пока выйдет настоящая книга, правда? Представь, как чудесно будет однажды утром найти ее на столе, рядом с чашкой, и свернуться калачиком с ней на кушетке.

Уэллард уверил себя, что ждал именно этих слов, и удивился, что ответ ему не по душе.

— Кроме того,— добавила она,— рукописи ужасно трудно читать.

— Моя напечатана на машинке,— пояснил он.

— И ты сумел сохранить все в тайне? — засмеялась Сильвия. Он тоже рассмеялся. Она поймала его руку, когда он проходил мимо, и легко коснулась ее губами, и вдруг оказалась еще милее и красивее, чем когда бы то ни было. И Реджинальду пришлось остановиться и сказать ей об этом. На что она ответила «Разве?», и он должен был повторить еще раз. Но о книге она не сказала больше ни слова. И он тоже.

Разумеется, он сумел сохранить свое занятие в тайне. Реджинальду исполнилось сорок. Они поженились шесть лет назад. Ей сейчас было всего двадцать пять. Они жили в сельской местности, иногда наведываясь в Город. Реджинальд выпалы-

вал сорняки в саду и держал двенадцать ульев. Это занятие не приносит дохода, но у него были так называемые «собственные деньги», которые перешли к нему от родственницы, когда стали ей ни к чему, и он не заботился об экономичности своих ульев и сорняков. Он просто счастливо проводил время, уверяя трутней из всех двенадцати напряженно работающих ульев, что они избрали наилучший удел.

Однако, когда убедишься, что жена счастлива тоже, выполешь сорняки и обойдешь ульи, то рано или поздно обнаруживаешь, что у тебя масса свободного времени, и начинаешь думать — не пора ли снова заняться прополкой. Говорят, каждый из нас носит в себе материал по крайней мере для одной книги — кроме знаний, необходимых для того, чтобы, скажем, держать двенадцать ульев или для чего-либо другого; и вот однажды Реджинальд, увидев, как цеанотус (Gloire de Versailles) [1] обвит вьюнком — или вьюнок обвивается вокруг цеанотуса,— вдруг расхохотался... И вьюнок так и остался на месте, а Реджинальд сказал себе: «А ведь из этого может выйти недурной рассказ».

Сначала ему показалось, что эту идею стоило бы пересказать Бакстеру (из Семи Ручьев), племянник которого пишет для «Панча» (или, во всяком случае, в «Панч»); потом — что она слишком для этого хороша. Неделей позже — достаточно любопытна, чтобы поделиться ею с Хильдершемом (из Мальв), которому однажды довелось встретиться с У. У. Джекобсом. Вдруг бы Джекобсу захотелось превратить ее в небольшой рассказ. Еще через неделю — достаточно занимательна, чтобы рассказать ее Коулби (из Красного Дома), который знал человека, имевшего обыкновение играть в гольф с П. Г. Вудхаусом. Вудхаус мог бы даже сделать из этого роман... Но дни шли, и Реджинальд, наблюдая, как осот, выросший среди астр, превращается в астру, в свою очередь выросшую среди осота, почувствовал, что рассказ начинает складываться без чьей-либо помощи, вдруг, под его собственным руководством, по его желанию превращаясь в роман, который он (почему бы и нет?) мог бы написать сам.

Реджинальд начал писать. У него была комната, которую Сильвия именовала кабинетом, где он время от времени умножал количество ульев на какое-то небольшое число, что-то вычитал, а на оставшуюся сумму выписывал чек. Сильвия любила, когда он работал в кабинете. Она не увлекалась пчелами, но сам ее вид, когда она заглядывала в кабинет, говоря: «Занят, дорогой? Не стану мешать тебе»,— и старательность, с какой она прикрывала дверь, делали ее полноправной партнершей в многотрудных занятиях пчеловодством. У себя в кабинете он мог работать тайно. В конце концов, что помешает человеку разорвать все, что он написал. Пожалуй, он попробует (забавы ради) и посмотрит, что получится. Возможность порвать рукопись всегда при нем.

Он не воспользовался этой возможностью. Недели шли, роман двигался. Лето сменилось осенью, осень — зимой. Не менее глубокие изменения произошли с романом. В повествовании Реджинальда Уэлларда сохранилось, однако, то, что «Нью стейтсмен» впоследствии, не погрешив против истины, назвал «юмористической жилкой»; там были фрагменты, которые сама «Таймс» отметила как «небезынтересные». И еще до того, как морозом прихватило георгины, Реджинальд настолько свыкся со своими героями, что ему было трудно расставаться с ними. Они стали для него живыми людьми, из плоти и крови, а их взаимоотношения заставили его написать сцены, которые еженедельник «Сатердей ревью» оценил как «не лишенные глубины», а газета «Морнинг пост» сочла, что их автора «нельзя упрекнуть в отсутствии чувства». Разумеется, Реджинальд пока и не подозревал об этом. В течение осени и зимы он просто уверял себя, что «получается неплохо». Просто удивительно, как легко охарактеризовать книгу с помощью одного-единственного «не».

II

«Уважаемый сэр,— писал мистер Альберт Памп,— меня заинтересовал Ваш роман «Вьюнок», и если Вы сочтете для себя удобным зайти ко мне в любой день в три часа, я буду рад переговорить с Вами».

И Реджинальд Уэллард счел для себя удобным посетить мистера Пампа в четверг. Он облачил свое длинное, тощее тело в другую пару брюк, причесал непослушные волосы тщательнее, чем обычно, поцеловал на прощанье Сильвию

[1] Слава Версаля *(франц.)*. (Здесь и далее — прим. перев.)

и вернулся поцеловать ее еще раз, втиснулся в автомобиль, который был ему мал размера на два, попробовал стронуться с места, не выжав сцепления, не включив передачи, затем — не снявшись с ручного тормоза, успел на станцию за полминуты до отправления поезда 11.03, который ходит только по воскресеньям, и уселся на перроне станции Литтл Моллинг в компании автомата со сладостями дожидаться, пока за ним не придет поезд 12.05. Где было такому человеку тягаться с издателем, вроде мистера Пампа, на равных!

Мистер Памп встретил Реджинальда любезно. Мистер Памп проговорил с ним минут пять на общие темы. К концу беседы мистер Памп понял, что этот человек, возможно, знает по имени каждую пчелу и каждый сорняк в своем саду, но утром в четверг собирается в Лондон поездом, который ходит только по воскресным дням. Вследствие этого мистер Памп предложил Реджинальду то, что он именовал «обычный договор автора с издателем». Именно его он обычно предлагал неискушенным авторам, и, как правило, успешно.

— А! — Реджинальд, сдвинув брови, изучал договор. Согласно договору, его гонорар равнялся десяти процентам, а мистеру Пампу причиталась половинная доля дохода от переводов, исполнения на сцене и по радио, экранизации, грамзаписей. Если вы спросите, почему все это должно было достаться мистеру Пампу, ответ может быть только один: мистер Памп любил деньги.

Реджинальд Уэллард не спрашивал почему. Он пробовал вычислить, сколько составит десять процентов от продажи 150 000 экземпляров по 7 шиллингов 6 пенсов каждый. В уме подсчитать было невозможно; вот тут действительно пригодился бы кабинет. Может быть, завтра утром — а сейчас все эти слова перед ним говорили, нет, просто кричали, что книга, его книга будет напечатана! Он с готовностью подписал договор. Мистер Памп, наблюдая за Реджинальдом, испытывал некоторые сожаления, прикидывая, нельзя ли было предложить ему договор, по которому мистер Уэллард предоставлял мистеру Пампу права на книгу и уплачивал 150 фунтов, а мистер Памп давал ему бесплатно шесть экземпляров. Даже сейчас можно было попробовать. Но что-то удержало его, и отнюдь не совесть, а впечатление от стиснутых челюстей Реджинальда, когда тот подписывал договор, и от его роста. Есть люди, просто созданные, чтобы их обманывали, но и они, раскусив обман, могут прийти в ярость.

И вот Реджинальд возвращается домой. Он отправляется с вокзала Виктория поездом 4.20, который по четвергам не останавливается в Литтл Моллинге. Его автомобиль, не подозревая об этом, дожидается хозяина в Литтл Моллинге под присмотром начальника станции. Идет ли Реджинальд пешком из Бердона шесть миль или два часа дожидается поезда, чтобы вернуться? Разве это важно? Нисколько. Он снова дома.

Он снова видит Сильвию.

Поцеловав его, Сильвия говорит:

— Совсем незаметно.

— Что незаметно?

— Что ты подстригся.

Реджинальд вспоминает, что ездил в Лондон стричься.

— Ах, да. К сожалению, не удалось. У меня оказались дела в Лондоне.

Сильвия становится серьезной и с полным пониманием кивает. Хозяйство, цены, издержки, экспорт, импорт — серьезные занятия. Она все прекрасно понимает. Женщина, не имеющая понятия о пчеловодстве, по глупости спросила бы: «Какие?»

Но Сильвия не спрашивает, и Реджинальду приходится объяснять самому. Небрежно.

— Я договорился с издателем относительно книги.

— И когда же она выйдет? — В голосе Сильвии неподдельный интерес.

Реджинальд в глубине души вздыхает. Его поиски, увенчавшиеся знакомством с мистером Пампом, твердость, проявленная при переговорах,— все впустую. Сильвия просто обошла эту тему в разговоре. Ну да ладно.

— Весной. Пожалуй, в апреле.

— Ты просто молодец!

Сильвия была удивительно хороша в этот вечер, но без банальности не обошлась. Что за похвала «молодец» — лучше не сказать ничего.

Вдруг Реджинальду становится совестно.

— Любимая,— говорит он,— теперь, когда я разделался с книгой, подумай, куда бы тебе больше всего хотелось поехать?

— О чем ты, Реджинальд?

— Каникулы — увеселительная прогулка — экспедиция. На Ривьеру — в Швейцарию — на острова Южных морей. В Лондон. Куда захочешь.

Наморщив гладкий лоб, Сильвия совершает мгновенные визиты во все эти места.

— Мне чудесно и здесь, дорогой,— объявляет она,— если тебе тоже.

— Я не передумаю.

— А ты не хочешь поехать один? Или поиграть в гольф?

— Нисколько.

Она тихонько вздыхает — от счастья.

— Тогда,— говорит она тоном ребенка, получившего долгожданную игрушку,— поедем в Швейцарию.

Черт возьми, оставалось только поцеловать ее!

III

Реджинальд разговаривал с Эдвардсом о том, как предохранить однолетки от заморозков, когда первая часть корректуры подошла со стороны огорода и, увидев мистера Уэлларда, сэкономила на путешествии к черному ходу. Он сунул ее в карман.

В Вестауэйзе было два садовника: Челлинор занимался пчелами и в свободное время присматривал за садом, а Эдвардс занимался садом и в свободное время присматривал за пчелами. Каждый из них, занимаясь не своим делом, неохотно выслушивал распоряжения другого, и решить, кто из них главнее, было трудно. Эдвардс больше получал, а у Челлинора был собственный домик. Челлинора Реджинальд знал дольше, но Эдвардса больше боялся.

Челлинор, быстрый черненький человечек с быстрыми черными глазами и вислыми черными усами, на самом деле не был ни пчеловодом, ни садовником, а просто первым умельцем во всей округе, а пчеловодом стал — во всяком случае, так казалось Реджинальду — не потому, что он разбирался в пчелах больше, чем в цветах, инструментах или коровах, а потому что другие, во всяком случае Реджинальд, знали о пчелах меньше. Челлинор носил черные брюки, черный жилет с медной часовой цепочкой, на которой висел брелок некоего тайного общества, и серую рубашку с закатанными рукавами, чтобы пчелам было удобнее кусать его.

— Все это,— объяснял Сильвии Реджинальд,— для того, чтобы внушить пчелам доверие. Они летают кругом и переговариваются: «Мы не можем жалить такого человека. Это нехорошо. Он доверяет нам. Давайте-ка лучше ужалим Уэлларда».

— Да, наверное...— произнесла Сильвия и, так как Реджинальд, казалось, ждал еще чего-то, улыбнулась ему.— Дорогой, это невозможно. Они опять искусали тебя?

— Нет, Сильвия, нет.— Он взглянул на ее почти невероятной белизны руки и добавил: — Если хоть одна из них осмелится ужалить тебя, я ей голову размозжу.

Эдвардс был медлительным неуклюжим человеком с толстыми пальцами. Он мог взять дюжину березок, неделю назад привезенных из питомника и лежавших с засохшими корнями, выкопать дюжину ямок как раз там, где мистеру Уэлларду этого определенно не хотелось, сунуть в них саженцы, утрамбовать башмачищами землю вокруг и вернуться к своей работе... и березки принимались расти как ни у кого другого.

— Взгляни на меня,— обращается Реджинальд к Сильвии, которая наблюдает за золотой рыбкой в бассейне.— Природа одарила меня красивыми руками и изящными ногами, но разве я могу посадить или вырастить хоть одно растеньице так, как Эдвардс? Как он ухитряется своими пальцами-сарделькаами отделить один побег львиного зева от другого, для меня загадка. У Эдвардса ничего не погибает. Удивительно!

— Я уверена, что ты сумел бы не хуже, если бы попробовал, дорогой,— отвечает Сильвия.— К тому же у него большой опыт.

Реджинальд тихо наблюдает за ней, так же тихо, как она наблюдает за золотой рыбкой. «Посмотри, какая красивая»,— говорит она вдруг, указывая кончиком туфли.

— Да,— подтверждает Реджинальд.— Очень. Не знаю, что это мне пришло в голову расхваливать свои ноги. Вот твои — просто поэма.

Щеки Сильвии чуть розовеют.

— Ну,— говорит Реджинальд,— пойду поработаю.

— Конечно, дорогой, не стану мешать тебе.

— Я имею в виду вот это.— Он вытаскивает бумаги из кармана.— Корректуру.

Сильвию, конечно, заинтересует, что такое корректура.

Оказывается, нет.

Или она знает, а думает о чем-то другом.

— Не стану тебе мешать,— повторяет она.

И Реджинальд погружается в корректуру. Два экземпляра, в каждом по шестьдесят четыре страницы. Почему прислали два экземпляра? Нужно ли вносить правку в оба? Записка с просьбой делать не больше поправок, чем необходимо. Он клятвенно обещает именно так и поступать.

Реджинальд начинает читать. Во время чтения ему попадаются на глаза одна-две опечатки; немного, мистер Памп, или кто там набирал текст, поработал на совесть. Всего одна или две. Он потом просмотрит текст еще раз и выправит их. А сейчас Реджинальд хочет прочесть весь роман — ну, до шестьдесят четвертой страницы — и посмотреть, как ему понравится. Удивительно, насколько лучше выглядит типографский текст. Сильвия была права, решив отложить чтение...

«Не было бы преувеличением сказать, что...» Черт возьми! Придется ждать шестьдесят пятой страницы.

Он вернулся к началу. Снова прочел шестьдесят четыре страницы. Он воображает себя Сильвией, свернувшейся калачиком на кушетке. Улыбнется ли она вот этим строчкам? Захочется ли ей всплакнуть над этой страницей? Покажется ли удивительным, что он, ее муж, сумел так написать? Он читает, размышляя.

«Не было бы преувеличением сказать, что...» Черт возьми! Теперь Сильвии придется ждать шестьдесят пятой страницы.

Он читает в третий раз. Сейчас он воображает себя обозревателем. «Таймс», например. «Вьюнок» Реджинальда Уэлларда. Никогда о таком не слышал. Ну-ка, посмотрим, на что это похоже... Хм... Да...

«Не было бы преувеличением сказать...» Ну хорошо, пора заняться правкой. Опечаток немного. Одна в самом начале, другая примерно на тридцатой странице, третья...

Реджинальд ищет их. Он читает снова... и снова. Опечатки пропали. Но ведь были же!

Ну, еще разок, повнимательнее.

IV

Сейчас успех «Вьюнка» вошел в анналы издательского дела. Два года назад ни один издатель не предполагал, что сто тысяч слов, написанных в том порядке, как их написал Реджинальд Уэллард, могут разойтись в количестве четверти миллиона экземпляров. Сегодня каждый издатель и каждый начинающий автор уверены, что любое подобное расположение ста тысяч слов разойдется не хуже. Они надеются найти свой вариант. Заранее ничего не скажешь. Возможно, новый «Вьюнок» уже лежит на каком-нибудь из их столов.

И директора театров (поскольку инсценировка тоже имела шумный успех) говорят друг другу, не вынимая изо рта сигары: «Представляешь, мне попался второй «Вьюнок»!» — или объясняют молодым драматургам, что ищут именно такого рода пьесу. Люди, сколотившие состояние на свинине, хлопке, кораблях или скобяных изделиях, не представляют себе, как могли бы вкладывать деньги в Шекспира, Стриндберга, оперу, экспрессионистов, русских драматургов, но добродушно замечают, что если вы придете к ним с чем-то наподобие «Вьюнка», они, пожалуй, рискнут небольшой суммой. На «Вьюнке» были нажиты состояния, но и потеряны тоже — поскольку в театральном мире потерянное состояние означает просто, что деньги перешли из одного театрального кармана в другой.

Однако это случилось не сразу. Реджинальду Уэлларду не довелось, проснувшись, увидеть себя знаменитостью. Он проснулся обладателем шести экземпляров «Вьюнка» и одной рецензии на него. Рецензия, напечатанная в литературном приложении к «Таймс», была выдержана в доброжелательном тоне и обращала внимание читателя на формат книги. Семь с половиной дюймов на пять с половиной. Это было открытием для Реджинальда, которому не приходило в голову измерить ее. Он тут же проделал это и убедился, что «Таймс», как всегда, не ошибается. Он задумался — неужели в редакции специально держат человека, в обязанности которого входят подобные замеры и ничего другого? Интересное занятие, дающее возможность общения с хорошей литературой без особого интеллектуального напряжения. Реджинальд быстро набросал в уме прошение о предоставлении ему этой должности.

Проходили дни, появлялись новые рецензии. Благожелательные, одобрительные. Те, кто писал их, очевидно, прежде ничего не слышали о мистере Реджинальде Уэлларде. Но и мистер Реджинальд Уэллард никогда не слышал о них прежде, так что тут не было ничего особенного. Они находили, что он пишет достаточно умно и не без понимания. Читая это, мистер Уэллард находил, что они тоже пишут достаточно умно и не без понимания, так что и здесь было все в порядке. Они выражали искреннюю надежду, что мистер Уэллард и в дальнейшем будет писать романы... и мистер Уэллард искренне надеялся, что они и в дальнейшем будут писать рецензии. Атмосфера создавалась как нельзя более дружественная. Но, возможно, если бы критики подозревали, что «Вьюнок» разойдется тиражом в четверть миллиона экземпляров, они не были бы такого высокого мнения о произведении мистера Уэлларда. А он в таком случае — о них.

Мистер Памп цитировал в рекламе самые хвалебные фразы рецензий, расставляя многоточия, означавшие, что массу не менее одобрительных высказываний пришлось опустить из-за нехватки места.

Хотя большой бум вокруг «Вьюнка» еще не начался, по неявным признакам Сильвия могла убедиться в том, что она — жена известного писателя. Сильвия прочитала книгу, свернувшись калачиком на кушетке, как и хотела, и книга ей понравилась. Больше всего ей нравилось посвящение. «Сильвии, которая прильнула к моему сердцу». Действительно неплохо — намек на вьюнок,— но придумать было несложно. Никакого сравнения с главой V. Уэлларду хотелось бы услышать мнение — не критиков, большинству которых просто не хватало времени на то, чтобы читать так внимательно,— а Сильвии, которая когда-то владела ключом от этой главы, хотя могла уже затерять его. В Вентимильe... во время их свадебного путешествия... насквозь солнечным днем... Так или иначе, ей больше всего нравилось посвящение, а поскольку ей нравилась книга целиком, то, по-видимому, и глава V. Не стоит требовать слишком многого только потому, что написал книгу.

Итак, книга Сильвии понравилась, а сама она теперь стала (подумать только!) женой писателя Реджинальда Уэлларда. Как миссис Уэллард она фигурировала в Семи Ручьях, Мальвах и Красном Доме, если ей случалось встретить служанку, которая объявляла о ее приходе. Если же служанки на пути не оказывалось, то с цветника, или из кустов малины, или от конюшни ее окликали: «Привет, Сильвия!» — и формальности на этом кончались. Но теперь ей пришлось сделаться миссис Уэллард, женою Реджинальда Уэлларда, не пчеловода, а писателя. Округлить рот, сжать губки, широко раскрыть или сощурить глаза, пожать плечами, принять очаровательно таинственный вид — весь арсенал шел в ход для объяснения того, что ее муж написал книгу — вы же знаете, дорогая, каково все это. Но они, разумеется, не знали. И Сильвия со всей ее прелестной мимикой не могла рассказать им ничего.

— Я виделась с Бетти Бакстер,— сказала Сильвия, вернувшись в Вестауэйз.

— Да? — отозвался Реджинальд.

Он не любил жену Бакстера. Она почти всегда ухитрялась раздражать его; у нее была привычка разговаривать с цветами примерно так, как обычно женщины сюсюкают с щенками и котятами. Ну, положим, котенок еще может понять, когда к нему обращаются: «Иди сюда, масенькая моя кисуленька!» — возможно, не разбирая слов, но по тону чувствуя, что еда близко. Но совершенно невероятно, во всяком случае для Реджинальда, чтобы клумба цинний могла каким бы то ни было образом отвечать, когда жена Бакстера в том же тоне допытывается, склонившись над цветами, не хотят ли они, чтобы их полили. Большинство

садовников подтвердит, что цветы по-разному реагируют на людей, ухаживающих за ними; Реджинальд и сам, по своему опыту, не сомневался в этом, но он отказывался верить, что махровые маки становятся розовее и поднимают головки, когда миссис Бакстер появляется в саду. «Они узнают меня, мистер Уэллард, право же, узнают». Ну и дура!

— Я знаю, дорогой, ты не любишь ее, но она просто без ума от тебя.

Как может Сильвия говорить так легко, так опрометчиво!

— Еще бы, Сильвия, ведь я прекрасный человек.

— Конечно прекрасный! — она посылает ему воздушный поцелуй.— И она столько слышала о твоей книге и очень заинтересовалась ею.

— Она прочла книгу? — спрашивает автор как можно безразличнее.

— Нет, у них истек срок абонемента в библиотеке или что-то в этом роде, она объясняла мне. Но собирается прочесть, как только достанет.

— Книжку можно купить,— замечает Реджинальд не без раздражения.

— Я посоветую ей. Наверное, ей не пришло это в голову. Она приглашала нас в субботу играть в теннис. Конечно, я сказала, что ты очень занят и я не могу дать согласия, не поговорив с тобой.

— Пожалуй, я буду занят в субботу,— отвечает Реджинальд Уэллард.

Грейс Хильдершем тоже собирается прочесть книгу, как только достанет. Грейс — крупная блондинка с вечным румянцем на щеках и вечно растрепанными светлыми волосами. Было бы преувеличением сказать, что она не вылезает из малинника, собирая ягоды для своего знаменитого джема, но если вы именно там увидели ее впервые, вы решите, что это ее постоянное местопребывание, а встретив где-нибудь еще, подумаете, что она только что оттуда. Только так можно объяснить ее румянец и растрепавшуюся прическу. Она очень милая. У нее всегда либо масса детей, либо масса малины, либо масса чего-нибудь другого, и она вечно занята. Реджинальд чувствует, что шансы Грейс Хильдершем прочесть «Вьюнок» невелики. Даже если она достанет книгу (а это с непривычки не так-то легко), ей будет трудно выкроить время.

— Ты ведь любишь Грейс, правда? — спрашивает Сильвия по возвращении из гостей.

— Ужасно,— говорит Реджинальд.

— Она тоже ужасно любит тебя.

Наречие выбрал Реджинальд, а не Грейс. Но нет сомнений, она действительно хорошо относится к нему.

— Она мечтает прочесть твою книжку.

— Прекрасно.

— Она зовет нас на чай на этой неделе. Какой день тебе больше подходит? Я знаю, что ты очень занят.

— Суббота,— отвечает Реджинальд.

Лина Коулби тоже очень хочет прочесть книгу. Если здороваешься с Линой за руку, она снимает большие кожаные перчатки, и под ними оказывается еще пара обыкновенных, матерчатых. С Линой не стоит говорить о еде. Ей приходится кормить мужа, троих детей, коня, пони, четырех коров, козу, двух свиней, полдюжины голубей и, по мнению Реджинальда, бессчетное количество уток и цыплят. Она вечно думает о продуктах, смешивает продукты, приносит продукты, подсчитывает стоимость продуктов, заказывает продукты и готовит. Это изматывающий труд, но Лина сумела сохранить руки. Вряд ли это удалось бы другой женщине. Огромный, медлительный, романтический Коулби восторгался ее руками, когда ухаживал за нею, и ему однажды почти удался комплимент по поводу их красоты; она знала, какова жизнь жены фермера, но дала себе клятву, что не испортит рук. И сдержала ее. Если бы не половинка лимона, которую замечаешь, войдя в ванную комнату помыть руки, и не две пары перчаток, трудно было бы догадаться, сколько времени и заботы посвящает Лина своим рукам и как она ими гордится.

— Тебе нравится Лина, да? — спрашивает Сильвия, придя от Коулби.

— Я безумно восхищаюсь ею,— говорит Реджинальд.

— Я очень рада. Она тоже безумно восхищается тобой.

Реджинальд так и думал.

— Она хочет взять книгу в бердонской библиотеке, когда они на той неделе поедут на рынок. Абонемента у них нет, но, я думаю, это несложно: нужно внести полкроны задатка, а потом время от времени платить по два пенса.

Реджинальд имел представление о библиотеке в Бердоне. Они пытаются идти в ногу со временем, но с самого начала отстали лет на тридцать, и этот разрыв нисколько не сократился. Так что если никто из многочисленных Кингсли не написал романа под названием «Вьюнок», Лине придется подобрать у них себе что-нибудь другое.

— Мы сумеем как-нибудь выбраться к ним на ужин?

— Конечно, дорогая, если хочешь.

Какое бы будущее ни готовил «Вьюнку» Лондон, в сельской местности пока ничего не происходило.

Глава вторая

I

Реджинальд снова едет в Лондон стричься.

Стрижка — это одно разорение. Как будто недостаточно бриться каждое утро. Кроме потерянного дня, еще и сплошные траты. Пять миль до станции — не меньше шести пенсов на бензин, да и покрышки стираются. Разворот и задний ход на станции — полкроны за поломанный забор, если не удастся врезаться в то самое место, что и в прошлый раз. Обратный билет (возвращаясь от парикмахера, просто необходимо ехать первым классом) — 13 шиллингов 8 пенсов. Ленч в клубе — примерно 6 шиллингов 6 пенсов. Стрижка и чаевые — 1 шиллинг 6 пенсов. Дежурному по станции в Литтл Моллинге за то, что никто не украл автомобиль,— 1 шиллинг. Итого: 1 фунт 5 шиллингов 8 пенсов. Да за такие деньги можно сделать перманент.

Но Сильвия любит, когда он подстрижен. Чем бы она ни занималась — читала, шила, ставила цветы в вазу или любовалась золотой рыбкой, при его появлении она, не оборачиваясь, могла угадать, что он подстригся, или повязал ее любимый синий галстук, или надел фланелевую рубашку, еще более ею любимую, или пользовался новым кремом для бритья, или выкурил утром сигарету. Она обладала шестым чувством по отношению к мужу во всем, что было доступно ощущениям. Ничто физическое в Реджинальде Уэлларде не ускользало от ее внимания.

Реджинальд задним ходом вывел «моррис» из амбара. Время от времени (каждый раз месяца через полтора после последней попытки) ему приходило в голову, что высшим мастерством было бы загонять машину в амбар задним ходом, а потом, утром, прямо выезжать на ней... но всякий раз эта мысль сменялась прямопротивоположной. Становилось ясно, что мастерство именно в том, чтобы въезжать в амбар, а выезжать задним ходом...

Сегодня утром вышло неважно. Потому что Сильвия наблюдала за ним. Он вдруг ощутил ее присутствие. Обычно Реджинальд сначала выводил автомобиль из амбара, разворачивался и шел поцеловать Сильвию на прощанье. Таким образом, он представал перед ней в наилучшем виде. Во всяком случае, у нее было больше возможностей увидеть его в наилучшем виде. Реджинальд, правда, мог по рассеянности, выходя из машины, заглушить мотор и, забыв об этом, пытаться стронуться с места, мог... да мало ли что еще он мог сделать. Но ехать по-дурацки задом ему бы уже не пришлось.

Он вылез из машины.

— Я пришел попрощаться.

— Хочешь, я отвезу тебя,— сказала Сильвия задумчиво.

— Правда? Но тогда тебе придется и встретить меня. Ты не устанешь?

Но Сильвия уже сидела за рулем.

— Такой чудесный день,— сказала она в объяснение.

С милю идет частная дорога, но с правом проезда, а на расстоянии двух третей мили, в коттедже, куда можно доехать в один момент, живет миссис Эдвардс (мать, а не жена Эдвардса). Миссис Эдвардс не встает с постели, но она наверняка скажет Эдвардсу, когда тот вернется вечером домой: «Знаешь, она сегодня куда-то ездила». Любопытно, любопытно. Переключая скорости, Реджинальд старается действовать как можно осторожнее, но в результате извлекает из мотора неистовый грохот такой силы, что готов дернуть рычаг обратно. Сильвия переключает скорости

задумчиво, ее мысли блуждают где-то далеко, взгляд устремлен на дорогу впереди — нет, не на дорогу, думает Реджинальд, наблюдая за ней; на самый дальний конец дороги, туда, где она достигает звезд, или в собственный ее мир, куда никому нет доступа.

Они успевают к поезду (одиннадцать ноль три), который, если бы Реджинальд был один, разумеется, оказался бы воскресным, но сейчас не может разочаровать Сильвию, приехавшую специально посмотреть на него. «Вот я, Сильвия. Я заслышал за пять миль, как ты ведешь машину, тихо, без грохота, который устраивает Реджинальд, и вот, смазав колеса, я спешу тебе навстречу».

Поезд ждет разочарование, думает Реджинальд. Сильвия не поедет.

— До свидания, дорогая. Спасибо, что отвезла меня.

— До свидания.

— Я вернусь поездом три десять, значит, в четыре сорок пять буду здесь.

Теперь-то три десять обязательно остановится в Литтл Моллинге. Иначе он вполне мог бы проскочить без остановки до Бердона. Возможно, думает Реджинальд, для верности надо бы и на вокзале Виктория сказать небрежно, но громко, что Сильвия будет встречать его. Тогда можно быть совсем спокойным.

Он снова целует ее. Поезд отправляется в путь, разочарованный, разумеется, тем, что Сильвия осталась на платформе, но покорный. Реджинальд машет рукою, затем переходит к другому окну, откуда можно наблюдать, как Сильвия проезжает по мосту над путями... и видит, как Сильвия проезжает по мосту; спокойная, далекая, удивительно красивая.

II

Сегодня утром у Реджинальда была тайна от жены. У него часто бывали тайны от нее, можно сказать, у него всегда были тайны, которые и оставались тайнами, даже если он рассказывал о них, поскольку он не мог по-настоящему разделить их с ней. Иногда она казалась ему ребенком, не вполне развившимся, с которым невозможно общаться... а иногда он думал, что это он ребенок, а она — мать, исполненная неизреченной мудрости, постичь которую ему не дано.

Сегодняшняя тайна состояла в следующем. Он собирался подстричься, в самом деле собирался, на этот раз он ехал с радостью, даже в некотором возбуждении, поскольку хотел взглянуть, что делается в Лондоне в связи с появлением «Вьюнка». Ведь мистер Памп уже объявил, что печатается Третий, Расширенный Тираж. Не может быть, казалось Реджинальду, чтобы в Лондоне появилось объявление, что печатается Третий, Расширенный Тираж «Вьюнка», написанного Реджинальдом Уэллардом, а во всем городе никто не подозревал о существовании человека с такой фамилией. Конечно, он не ждал, что люди будут приветствовать его на вокзале Виктория или показывать друг другу на Пиккадилли; но в нем теплилась надежда, что в его клубе кто-либо из обедающих слышал о книге, даже если и не читал ее. «Вы не в родстве,— прозвучал бы вдруг вопрос,— с неким Уэллардом, написавшим недавно книжку?» В Лондоне, удивительном Лондоне, вопрос может быть задан в такой форме. В деревне же просто спрашивают, если вы цитируете «Ликида»: «А этот Мильтон не родственник нашим Мильтонам из Хаммерпондса?»

Было шестое мая, чудесный день, в самый раз для прогулок. Реджинальд собирался пройти через Сент-Джеймский парк на Пэлл-Мэлл. Он отдал свой билет и направился к книжному киоску, на всякий случай; разумеется, это чепуха, ведь всем известно, что у них в продаже один Эдгар Уоллес. Однако... внезапно его охватило смущение, волосы стали дыбом, потому что шум всего вокзала, голоса пассажиров, носильщиков, машинистов, киоскеров и полицейских слились в один восторженный вопль: «Уэллард! Это Уэллард!»

«Ваше высочество, это Уэллард,— воскликнул начальник железной дороги, обращаясь к принцу Уэльскому, следуя, со шляпой в руке, за Его королевским высочеством мимо книжного киоска.— Вот он, сэр. Листает собственную книгу под названием «Вьюнок».

«Уэллард! — прокричал носильщик глуховатой старой даме, за которой нес клетку с попугаем.— Автор «Вьюнка». Вон стоит. Свою книжку читает».

«Посмотри, вот какой он из себя! — проверещала одна школьница другой.— Вот каков собой Уэллард!»

И вдруг снова весь вокзал хором воскликнул: «Уэллард!» — и палец каждого указывал на него...

Или нет?

Взволнованный, Реджинальд потупился и покрутил головой. Взволнованно окинул взглядом стоявшую рядом женщину — от ступней до колен (безобразные колени), от колен до талии, от талии до шеи, до глаз. Глаза не замечали его. Они не отрывались от номера «Скетча», колыхавшегося у него над головой. Глаза других также были безразличны. Никто не смотрел на него. Никто не говорил о нем. Никто не слышал о нем. Он был один, на необитаемом острове, со своим «Вьюнком», которого никто, кроме него, не читал и не прочтет.

Но это тоже чепуха. Мистер Памп объявил Третий, Расширенный Тираж. Неужели мистер Памп лжет? Не может быть.

Киоскер обратил на него внимание.

— Вот эта книга прекрасно читается, сэр,— говорит он, протягивая между тем кому-то справа одиннадцать пенсов сдачи.

— Правда? — спрашивает Реджинальд, пытаясь скрыть волнение.— Хорошо раскупается?

— Очень неплохо... четыре шиллинга и шесть пенсов,— добавляет он, отдавая четыре пенса сдачи кому-то слева.

Как быть, размышляет он, если я сейчас повернусь и уйду, не купив «Вьюнка», что подумает продавец? Что торговать этим Уэллардом безнадежно. Люди просматривают книгу, а затем покупают карманную расческу. Уж лучше Уоллес, на него всегда спрос. Но если я куплю «Вьюнок»... Я должен купить. Будущее «Вьюнка» зависит от этой минуты.

— Хорошо, попробую,— говорит Реджинальд, протягивая три монеты по полкроны.— На вид ничего себе.

— Благодарю вас, сэр. Завернуть вам книжку?

— Нет, спасибо.

Реджинальд собирается уйти.

— ... и пять будет шесть, и шесть, получится шиллинг,— рассчитывается продавец с новым покупателем, и Реджинальд, с сожалением поняв, что разговор о «Вьюнке» закончен, уходит.

И что теперь? Одно ясно, он не может идти пешком по Сент-Джеймскому парку. Писатели не разгуливают по лондонским паркам, держа в руке свое последнее произведение. А может быть, и разгуливают. В таком случае он не писатель. Он Реджинальд Уэллард, сельский житель, который приехал на денек в город, книгу он написал случайно, а этот экземпляр ему попросту всучили, и он не собирается расхаживать с ним по Лондону. Он возьмет такси.

Реджинальд помахал тростью, вскочил в машину и назвал адрес клуба. В клубе он спрячет эту чертову штуку под шляпой в гардеробе.

III

Клуб Реджинальда был политическим клубом. Чтобы стать его членом, нужно было принадлежать к одной из больших политических партий. Неважно к какой. Однако, возможно, говорить так о клубе несправедливо. Наверное, ближе к истине утверждение, что ваши политические взгляды не имеют значения, пока вы в глубине души полагаете, что они совпадают с устремлениями именно этой политической партии. Разумеется, если вы пишете в «Таймс» (как большинство членов клуба) и подписываетесь «Разгневанный Либерал», вы вполне можете обнаружить, что говорите о Ллойд Джордже, или о Свободной Торговле, или о Земельной Политике совершенно то же самое, что член клуба, подписывающий свои послания «Истинный Консерватор». Хотя нельзя отрицать, что в вопросах политики вы так же далеки от него, как Разгневанный Консерватор от Истинного Либерала. Другими словами, либералы остаются либералами, а консерваторы — консерваторами. Изгонять из клуба человека за то, что он верен своим взглядам, в то время как его Партия от них отошла, было бы несправедливо, если при этом он продолжает платить годовые взносы в размере двадцати гиней.

У Реджинальда не было политических взглядов. Существует не менее миллиона

избирателей, полностью лишенных каких бы то ни было политических взглядов. Это дает им возможность совершенно беспристрастно голосовать за консерваторов. Они ставят себя в пример колеблющимся избирателям. Вот я, например. Я не принадлежу ни к какой партии. Никогда не принадлежал. Но если вы спросите, как я собираюсь голосовать, то должен вам признаться откровенно... Звучит чрезвычайно убедительно. Некоторые даже пересаливают, добавляя, что в глубине души они либералы, но настало время, когда каждый...

Реджинальд, однако, был не из таких. Все его политические убеждения сводились к тому, что он пользовался удобствами, которые предоставляло ему членство в клубе.

Он никогда не голосовал. Хильдершем, который всегда выполнял то, что полагалось, однажды задал Реджинальду вопрос, что́, по его мнению, произошло бы, если бы не голосовал никто.

— Не представляю себе,— откровенно ответил Реджинальд.— А вы как думаете?

Хильдершем, который не имел обыкновения думать, с возмущением ответил, что цивилизация как таковая рухнула бы.

— Она рухнула бы,— возразил Реджинальд,— и если бы, скажем, перестали мостить дороги. Но будь я проклят,— добавил он,— если по этой причине стану дорожным рабочим.

Хильдершем колебался — сказать ли, что это совсем другое дело, или же еще раз заметить Уэлларду, что ему давно пора заняться ремонтом своей дороги, хотя она и не была его частной собственностью.

Хильдершем отдал предпочтение местной проблеме. Один-два воза булыжника...

Сильвии вскоре тоже предстояло стать избирательницей. И она спросила Реджинальда, что ей делать со своим голосом, когда она обретет его. «Отдай его мне»,— предложил Реджинальд, и Сильвия кивнула. Таким образом, вопрос голосования был улажен или отложен — как вам больше нравится.

Реджинальд вошел в клуб, стараясь, насколько возможно, не походить на человека, несущего в руке «Вьюнок». Он оставил книгу в гардеробе, прикрыв ее шляпой. Затем пошел обедать. Когда он доблестно сражался со спагетти, его одиночество было нарушено.

— Добрый день, Уэллард. Можно присоединиться к вам? Сегодня тут полно народу.

Не слишком удачно сказано, подумал Реджинальд. Но стоит взглянуть на этот толстый загривок, сразу все становится ясно. Он кивнул.

— Вы знакомы с Рагланом?

По фамилии, разумеется. Кто же не знает Раглана? Лично — нет. Они знакомятся...

Может быть, сейчас?

Нет. Не тут-то было. Разговор идет о делах Раглана.

— Я деревенский житель,— говорит Реджинальд,— и не разбираюсь в подобных вещах. Какая, например, разница между тиражом и допечаткой и сколько может быть в них экземпляров?

Раглан объяснил, что неизощренный ум заурядного издателя не делает никакого различия между ними, но с технической стороны новый тираж предполагает нечто новое в содержании или новый набор, а допечатка — это просто заново сделанные оттиски старого набора.

— Понятно. Предположим, книга выходит третьим тиражом. Как по-вашему, сколько примерно экземпляров может быть продано?

Лорд Ормсби бесцеремонно захохотал. Пускай. Раглан же, любивший объяснять медленно, хорошо поставленным голосом, заметил, что это, разумеется, зависит от автора, мой дорогой.

— Понятно,— снова сказал Реджинальд, чувствуя, что вряд ли стоило ехать в Лондон.

— Каким тиражом в этот раз издают Холланда? — спросил Ормсби с таким видом, будто говорил Уэлларду: «Вам бы стоило послушать».

— Двадцать тысяч,— ответил Раглан, безуспешно пытаясь быть скромным, поскольку Холланд был делом его рук.

— Первым тиражом? — задал вопрос Реджинальд.

— Первым. Но ведь он сейчас как раз в моде. Если бы речь шла о неизвестном авторе, тираж составил бы тысячу, может быть, даже пятьсот экземпляров. Разумеется, безопаснее напечатать меньше, чем думаешь продать, ведь в любой момент можно допечатать.

— Понятно.

— Все это ровным счетом ничего не значит. К примеру, кровопийца и подлец вроде Пампа,— Реджинальд наклоняется ниже над тарелкой спагетти,— объявляет, что готовит Шестой, Расширенный Тираж. Скорее всего, это означает, что он начал с тысячи экземпляров и посчитал их первым и вторым тиражами, по пятьсот в каждом. Разослал их по книжным лавкам и, очевидно, получил два-три заказа. Тогда он печатает следующую тысячу, то есть два следующих тиража, и половину книг переплетает. Вот уже четыре тиража. Что же касается пятого и шестого тиражей, то либо он не дал рассыпать набор на случай, если захочет напечатать еще тысячу, либо просто лжет. А «Расширенный» тираж — это ведь относительно, правда? «Шестой, Расширенный Тираж» может означать, что он продал книжным лавкам тысячу экземпляров, а те распродали, возможно, не больше сотни.

— Понятно,— повторил еще раз Реджинальд.— Ну ладно, мне пора.— Он небрежно попрощался и отправился платить за обед.

Какой отвратительный тип этот Раглан! А Ормсби — что за чудовище! Зачем он вообще притащился в Лондон? Ах да, подстричься. Его так и подмывает не идти к парикмахеру — назло Раглану. Только Раглан об этом никогда не узнает. Лучше он в руки не возьмет очередную книгу Раглана. Он заплатил по счету, нахлобучил шляпу, «Вьюнок» упал за подставку для зонтов, и он не подумал подобрать книгу. Пропади пропадом все книги. Теперь стричься и назад, к Сильвии.

У Олдерсона было тихо, спокойно. Олдерсон, а может быть его предок, стриг доктора Джонсона или герцога Веллингтонского, это становилось понятно каждому, как только он останавливался перед витриной. Если бы даже кто-нибудь еще — Киплинг или Болдуин — находился в парикмахерской, когда вы очутились в ней, вы никого бы не увидели, кроме самого мистера Олдерсона, который, казалось, был удивлен вашим желанием подстричься, но полагал, что это удастся сделать. Где-то наверху, насколько он помнит, есть свободная кабинка. Не трудно ли вам пройти вместе с ним и поглядеть? Кажется, вот здесь. Да, действительно, но в ней нет кресла. Минутку, сейчас мы найдем другую, с креслом. Вот здесь.

Реджинальд садится, довольный, сонный. Пропади пропадом все книги. Давайте стричься.

Минутку, говорит мистер Олдерсон. Ножницы. Я так и чувствовал, что чего-то не хватает. Где же я видел ножницы? Ага! Ну, мистер Уэллард, насколько я помню, вы любите, чтобы сзади было коротко, а спереди подлинней. Вот так.

Он стрижет. Чик, чик, чик. Кругом спокойствие. Реджинальд задумывается, что произойдет, если кто-нибудь из клиентов решится сказать, что хочет подстричь волосы спереди покороче. Чик, чик, чик. Какая тишина, какой мир, какое спокойствие. И Сильвия выйдет встречать его к поезду три десять. Вестауэйз и Сильвия. Что за нелепый город Лондон рядом с ними, что за дурацкое занятие писательство! Сильвия, молчаливая и прекрасная, ожидающая на платформе.

IV

Реджинальд оказался на вокзале Виктория за десять минут до отхода поезда. Достаточно, чтобы закупить для Сильвии все эти женские журналы. Как стать красивой — Как выглядеть красивой — Как сохранить красоту — Как похудеть — Как поправиться — Как удалять волосы — Как содействовать их росту. Сколько вздора написано о стремлении женщин быть красивыми. Что, как не стремление к красоте, отличает нас от животных? Зачем, как не для того, чтобы найти красоту, мы живем? Леонардо изобразил Мону Лизу, и мир преклоняется перед ним. Но разве Сильвия не достигла большего? Сильвия — воплощение Красоты, а не мертвая копия. Если же рассуждать так, как, наверное, рассуждает стоящий справа от Реджинальда священник, потихоньку почитывающий задаром «Спектейтор»:

«Бог наградил твою жену красотой, и здесь нечем гордиться, а Леонардо да Винчи потратил годы жизни на то, чтобы...», тогда, черт возьми, сэр, какой из вас слуга Божий, если вы отрицаете, что гений Леонардо тоже от Бога? А что касается «потраченных лет жизни», то разве я не об этом говорю? Женщины тратят годы жизни, стараясь сделаться такими же прекрасными, как Сильвия, и кто станет упрекать их за это? Во всяком случае, не я, которому Сильвия подарила свою красоту.

В этот момент киоскер положил перед ним книгу:

— А это вы видели, сэр? Расходится очень неплохо.

И Реджинальд очутился лицом к лицу с «Вьюнком». А он напрочь забыл об этом проклятом романе.

— Раскупается, да? — машинально спросил он.

— Я продал не одну книгу сегодня с утра,— не погрешил против истины продавец и, чувствуя, что в такой чудный майский день можно и преувеличить, добавил: — Раскупают, как горячие пирожки.

Похоже, что предстоит выложить еще семь шиллингов и шесть пенсов. Нет, меньше, потому что десять процентов приходится на его долю. Девять пенсов. Это решает дело. Не стоит разбрасываться девятью пенсами.

— Хорошо, давайте,— сказал Реджинальд, протягивая деньги.— И вот эти тоже.

— Благодарю вас, сэр. Вот сдача.

Разумеется, думал Реджинальд, осматриваясь в поисках поезда три десять, теперь он проникся верой в Уэлларда, и это моя заслуга.

Поезд три десять, зная, что Сильвия должна встретить его, был настроен весьма дружелюбно и подъехал прямо к книжному киоску, имея вдобавок для Реджинальда в запасе пустое купе первого класса для курящих. Реджинальд сложил на сиденье рядом с собой стопку «Безупречных леди» и «Истинных дам» и открыл «Вьюнок». Теперь он был биржевой маклер, возвращающийся домой, в свой кошмарный особняк в Суррее весь в белых башенках, окнах и верандах, а продавец журналов всучил ему этот «Вьюнок», ну что ж, он отвезет книгу жене. Можно даже полистать по дороге.

Ха! Здорово! Кто это сочинил-то? Реджинальд Уэллард. Никогда о таком не слыхал.

Реджинальд читает дальше, забыв, что он биржевой маклер; собственная книга захватывает его. Как, черт побери, ему это удалось?

Но, дойдя до главы V, он отложил книгу и вновь задумался. Можно ли полностью отделить духовное от физического? Если бы Сильвия была более отзывчивой, стала бы она менее прекрасной? Если бы он мог поделиться с ней всем, рассказать, что смешного он подмечал, если бы можно было прожить этот майский день дважды, один раз в Лондоне — самому, а другой — когда он станет рассказывать ей, что с ним происходило, пережить вдвоем, разделяя с ней,— оставалась бы она Сильвией,— прекрасной, непроницаемой, далекой? И можно ли сказать, что за этой проницаемостью не скрывается глубина? Даже если ее ум неглубок, разве он добрался до его дна? Одно несомненно. В супружеской жизни, во всяком случае, нельзя отделить физическое от духовного, они неразрывно связаны. Красота Сильвии не перестает быть для него источником радости. У них разные корни, но они неразрывно переплелись. Он повилика, или вьюнок — так лучше звучит,— и живет за счет ее красоты.

Кругом, оказывается, полно вьюнков. Этот Памп, как Раглан назвал его? Кровопийцей! Ну хорошо, пусть только попробует. Ох, провались эта книжка, он ведь решил больше о ней не думать. К черту!

Он схватил ее и забросил на полку. Потом зажег трубку, опустил окно и стал дожидаться приезда в Литтл Моллинг.

V

Сильвия ждала на платформе. Он увидел ее, высунувшись из окна, когда они еще ехали по мосту. Она стояла спиной к нему, склонив к плечу головку, как бы в задумчивости, шум поезда не нарушал течения ее мыслей (банальных? глубоких?).

Но когда Реджинальд вышел из вагона, она уже была рядом и протягивала ему прохладную руку. Она чуть зарумянилась, как будто даже это легкое прикосновение после их долгой разлуки было слишком интимным для людного места. Реджинальд хотел поцеловать ее, но его удержал ее взгляд, говоривший: «Подожди. Здесь собралась целая толпа. Подожди, пока мы не окажемся одни».

— Видишь, он остановился,— сказал Реджинальд.— Я так и знал.

— Ты никогда не помнишь расписания, дорогой. Три десять останавливается здесь всегда.

— Всегда? Я не подозревал, что мы так значительны.

— Дело не в значительности, дорогой. Он просто всегда останавливается.

(Ты права, Сильвия, дело не в значительности, он всегда останавливается. Мне неважно, что ты говоришь, я обожаю тебя.)

Он отдал свой билет помощнику дежурного по станции и сообщил ему, что погода стоит прекрасная.

— Жарковато в Лондоне, сэр, я думаю?

— Смотря чем там занимаешься,— ответил Реджинальд.

— Да, сэр, верно.

Господи, можно ли сказать что-нибудь более банальное? А он еще презирает Сильвию. Нет, не презирает. Он просто едет с нею домой к чаю.

Они подходят к машине.

— Ты сядешь за руль или я? — спросила Сильвия.

— Я поведу, а ты меня поучишь.

— Не дурачься, дорогой. Ты водишь не хуже меня.

— Сильвия, зачем ты так говоришь?

— А если и хуже, то только потому, что не можешь сосредоточиться. Конечно, ты ведь все время думаешь о чем-то другом.

— Ничего подобного. Стоит мне увидеть вдали пригорок, я думаю только о передачах. Я просто вижу, как стальные шестеренки цапают одна другую, и огрызаются, и не хотят сцепляться. Я совершенно убежден, что перепугаю ближайшее стадо коров, и так всегда и получается.

— Ну да,— сказала Сильвия.— Об этом я и говорю. Ты слишком много про все это думаешь.

Но ведь только что она утверждала... впрочем, неважно.

— В таком случае,— отозвался Реджинальд,— держи меня за руку, и я буду не в состоянии думать вообще.

Но прежде чем Реджинальд запустил мотор, он повернулся к ней, а она к нему, они взглянули друг на друга счастливо, почти робко, улыбнулись друг другу и поцеловались.

Под горку со станции и на горку, может быть, слишком быстро... нет, ничего... прекрасно, а теперь бесшумно переходим на другую скорость...

— Ох, Сильвия, прости, я не думал...

— Ничего, дорогой.

— Если бы в зоопарке в клетке с тиграми разорвалась граната, грохот был бы примерно такой же, но урона больше. Ну, что теперь делать?

— Ничего. В другой раз выйдет лучше.

— Ладно. Ты скажешь когда.

Через главное шоссе, вниз по извилистой дороге, теперь осторожнее: узкий мост через овраг, по дну которого бежит ручеек, по деревне, а потом прямо в гору, к общественным пастбищам...

— Теперь,— сказала Сильвия,— выжми сцепление.

— Уже.

— На первую скорость.

— Но я всегда... хорошо.

— Чуть прибавь газу.

— Готово.

— Теперь резко нажми на сцепление и осторожно переходи на вторую скорость.

— Черт... Сильвия, ты просто...

— Прибавь газу, быстро. Видишь, как легко?

— Когда ты рядом.

— У тебя все выходит, если ты постараешься.

Они проезжают пастбища и поднимаются на холм, на вершину мира, где дикие вишни, дикие груши и черный терн развесили белое кружево по синеве неба; сквозь буковый лес, покрытый такой нежной зеленью, что и думать о нем хотелось шепотом; дальше поворот налево, через сломанные ворота, мимо домика садовника, чуть вниз вдоль полей и пригорков, где щиплют траву овцы, прямо к огражденному стенами островку Вестауэйза, вздымающему три трубы над буйным цветением сада.

Реджинальд остановил машину и глубоко вздохнул. Как он любит Вестауэйз! Как любит! Боже, благодарю тебя за то, что ты выдумал Вестауэйз, и благодарю, что дал его мне.

— Наверное, ты хочешь чаю,— сказала Сильвия.— Давай я загоню машину.

— Прости, ты что-то сказала.— Реджинальд очнулся.— Конечно, загони, только при условии, что ты въедешь в гараж задним ходом и позволишь мне смотреть, как у тебя выходит.

— Ты снова дурачишься.

— Нет, нисколько, я хочу научиться.

— Это очень легко.

В самом деле, у нее получалось легко.

Как это мне пришло в голову, думал Реджинальд, наблюдая за ней, считать, что я умнее? Она тысячу вещей делает лучше, чем я. И почему мерилом служит то, что могу я, а не то, что может она? По какому праву я уверяю себя, что она менее восприимчива к красоте, чем я? И нужно ли ей это? Она — воплощение Красоты. Разве Бог интересуется теорией относительности, как какой-нибудь нищий преподаватель физики? Зачем? Ведь Он сам — теория относительности. Как бы там ни было, хочется выпить чаю.

— Прекрасно, Сильвия!

Они спускаются по ступеням и по старому вымощенному камнем двору направляются к дому.

— Я люблю, когда ты только что подстрижен,— говорит Сильвия.— Может быть, нужно еще как следует расчесать волосы щеткой. Мне хотелось бы, чтобы ты брал с собой свои щетки.

Ну, это, благодарение небу, не раньше следующего месяца, думает Реджинальд. Терпеть не могу уезжать из деревни в эту пору. Терпеть не могу Лондон. Да здравствуют Вестауэйз и Сильвия.

Лондон его обескуражил. Что бы ни ожидало «Вьюнок» в сельской местности, Лондон пока что не сулил ему ничего.

Глава третья

I

Реджинальд всегда удивлялся про себя, почему нельзя поколотить Бетти Бакстер, почему было бы неверно, грубо, безнравственно совершить самый естественный поступок; но никогда его так не возмущали запреты современной цивилизации, как когда она рассуждала о Вестауэйзе. Она находила его «забавным».

Она называла забавным многое, в чем нельзя было найти и следа забавности. Она красила губы так ярко, что Бакстер, человек спокойный и добродушный, однажды утром не выдержал:

— Ну, Бетти... а впрочем, раз тебе нравится...— и снова принялся за завтрак.

— Что? — с невинным видом спросила Бетти.

— Для чего женщины так красятся? Кому это может понравиться? Кого вы хотите ввести в заблуждение? Даже слепой идиот... хотя, впрочем, раз тебе нравится...

— Сейчас такая мода.

Бакстер хмыкнул.

— А по-моему, это страшно забавно,— отозвалась Бетти.

Бакстеры не были настоящими сельскими жителями, поскольку у них был дом в Лондоне. В Лондоне, конечно, все страшно забавные, и это служило оправданием скорее Бетти, чем Бакстеру — нельзя же пять дней в неделю быть модной и забавной, а по уик-эндам погружаться в непроходимую скуку. Разумеется, она возила с собой губную помаду.

Вестауэйз был удивительным, зачаровывающим, живописным местом. На любое из этих определений Реджинальд был согласен. Вы даже могли бы назвать его необыкновенным, если вы предпочитаете это слово. Слово неподходящее, но, может быть, вы из тех, кто любит употреблять неподходящие слова. «Необыкновенный», по крайней мере, необидное слово. А определение «забавный» содержит в себе нотку превосходства и потому недопустимо. Жену Бакстера больше не приглашали в Вестауэйз, что нисколько не мешало ей появляться там.

Вестауэйз представлял собой небольшой оазис среди холмистых полей, окруженный стенами, которые словно хранили его особое очарование. Как большинство владений в этой части Англии, оно когда-то было хутором, где, как и на соседних фермах, ковали железо и обжигали кирпичи. Пусть другие, более пышные особняки гордятся тем, что под их кровлей останавливалась Елизавета, искал убежища Карл, а Генрих познакомился с Анной. Мы скромнее. Мы просто говорим, что у нас выковали вручную последние ворота и обожгли первый во всей округе кирпич. А если нам возразят, что в здешних местах выковано чрезвычайно много последних ворот и обожжено множество первых кирпичей, мы ответим, что это ничуть не удивительнее того, что Елизавета постоянно ночевала вне дома, Карл беспрерывно скрывался, а Генрих без конца знакомился с Анной. Другими словами, кругом множество самозванцев, но уж мы-то говорим правду.

Вестауэйз был окружен прямоугольником каменных стен, построенных столетия назад, и как бы говорил миру: «Меня не волнует, кому принадлежит остальной мир, но эта земля — моя». Разумеется, как только были возведены стены, владелец обнаружил, что поторопился и что границу с внешним миром хорошо было бы отодвинуть ярдов на сто. Стена оказалась внутренней крепостью, а полоса земли вокруг — ее рвом. Амбар, в который Сильвия только что загнала автомобиль, находился вне крепостных стен. Когда обитатель Вестауэйза поднимал мост и опускал решетку ворот, то его «моррис» (если таковой имелся) оставался на милость врагов. На случай их возможного появления Реджинальд запирал амбар, а ключ прятал под водосточный желоб, где никто не догадался бы искать его, кроме самого Реджинальда, Сильвии и любого, кто решил бы на время поставить в амбар свою машину. Машина в безопасности, кованые ворота («последние ворота ручной ковки в округе» или нет, мы не поручимся) ждут прихода гостей. Возможно, в случае визита знатной леди ворота отворили бы ливрейные лакеи. А простые смертные попадали в Вестауэйз через калитку рядом с воротами и оказывались внутри каменных стен, в яблоневом саду. Они шли по узкой тропинке, и спустя какое-то время от сада оставалось одно название, из травы выглядывали оранжевые головки ноготков, и гости один за другим начинали поправлять галстуки или пудрить носы; тропинка превращалась в ступеньки вниз через альпинарий, и вот они уже в вымощенном камнем дворе, в центре которого пруд; а напротив — дом в форме буквы Г. Страшно забавный.

За домом было не так забавно. Там располагались газоны, цветы, дорожки, посыпанные битым кирпичом, почти как в любом другом саду; в стене — специальная дверь для разносчиков, которую можно было счесть забавной; ульи, еще клумбы, пруд, где раньше жили утки, а теперь гнездилась дикая кряква, под низкой с этой стороны стеной мирно текла маленькая речушка.

— Как там наш милый Вестауэйз? — всегда интересовалась Бетти, увидев Реджинальда у себя или у кого-нибудь в гостях.

Что ответить? Что тут можно ответить? Поскольку пускать в ход топор запрещалось, Реджинальд не мог ничего придумать. Он выжал из себя улыбку.

— У мистера Уэлларда самый забавный дом, какой можно себе вообразить,— обращается она к незнакомой женщине в розовом джемпере, стоящей рядом.

— Правда? — откликается незнакомка сдержанно, как человек, почти, но не совсем представленный мистеру Уэлларду.

— Вам непременно надо взглянуть на него. Совершенно необыкновенный дом. Действительно, страшно забавный.

Розовый джемпер теперь не только наполовину представлен Реджинальду, но и наполовину приглашен к нему. В голосе незнакомки еще сильнее чувствуется сдержанность.

— Я уверена, что там прелестно,— отвечает она.

— Вы живете поблизости? — спрашивает Реджинальд, чувствуя, что следует что-то сказать.

— Нет, я просто приехала на уик-энд.

Прекрасно, значит, они больше не увидятся.

II

Но и без женщины в розовом джемпере внутри четырехугольника каменных стен Вестауэйза кипела жизнь.

Пчелы.

Пчелы везде. Пчелы на аконите, на аквилегии (возможно, по созвучию названий). Пчелы вползали в зевы львиного зева и, раздосадованные, пятились оттуда. Пчелы на цинниях, не чувствующие, сколько в них красоты, сознающие только, сколько в них меда. Каким удивительным, каким совершенно иным кажется сад пчеле! Еда, еда, нет еды, больше еды, меньше еды. Что за жизнь! Пчелы, ищущие в лаванде только еду.

Никчемные создания пчелы, думает Реджинальд. Зачем мы в этом мире? Создавать красоту, обнаруживать красоту, постигать красоту. Что еще? Как же, науки, утверждает горгулья на водосточной трубе, профессор Памперникель. Прекрасно, замените «красоту» «истиной», если хотите, и вы получите всю область человеческих занятий. Чему служат пчелы, красоте или истине? Ничему. Они просто существуют. Существуют, размножаются, гибнут, рождаются, существуют, размножаются, гибнут, рождаются... и так далее, на протяжении веков. Почему стремление размножаться сильнее стремления полностью выразить себя? Не только у пчел, у людей тоже. Рождаемость падает! Мы погибли! Что мы будем делать без детей, еще детей, еще и еще большего количества детей, домишек, еще домишек, еще и еще большего количества домишек? Тут чудесный уголок Англии, и здесь нет пока отвратительных маленьких домишек! Почему мы не расселяемся? Почему не создаем больше и больше семей, чтобы все дальше и дальше... размножаться?

Наверное, рассуждает Реджинальд, мы боимся самих себя. Как в игре у Хильдершемов на Рождество, когда все мы под столом стараемся передать из рук в руки шестипенсовик, чтобы, услышав возглас, возвещающий конец игры, мы бы не отвечали ни за что, в наших ладонях не было бы ничего. Монетка оказывается у нас на мгновение, нам удается передать ее малышу Тони Хильдершему, наша задача выполнена. Если его поймают с монеткой — его беда, если он успеет передать ее младшей Коулби — что ж, ее дело, у нас руки чисты.

И когда нам будет задан вопрос: «Что вы сделали со своей жизнью?» — мы сможем тут же ответить: «Передали ее, Господи».

Каков будет ответ Реджинальда? Он еще не передал своей жизни. Он не уверен, что хочет этого. Ему нужна Сильвия-жена, а не мать. Но так или иначе, он по-другому ответит на вопрос: «Что ты сделал со своей жизнью?» Его ответ будет: «Я страшно любил ее, и она не раз приводила меня в изумление».

Никчемные создания пчелы, рабочие пчелы. Трутни лучше. По крайней мере, они умирают ради любви...

Бабочки.

Бабочки везде. Капустницы, боярышницы, лимонницы, крапивницы, адмиралы, траурницы, павлиний глаз, бражники, пестрые и голубые мотыльки — всевозможные разновидности бабочек. Тени бабочек, скользящие по цветам в лучах утреннего солнца. Павлиний глаз на лиловых кистях сирени... десять... двенадцать... а вот траурница; павлиний глаз, складывая крылья, становится черным, и тут же, раскрывая, ошеломляет переливами красок; адмиралы на сирени, черный и красный бархат на лиловом; лимонницы, бледно-желтые, со сложенными крыльями бледно-зеленые, с крошечным оранжевым пятнышком, артистически подрисованным зеркальной гладью пруда. Бесполезные прекрасные бабочки, насколько, должно быть, Бог гордится ими больше, чем пчелами! Насколько больше славы заслуживает Он, создав вас!

Птицы.

Прежде всего, голуби в голубятне. Черные монахи. Черные и белые монахи. Началось с двух. Монашки, не имевшие дела с мужским полом. Они с надеждой откладывали яйца, но ничего не выходило. Может быть, утешали они друг друга, что-то неладно в голубятне: ее устройство или вентиляция. Они с надеждой откладывали яйца на крыше, с северной стороны, с южной, на черепице, на камне. Дети не вылуплялись. Печальная история. Потом Реджинальд поехал в Лондон стричься и купил черного монаха (и подстригся), и теперь, где бы ни были отложены яйца, из них появлялись на свет взъерошенные и изумленные птенцы, и росли, и доживали до старости. Их было шесть. Они лениво сидели на крыше, лениво чистили перья на пруду, лениво предавались любви; счастливые, ленивые, прекрасные монахи.

Дикие кряквы на пруду. Чтобы они чувствовали себя как дома, а не как в гостях, Реджинальд предоставил в их распоряжение старую собачью конуру. Там они должны были спать, гнездиться, предаваться размышлениям. Утка вошла внутрь; поразмышляла, проспала ночь и решила гнездиться. Она высидела только два яйца. Селезень, чувствуя, очевидно, что совместная жизнь на пруду становится чересчур семейной, возобновил полеты в лес, собачью конуру вернули в амбар; а три дикие утки счастливо жили в пруду, когда горизонтально, а когда вертикально. Взгляните только на зеленую полоску на шее селезня, думал Реджинальд, исполняясь благоговения, как Он делает это?

Мимо него промелькнул зимородок, который появлялся так редко,— что за красота! Белая сова, прилетавшая в сумерках по своим таинственным и секретным делам, минуя человека, словно задерживала дыхание, затем мягко выдыхала, бесшумнее самой тишины. Крики грачей на вязах весенним утром, черные дрозды в феврале, скворцы в апреле, кукушка, воскрешающая в вас память о каждом прошедшем лете; начало лета и неустанное пение птиц, разгар лета и их таинственное молчание — можно ли забыть, что человек делит с птицами этот мир?

Золотые рыбки в бассейне.

Золотые, черные и золотые, черные и красные, а еще серебряные и золотые. Удивительная, замкнутая, бесполая жизнь, которую они ведут. Дышат, думают, дышат, думают. Они аскетичны, живут ничем. Думают: север, юг, потом вильнут хвостом и думают: восток, запад. Они ждут чего-то, возможно, откровения. А может быть, просто муравьиных яиц? Почему их кормят муравьиными яйцами? С таким же успехом можно было бы полагать, что кролики любят яйца дроздов и с надеждой сидят у подножья деревьев. Сильвия, кормившая золотых рыбок, была удивительно хороша. Она стоит над бассейном и приглядывается к другой, чуть более туманной Сильвии, которая тоже роняет корм, а может быть, тоже роняет свои тихие мысли, она тоже ждет чего-то, возможно, некоего откровения.

Кошки. Их три. Бабуся, Джон Весли и Джем. Бедняжка Бабуся — крохотная беспокойная кошка. Она была бы еще беспокойнее, если бы лучше умела считать. «Мне казалось, что у меня семеро детей,— озабоченно говаривала она.— А я вижу только одного. Вы не знаете, куда делся другой?» Бедняжка Бабуся. Количества детей никто не ограничивает, а с котятами все по-другому. Джон Весли и Джем — уцелевшие потомки двенадцати кошачьих семейств за шесть лет, но никто не помнит, кем они друг другу приходятся: братьями, кузенами или дядей и племянником. Джон Весли длинный и черный, он ходит по пятам за Реджинальдом, дожидаясь, пока тот наклонится вырвать сорняк. Тогда одним прыжком он оказывается на плече хозяина и укладывается наподобие воротника. Джем, ярко-рыжий Джем более сдержан. Реджинальд почти ничего не может от него добиться.

— Эй, Джем, куда ты собрался?

— Да так, кое-какие дела, мистер Уэллард. У меня назначена встреча в поле. По поводу кротов, мистер Уэллард.

— Хорошо, но не таскай домой добычу. Мне не нужны на газонах трупы. Ты понял?

— Нет, мистер Уэллард. Не пойму, о чем это вы. Мне пора, увидимся в другой раз, если вы еще собираетесь здесь побыть.— Он уходит достойно, не спеша.

— Джем!

Обернуться или нет? Нет. Не стоит.

— Джем! — На этот раз зовет Сильвия. Другое дело.

— Да, миссис Уэллард.
— Мистер Уэллард хочет тебе что-то сказать.
— Никаких птиц, Джем. Помни. Птицы запрещены.
— О чем это он? — спрашивает Джем у Сильвии.
Сильвия смеется и что-то говорит Реджинальду.
— До свидания, Джем,— говорит Реджинальд.
— До свидания, *миссис* Уэллард,— отвечает Джем и покидает их.

III

Шли недели (скоро опять пора стричься), а миссис Бакстер, миссис Хильдершем и миссис Коулби все еще пребывали в надежде, что в один прекрасный день у них в руках очутится «Вьюнок».

Больше всех надежд питала, как можно предположить, Бетти Бакстер. Она сейчас постоянно жила в Лондоне, если не считать уик-эндов, а в Лондоне, несомненно, магазины есть. Наверное, она пыталась приобрести книгу у Придворного Парикмахера, у Придворной Цветочницы и в этом восхитительном магазинчике справа на Бромптон-роуд, который, правда, еще не входит в число королевских поставщиков, но зато там почти все изделия ручной работы и страшно забавны. Не обнаружив книги ни в одном из этих заведений, она несколько пала духом. Конечно, существуют и другие магазины, но нельзя же ездить по всему Лондону, пока не попадешь в нужный. И тогда-то у нее возник вопрос: «Кто, собственно, покупает книги?» Разве хоть одна из ее приятельниц когда-нибудь обмолвилась, что купила книгу? «Мне попался очаровательный старинный графин», «Невозможно было не купить вот эти бусы» — о таких вещах говорили постоянно, но кто сказал хоть раз: «Я купил чудесную книжку в магазинчике на Уигмор-стрит»? Никто. И еще одно затруднение. Поскольку вы собираетесь (если собираетесь) купить всего одну книжку, за нее придется платить наличными. Ведь так? Слыханное ли дело — платить за что-нибудь наличными!

Бетти Бакстер начинала терять надежду. Она просто рвется, как она говорила Сильвии, прочитать «Вьюнок», но ей до сих пор не удалось достать книгу.

Грейс Хильдершем тоже начинала терять надежду, но еще не отчаивалась. Она пока была свободна от малины и от детей и собиралась провести день с хорошей книжкой в руках. Оказавшись в городке, она направилась на почту, где также торговали записными книжками, конвертами и фарфоровыми собачками, и спросила там книгу под названием «Жимолость». Ей предложили пачку сигарет под таким же названием, которую она рассеянно взяла, ни в какой мере не связав с высказанной ею просьбой. Ей нужна книга. Называется «Жимолость». Но в киоске не было ничего, имеющего большее отношение к литературе, чем почтовая открытка с изображением Венеры, встающей из вод Брайтонского залива, и лаконичной надписью: «Чудесно отдыхаю. А ты?» Миссис Хильдершем с широкой, милой, смущенной улыбкой отвергла открытку и вернулась домой. На полпути она вспомнила, что книга называется «Вьюнок», но возвращаться было бесполезно. Она попробует еще раз, когда снова поедет в Бердон.

Миссис Коулби была ближе всех к цели. Она записалась в библиотеку в Бердоне, заплатила два пенса (как и советовала ей Сильвия) и взяла книжку под названием «По приказу царя». Сейчас ее читал Том Коулби. Понемножку.

Так обстояло дело с приятельницами Сильвии. Так, казалось, оно обстоит и с Бердоном, и с Литтл Моллингом. Хотя нет. Нашелся человек, который прочел «Вьюнок». Как ни удивительно, это была старая миссис Эдвардс.

Реджинальд и Эдвардс осматривали рассаду львиного зева в теплице. Шестьсот штук. Посеянные в ящики, высаженные в другие ящики. Пересаженные в тепличный грунт. Теперь пришла пора перенести их в большой мир, на место тюльпанов, которые уже отцвели. Реджинальд украдкой поглядывал на огромную ладонь Эдвардса, сотворившую все эти чудеса, и восхищался.

— Хорошо будет смотреться,— неохотно сказал Эдвардс.
— Если они нужного цвета.
— Непременно. Только взгляните на них.
— На вид сильные. Но мне не хочется, чтобы были бледно-желтые, как

в прошлом году. Мы ведь договаривались, что разводим только Огненного короля и Гвардейца, и...

— Я про это и говорю, взгляните.

Ну, подумал Реджинальд, то ли мне пора с ним расставаться, то ли он собирается сообщить мне, что уходит.

— Взгляните на черенок. Видите? Красный. Вот ваш Огненный король. А вот это? Здесь темно-зеленое. Значит, будет цвести алым. Теперь взгляните сюда. Бледно-зеленый, верно? Значит, цветок будет желтым. Всего несколько штук. Я решил, вдруг вам захочется немного желтых. Вот я и говорю, взгляните.

— Ну,— воскликнул Реджинальд,— я не подозревал об этом!

— Люди не подозревают о многих вещах. Я вот не подозревал, что вы написали книгу.

— Да? — переспросил Реджинальд.— Я и вправду...

— Мать прочитала ее.

Реджинальд был слишком удивлен, слишком обрадован, слишком польщен, чтобы говорить. Вот что значит быть писателем! Он понял это только сейчас. «Третий, Расширенный Тираж» мистера Пампа — ладно, всем нам ясно, что это значит. Нас не проведешь. Около сотни экземпляров закуплено передвижными библиотеками и никогда никуда не двинутся. Но здесь, в его краях, прикованная к постели старая женщина на самом деле... Он платит Эдвардсу три фунта в неделю. Эдвардс, наверное, слышал о книге от прислуги — от миссис Хоскен или от Элис — и купил ее матери. Истратить семь шиллингов и шестипенсовик в придачу из трех фунтов! Чудовищно! Реджинальд должен был подарить ему книгу. Но кто мог предположить, что старушке захочется прочесть написанный им роман?

— Я вам расскажу, как это случилось,— продолжал Эдвардс.— Молодой Митчелл со станции заходит к нам вечерами. У него бывают газеты, оставленные или забытые в поезде, а некоторые сами отдают ему газеты, уходя с перрона. Мать любит почитать — ей больше делать нечего. Поэтому он приносит ей всякие газеты. Один раз в купе даже оказалась книжка, и он ее тоже принес. «Смотри-ка, Чарли,— говорит он,— это не твой хозяин написал?» «Может быть»,— ответил я, но я не знал, что вы книги пишете. Хорошо получилось, мать прочитала мне кое-что вслух, я узнал сад да и все остальное. Вот так оно вышло.

— Понятно,— сказал Реджинальд.— Ну ладно.

Он всегда говорил «Ну ладно», уходя от Эдвардса или Челлинора. Это было подходящее завершение разговора. «Ну ладно» значило: «Ну ладно, я весьма занят и не могу разговаривать с вами целый день» или подразумевало: «Ну ладно, вы весьма заняты или, во всяком случае, должны быть заняты и не можете разговаривать со мною целый день». Реджинальд терпеть не мог это выражение, глупое и никчемное, но, черт возьми, нельзя же уйти просто так, ничего не сказав человеку.

Стало быть, вот как это получилось. Та самая книга, которую он купил на вокзале Виктория и бросил в поезде, оказалась у миссис Эдвардс, которой больше нечего делать, кроме как читать. Без сомнения, когда ты прикован к постели, даже Уэллард лучше, чем ничего.

Тут он подумал про этого проклятого Эдвардса. Разве Реджинальд не объяснил вполне доступным языком: «В этом году не нужно бледно-желтого львиного зева»? Объяснил. А что Эдвардс? «Я решил, вдруг вам захочется немного желтых». И так всегда. Скажите кухарке, что вы не любите лука, она будет думать, что вы не любите, когда лука слишком много. Скажите садовнику, что вы не хотите желтого львиного зева, и он решит, что вы хотите всего несколько штук желтых. Мы слишком боимся говорить ясно и определенно, а когда слышим что-нибудь определенно выраженное, нам кажется, что это не вся правда.

Во всяком случае, она прочитала книжку. Интересно, что она думает о прочитанном?

Надо найти Сильвию и рассказать ей...

Или не стоит?

Разве имеет какое-либо значение, что она скажет, когда она так хороша во время разговора?

Он рассказал Сильвии.

— Как ты думаешь, кто прочитал «Вьюнок»? Матушка мистера Эдвардса.

— Чудесно! — откликнулась Сильвия.— Наверное, миссис Хоскен сказала Эдвардсу, и он купил для матери. Он твой большой поклонник, правда.

Реджинальд смотрел на нее с нежностью.

— Я бы хотел, чтобы ты всегда ходила в этом платье,— сказал он.

— Тебе нравится?

— Я люблю его. Ты в нем необыкновенно женственна и привлекательна.

Сильвия смотрит на него и опускает глаза.

— Помнишь, что ты написал в посвящении? — спросила она мягко.

— Да.

— Ведь это правда?

— Да.

Она протягивает руку и ерошит его волосы.

— Скоро тебе опять пора стричься,— говорит она.— Я думаю поехать с тобою, дорогой.

— Это было бы замечательно.

— Поедем в пятницу?

— Скорее всего. Подумай, куда бы нам пойти на ленч.— И после паузы: — Ну ладно.— И Реджинальд уходит.

Черт возьми, сказать «Ну ладно» — Сильвии! Ужасно. Он быстро вернулся, поцеловал ее, засмеялся и ушел.

Глава четвертая

I

Написать книгу, думает Реджинальд, ведь это подвиг! Какой труд! Физический труд — написать на бумаге сотню тысяч слов, любых слов. А муки, отчаяние, восторг от удачно найденного слова! Выбрать сто тысяч слов, сознавая, что другой писатель, лучше его, мог бы найти слова лучше. Как он отважился? Как он умудрился написать роман? И теперь, когда он совершил свой подвиг, сотни исписанных страниц явились миру — и никто не заметил этого. Канули как камень в воду, бесследно. Никакого отклика в Лондоне, никакого отклика в деревне. Как будто он ничего не писал.

Ну, не совсем. Сильвии книга понравилась... понравилась ли? И миссис Эдвардс роман помог скоротать несколько часов долгого пути к кладбищу.

Так думал Реджинальд. Но он не подозревал, какого рода деятельностью были заняты Раглан и лорд Ормсби.

Эти двое являли собой любопытную пару. Раглану нравилось быть поблизости от лорда Ормсби, так как он любил находиться рядом с деньгами, а лорд Ормсби любил бывать в обществе Раглана, так как ему нравилось ощущать свою близость к культуре. Раглан же был не просто культурным человеком, а олицетворением культуры, так же как и Ормсби не просто был богат — он служил воплощением денег. Поэтому они держались вместе, и один из них главенствовал, но кто — непонятно.

Раглан в жизни не написал ни романа, ни пьесы, ни стихотворения, ни рассказа. Он вряд ли написал эссе на придуманную им самим тему. Он жил за счет других писателей, как садовник живет за счет фруктовых деревьев. Яблоко вырастает на яблоне, но специалист — это садовник. Как мало яблоня знает (или заботится) о процессе выращивания яблок, как мало она знает о выращенном яблоке. Раглан представлял миру других писателей, интерпретировал их, классифицировал их, анализировал их, сличал их, помещал их в указатели, промывал, пропускал через бельевой каток и развешивал для просушки. Когда он писал о Томасе Деккере, или Николасе Бретоне, или Джордже Коулмене-младшем, казалось, что все три знаменитости написали о Раглане; тем самым он становился более и более известным. Реклама его издания «Гудибраса» как «шедевра Амброза Раглана» не исключала того, что Батлер мог все же написать его самостоятельно, но отлично отражала ситуацию. Было сразу понятно, что, будь Батлер жив и окажись где-то на приеме в обществе Раглана, он непременно пропустил бы в дверях критика вперед, приговаривая: «Только после вас, дорогой друг». Никто не слышал о Батлере, но все знали Раглана. Сохранится ли это соотношение спустя триста лет, сказать трудно.

Ормсби был владельцем газет и скаковых лошадей. В силу первого он был известен как «Роберт, первый барон Ормсби», в силу второго — отзывался на обращение «Старина Боб». У него был носик пуговицей, жесткие торчащие волосы, толстый загривок и ложбинка на подбородке. Для его газет не существовало ничего слишком вульгарного, слишком непристойного, слишком вероломного, но поскольку бизнес есть бизнес и поскольку его лошади выигрывали дерби, а он сам имел обыкновение курить такие длинные сигары, что они служили опознавательным знаком, когда карикатуристы решали изобразить его, он был символом нации и образцом английской респектабельности. Он отличался одной только странностью, бедняга был помешан на книгах.

Он пригласил к себе Раглана. Раглан пришел. Без сомнения, Ормсби затевает новый литературный еженедельник и хочет поручить ему руководство. Он готов согласиться при условии полной свободы. Он не потерпит никакого вмешательства со стороны такого вульгарного человека, как Ормсби.

— Приветствую вас, мистер Раглан. Рад вас видеть. Закурите?

Раглан уклонился от предложенной сигары, деликатно мурлыкнув на оксфордский манер, и достал собственный портсигар.

— Спичку? Теперь давайте поговорим. Не знаю, читаете ли вы мои газеты? Полагаю, нет. Бываете на бегах?

Легкая улыбка мистера Раглана позволяет понять, что не бывает.

— Ладно. Но если бы бывали, вы бы знали, что статьи о бегах пишет величайший из живущих в Англии экспертов. А крикет? А футбол? Вы не интересуетесь ими? Тогда спросите любого из своих друзей. Все, кто занимается этими видами спорта, подтвердят вам, насколько квалифицированны наши специалисты. Вы не женаты? Не важно, любая из ваших знакомых дам скажет вам, хорош ли у нас раздел моды. А полеты на аэропланах, автомобильный спорт... чего бы мы ни коснулись, я всегда задаю себе один вопрос: кто лучший эксперт в Англии в этой области? Мистер Браун? В таком случае я хочу, чтобы мистер Браун писал для моей газеты. И я получаю его!

— Весьма логичный подход,— согласился Раглан, следя, как дым от его сигареты поднимается к потолку.

— Я хочу создать литературный раздел. Я всегда собирался завести его, но сначала пришлось заняться другими темами. Я стал искать самого крупного в Англии специалиста в области литературы. Все как один назвали мне имя — Амброз Раглан.

Раглан издал короткий смешок и потрогал свою небольшую бородку. Все как один совершенно правы.

— Я хочу завести ежедневную рубрику, посвященную книгам, наподобие нашей рубрики о бегах. Я хочу, чтобы вы ее редактировали. Во всяком случае, мне нужно ваше имя. Мы можем найти кого-нибудь, кто станет писать, а вам нужно будет только присматривать за ним. Что я действительно хочу от вас, это еженедельную статью, которая публиковалась бы во всех моих газетах. Что вы скажете?

— Ну,— отозвался Раглан с легкой улыбкой,— кажется, я...

— Я предлагаю вам пять тысяч фунтов в год,— сказал Ормсби и, прежде чем Раглан пришел в себя, небрежно добавил: — Столько же, сколько я плачу своему эксперту по беговым лошадям.

Пять тысяч в год! Кто бы отказался? (Даже если столько же получает эксперт по беговым лошадям.)

— Вы предоставляете мне свободу? — спросил он между прочим, хотя руки у него дрожали.

— Думаю, мы не поссоримся,— ответил Ормсби.— Пошли, я покажу вам вашу контору.

Они не поссорились. Но месяц спустя Ормсби вызвал к себе крупнейшего специалиста по литературе и раскрыл перед ним душу.

— Послушайте, Раглан. Боюсь, вы меня не поняли.— Он щелкнул пальцами по лежавшей на столе газете.— Как по-вашему, зачем я завел литературную страницу?

На губах Раглана промелькнула легкая улыбка.

— Да, я думал над этим. Вряд ли она может принести доход. Видимо, чтобы газета создавала ощущение цельности.

— К черту цельность. Есть две причины, по которым в моей газете что-то

печатается. Во-первых — этого хочет публика. А если не публика, то, во-вторых, этого хочу я. Скажем, интересуют ли публику детородные органы морских губок? Нисколько. Похож ли я на человека, которого это может волновать? Ничуть. Прекрасно, и пусть они размножаются любым образом и плодят стада маленьких губочек, мы не напишем об этом ни слова. А теперь скажите, интересуется ли публика книгами? Нет. Еще нет. А я? Я — да! И вот моя цель, Раглан,— он стукнул кулаком по столу,— ввести книгу в каждый дом, сделать так, чтобы в субботу вечером каждому англичанину хотелось бы взять в руки книгу не меньше, чем ему хочется... а, неважно...

— Весьма достойная цель.

— Да.— Он разложил перед собою газету и побарабанил по ней пальцами.— Я хочу, чтобы люди читали книги. Теперь посмотрим. Семнадцатое ноября, прошлая пятница. «У камина», рубрика А. Раглана. Книга недели. Рецензия А. Раглана. Вот она. «Керамика семнадцатого века». Пьер Дюпле или черт знает как там вы его произносите, перевод — не важно чей. Три гинеи. Так.— Он перевернул страницу.— Вот фаворит моего эксперта по беговым лошадям на скачках в Вудбери — Элизиум. Ну, как вы думаете, сколько народу встало в пятницу утром из-за стола, сказав: «Надо непременно поставить несколько шиллингов на Элизиума»? Тысячи. Он, правда, на голову отстал, но не в этом дело. А кто встал из-за стола в пятницу утром, сказав: «Пойду потрачу три гинеи на «Керамику семнадцатого века» какого-там француза»? Да никто. Нет, так не введешь литературу в дом, старина. Клянусь Богом, нет.

Раглан не помнил, когда последний раз его называли «стариной». И поскольку это обращение прозвучало из уст лорда и миллионера, оно было приятно Раглану.

— Разве это наше дело, а не издателей — продавать книги? — рискнул он спросить.

И это «наше», в свою очередь, согрело Ормсби. Этим словом Раглан как бы брал газету под свое культурное крыло. Теперь она становилась его детищем, а не чужим ребенком, у которого Раглан был репетитором.

— Послушайте, Раглан... кстати, хотите сигару? Нет? Я ведь делаю это не ради денег. Невозможно все время делать что-то ради денег. Почему, скажем, я провожу уик-энд... а, неважно. Уж во всяком случае, не ради денег. Скорее наоборот... да еще вдобавок жемчужное ожерелье... Я делаю это, потому что благодарен книгам. Когда мне было четырнадцать, я купил и прочел все, что написал Диккенс.— Он повторил еще раз, медленно, последнюю фразу. Раглан вздрогнул.— Я зарабатывал десять шиллингов в неделю и семь из них приносил домой матери.— Он пробормотал себе под нос: — Всю эту чертову кучу книжек, на три шиллинга в неделю.— И продолжил в полный голос: — Впрочем, вас этим не удивишь, вы-то истинный любитель книг.

Раглан, который не купил ни одной книги за последние двадцать лет, стал думать, справедливо ли это определение. Ему было не по себе. Но в конце концов, к чему покупать книги, когда издатели, редакторы и авторы дарят их тебе?

Ормсби перелистывал страницы газет, бормоча вполголоса:

— «Жизнь Тома Хейвуда», тридцать шиллингов, «Пасторальная лирика Ренессанса», специальное издание, пять гиней, «Эстетика вортицизма», пять шиллингов, дешевка, конечно, но вряд ли кто польстится,— и вот теперь эта «Упаси-нас-Боже семнадцатого века». Понимаете, о чем я, старина? — Он на минуту замолчал и добавил почти робко: — Простите, что я спрашиваю, но эти книги, эти, например, четыре — они действительно доставили вам удовольствие? Мне хотелось бы знать, получили вы от них то, что я в свое время от «Пиквикского клуба»?

— Это впечатления совершенно иного рода.

— Да, да, конечно,— заторопился Ормсби.— Дурацкий вопрос. Ну а теперь к делу. Я хочу, чтобы люди вставали после завтрака или вылезали из поездов, прочтя газету по дороге, и говорили: «Черт возьми, обязательно надо достать эту книжку. Если советует Амброз Раглан, значит, наверняка стоящая». Но клянусь вам, старина, никто не скажет ничего подобного о — как там она называется? — об «Эстетике вортицизма». Верно?

Раглан рассмеялся. В первый раз искренне за все свое пребывание в кабинете Ормсби.

— Я не обидел вас? — быстро спросил Ормсби.

— Нисколько. Продолжайте.

— Мне хотелось бы, чтобы каждый из моих подписчиков прочел всего Диккенса, как когда-то я. Но время прошло. Сейчас их не уговоришь. Они скажут, и не без основания, что современные авторы пишут лучше Диккенса, в соответствии с общим прогрессом. Поглядите на поезда... и на аэропланы. Прекрасно, пусть они так считают. Короче говоря, вам придется находить для них каждую неделю книжку... которая была бы лучше Диккенса.

— Но ведь великие романы не появляются каждую неделю.

— Конечно. Но какая-то книга может стать книгой недели, и вам нужно будет выбрать такую, чтобы ее охотно прочел средний читатель. Те, кто ставит на бегах свои пять шиллингов или пишет в газеты за подписью «Налогоплательщик». Вот чего я хочу. Обдумайте это, старина.

Старина Раглан обдумал это. Деньги значили для него много, но его репутация — еще больше. Его занятием было создавать литературную моду, а не следовать ей. Но поскольку литературные моды имеют обыкновение ходить по кругу, можно ли решить, кто возглавляет ее, а кто ей следует? Он представил себе, как он, Раглан, начнет крестовый поход во имя старинного английского романа. Разумеется, постепенно, определив исходную точку. Опередить новейшую моду, опередить настолько, чтобы догнать Диккенса...

Теперь, через полтора года после этого разговора, Раглан пожинал плоды. Он обладал властью и популярностью (и наконец-то деньгами), а раньше на его долю выпадало лишь завистливое восхищение. Новый роман, рекомендованный им, расходится дополнительным тиражом не менее пятнадцати тысяч. Он в состоянии положить раз в неделю тысячу фунтов в карман писателя и Бог знает насколько бóльшую сумму в карман издателя, что приносит ему незнакомое доселе удовлетворение. А надев серый цилиндр новейшего фасона и отправляясь на бега со своим другом лордом Ормсби, он почти чувствует себя героем старинного английского романа. Необыкновенной фигурой. Человеком, которого влечет и спорт, и культура.

Представим его себе в майский день, поглядывающим на груду книг на столе и раздумывающим над тем, какая из них окажется в этот раз «книгой недели». Нет... Не эта... Тоже нет... Хорошо бы найти нового автора... Издано Пампом?.. Ну уж нет... Хотя Уэллард... Где-то он слышал это имя. Ах да, ленч на прошлой неделе. Может быть, это он. Вполне похож на писателя... Говорил, что живет в деревне и не разбирается...

Он читает стоя в течение пяти минут...

Затем он читает сидя в течение пяти минут...

Затем он встает, надевает шляпу (а не серый цилиндр) и направляется домой, неся «Вьюнок» под мышкой.

Он нашел книгу недели.

II

В целях преуспеяния мистер Памп носил длинную бороду, старомодный сюртук и черный шелковый цилиндр с загнутыми полями. Это внушало доверие начинающим авторам. Сюртук и борода говорили о том, что, существуй фирма в давние времена, она непременно издавала бы Теккерея и Троллопа; а загнутые поля шляпы свидетельствовали, что фирма, хотя и старинная, не чурается новых методов. Поскольку в единственный день недели, когда мистер Памп не был занят изданием книг, он не расставался с сюртуком и с бородой, его можно назвать человеком почтенным, а поскольку в течение остальных шести дней он издавал книги, следует признать, что он обладал профессиональной дальновидностью.

Мистер Памп не был лицемером. Он был религиозным человеком, относившимся к религии слишком серьезно, чтобы смешивать ее с делами. Один цилиндр висел у него в конторе, а другой он брал в церковь и, читая молитву, ставил у ног, хотя сюртук и благожелательное выражение лица оставались при нем всегда. У него было два цилиндра и только одна шляпная коробка. Утром в понедельник он с благоговением убирал Бога на неделю и вытаскивал Мамона. В воскресное утро он — благодарно или с надеждой, в зависимости от того, как шли дела,— вновь обращался к Богу. Никто не может служить двум господам сразу.

Мистер Памп утверждал, что не гонится за бестселлерами. Возможно, потому, что ему не часто перепадали бестселлеры. Он издавал столько книг, сколько ухитрялся добыть, и старался получить с каждой небольшую прибыль. «Обычный договор автора с издателем» гарантировал ему незначительный доход, а подписание «типового соглашения» давало надежды на большее. Ибо мистер Памп специализировался на романах с сексуальной тематикой, и хотя рискованные эпизоды обычно кончались на том, что лампа гасла, звездочки, которые за этим следовали, оставляли сколько угодно простора для воображения и надежду, что когда-нибудь... Но мистер Памп избегал риска. Он предпочитал поддерживать в читателе надежду.

Признание «Вьюнка» книгой недели поразило его. Редакторы и рецензенты явно были предубеждены против него. Они уделяли ему безобразно мало места по сравнению с количеством рекламы, которую он помещал. И хотя «Вьюнок» не «такого рода» книга, удивительно, что Амброз Раглан... Какой же договор с ним подписан? Уэллард... Уэллард...

Он подошел к несгораемому шкафу, нашел договор и разложил его на столе.

Хм. Следующие шесть книг... и половина всех прав... расчеты раз в год... Неплохо. Да, деньги здесь будут. Нужно браться за работу...

Мистер Памп снял телефонную трубку и взялся за работу.

Глава пятая

I

Если начать листать перед Реджинальдом страницы словаря, в глаза ему сразу бросится слово «вьюнок», а если раскрыть наугад телефонный справочник, он непременно тут же наткнется на фамилию Уэллард (но не на свою собственную). Так бывает со всеми, кто впервые написал книгу.

Сильвия, Реджинальд и три кошки завтракают вместе. У Сильвии на завтрак грейпфрут, у кошек — молоко из ее блюдечка, у Реджинальда — яичница. Каждое утро Реджинальд, глядя на Сильвию как на цветок, покрытый каплями росы, боялся развеять словом, прикосновением, вздохом исходивший от нее аромат свежести, ореол, окружавший ее, спугнуть выражение невинности и изумления, стоявшее в ее глазах, словно она пыталась вспомнить прекрасный и романтичный сон. Когда он видел, как она сидит напротив него с чуть застенчивым видом, а почувствовав его взгляд, улыбается в ответ, понимал, что вот Вестауэйз, а вот Сильвия и они принадлежат ему, видел газоны и клумбы, которые заглядывали в открытую дверь, маня его к себе, это наполняло его таким невыразимым счастьем, что он боялся поднять глаза, чтобы не нарушить его. Поэтому он читал вчерашнюю вечернюю газету, пришедшую с сегодняшней почтой, и уверял себя, что если не слишком задумываться над этим, невероятный сон, в котором он женат на Сильвии и они вместе живут в Вестауэйзе, будет длиться без конца.

В девятнадцать лет Реджинальд мечтал о Кембридже. Смерть отца и последовавшее безденежье покончили с этой мечтой. Его подготовка к жизни заключалась в пройденном курсе средней школы и неплохих спортивных результатах. Существует лишь одна профессия в мире, где все это может пригодиться, причем только для того, чтобы быть переданным следующему поколению. Реджинальд как можно скорее отрастил усы и сделался помощником учителя во второразрядной школе. Он просуществовал так четыре жалких года. Затем, слегка пополнив свои классические знания математическими, он сбрил усы и отсидел такой же срок в банке. Началась война, он отрастил усы и отбыл еще четыре года. Война кончилась. Он снова сбрил усы...

Такова жизнь мужчины. Двенадцать лет мерзости.

Школа в Селби. Измазанная чернилами классная комната, измазанные чернилами ученики. Измазанные чернилами мозги старшеклассников, отупевшие мозги учителей. Бессмысленный непрекращающийся шум. Шум и мерзость. Стук мерзких башмаков по мерзким коридорам, звук мерзких голосов в мерзких помещениях. Убожество и бессмысленность окружающего. Без просвета, без выхода...

Банк. Гул Лондона. Жуткие меблированные комнаты, где сквозь стены слышны голоса и шум. Город в обеденное время. Толчея, крики, невыносимый смрад подвальных кафе. Бессмысленность работы; разговоры его собратьев-клерков, их убогие любовные похождения. Мерзость всего окружающего. Без просвета, без выхода...

Армия. Война. Высшая степень бессмыслицы, шума и мерзости. В этой оргии грохота, жестокости и грязи окончательно обнажается человеческая душа. Теперь наконец мы нашли себя, давайте продолжать... Без просвета, без выхода...

Война окончилась. Почему? Почему бы не воевать дальше? Дома нас ждет только мерзость и бессмыслица. Мы уже осудили себя, нашли образцы для подражания, объявили свою религию Богу. Ведь легче продолжать воевать, чем перестать, а потом начать вновь...

Но война кончилась. Что делать дальше? Сбрить усы, а что потом?

Потом он встретил Сильвию. Ему было тридцать два года, высокий, худой, мускулистый, ожесточенный, полный бессильной и бессмысленной ярости, потерявший надежду, без гроша в кармане. Ей было семнадцать, она была хороша собой и застенчива, воплощение красоты и покоя, которых так не хватало Реджинальду. Что ж, если бы он мог время от времени видеть ее, он был бы счастлив...

Он не был счастлив. Последовавший год принес столько боли, сумятицы и смятения, что по сравнению с ним годы войны казались идиллией. Небо и ад, небо и ад, попеременно. Она любит его, нет, не любит, за что ей любить его? У него нет денег. Какого дьявола, что тут могут значить деньги? Но если он беден, как он может жениться на ней? Вдруг он становится богатым. Чепуха. Как он может стать богатым? Умирает одна родственница — кто же это? — и оставляет ему состояние. Что ж, теперь он богат. Теперь он может просить ее руки. Но как он будет просить ее руки, если все, что он может предложить ей, это деньги? Какого дьявола, что тут могут значить деньги? Очень даже много. Или возраст? Он уже не молод, а она — дитя, нет, это она жила всегда, а он вчера родился и ничего не смыслит. О Сильвия, Сильвия, недосягаемая Сильвия, если бы я мог находиться рядом с тобой, всегда видеть тебя, я был бы счастлив!

Он пробовал вообразить себя женатым на ней. Не получалось. Это тут же сводило ее с небес на землю. Миссис Уэллард в уютной квартирке, миссис Уэллард в Биаррице, миссис Уэллард поит чаем приятельниц в гостиной. Где бы он ни представлял ее, выходило плохо. Где бы он ни представлял ее, она что-то теряла по сравнению с Сильвией его снов.

И тогда он нашел Вестауэйз. Вестауэйз — дополнение Сильвии. Сильвия и Вестауэйз. Вестауэйз. Красивее их в мире нет. Это был дом для нее. Здесь она должна была жить. Вестауэйз дожидался Сильвии. Она дожидалась Вестауэйза. Теперь Реджинальд может предложить ей его и вместе с ним, робко, себя самого. Сильвия поехала в Вестауэйз... Она поехала бы за Реджинальдом куда угодно, но он не подозревал об этом.

И вот Реджинальд сидит напротив Сильвии в своем Вестауэйзе, завтракает и читает между делом вечернюю газету. И вот фамилия Уэллард бросается ему в глаза с рекламы.

Книга Недели
ВЬЮНОК Реджинальда Уэлларда.

Роман Года
ВЬЮНОК Реджинальда Уэлларда.

Шедевр Века
ВЬЮНОК Реджинальда Уэлларда.

— Да-а-а,— произносит Реджинальд, внезапно обливаясь румянцем при виде беззастенчивого восхваления собственной персоны.

— Что, дорогой?

— Нет, ничего.

Что случилось? Что это Памп так разошелся?

Он перебрал нераспечатанные письма. Ничего от Пампа. Ничего ни от кого.

Счета, квитанции, реклама. Агентство газетных вырезок Великобритании — вряд ли это про него. Наверное, хотят предложить свои услуги. Реджинальд не спеша распечатывает конверт и находит в нем газетную вырезку.

Книга Недели. Рубрику ведет Амброз Раглан. ВЬЮНОК Реджинальда Уэлларда (Пампс лимитед, 7 шиллингов 6 пенсов).

Раглан!

Он поглядел на Сильвию, чтобы убедиться, что он один. Сильвия, с кошкой на коленях, смотрела в окно, мыслями за сотни миль отсюда. Они с Раглаком были вдвоем. Он был наедине с Раглаком и слушал его похвалы... Он не торопясь принялся читать...

Ах! Реджинальд глубоко и облегченно вздохнул. Значит, книга, которую он написал, настолько хороша? После завтрака надо будет перечитать «Вьюнок», воображая себя Раглаком.

Жаль, что они поместили в середине этот дурацкий снимок. «Последняя фотография мистера Реджинальда Уэлларда, книгу которого рецензирует мистер Амброз Раглан» — взятая с армейского удостоверения, сделанная десять лет назад! Где они ее раскопали? Как достали? Какие-то люди в Лондоне разговаривали о нем, разыскивали его фотографию, обзванивали фотографов. «Уиллард?.. Нет, Уэллард».

Он виновато посмотрел на Сильвию. Сильвия, дорогая, найди нужные слова! Пойми, что́ я чувствую. Сумеешь ли? Не важно, я люблю тебя и так. И не хочу, чтобы ты была другою. Надо показать тебе рецензию. Ну, смелее.

— Взгляни, Сильвия,— со смешком сказал он.— Вот она, слава! — И протянул ей через стол вырезку.

Сильвия взяла ее, сморщила очаровательный носик и нахмурилась.

— Но это же не ты, дорогой!

— Что? А, фотография! — Ну, разумеется, она должна была заметить снимок и только о нем и думать... Какая жена не заметила бы? Да и любой, кто знаком с ним... Реджинальд постарался, чтобы голос не выдал его разочарования: — Ах, это! Я когда-то так выглядел.

— Ты же никогда не носил усов!

— Носил, когда служил в армии. Фотографию сделали в семнадцатом году, когда я был в отпуске.

— А, до нашего знакомства,— сказала Сильвия, отделываясь таким образом от усов, как всегда отделывалась от Реджинальда периода «до Сильвии». Для нее жизнь обоих началась со дня их встречи. Все, что сформировало его, ничего не значило. Он упал в ее объятия готовым, сложившимся.

— Амброз Раглан считается видным критиком,— небрежно сказал Реджинальд.

— Кто? — переспросила она, продолжая сравнивать фотографию с оригиналом.— Дорогой, ты сейчас гораздо красивее. Разве они вправе помещать твою старую фотографию вроде этой, без спроса?

— Я думаю, они спешили и поместили единственный снимок, который сумели найти.

— Они прекрасно могли бы написать тебе и подождать неделю. Я так люблю твою прошлогоднюю фотографию — где ты опираешься подбородком на руку.

Подождать неделю! Сильвия, Сильвия! Я ждал все эти недели какой-нибудь приличной рецензии на мою книгу, и вот сейчас, когда она наконец появилась, ты не задумываясь предлагаешь мне подождать еще неделю из-за какой-то дурацкой фотографии. Любовь моя, неужели ты не понимаешь?

— Думать не хочется, что тысячи людей увидят ее и станут считать, что ты и в самом деле так выглядишь.

Боже, какая разница, думает он. А вслух говорит:

— Мне кажется, гораздо важнее, что тысячи людей прочтут статью и будут думать, что я в самом деле написал такую прекрасную книгу.

Не слишком ли резко это прозвучало? Нет. Но, чтобы смягчить резкость, если она была, он добавляет со смехом:

— Никто не покупает книг в зависимости от внешности автора. Знаешь, говорят, что после хвалебной рецензии Раглана сразу раскупают весь тираж.

Теперь она читает рецензию. Он, стараясь не шуметь, мажет хлеб джемом. Стараясь не шуметь, продолжает завтрак. Кругом тишина.

Сильвия поднимает на него глаза.

— Ему нравится, правда? — спрашивает она.

Реджинальд снова начинает нормально дышать.

— Да, и очень.— В коротком смешке можно услышать мольбу.— Особенно пятая глава.

— Не понимаю, почему пятая.

Реджинальд понимает. Реджинальд понимает почему. Сильвии, наверное, никогда не понять.

— Мне она, пожалуй, нравится тоже.

— Мне нравится вся книга,— серьезно произносит Сильвия.— Но я, конечно, пристрастна.

Смешная и милая Сильвия. Но худшее уже позади, и можно непринужденно болтать о пустяках.

— Понимаешь,— объясняет Реджинальд,— почему так важна похвала кого-нибудь вроде Раглана? Он-то беспристрастен.

Она кивает, понимающе и с интересом.

— А поскольку он беспристрастен, люди прислушиваются к его мнению. Они знают, что он судит объективно.

— Да, я понимаю,— говорит Сильвия, очаровательно хмурясь.

Он продолжает объяснять, какой великий человек Амброз Раглан.

— Я думаю, рецензия,— показывает он ножом,— заставит тысячи людей сразу же купить книгу.

— Подумать только! Тысячи! Дорогой, какой ты молодец! Я горжусь тобой.

— Правда? — Его улыбка полна нежности.

Она кивнула.

— Мне нравится представлять себе, как все кругом говорят о тебе, и знать, что ты мой.— Она задержала на нем взгляд, потом опустила глаза.

Реджинальд любит ее. Он протягивает к ней руку через стол. Сильвия, не поняв, отдает ему газетную статью, думая о чем-то совсем другом. Но снимок вновь привлекает ее внимание.

— Ты знаешь мистера Раглана,— я хочу сказать, лично?

Теперь он не понял ее и торопливо объяснил, чтобы разуверить скорее себя, чем ее, что они встречались всего один раз и нет причин, по которым бы Раглан...

— Чудесно,— сказала Сильвия, удовлетворенно кивая.— Значит, он знает, какой ты на самом деле.

III

Реджинальд взял с собой «Вьюнок» и Раглана в кабинет, собираясь неплохо провести утро в их компании. Сильвия исчезла в направлении кухни. Он открыл «Вьюнок» и прочитал:

СИЛЬВИИ, КОТОРАЯ ПРИЛЬНУЛА К МОЕМУ СЕРДЦУ.

Она разговаривала с миссис Хоскен. Через двор в открытое окно до него долетали голоса женщин.

Он взял карандаш и лениво написал на листе бумаги:

Что Сильвия делает лучше меня.

Вспомнил о Раглане, о собственном положении в литературном мире, зачеркнул последнее слово и написал: чем я.

1. Она наделена необыкновенной красотой. Я — нет. (Примечание. Если Господь Бог щедро наградил ее красотой, в которой отказал мне, то мне Он дал воображение, ум и другие качества, которыми я горжусь и на которые Он поскупился Сильвии. Если поскупился. И если я горжусь собой, совершенствуя Его дары, то разве Сильвия не шлифует свою красоту?)

2. Она водит машину и играет в теннис и гольф, не прилагая усилий и удивительно точно. Я же играю с неуклюжей старательностью, что Сильвия переносит стоически.

3. Она творит чудеса при помощи иголки с ниткой.

4. Звери обожают ее. (Примечание. Джон Весли любит меня. Однако тут я мало что выиграю, потому что, если спросить, кто из нас больше достоин любви, я сдаюсь сразу же.)

5. Она превосходно ведет дом. Я же не умею вести ничего. Челлинор и Эдвардс не ставят меня ни во что и сознают это.

Он прочел написанное, добавил: «6. Я подлец», перечеркнул все карандашом с северо-востока на юго-запад, затем с северо-запада на юго-восток, усилил каждую линию штриховкой, разорвал лист на шестьдесят четыре кусочка и выбросил клочки в корзину для бумаг. В окно до него продолжали долетать голоса женщин.

Как удается Сильвии так чудесно справляться с хозяйством? Какая досада, что ей нужно после завтрака идти в душную кухню и вести разговоры об овощном пудинге с мясом.

А ведет ли она такие разговоры? Возможно, не успевает она подумать о пудинге, как миссис Хоскен тут же ловит ее мысль. Или, может быть, она вовсе не думает о пудинге — нельзя и представить себе, как она думает о чем-то настолько прозаичном, да еще сразу же после завтрака,— возможно, не успевает она подумать «фиалки», как миссис Хоскен, удивительная женщина, тут же понимает, что речь идет о пудинге. Как удается ей вести хозяйство так чудесно, так ловко и бесшумно?

Реджинальда, как ребенка, радовал его прекрасный дом. Он поворачивал в ванной кран — тут же начинала литься горячая вода. Он приглядывался к струе, протягивал к ней руку и приветствовал ее: «А вот и ты!» Без сомнения, краны, из которых лилась горячая вода, существовали и в других домах, но, глядя на хозяйку дома, вы этому не удивлялись. Глядя же на Сильвию, вы спрашивали себя: как ей все это удается? Уголь, кокс, антрацит, дрова, плита, которую надо растопить, плита, которую кто-то должен растопить в определенное время, кроме того, когда что-то ломается, надо вызывать слесаря — все это в милых руках Сильвии. Она только подумает «лаванда», и тут же в сарае появится полтонны кокса.

Он пошел в гостиную, там на полке лежали четыре трубки и нераспечатанная жестянка с табаком. Там всегда лежала нераспечатанная жестянка с табаком. Он распечатал ее и пересыпал табак в кисет. Теперь посмотрим. Через полчаса здесь окажется новая жестянка. Сильвия? Разумеется. Откуда берется табак? В деревне его не продают. Откуда берется кокс? Бог знает.

Реджинальд поднялся наверх за платком. Прошел через комнату Сильвии, в которой так чувствовалась Сильвия, в свою гардеробную. Платки. Вчера он искал свой синий галстук и обнаружил его (после пятиминутного вытряхивания содержимого ящиков комода) в кармане брюк. Сегодня все снова в полном порядке. Он вытащил платок из аккуратной стопки, из-под мешочка с лавандой, и отправился вниз. По дороге он приоткрыл дверцы бельевого шкафа. Старательно уложенное белье. Прелестные вещицы Сильвии. То же, что и с коксом!

Чего, черт побери, хочет он от Сильвии? Интеллектуальной гармонии? Помилосердствуйте!

Возможна ли интеллектуальная гармония двух людей? В силах ли кто-либо другой совпасть с вами мыслями, слиться разумом, идти рука об руку без вопросов, без колебаний — два разума, мыслящие, как один. Разумеется, это невозможно. Не в том ли вся радость мыслить и, как он недавно убедился, писать, что ты один, совершенно один. Разве беседа, интеллектуальная беседа, в отличие от обычной болтовни, на самом деле не образчик тщеславия? Хочешь иметь слушателя, а не собеседника. А написав книгу, обретаешь слушателей.

Эта дурацкая книжка заставила его критически взглянуть на Сильвию. В тот день, думал он, когда я начал писать ее, а она должна была полюбопытствовать, чем это я занят, но не проявляла никакого интереса. С того дня, когда я сказал ей, что написал книгу, а она ответила: «Подумать только!» Наверное, я чувствителен сверх меры. Разве мать чувствительна сверх меры в отношении собственного ребенка? Ведь независимо от того, как он выглядит и каков он характером, она в глубине души полностью уверена, что он — само совершенство. Сверх меры чувствительным бываешь, когда не уверен, когда нуждаешься в поддержке. Был ли Шекспир совершенно уверен, что «Сон в летнюю ночь» удался ему? Наверное. Нуждался ли Китс в комплиментах по поводу «Соловья»? Всегда ли... ну, я не писатель и судить не берусь.

Но Сильвия, пойми, пойми же, это мое детище. Оно внезапно выросло. Я не знаю, что ждет нас впереди, знаю только, что это мое единственное детище, другого у меня не будет. О Сильвия, будь с ним поласковей...

А теперь перечитаем Раглана. Раглану, во всяком случае, мое детище нравится.

Глава шестая

I

В Семи Ручьях Бакстеры принимают гостей. Принимают — может быть, слишком сильно сказано. В Мальвах, например, гостей принимают совершенно иначе. Множество разговоров, множество приготовлений, опять множество разговоров, решения принятые и отмененные, внезапная отправка Хильдершема в Бердон, крики вдогонку, чтобы он не забыл о том или об этом, испуг в последнюю минуту — не нужно ли было привезти из Лондона новую сетку для тенниса, попытки в последнюю минуту зачинить старую сетку. В Семи Ручьях ведут себя иначе. Просто зовут нескольких друзей, а также выражают надежду, что Сильвии удастся привести своего замечательного мужа.

Семь Ручьев получили свое название, чтобы почтальон знал, куда доставлять письма. Дом стоял на небольшом холме, и Бетти сумела убедить себя и часть знакомых, что из-под этого холма вытекает семь подземных ручьев в направлении семи графств. Разве не удивительно, дорогая, никто и не подозревал об этих ручьях, когда Берти купил участок и начал строить дом. Семь Ручьев — это она придумала. Правда, забавное название для дома? Такое сельское. А когда она заинтересовалась этой округой, то выяснилось, что место действительно историческое. Римляне, знаешь ли, и все с ними связанное. А эти подземные ручьи, которые текут там, в глубине, уже сотни лет! Конечно, это место гораздо старше Вестауэйза.

Однако дом был бесспорно новее. Он был до половины выложен плиткой такого пронзительного и несмываемого колера, какой строители искали веками. Балконы, большие окна на втором этаже, огромные окна зеркального стекла в нижнем этаже. Теплицы в саду, расположенные таким образом, что сквозь стекло всегда можно наблюдать, как растут персики. Множество башенок с покрашенными белой краской крышами. Желоба и водосточные трубы цвета шоколада. Короче говоря (думал Реджинальд), дом этот определенно сбежал из Суррея, как только его хозяин, биржевой маклер, отвернулся. Дом был кошмарный, но, по счастью, находился за десять миль от Вестауэйза.

— Я, конечно, не могла поручиться Бетти за тебя, дорогой,— сказала Сильвия,— но ведь ты поедешь, правда?

— Ненавижу Семь Аквариумов,— ответил Реджинальд.— Я никогда не знаю, о чем говорить с Бакстером между «Добрый день» и «До свидания». Бетти бесит меня, и я еле удерживаюсь, чтобы не поколотить ее, а в теннис играю отвратительно. Именно по этим причинам, а вовсе не потому, что я люблю тебя, я отправлюсь в субботу с тобой к Бакстерам.

— Дорогой! Увидишь, будет неплохо.

— Будет гораздо хуже, чем ты думаешь. Во всяком случае, дай мне почувствовать себя страдальцем.

— Бетти всегда удается приманить на уик-энд нескольких интересных людей. Я думаю, им захочется поговорить с тобой о твоей книге.

Я бы предпочел, думает Реджинальд, чтобы ты не говорила «твоя книга». У нее есть название. «Вьюнок». А если тебе не нравится название, скажи просто «книга». Вслух же он сказал:

— В Лондоне нет интересных людей. Полдюжины набитых дураков, друзьям которых Бетти дала три дня роздыху, все это время будут говорить только о самих себе. Кстати, последний раз я видел свою ракетку в кладовой для яблок. Я бил ею ос. Как ты думаешь, она до сих пор там?

— Я разыщу ее, дорогой.

Итак, в субботу он влез в белые фланелевые брюки, о существовании которых совсем забыл, и в теннисные туфли, которые каким-то чудом обрели белизну; спустился вниз и застал там Сильвию с двумя ракетками.

— Это твоя,— сказала она, протягивая ему одну из них.

Реджинальд скользнул взглядом по ракетке и вернул ее Сильвии.

— Что ты, это настоящая ракетка. А моя была помесью арфы с рыболовным сачком.

— Посмотри, на ней твои инициалы.

Он смотрит. Действительно.

— Небольшой подарок от меня,— сказала она, розовея.

Реджинальд, склонив голову набок, глядел на нее.

— Боюсь, если я сейчас обниму тебя и крепко поцелую шесть раз, то сомну твою прическу или что-нибудь еще.

— Наверное,— ответила Сильвия,— но это не важно, я могу снова подняться наверх.

— Поклянись, что будешь выглядеть так же безупречно, как сейчас.

Она с серьезным видом кивнула.

— Ты прелесть! — воскликнул он и обнял ее.

Поездка в гости начиналась удачно.

Они приехали в Семь Ручьев.

Поставили автомобиль и вслед за слугой прошли через дом на лужайку. Бетти, в окружении зеленого теннисного корта, красного теннисного корта и нескольких гостей, ждала их.

— Так ты сумела вытащить его из вашего любимого Вестауэйза,— обратилась она к Сильвии.— Это невероятно забавное место,— добавила она, повернувшись к одному из гостей.— Вам надо попросить мистера Уэлларда рассказать о нем. Дорогая, ты чудесно выглядишь. Правда, Берти, Сильвия чудесно выглядит? Полковник Радж, вы знакомы с мистером Реджинальдом Уэллардом? Он недавно написал замечательную книжку. О ней всюду говорят.

Полковник, который, увидев Сильвию, только и думал, как бы увести ее подальше от всех и рассказать ей об Индии, без большого восторга обменялся приветствиями с Реджинальдом.

— Ну,— сказал Бакстер,— не начать ли нам? Вы будете играть, полковник?

Полковник полагал, что лучше, если начнет молодое поколение.

Молодое поколение, застигнутое этим предложением врасплох, отвечало, что готово начать игру, если надо, но если нет, готово посидеть так. И выразило опасение, что не слишком хорошо играет.

Каждый из остальных выразил опасение, что он (она) играет безнадежно плохо.

Конечно, есть разные степени безнадежности. Никто не знает, как соотносится безнадежность твоего соперника с твоей собственной безнадежностью.

— Вы наверняка прекрасный игрок,— обратилась Бетти к высокому молодому человеку в очках, который придерживался прямо противоположного мнения.

— Я игрок никудышный, миссис Бакстер,— запротестовал он.— В прошлом году в Истборне...

Никто не собирался слушать, что произошло в Истборне в прошлом году. Человек, который мог ссылаться на Истборн, говоря о своей теннисной безнадежности, имел в виду нечто совершенно другое, чем они. Безнадежно ждать, что он выиграет хоть один сет у Тиллена,— вот что это значило.

— Сильвия, дорогая,— сказала Бетти, поняв, что пришло время действовать,— я думаю, ты сыграешь с мистером Паллисером... миссис Уэллард...— Полный молодой человек поклонился Сильвии.— А Марджери... мистер Кобб, вы знакомы с миссис Аркрайт? — Высокий молодой человек из Истборна сказал Нет, незнаком, очень рад познакомиться.— Марджери, ты сыграешь с мистером Коббом. Прекрасно. Мы сейчас же организуем другую партию. А теперь рассаживайтесь поудобнее. Я думаю, мистер Кобб прекрасно играет.

Мистер Кобб играл прекрасно. Миссис Аркрайт время от времени издавала восклицания вроде «Это ваш» или «Простите», но большого участия в игре не принимала. Мистер Паллисер время от времени восклицал «Это мой» или «Простите», пока они не начали проигрывать со счетом четыре-ноль, после чего слышалось только «Ваш» и «Отличный удар»; вскоре счет стал четыре-четыре. Реджинальд, надвинув шляпу на глаза, развалился в кресле и с удовольствием наблюдал за Сильвией.

— Один парень из Шестнадцатого полка, который был с нами в Индии, тоже написал книжку,— неожиданно произнес полковник Радж.

— Да? — отозвался Реджинальд.

— Точно,— ответил полковник.— Парень из Шестнадцатого.

Реджинальд ждал продолжения, но, кажется, на этом история закончилась. Очевидно, полковник отметил удивительное совпадение: человек, с которым его

только что познакомили, написал книгу, и человек, с которым он служил в Индии, тоже написал книгу.

Как легко Сильвия двигалась! И без всякой торопливости. Может быть, она и не годилась для Истборна, но обладала природным даром двигаться без малейшего усилия. Вопрос координации, считал он.

— Его фамилия Трантер,— донеслось справа,— наверное, вы с ним знакомы.

Реджинальд очнулся.

— Боюсь, что нет. (Почему боюсь, подумал он. Чего боюсь?)

— Он написал книжку,— настаивал полковник,— я забыл название.

Четыре-четыре. Сильвия подавала.

— Простите,— сказала миссис Аркрайт. *(Пятнадцать-ноль).*

— Простите,— сказал мистер Паллисер. *(Пятнадцать-пятнадцать.)*

— Простите,— сказала миссис Аркрайт. *(Тридцать-пятнадцать.)*

— Простите,— сказал мистер Паллисер. *(По тридцати.)*

— Простите,— сказала миссис Аркрайт. *(Сорок-тридцать.)*

— Ваш,— крикнул мистер Паллисер,— прекрасный удар!

— Прошу прощения,— сказала миссис Аркрайт. *(Гейм.)*

— Как, вы сказали, называется ваша книжка? — спросил полковник, явно рассчитывая, что это поможет ему вспомнить название книги Трантера.

— «Вьюнок»,— пробормотал Реджинальд, отчего-то смутившись.

— Как?

— «Вьюнок»! (Что за идиотизм, подумал он в сердцах.)

— А-а! Нет, не так.

Пять-пять. Мистер Кобб творит у сетки чудеса, достойные Истборна.

— Вьюнок,— повторил полковник, подергивая усы.— Такая штука, которая обвивается вокруг других растений, да? Может по всему саду расползтись.

— Да.

— Я так и думал.

Мистер Паллисер наконец подает... Ну, отличный удар, дорогая. Бедняга Паллисер будет грезить о тебе всю ночь и, поняв, что, быть может, никогда больше тебя не увидит, на рассвете пустит себе пулю в лоб. Если подумать, то как жаль всех мужчин, которые не женаты на Сильвии.

— Справочник по садоводству? — спросил полковник Радж.

— Что?.. А-а... Нет.

— Но ведь это растение, верно?

— Что?

— Ну, вы только что назвали.

— Назвал что?

— О чем я говорил. Обвивается вокруг растений. Расползается по всему саду.

— Ах да. Да, конечно.

— Так ка́к, вы сказали, называется? Растение?

— Вьюнок.

— Ну да. А как, вы сказали, называется ваша книжка?

— «Вьюнок».

— Ну вот,— сказал полковник раздраженно.— Я так и говорил.

И это, думает Реджинальд, один из интересных людей, привезенных из Лондона, которым хочется поговорить о моей книге.

Этот парень, думает полковник, не знает, как называется его книжка. Что с ним?

По шести. Сильвия снова подает. Ты замечательно выглядишь, когда подаешь, дорогая. Несчастный Паллисер застрелится сегодня же ночью.

— Этот Трантер всегда был странноват. Может быть, он даже писал стихи. Но не про сады. Вы, должно быть, большой знаток?

Семь-шесть. Отличный удар, Сильвия.

— Знаток чего?

— Садов. (Черт побери, да он просто дурак.)

— Я страшно люблю свой. Но знаю о нем не слишком много.

— А! Так, значит, это не то что справочник?

— Нет.

Миссис Аркрайт дважды попадает в сетку. Сильвия бьет резко, такие мячи не берут. *Ноль-тридцать.* Ну, ты победила их, дорогая.

— Я знаю парня, который написал «Устав полевой службы», то есть знал когда-то. Вы, наверное, не встречались с ним?

— Нет.

— Это, конечно, не Трантер,— усердно объяснял полковник.— Трантер написал ту книгу, о которой я вам говорил, и оставил службу. Это было в восемьдесят пятом. Я слышал, что он женился, но не знаю, правда ли это.

— В самом деле? — отозался Реджинальд.

— Просто удивительно, что вы незнакомы.

Паллисер вдруг впадает в неистовство. Паллисер у сетки, Паллисер везде. Сильвия в глубине корта смеется, опершись на ракетку. Паллисер бьет, Кобб отбивает. Паллисер просто стелется по площадке, но ухитряется брать все мячи. Кобб отодвигает партнершу в сторону и пытается сразить Паллисера, миссис Аркрайт отбегает, проблеяв: «Ваш мяч!» Сильвия продолжает хохотать. Паллисер бьет в последний раз, Истборн героически отбивает высокий мяч; восклицание «Прекрасно!», гейм, сет, извинения, поздравления, проявления скромности, притворной скромности, благодарности, уход гладиаторов с арены.

— Вы чу́дно играли,— сказала Бетти.— Наверное, разгорячились. Мистер Кобб, дорогой, может быть, вы хотите выпить? Или можно подождать чая.

Миссис Аркрайт решает дожидаться чая. Мистер Паллисер настойчиво предлагает миссис Уэллард чего-нибудь выпить. Они уходят вместе. Паллисер надеется, что навсегда.

Когда началась другая игра, Реджинальд обнаружил, что сидит между хозяйкой дома и миссис Аркрайт.

— Я достала вашу книжку,— гордо объявила Бетти.

— Да? (Наконец-то он слышит, что кто-то кроме него купил книгу. Хотя, может быть, Бетти взяла ее на время?)

Она наклонилась к миссис Аркрайт.

— Мистер Уэллард написал замечательную книгу, он в ней описал всех нас.

Реджинальд открыл рот, чтобы запротестовать, но дамы совершенно забыли о его существовании.

— Неужели? — переспросила миссис Аркрайт.— Как это забавно!

— По-моему, Берти он изобразил не в самом лучшем виде, но я его простила, потому что все это ужасно остроумно. И к тому же чистая правда.

— Как? И про Берти там написано?

— Дорогая, там написано про всех. Помните Грейс Хильдершем? Высокая блондинка, она была у нас на обеде, когда вы приезжали весной.

— И про нее тоже?

— Конечно! Мистер Уэллард ее не пожалел.

— Мне страшно хочется достать эту книгу.

— Ну конечно. Хотя вам будет не так интересно, потому что вы не всех знаете...

— Но ведь я же знаю вас, и Берти, и Грейс Хильдершем, и...

— Подождите... сейчас подумаю, кого же еще. Помните, когда вы здесь были в последний раз, мы ездили в Бердон купить конфет с ликером...

— Да, да, конечно.

— Мы проезжали по дороге ферму, и я вам сказала: вот Красный Дом, здесь живут Коулби...

— Д-да, кажется.

— И я вам рассказывала про Лину Коулби и про то, что о ней говорят.

— Я не помню, дорогая.

— А может быть, не тогда... Но так или иначе, про нее там тоже написано.

— Я просто должна достать ее,— сказала миссис Аркрайт. Она с любопытством разглядывала человека, через голову которого они вели беседу.— Удивительный дар! Как же вы это делаете?

Книги нельзя печатать, подумал Реджинальд. Их надо писать, а потом великолепно издавать тиражом один экземпляр — нет, два: один для автора и один для его жены, если он ее любит; эти два экземпляра должны храниться в тайном месте и быть обнародованы не раньше чем через сто лет после смерти и писателя, и его жены. Кроме того, некую женщину по фамилии Бакстер и некую женщину по

фамилии Аркрайт нужно заставить пройти от Мэншн-хаус [1] до Гайд-парк-корнер [2] (по всему маршруту следует воздвигнуть трибуны) одетыми только в ярко-красные корсеты и футбольные бутсы. Возможно, дьявол их побери, им это будет нипочем, но вдруг они поймут, что значит для человека чувствительного такое публичное обнажение...

Слуга с достоинством склонился к хозяйке. Чай был подан.

— Пойдемте,— сказала Бетти.— А те, кто играет, придут, когда закончат. Где ваша красавица жена, мистер Уэллард?

Единственно приемлемое в Бетти, думал Реджинальд, то, что она признает красоту Сильвии.

Он пошел вслед за хозяйкой к столу. Поездка в гости оборачивалась полнейшей неудачей.

II

После чая сбылось заветное желание Реджинальда. Он сыграл один сет с Сильвией в качестве партнера.

Случайная, временная близость, объединяющая любых двух партнеров, усиливалась их собственной, более глубокой близостью, их тайной, состоявшей в том, что они непрестанно думали друг о друге.

Меня, Реджинальда Уэлларда, только что представили этой прелестной молодой женщине. Сейчас наши сердца полны одним чувством, перед нами только одна жизнь, и мы пройдем ее вместе, у нас общие надежды, страхи, общие ожидания; она и я против всего мира. Но, увы! на краткий миг. Через полчаса мы расстанемся, и я никогда больше ее не увижу... И тут на мгновение их глаза встречаются. Они чуть заметно улыбаются друг другу. Ничего, он увидит ее снова.

Любит ли она играть с ним в теннис так же, как он с ней? Он этого не узнает. Когда Сильвия подготавливает решающий удар, а он посылает мяч в сетку, возможно, она испытывает то же, что он, когда на удачную, остроумную его реплику она отвечает отсутствующей улыбкой. Если так, то поделом ему, но как ужасно, если это так! Нет, он не заставит ее страдать, он будет сегодня играть блестяще. И он сыграл блестяще.

— Мне понравилось,— сказал он ей, когда они выиграли.

— И мне, дорогой,— ответила Сильвия.

Потом он снова наблюдал, как она играет, и рядом с ним неожиданно появилась Лина Коулби.

— Мне не удалось вырваться раньше, ты ведь знаешь, как у нас дома, но я решила заглянуть к вам хоть на минутку,— объясняет она хозяйке дома.

— Конечно, дорогая. Ты ведь знакома с мистером Уэллардом. Поговори с ним, хорошо? Мне кажется, он скучает.

Если бы Бетти Бакстер довелось представлять архиепископу Кентерберийскому знаменитого убийцу, она бы непременно высказала предположение, что они уже знакомы, и, даже если бы она представляла архиепископа его жене, она не преминула бы сделать то же самое.

— Привет! — сказал Реджинальд, когда Лина расположилась в шезлонге рядом с ним.

— Мы ведь знакомы, правда? И вы не так уж скучаете, верно?

— Да. Нет,— ответил Реджинальд.

Они немного поболтали, а затем замолчали, наблюдая за Сильвией.

— Да,— вздохнула Лина.— Это совершенная правда.

— Что?

— Что она самая красивая женщина в мире.

Реджинальд повернулся к ней с застенчивой улыбкой.

— Вы догадались, о чем я думал?

— Конечно.

— Это не совсем так. Не самая красивая. Это значило бы что-то потрясающее... как Клеопатра. Слово не подходит.

[1] Официальная резиденция лорд-мэра лондонского Сити.

[2] Площадь в Лондоне; примыкает с юго-востока к Гайд-парку.

— Да, вы правы. Не знаю, почему я сказала самая красивая, а не самая очаровательная.

— Да.

Они опять помолчали. Потом Лина произнесла:

— Странная вещь любовь.

— Необыкновенно,— отозвался Реджинальд, потому что думал именно об этом.

— Может ли существовать брак, основанный на общности умов? Счастливый брак?

— По большей части считается, что это единственно счастливый брак. Единственно прочный.

— Разве? Ведь это неправда.

— Да. Это невозможно.

— Почему невозможно?

— Я как раз думал об этом. Мне кажется, чтобы быть совершенно счастливым, надо стремиться к чему-то, что выше тебя. Разумеется, это общеизвестно.

— Почему же тогда не к интеллекту, превосходящему наш?

— Конечно. Но тогда другой партнер не стремится выше, а, наоборот, снисходит.

— Вы хотите сказать,— Лина предпочитала рассуждать более конкретно,— что мужчина в подобном браке может быть счастлив только с женщиной умнее его, а женщина — с мужчиной умнее ее, значит, они никогда не будут счастливы вместе.

— Да, дело именно в этом. Вероятно, я, как обычно, не прав. Но супружеская жизнь — страшно сложная штука, и не думаю, чтобы она могла существовать на чисто интеллектуальной основе.

— Два разума, слитых в один,— прошептала Лина.

— Ерунда. Разве это возможно?

— Что тогда? Чисто физическая основа?

Реджинальд рассмеялся.

— Конечно, в такой формулировке это выглядит безнадежно.

— Сформулируйте менее безнадежно.

— Хорошо.— Он на минуту задумался.— Счастливый брак основан на умении оценить физические качества партнера.

— Действительно, звучит гораздо лучше,— улыбнулась Лина.

— Суть в том, что в физическом отношении мужчины и женщины не соперничают друг с другом. Они могут восхищаться друг другом.

— Не у каждого из нас есть Сильвия, чтобы восхищаться.

— У вас есть Том.

— В той же категории, но другого пола?

Реджинальд не думал соглашаться с нею.

— В том-то и прелесть, что в физической привлекательности нет категорий. Здесь все чисто субъективно. Любовь может быть вызвана какой-нибудь особенностью произношения (а всему остальному миру она будет казаться нарочитой), ямочкой на щеке, поворотом головы, жестом руки...

Тут оба они посмотрели на руки Лины, лежавшие у нее на коленях; левая рука спокойным, свободным жестом обнимала пальцы правой.

— И эта привлекательность не исчезает? — спросила она чуть порозовев.

— Нет. В этом и кроется любовь. Не исчезает.

Лина молча крутила на пальце обручальное кольцо.

— Том очень красивый, правда? — спросила она, следуя собственным мыслям.

— Конечно! Но меня привлекает и его ум.

— Да? — Лина подняла брови. Она на минуту задумалась и сказала: — Я обычно так устаю к вечеру, что ничего не замечаю.

Реджинальд рассмеялся:

— Попробуйте заметить за завтраком.

— Дорогой мой, да вы представляете себе, когда мы завтракаем?

— Ох, простите! И не говорите мне когда. Я не вынесу.

— Черт возьми! — изумленно воскликнула Лина.— С вами говорить — просто отдых.

— Вам бы скоро надоело.

— Не знаю.— Она посмотрела на него искоса, потом оглянулась на Сильвию

и, поколебавшись, произнесла: — Я сейчас задам дурацкий вопрос: чувствуете ли вы когда-нибудь...— но она вовремя остановилась.

— Что? — спокойным тоном спросил Реджинальд.

— Дорогой мистер... Или я называю вас по имени?

— Попробуйте — как выходит.

— Ну так, дорогой Реджинальд, зачем это «что», когда вы прекрасно знаете, о чем я хотела и не решилась спросить.

— Люблю ли я разговаривать с вами? Да, конечно.

— Нет, не об этом.

— Провел ли я сегодня день интереснее, чем предполагал? Да. Гораздо интереснее.

— Нет-нет, о другом.

— Я знаю.

— Конечно, знаете. Вот почему мне так нравится разговаривать с вами.

Но он так и не ответил на ее вопрос. А затем сменил тему.

— Вам нравится Вестауэйз? — спросил он, поднося другую спичку к трубке.

— Еще бы. Он всем нравится. Я совершенно без ума от него.

— Я тоже,— сказал Реджинальд. Он дунул на спичку и бросил ее на землю рядом с креслом.— Совершенно.

Лина снова искоса посмотрела на него. Она знала, что он ощущает это, хотя смотрит на Сильвию. «Чувствуете ли вы, какое удовольствие может доставить разговор с кем-нибудь вроде меня»,— собиралась сказать ему Лина. А он должен был ответить: «Я обожаю Вестауэйз, хотя он не говорит вовсе». Это не совсем ответ.

— Я обожаю Тома,— сказала Лина с нажимом.

— Это замечательно,— ответил Реджинальд.

III

Вечер определенно удался. По дороге домой Сильвия спросила:

— Лина говорила тебе, как ей понравилась твоя книга?

— Нет,— ответил Реджинальд, дернув руль, а потом выправив «моррис».— Я не знал, что она прочла книгу.

— Да, прочла и просто влюбилась в нее, она мне рассказывала.

Хм. Удивительно. Почему же она ничего не сказала ему?

Он попробовал представить, как она читает книгу. Сколько она поняла, угадала, вообразила? Он начал мысленно проглядывать книгу, перевоплощаясь в Лину...

— Устал, дорогой?

Когда он молчал, Сильвии всегда казалось, что он устал.

— О Господи, нет. Я же ничего не делал. Вот ты, наверное, устала.

— Совсем чуть-чуть. Приму ванну, и все как рукой снимет.

— Я люблю играть с тобой.

— Правда? Я тоже.

— Я не очень плохо играл? — спросил он не без робости.

— Конечно, нет, дорогой. Ты всегда играешь хорошо.

Он снова стал думать о книге. После обеда надо будет посмотреть ее еще разок. Ему не приходило в голову прочесть роман, воображая себя Линой...

Глава седьмая

I

Снова пришло время стричься.

— Что тебе привезти из Лондона? — спрашивает Реджинальд за завтраком.

— Мне бы тоже неплохо подстричься,— отвечает Сильвия, глядя на него через стол.— Дорогая, не делай так.— Это Бабусе, которая лежит у нее на коленях и, забывшись, слишком сильно выпускает когти.

— Поедем вместе,— радостно воскликнул Реджинальд, и тут же пожалел о своей радости... и тут же устыдился, что пожалел. Но сегодня в Лондоне его определенно ждут какие-то новости. По утверждению мистера Пампа, весь Лондон говорит о его книге; говорит на языке, чуждом Сильвии. Как раз сегодня ему хотелось быть в Лондоне одному.

— Мне нужно записаться,— отвечает Сильвия,— и я обещала пойти на ленч с Маргарет, когда приеду в следующий раз. Я поеду одна на той неделе, а ты сможешь встретить меня.

— Это будет чудесно,— сказал Реджинальд с облегчением.— А как мы решим с машиной? Она понадобится тебе? Скажи да, и тогда тебе придется отвезти меня к поезду.

Она покачала головой и улыбнулась.

— Если ты вернешься поездом три десять, я пойду на станцию пешком.

— Ну что ты, не стоит. Далеко, да и жарко.

— Я ведь не говорю, что пройду весь путь. Ты подберешь меня на полдороге.— Она добавила чуть смущенно: — Я так люблю встречаться с тобой.

— А я! — воскликнул он.— Мне кажется, больше всего на свете.

Таким образом, все устроилось; и таким образом в то же утро, попозже, он оказался на вокзале Виктория перед книжным киоском, на этот раз увешанным экземплярами «Вьюнка».

— Вы читали это, сэр? — спросил киоскер, протягивая Реджинальду книгу.

— Да.

Тут мог бы завязаться пространный диалог о «Вьюнке», но не завязался. Похоже было, что киоскер не расположен к беседе.

— А это? — спросил он, показывая только что появившуюся книгу только что ставшего известным автора.

— Знаете ли, я ведь... хм...— Он потихоньку попятился и, очутившись вне поля зрения киоскера, постоял еще немного, наблюдая, как тот преследует очередную жертву. Ею оказалась коренастая молодая женщина, которая довольно долго колебалась между «Вьюнком» и «Уэлдонской домашней портнихой» и в конце концов надумала заняться шитьем.

Реджинальд решил начать со стрижки. Мистер Олдерсон, как всегда, был рад видеть его и, как всегда, удивлен, что Реджинальд собрался подстричься, и выражал сомнение, удастся ли это сделать. После такого традиционного вступления Реджинальд удобно устроился в кресле под усыпительное щелканье ножниц мистера Олдерсона.

— Как там за городом, сэр? — спросил мистер Олдерсон на случай, если Реджинальд в разговорчивом настроении. Он обычно заводил именно такой разговор со своими клиентами, живущими в деревне, предоставляя им в зависимости от их желания прекрасную возможность поговорить и помолчать. По раздавшемуся в ответ мычанию нельзя было составить представления о сельской жизни, но можно — о настроении Реджинальда. Мистер Олдерсон продолжал потихоньку стричь...

Вдруг Реджинальд подумал, не читал ли мистер Олдерсон его роман, усмехнулся при этой мысли и решил спросить парикмахера:

— Вы что-нибудь слышали о книге под названием «Вьюнок»?

— Нет, сэр,— отвечал мистер Олдерсон.— Но меня не назовешь большим любителем чтения. Вот миссис Олдерсон часто предается этому занятию и всегда рада услышать про хорошую книгу. Как вы назвали ее, сэр?

— «Вьюнок».

— Ну да. И вы считаете, это подходящее чтение для миссис Олдерсон? Жена не охотница до рискованных сцен.

— Нет, там нет ничего рискованного,— улыбнулся Реджинальд в свой надетый задом наперед стихарь.

— Я посоветую ей прочесть. Могу ли я спросить, сэр, кто автор? Так легче бывает найти книгу.

Реджинальд не ожидал такого оборота дела и почувствовал себя неловко. С деланно беспечным смехом он признался, что... по правде говоря... это он сам.

— Правда, сэр? — Ножницы задумчиво пощелкали.— Мне будет приятно порекомендовать миссис Олдерсон вашу книгу.— (Чик, чик, чик.) — Вы слышали

о писателе Уолтере Безанте? Он потом за свои сочинения был возведен в рыцари и сделался сэром Уолтером Безантом.

— Да, конечно!

— Он имел обыкновение ходить сюда стричься.

— Неужели?

— Да, сэр. Много раз нам доводилось приводить в порядок волосы сэра Уолтера. Он обычно писал книги вместе с мистером Райсом. И вот что кажется мне удивительным, сэр. Как это два человека пишут вместе. Невозможно себе представить, как это получается. Я однажды решился спросить его об этом. Он ответил, в шутку, разумеется, что он обычно пишет толстым пером, а мистер Райс — тоненьким. Мне как-то сказали, что сэр Уолтер повторил эту шутку в одной из своих книг, но я сам не видел.

— Это, наверное, было очень давно. Я хочу сказать, что и не предполагал...

— Да, сэр, конечно... Обыкновенно мой отец обслуживал сэра Уолтера. Я был тогда совсем молодым.

— Ну да, понятно.

— У нас здесь бывают иногда удивительные люди,— продолжал парикмахер негромко.— Однажды пришел молодой человек, наш постоянный клиент, в этот раз он был очень нарядно одет, с розовой гвоздикой в петлице, и попросил побрить его, а потом ему захотелось подстричься и вымыть голову. Когда я высушил ему волосы и на минутку отошел, то заметил, что он разглядывает свои руки, и тоже посмотрел на них и спросил: «Может быть, вы хотите сделать маникюр, мистер Толлоу?» — так его звали, странная фамилия,— а он ответил: «Я как раз над этим раздумывал.— Руки у него были выхоленные.— Нет, пожалуй не стоит». Когда я все с ним закончил, он встал и подошел к раковине, и мне было видно, как, думая о чем-то другом, он повернул кран и стоял, а вода текла у него по пальцам, и он держал свою гвоздику в левой руке и брызгал на нее, чтобы освежить. А после снова воткнул ее в петлицу, привел себя в порядок перед зеркалом и сказал: «Ну, прощайте, Олдерсон, молитесь за меня», а я ответил: «Удачи вам, сэр», не зная, конечно, о чем он, и он ушел. Это случилось утром, а в вечерней газете я прочел, что найдено его тело. Он выстрелил себе в висок.

— Боже мой! — вырвалось у Реджинальда.

— Да, сэр. И я так и не узнал, почему это случилось. Иногда мне кажется, что он готовился к встрече со своей дамой, а она отказала ему; а иногда — что он готовился предстать перед Господом. Бедный юноша.

— И ничего не выяснилось при расследовании?

— Нет, сэр. Если здесь и была замешана дама, она не объявилась. Мы с миссис Олдерсон долго горевали, вспоминая о нем; потом началась война, и сейчас я думаю, что, будь он жив, он, наверное, погиб бы на войне, и его участь не кажется мне ужасной. Готово, сэр, взгляните на себя.

Недолгий путь до клуба Реджинальд прошел пешком. Наверное, размышлял он, можно найти тысячу лондонцев, каждый из которых мог бы рассказать тысячу подобных историй, трагических, прекрасных или забавных, когда-то случившихся с ними. Что за глупость — писать придуманные книги!

II

Что за глупость не писать книг!

— Приветствую вас, Уэллард. Примите мои поздравления.

— О, благодарю.

— Добрый день, Уэллард. Ведь это ваша книга вышла, правда? Я и не знал, что вы пишете.

— Нужно же чем-то заниматься.

— Ваши занятия увенчались успехом...

— Привет, Уэллард. Поздравляю.

— Спасибо.

— Я ведь прочел книгу задолго до старины Раглана. И хотел написать вам, когда прочел.

— Вы очень добры,— ответил Реджинальд. Но про себя усомнился, можно ли

счесть это добротой. Люди часто собираются сделать что-то, а потом не делают. Вот если бы он действительно написал, это была бы доброта. Я бы никогда не забыл такого письма.

— Здравствуйте, Уэллард. Как дела?

— Спасибо, неплохо.

— Прекрасно. Я так и думал, что все в порядке, раз сам Раглан взялся за вашу книгу. Я уже давно говорил ему о ней.

— Правда? Очень любезно с вашей стороны.

— Привет, миллионер, как жизнь?

Реджинальд смеется. Что еще можно на это ответить?

— Я еще не прочел вашу книгу, но уже купил.

Кто-то хлопает Реджинальда по плечу и негромко говорит:

— Прекрасно сработано. Чертовски хорошо.

Он быстро оборачивается, но видит только спину. Кто это был? Неизвестно.

— Добрый день, Уэллард. Вы написали замечательную книгу.

— Вы прочли ее?

— Еще бы, дорогой мой, наверное, я один из ваших первых читателей. Это ведь я отозвался о романе так, что Раглан обратил на него внимание.

— Понятно. Ну что ж, очень вам обязан.

И так далее. Все это и нравилось ему, и было противно. Если бы Реджинальд Уэллард был собственным сыном, как бы он гордился, стоя невидимо рядом и слушая эти разговоры. Для отца или матери не бывает преувеличенных или неискренних похвал, расточаемых любимому ребенку. Наверное, размышлял Реджинальд, я так жажду похвал, потому что «Вьюнок» мое детище, а чувствую себя неловко, потому что похвалы относятся, в сущности, ко мне. Настоящий отец знает, как мало он отвечает за ребенка, который появился у него.

Войдя в обеденный зал, Реджинальд уловил призывный щелчок пальцами из-за столика у окна. Он взглянул в ту сторону.

— Сюда! — поманили его пальцем.

Ненавижу Ормсби, думал Реджинальд. Он воплощение скверны. Дураки ученые толкуют о стерилизации и евгенике и Бог знает о чем и оставляют Ормсби в живых. Человек, питающий к Ормсби такие чувства, как я, должен был бы подойти к его столу, вытряхнуть ему на голову салатницу, а затем, не говоря ни слова, уйти в самый дальний угол зала. А вот я буду вилять хвостом и униженно благодарить за то, что он соизволил заметить меня.

— Садитесь сюда, Уэллард. Вы ведь знакомы с Амброзом Рагланом?

Реджинальд и Раглан вежливо пробормотали что-то друг другу.

— Ну что, приятель, испытываете к нам благодарность? Не стоит. Долг каждого, кто может влиять на общественное мнение, обратить внимание публики на стоящую вещь. На бегах бываете? Можете вполне положиться на нашего специалиста. Если ему нравится лошадь, он сообщает об этом нашим читателям. А если Раглану нравится книга, он тоже сообщает нам о ней. Верно, старина?

— Вы раньше пробовали писать? — поинтересовался Раглан.

— Нет. Это моя первая и последняя книга.

Ормсби, шумно уничтожая салат, на минуту прервал это занятие, чтобы сказать: «Ерунда».

— Почему последняя? — спросил Раглан.

Похож на благовоспитанного лиса, подумал Реджинальд. Хороша парочка.

— Объем моих знаний невелик,— объяснил он,— и, наверное, я использовал его весь. Вряд ли мне в голову придет другая идея. Эта появилась случайно.

— Вы читали Диккенса? — задал вопрос Ормсби, покачивая вилкой со стожком зелени.

— Конечно.

Ормсби отправил вилку в рот и, жуя салат, продолжал:

— Вы его любите?

— Ну разумеется. Наряду с Шекспиром он...

— Вы так думаете? — спросил Ормсби заинтересованно, откладывая нож и вилку.

— Да.

— Вы ставите его рядом с Шекспиром?

— Да.

— Что я вам говорил? — обратился он к Раглану. Затем повернулся к Реджинальду: — Ваша книга напомнила мне Диккенса.

— Ну нет, Боб,— мягко возразил Раглан.

— Напомнила,— настаивал Ормсби,— я знаю, о чем говорю. Я разбираюсь в двух вещах: в том, как делаются газеты, и в Диккенсе. Я прочел все книжки Диккенса, когда мне было тринадцать, Уэллард. Я тратил на них свои собственные три шиллинга в неделю.

— Они вам нравились? — спросил Реджинальд.

— Конечно, иначе какого черта я бы их покупал?

— Я хотел сказать...

— У меня есть жеребенок от Прекрасной Дамы, который покорит весь мир. Увидите. Как, вы думаете, я собираюсь его назвать?

Прекрасная Дама! Это Сильвия.

— Мистер Уифферс. Теперь вам понятно, что́ для меня Диккенс.

Подтверждающий смешок Реджинальда прозвучал не слишком убедительно.

— Вы помните мистера Уифферса в «Пиквике»? — требовательно спросил Ормсби.

— Что-то не припомню,— сознался Реджинальд.

— Думаю, вас не стоит и спрашивать, Амброз.

— Нет, не стоит. Так кто же был мистер Уифферс?

— Его обязанности заключались в том, чтобы он глядел из окна вестибюля в компании с другим джентльменом. Это что-нибудь говорит вам?

— Пирушка в Бате? — рискнул Реджинальд и получил в ответ кивок и дружескую улыбку.

— Конечно. Мы с вами люди образованные, не то что этот Раглан.

— Когда вы в последний раз читали «Пиквика»? — осведомился Раглан.

— Я же сказал вам, в тринадцать лет.

— Боже, я-то думал, вы ложитесь с ним в постель каждую ночь.

— Я ложусь в постель не с книгами,— хохотнул Ормсби.

Грубая скотина. Отвратительная скотина. Но чем-то очень симпатичная скотина, подумал Реджинальд.

— И вы с тех пор помните мистера... Как вы его назвали?

— Уифферс. Ему однажды пришлось есть соленое масло. Вспоминаете, Уэллард? Забавно, я люблю соленое масло.

— И вы помните этого мистера Уифферса спустя сорок лет?

Ормсби еще раз хохотнул над своим салатом и доверительно склонился к Реджинальду.

— Не понимает. Бедняга Амброз не может понять. Он Величайший из Ныне Живущих Литературных Критиков, но он не знает, почему Диккенс великий писатель.— Он повернулся к Раглану: — Именно потому, старина. Потому что я помню мистера Уифферса. Спустя сорок лет.

— Ерунда. Вы запомнили его, потому что он не любил соленого масла, а вы любите. Если бы в книге Уэлларда какой-то персонаж не любил салата, вы бы вспоминали об этом до девяноста трех лет.

— Черт побери, я же об этом и говорю. Он похож на Диккенса.

Глупо краснеть в сорок один год, и тем не менее, думал Реджинальд. Я краснею от похвал Ормсби!

— Ну ладно, перейдем к делу. Сколько продано ваших книг?

Реджинальд рассмеялся и сказал, что не имеет ни малейшего понятия.

— Вам следует присматривать за Пампом,— посоветовал Раглан.

— Каким образом я могу присматривать за ним? Я живу в деревне, а в Лондоне появляюсь раз в три недели.

— Памп — церковник,— сообщил Ормсби,— и значит, если он найдет законный способ обобрать вас, он обойдется без благословения Богоматери.

— Разве это относится только к церковникам?

— Нет, это с успехом можно отнести к любому, но церковники привносят в дела некое святое рвение, и в результате на подносе ничего не остается. Левая рука не ведает, что творит правая,— вот их девиз.

— Не падайте духом, Уэллард,— улыбнулся ему Раглан.— Вы ведь, я думаю, получаете проценты?

— Да. Десять процентов.

— И все? Независимо от тиража?

— Я думаю, да.

— Ну, столько вы получите. Памп не захочет попасть в тюрьму из-за десяти процентов.

— Мы присмотрим за ним,— пообещал Ормсби, пуская в ход зубочистку.— Люди будут покупать вашу книжку. Мы с Рагланом позаботимся об этом. А вы сможете грести деньги не хуже этого грязнули Пампа. Вы не против?

Раглан слегка скривился. Несмотря на полтора года тесной дружбы с Ормсби. Реджинальд улыбнулся и заметил, что, как ему кажется, все любят деньги — в большей или меньшей степени.

— Конечно, приятель. Деньги и женщин. Одно значит другое. Дайте человеку и то и другое и возможность заехать в глаз кому-нибудь время от времени, и он будет совершенно счастлив.

Раглан, наблюдавший за Реджинальдом, заметил, что тот застыл.

— Кому мистер Уэллард собирается — как вы выразились? — заехать в глаз? — спросил он мягко.— Нашему другу Пампу?

— Нет,— медленно выговорил Реджинальд.— Не нашему другу Пампу. Во всяком случае, не сейчас.

— Я так и подумал,— пробормотал Раглан, улыбнувшись себе под нос.

Ормсби не слушал, поглощенный манипуляциями с зубочисткой.

III

Мистер Памп на месте. Мистер Памп готов принять мистера Уэлларда. А-а, добрый день, мистер Уэллард. Не хотите ли присесть? Чем могу быть вам полезен?

Действительно, чем?

Теперь, оказавшись здесь, Реджинальд не понимал, зачем ему это. Очевидно, на самом деле, чтобы выслушать поздравления Пампа. Чтобы его осыпали похвалами, чтобы ему льстили. Трудно, однако, требовать этого от человека, если он сам не чувствует такой потребности. Или чтобы присмотреть за Пампом по совету Раглана. Прекрасно, он присмотрит за мистером Пампом. К сожалению, в данный момент мистер Памп не подчищал счетов, не подделывал чеков и не тащил денег из кассы. Он даже, насколько мог заметить Реджинальд, не собирался обсчитывать Реджинальда. Каким же образом можно было присматривать за мистером Пампом? «Дело в том, что я пришел присмотреть за вами». Ну нет, так сказать нельзя.

Но что-то все-таки сказать нужно.

— Мне случилось сегодня быть в Лондоне... я нечасто приезжаю... и вот решил зайти.— Он неловко засмеялся и добавил: — Посмотреть, как идет книга.

— Ах да, книга. Поглядим. Это у нас... э-э...— Он стал рыться в бумагах на столе, как бы пытаясь припомнить.

— «Вьюнок»,— подсказал Реджинальд.

— Да, разумеется, «Вьюнок».

Кто может сравниться по наивности с деловым человеком? Он никогда не утратит веры в свое краснобайство и трюки, которыми не обманешь даже ребенка. Наверное, думает Реджинальд, деловые люди настолько глупы, что, добившись успеха, не знают, что́ именно принесло им этот успех, и не решаются расстаться ни с одной из своих старых штучек, боясь утратить магический талисман. Сколько же лет мистер Памп вот так выжидает, пока автор подскажет ему название своего произведения? Да, разумеется, «Вьюнок»!

— Ну, мистер Уэллард, вам будет приятно услышать, что «Вьюнок» идет хорошо, в самом деле хорошо.— Он погладил свою внушающую доверие бороду.— Сейчас неудачное время, разумеется для издателей, но нам повезло. Не совсем незаслуженно повезло, мистер Уэллард, позвольте заметить. Мы создавались в течение многих лет, а теперь пожинаем плоды.— Он заглянул или сделал вид, что заглянул, в бумажку, лежавшую у его локтя.— «Вьюнок», «Замужняя девица» и «Удивительный медовый месяц» — это наш несомненный успех, почти не отстает от них «Школа жизни». Ожидания обманула только «Невеста-островитянка». Неплохо идет, ничего не скажешь, но не совсем так, как я ждал.

— Ну да.— Уйти неприлично.— А... сколько же экземпляров «Вьюнка» продано?

— «Вьюнка»? У меня нет при себе текущих цифр. Вы получите полный отчет, когда придет время, и, я надеюсь, будете приятно удивлены тем, сколько мы продали. Это не так легко — представить публике новую книгу. Я мог бы назвать вам цифры, разумеется, если вы подождете, но...

Реджинальд, во всяком случае его голос, поторопился заверить, что это не так уж важно.

— Хорошо, увидите, когда получите наш чек. Мне думается, цифры на чеке будут более впечатляющи, чем те, которые я могу назвать вам сейчас.— Он рассмеялся, и Реджинальд машинально начал вторить ему.

— Я рад, что дела идут хорошо,— сказал Реджинальд.— Конечно, заметка Раглана необыкновенно помогла. Это большая удача.

— Можно назвать это удачей, если хотите,— сказал мистер Памп, крепко зажав бороду левой рукой.— Ведь это я привлек внимание Раглана, послав ему экземпляр. Мне пришло в голову, что такого рода книга может понравиться Раглану. Издатель должен уметь оценить уровень привлекательности книги.

— Ах, вот как это произошло. Интересно было узнать.

— А когда мы получим вашу новую книгу?

— Новую книгу? — спросил Реджинальд в изумлении.— Я не пишу другой книги.

— Ах, мистер Уэллард,— сказал мистер Памп, уморительно тряся перед ним кончиком бороды,— вы не можете так обойтись со своим читателем. Вы не должны так поступать с нами. Вы... Что случилось?

Реджинальд уставился на каминную доску, раскрыв рот.

— Это правильные часы?

— Более или менее,— ответил мистер Памп, оборачиваясь.— Как я говорил...

— Боже мой! — Реджинальд вскочил.— Простите! Я опаздываю на поезд. До свидания. Ну и ну! — Он поспешил к двери, крикнув через плечо: — Я напишу,— как будто ему было о чем писать, и ринулся вниз по лестнице.— Такси! Эй! Прекрасно... вокзал Виктория... поскорее...

Добраться до вокзала за пять минут? Невозможно. Что за идиотизм — тащиться к Пампу! А там Сильвия идет пять миль, чтобы встретить его!

Но есть шанс. Если мы успеем проскочить... Черт, не удалось. Ну, что теперь? Можно не торопиться. Мы его упустили. Надо подумать. В такси можно думать не хуже, чем в любом другом месте.

Сильвия, дорогая, прости. Ты сказала, что любишь встречаться со мной. Я даже подумать не могу, как ты идешь по дороге и ждешь, что я вот-вот появлюсь, а меня нет. Ведь и я люблю встречаться с тобой. Мы должны встретиться. Дорогая, я подлец. Отправить телеграмму, что я приеду следующим поездом? Но Сильвия должна выйти около половины четвертого. Сколько будет идти телеграмма? Нет, не получится.

Я так виноват перед тобой. Давай посмотрим. В любом случае ты дойдешь до выгона. Здесь я должен ждать тебя. Ты сядешь, положив на колени шляпу, так свободно и красиво, как умеешь только ты. Как будто художник легкой кистью поместил тебя среди безлюдного ландшафта. Да, там ты должна ждать. Ну и что же произойдет? Ты выйдешь из дому без часов, устанешь ждать и пойдешь на станцию, увидишь там машину — это еще не так плохо — и догадаешься, что́ произошло. Что ты станешь делать? Дождешься следующего поезда. Но если ты взяла часы, что тогда? Ты станешь ждать на выгоне, поглядывая на часы, думая, не случилось ли со мной чего́. Ты будешь снова и снова смотреть на часы, рассчитывать время и говорить: «Может быть, поезд опаздывает», сама не веря в это, и вдруг почувствуешь страх, и...

Нет, черт возьми, так нельзя.

Реджинальд обратился к шоферу:

— Не нужно на вокзал. Отвезите меня туда, где можно нанять автомобиль.— Он откинулся на спинку сиденья и подумал: «Люди сказали бы, что я выбрасываю на ветер пять фунтов. Дураки! Какая польза от денег? Только та, что на них можно купить счастье или предотвратить несчастье. Я выбросил на ветер не меньше чем на

сотню фунтов счастья из-за дурацких разговоров с Пампом, а теперь откупаю его за пять фунтов. Самая удачная трата за всю мою жизнь».

Он снова посмотрел на часы. Если попадется хорошая машина с опытным шофером, то он успеет.

IV

Он посмотрел на часы в двадцатый раз. Пятнадцать миль до станции, полчаса до прихода поезда, шоссе свободно. Всего пятнадцать миль. Он спасен. Слава Богу...

Как это похоже на Милберна — сказать, что именно он порекомендовал мою книгу Раглану. Один из этих белобрысых толстяков, которые едва умещаются в кресле. Скажешь такому, что Ллойд Джордж перешел в римскую веру, он тут же прохрипит: «Да, знаю. Это он наслушался того, что я тут говорил...» Перейти в римскую веру — удивительное выражение. Могут ли римские католики перейти «в лондонскую веру»? Возможно, им и не захочется. Чем хорошо католичество — можно чувствовать себя спасенным. Больше не о чем беспокоиться.

Хорошо было бы верить в Бога; не ради себя, ради других. «Благослови, Боже, мою дорогую Сильвию и охрани ее» — вот я говорю это сейчас и, Боже, от всего сердца, и это единственная молитва, с которой мне хочется к Тебе обратиться. Нет, есть еще одна: «Пусть она всегда любит меня». О Боже, и теперь не все: «Пусть я всегда буду любить ее» — это очень важно. Можно сложить их в одну, если Ты хочешь: «Пусть мы всегда будем любить друг друга». Теперь все. И если Ты хочешь, пусть Памп обманывает меня. Это не важно.

Да, а как же с Ормсби? Вопрос непростой. Что ждет его в ином мире? Я думаю, Ад целиком выдуман человеком для людей, которых он не любит. Их нужно поместить куда-то, чтобы не быть рядом с ними. Возьмем Бетти Бакстер. Если я встречу ее в ином мире, он окажется Адом. Если нет — Раем. Но мне кажется, тут могут возникнуть трудности. И очевидно, что не мне их решать. Посмотрим с другой стороны. Если бы я попал в Ад, для Сильвии не было бы Рая. Она должна была бы отправиться со мной — и для меня это означало бы райское блаженство, а для нее — чертовское невезение. Разумеется, и в этом мире все точно так же. Самая лучшая женщина не может быть счастливой, если любит дурного мужчину. Но ведь сама идея иного мира в том, чтобы вознаграждать людей за несправедливость и неравенство этого мира. Возможно ли это?

К тому же чем больше вы полагаетесь на то, что в ином мире будет восстановлена справедливость, тем меньше вы стремитесь добиться ее здесь. Разве не так? Другими словами, если ты совершенно уверен, что существует только этот мир, то приложишь все силы, чтобы сделать его лучше. А так все действительно хорошие люди думают только об ином мире. Жаль.

Ну, а как дела с этим миром? Он существует миллион лет, а мы лишь совсем недавно изобрели радио. То есть радио ждало миллион лет, чтобы мы его изобрели. И значит, мы проживем еще миллион лет, прежде чем снова изобретем или откроем что-то важное. А оно будет дожидаться нас все эти годы. Два миллиона лет. Похоже на то, что в этом мире у нас есть все, стоит хорошенько поискать.

У нас! Я-то немного открыл... За исключением сочетания Сильвии и Вестауэйза...

А овцы, которых мы пускаем пастись на поле, чтобы они оставляли там короткую траву для гольфа? Идея отличная, но они-то уверены, что их пустили туда ради них самих. Хотя для меня дело вовсе не в них, а в поле. Предположим, что Бога интересует мир, а не мы. Мысль жуткая. Но вполне допустимая. Кроме того, интерес должен иметь предел. В нас живет миллион бактерий. По словам этих страшных лжецов, ученых. Ну и конечно, эти бактерии полагают, что они центр мироздания. И если одна маленькая бактерия, счастливо существующая в мире по имени Ормсби, которая спешит на встречу со своей Сильвией, подумала бы о том, что Бога, быть может, интересует только Ормсби, а не она сама — ведь она могла бы оказаться права. Вопреки бактерии-теологу. А бактерия-ученый, работающая в лаборатории в левой части печени Ормсби, совершенно не права в своих догматических утверждениях, что Ормсби представляет собой единственный обита-

емый мир. Так же, как мы можем быть не правы относительно всех остальных миров. Так же, как для Господа Бога мир может быть личностью, наделенной душою, в которую каждый из нас внес свой микроскопический вклад.

Чудаки эти ученые. Почти такие же чудаки, как фундаменталисты или как их там зовут. Разумеется, геологи доказали абсурдность Книги Бытия... и все же всемогущий Бог, который не мог сотворить мира, не набив его скелетами, различными слоями и всем, что Ему захотелось, в Своих собственных целях, вряд ли может считаться всемогущим Богом. Ну и где во всем этом истина? Один Бог знает — единственный ответ.

Реджинальд вытащил часы в двадцать первый раз. Еще миля и еще минута. Поезд мог опоздать на одну-две минуты. Сильвия не станет беспокоиться из-за этого. Чудесно. Мы сейчас встретимся, Сильвия! Ура! Ты самое прекрасное, невероятное чудо. Безусловно, Бог есть.

Глава восьмая

I

Реджинальд наблюдает за своими тремя утками. Стало трудно различить, где мать, а где дети. Сильвия знает, или, во всяком случае, ей так кажется: «Вон, вон та, дорогой». Когда он один, разобраться невозможно. Но это не так уж важно. А важно то, что до самого конца сентября никто не знает и не может знать, кто из утят селезень, а кто утка. Совершенно непонятно, думает Реджинальд, почему селезень обретает свою великолепную индивидуальность зимой, а летом довольствуется тем, что неотличим от утки. Удивительно интересно наблюдать за тремя утками в конце июля, пытаясь уловить первые признаки перемен. Сегодня грудка у Эллен, кажется, посветлее? Нет? Ну, ладно. А ты что думаешь, Джем?

Джем сидит чуть поодаль, безразличный, как только кошки умеют быть безразличными. Утки и голуби его больше не волнуют. Были времена, в юности, когда он считал их птицами, но мистер Уэллард вбил ему в голову, что некоторые люди считают их овощами. Ладно, если Уэллард и в самом деле полагает, что утки — это овощи, приходится ему поверить. Все это вбивание в голову котам пользы не приносит. Овощи? Пожалуйста. Кому интересны три ныряющие морковки на пруду?

Джем не отвечает. Беседовать с меховым воротником, обвившимся вокруг шеи, сложно, но что ты думаешь, Джон Весли? Джон Весли, счастливо мурлыкавший себе под нос, при звуках любимого голоса принялся мурлыкать еще громче, а затем снова заснул, оставив моторчик включенным.

Теперь и Реджинальд слышит любимый голос.

— Привет, дорогой.

— Привет, Сильвия Уэллард. Я как раз думал о тебе. Встань, чтобы тебя было как следует видно. Взгляни, какое кругом великолепие.

— Да, просто прекрасно. Не забудь, что к обеду приходят Хильдершемы.

— О небо, не так уж все и великолепно. Я ведь действительно забыл.

— Я иду переодеваться и решила напомнить тебе.

— Пропади все пропадом!

— Дорогой,— спрашивает Сильвия с тревогой,— разве ты не любишь Хильдершемов? Я помню, ты говорил, что тебе нравится Грейс. Поэтому я их и пригласила.

— Я страшно люблю их, но в деревне никто не переодевается к обеду. Это значит зря потратить лучшие полчаса за целый день.

— Ты ведь не можешь выйти к обеду в таком виде, раз приходят гости.

— Могу, уверяю тебя. Я, пожалуй, согласен потратить минуты две-три на мытье рук, ну и хватит.

— Ты должен переодеться, ведь они обязательно придут нарядными.

— С одним условием,— торжественно провозгласил Реджинальд.

— С каким?

— Ты наденешь какое-нибудь совершенно неприличное платье с самым глубоким вырезом, чтобы я мог пожирать тебя глазами весь вечер.

Румянец цвета дикой розы выступил на щеках Сильвии — он знал, что она покраснеет, и хотел этого. Она тихонько сказала:

— Сейчас не носят платьев с низким вырезом.

— Тогда — самое короткое.

Дикая роза на щеках Сильвии потемнела.

— Ты дурачок,— сказала она, храбро глядя на него, и едва эта фраза достигла его слуха и показалась ему пошлой, как в ту же минуту растворилась в волшебстве ее взгляда, будто и не была произнесена.

— Я выберу самое красивое,— пообещала она.

— Что бы ты ни надела, ты будешь выглядеть прекрасно, а я буду любить тебя.

— Не задерживайся.

— Не больше чем на четверть часа.

— Хорошо, дорогой.— Она неспешно повернулась и пошла к дому.

— А я пойду с миссис Уэллард,— объявил Джем, следуя за ней.

Таким образом, к моменту, когда было объявлено о приходе Хильдершемов, «мистер и миссис Фарли Хильдершем»,— Реджинальд выглядел совершенным джентльменом, а Сильвия была так хороша, что у Грейс Хильдершем перехватило дыхание, и она, не сознавая, что говорит вслух, произнесла: «Какая красота!», а Реджинальд шепнул Сильвии: «Это про меня». Тут все они рассмеялись — как легко смеются люди в подобной ситуации — и почувствовали, что неплохо было бы выпить по коктейлю.

Фарли Хильдершем был, как и его жена, большой, розовый и светловолосый. Он обладал, наряду с прочими достоинствами, тем, что сам именовал «чувством гражданского долга». Это означало, что он мог отыскать пищу для ума лишь во внешнем, а не во внутреннем мире. Он был членом Опекунского совета, членом Совета графства, мировым судьей, консерватором, церковным старостой, принадлежал к всевозможным организациям, а к людям вроде Уэлларда, не озаботившимся вступить хотя бы в Ассоциацию джентльменов страны, относился с добродушным пренебрежением. Не было собрания, на котором он бы не председательствовал, не было тем, на которые он бы не произносил речей, не было мероприятия, которое он не согласился бы возглавить, не было петиции, под которой он охотно не поставил бы своей подписи. «Фарли всегда знает, чего хочет»,— гордо говорила его жена, но не добавляла, хорошо ли это. Сама она была довольно нерешительна, в частности, в вопросах одежды. Прежде чем вечер подойдет к концу, она наверняка спросит у Сильвии, к лицу ли ей, Грейс, платье абрикосового бархата. Реджинальду казалось, что невозможно не любить такую женщину. Это как если бы кто-то из мужчин просил тебя честно высказаться по поводу его чувства юмора.

— Вы, я думаю, подписали нашу петицию?

— Я не силен по этой части. А о чем она?

— Об устройстве водопровода в Литтл Моллинге.

— Ну нет. Это было бы ужасно.

Хильдершем вытаращил на него глаза, затем самоуверенно поглядел на дам, ожидая поддержки, но, увидев, что они поглощены беседой, всем видом выразил явное неодобрение.

— Но почему же?

— Как только появляется вода, тут же повсюду вырастают маленькие дачные домики и коттеджи для уик-энда, и...

— Но сейчас, в засушливое лето, некоторым дачникам приходится чуть ли не милю тащиться за водой. А санитарные условия...

— Нет, нет,— запротестовал Реджинальд,— не перед обедом.

— Вот видите,— ответил Хильдершем с таким видом, будто призывал в свидетели присяжных,— вы не выдерживаете даже разговора об этом, а людям приходится так жить.

— Ну, я думаю, они подписали петицию.

— Естественно.

— Тогда все в порядке. Им нужна вода, и они добиваются ее. Мне она не нужна, и я в этом не участвую.

— Но дорогой мой, вам не кажется ваша точка зрения антиобщественной?

— Мне она кажется вполне разумной.

— Я-то думал, вы гордитесь своей принадлежностью к демократам.

— Горжусь. Если большинство хочет чего-то, нужно, чтобы его желание исполнялось. Но вы никогда не узнаете, чего действительно хочет большинство, если люди примутся голосовать за то, чего, как им кажется, хотят другие.

Хильдершем вновь обернулся к дамам, но они по-прежнему пребывали в своем собственном мире. Очень жаль, поскольку самым лучшим выходом было бы всем вместе вышутить эти странные аргументы.

— Я налью еще,— предложил Реджинальд, забирая у него пустой бокал.

— Нет, спасибо. Мне кажется, человеком в его отношениях с живущими рядом должно руководить чувство гражданского долга.

— Да. Конечно. Я совершенно согласен с вами. Только представьте себе эти ужасные маленькие домики с подведенным водопроводом и газом...

— Я не это имел в виду. Я говорю о соседях. Подумайте о нас как о небольшой общности.

— Послушайте, Хильдершем,— сказал Реджинальд с улыбкой,— вы всегда трудитесь для общественного блага, но делаете это извне, как филантроп. Вы никогда не осознаете себя самого частицей этого общества. А я наоборот. Я чувствую себя скромным членом общества, и когда великие люди спрашивают меня, в чем я нуждаюсь, я отвечаю им. Но я не могу ответить, чего хочет кто-то другой, потому что не уверен, знаю ли я это.

— В данном случае прекрасно знаете. Вам, например, известно, что Эдвардс, ваш садовник, нуждается в воде. Вы можете быть уверены, что он подписал петицию.

— Как знать,— ответил Реджинальд, получая от разговора гораздо больше удовольствия, чем ожидал.

— Но, дорогой мой, ведь ясно, что ему...

— Ясно, что ему нужна вода, нет спора. Но представьте себе, что он настоящий демократ и исполнен забот об обществе. Тогда он скажет: «Я не должен думать только о себе, нужно подумать и о мистере Уэлларде. А мистер Уэллард был бы всем этим страшно расстроен».

К счастью, в этот момент появилась Элис и сообщила, что обед подан.

— Пойдемте,— предложила Сильвия, и они пошли.

Когда Хильдершем стер со своих светлых усов последние, воображаемые следы грейпфрута, он вернулся к разговору в несколько более благодушном тоне. Он втянул в беседу дам, как бы беря их под защиту и проводя сквозь сложности дискуссии.

— Я опять выбранил вашего мужа, миссис Уэллард, но боюсь, что он безнадежен.— Он обернулся к жене.— Вот, дорогая, каковы эти литераторы. Они никогда не поступают так, как простые смертные. Верно, Уэллард? Но вы подумайте еще. Надеюсь, вы поймете, что я прав.

— Что ты такое сделал, дорогой? — удивилась Сильвия.

— Нет, нет, миссис Уэллард, ничего. Просто мелочи местной политической жизни. Не обращайте внимания.

— Речь идет о воде, Сильвия.

— Ах да.— Она на минуту задумалась.— Нам она не нужна, правда? Ты объяснял мне.— Она припомнила его доказательства.— Конечно, качать воду насосом обременительно, но когда есть вода, и газ, и электричество, то не чувствуешь, что живешь в деревне.

— Ну да,— вежливо согласился Хильдершем,— но можно подумать и о деревенских жителях.

— Дорогая моя Сильвия,— сказала его жена,— если бы ты побывала в их домах.— Она передернула плечами и подняла глаза к небу.

— Я бывала в некоторых. Я иногда останавливаюсь, рассматриваю их цветники, мы разговариваем, и они приглашают меня зайти...

Конечно, приглашают, думает Реджинальд. Кто бы не пригласил?

— Простите, миссис Уэллард, это не совсем то, о чем говорит Грейс.

— Хильдершем хочет сказать, что ты не видела, на что похожи их помойки, дорогая.

Сильвия, изучающая чужие помойки. Чудовищно.

— Минутку, мистер Уэллард!

— Займи чем-нибудь хозяина, Грейс,— добродушно отозвался Хильдершем.— Я хочу серьезно поговорить с миссис Уэллард.

Удивление Сильвии совершенно очаровательно.

— Если бы вы оказались за кулисами,— Хильдершем пустил в ход одну из своих впечатляющих метафор,— вы бы поняли, что я имею в виду. Вода, электричество, газ просто произвели бы революцию в их жизни. Да, да, революцию.

— О! — произнесла Сильвия.

— И это говорит церковный староста! — тихонько пробормотал Реджинальд.

— О чем это вы? — В нем просыпалась тяжеловесная, но не лишенная привлекательности игривость.— Лучше напишите еще книжку. А как дела с этой, неплохо? Какое выходит издание, двадцать пятое?

— Так о чем ты говорил, дорогой?

— Да, да,— поддержала Грейс.— Расскажите нам.

— Ничего особенного. Только мне всегда кажется, что, чем больше человек уверен в бессмертии духа, тем больше он пренебрегает духовными ценностями этого мира. Вы, миссис Хильдершем, верите, что мы должны готовить наши души к существованию в ином мире. Это существование, вы верите, бесконечно — нас ждет бессмертие,— а нам дано так мало времени, чтобы подготовиться к нему. На что мы тратим это время?

Он взглянул на Сильвию и утонул в глубине ее глаз. Синие, сине-фиолетовые, темно-голубые — как описать их? Недолгий срок на этой земле, и только малая часть его — рядом с Сильвией. Ведь и она состарится и перестанет быть Сильвией; и она умрет; и затем в течение десяти миллионов лет он сможет общаться с ее душой. Нет, нет! Какой толк в этой загробной жизни, если нельзя видеть Сильвию, касаться ее, держать ее в объятиях? Да, и красота должна погибнуть. Здесь, под этим надгробьем ...как это говорится? «Здесь, под этим надгробьем, упокоилась та, что прекрасна и смертна, как сама Красота...» [1] Что ж, во всяком случае, что́ у меня было, то было.

В наступившем молчании Сильвия перехватила взгляд Элис и показала ей на бокал Хильдершема.

— Спасибо,— сказал Хильдершем, отмеряя пальцем, докуда наполнить бокал.— Спасибо. Разумеется, я понимаю вашу точку зрения. Ну конечно, если мы располагаем таким коротким отрезком времени, наша первая обязанность — не тратить его зря.

На серебряно-сером столе в комнате с серебристо-серыми стенами голубые свечи в голубых стеклянных подсвечниках дожидались, но еще не дождались, когда придет их черед; золотистое солнце, внезапно исчезнувшее за холмом, оставило после себя невероятную красоту, как будто каждый цветок, существуя последний миг, отдавал весь жар своих красок. Через минуту это великолепие померкнет, улетит подобно вздоху.

— Я понимаю, о чем ты,— сказала Сильвия и посмотрела в открытое окно туда же, куда и Реджинальд, вдаль.

Хильдершем, подумав, понял, что ему никто не ответил.

— Другими словами,— заключил он беседу,— наша первейшая обязанность сохранять наши жизни для нас самих и наших ближних.

Грейс согласилась. Грейс всегда нравились рыбные блюда, которые подавали у Сильвии. Она подумала, что надо непременно снова расспросить ее... и еще не забыть отослать Джимми перчатки для крикета... Отдать в починку старенькой миссис Хеткот теплое белье. Не следовало бы говорить о религии при Элис. Это портит слуг.

— Что же мы будем делать в мире ином? — вздохнул Реджинальд.— Я не собираюсь спорить, просто спрашиваю.

— Естественно, это будет совершенно другая жизнь. Трудно себе представить, какая. По-видимому, наш долг там будет совершенно ясен нам, как для меня ясен мой здесь.— Слова приходили ему на ум сами, отличные, подходящие слова. Он ощущал себя мудрым, знающим цену тому, что говорит. К тому же отличное вино. Миссис Уэллард совершенно очаровательна. Ему было легко и хорошо.

— Дорогая, рыба просто великолепна. Правда, Фарли? Мы всегда говорим...

Элис вышла из комнаты. Можно свободно разговаривать о рыбе и о бессмертии.

---

[1] Перевод В. Ашкенази.

— Вам понравилось? — с жаром спросила Сильвия.— Я обязательно передам миссис Хоскен. Она всегда бывает рада, когда вы приходите к обеду, она знает, что вам по вкусу ее стряпня.

— Мне нравится ваш рейнвейн,— обратился Хильдершем к хозяину с чисто мужским разговором.— Тонкий букет.

— Тогда продолжим?

— С удовольствием. Это мой любимый. Скажите мне...— Он пригубил и склонил голову, как бы прислушиваясь к чему-то.— Девяносто седьмого года, верно?

У Реджинальда было искушение согласиться, но он решил наугад сказать: «Девяносто девятого». Хильдершем произнес: «А!», принимая поправку как подтверждение — даже больше, чем просто подтверждение. Грейс в очередной раз поразилась умению мужчин разбираться в винах. Реджинальд в очередной раз поразился тому, как легко прослыть знатоком. Сильвия сказала:

— Наверное, пора зажечь свечи. Ты не займешься этим, дорогой?

И свечи были зажжены.

II

Грейс и Сильвия вошли в гостиную. Большая белокурая, пышноволосая, растрепанная голова и розовая шея Грейс, все остальное скрыто под просторным бархатным платьем абрикосового цвета; изящная сияющая головка Сильвии и ее золотистое тело, открытое — или скрытое — платьем ровно настолько, насколько позволял сегодняшний вечер.

— Ты не носишь свои платья,— говорил ей Реджинальд.— Ты срастаешься с ними. Не случалось ли тебе по ошибке надеть одно платье на другое?

Грейс, как только они вошли в дверь, сказала, полуобернувшись:

— Джимми поехал к школьному товарищу на неделю. Я не рассказывала тебе? Играть в крикет. Некая миссис Тейлор пригласила его. Мне не очень нравится отпускать детей к чужим людям. Но думаю, там все в порядке. Письмо было очень милое.

— Джимми прекрасно играет в крикет, да? Останемся здесь или выйдем в сад?

— Как хочешь, дорогая. Хотя, давай посидим здесь немного. Какое изумительное платье, Сильвия.

— Тебе нравится?

— Очень, а мне идет мое, правда? Фарли не нравится, но мужчины такие странные. Твой муж тоже?

— Ты о чем?

— Им не нравится вещь, а почему, они объяснить не могут. Я была в розовом шифоновом платье, когда Фарли сделал мне предложение. Ты помнишь, что тогда носили? Нет, не можешь помнить — тысяча девятьсот восьмой год. И что бы я сейчас ни надела... для них-то мода почти не изменилась...

— Реджинальд всегда замечает все. Куплю ли я новую шляпную булавку или другую мелочь. Это очень приятно.

— Конечно, но Фарли сейчас так занят. К тому же трудно сохранить фигуру, родив четырех детей. Во всяком случае, для женщины моего сложения. Тоненькие, конечно, могут. Но я не представляю себе, как жила бы без них. А Фарли, что я ни надену, все вспоминает то розовое платье. У тебя новое колечко?

Сильвия сняла с пальца кольцо и протянула Грейс.

— Это по случаю выхода книги. Красивое, правда? Мне очень нравится оправа.

— Как вообще платят за книги? С каждого проданного экземпляра?

— Да, и не очень много. Девять пенсов.

— Может получиться неплохая сумма. Сколько девятипенсовиков в фунте? Джимми такие вещи соображает мгновенно.

— Сорок шестипенсовиков, да?

— Верно, значит, шестьдесят девятипенсовиков, значит, если продать шестьдесят экземпляров... Нет, не шестьдесят, не может быть. Потому что если шестипенсовиков сорок...— Она отдала Сильвии ее кольцо.— Очень красивое. Я никогда не

показывала тебе свое? — Она, чуть поморщившись, стянула с пальца одно из своих колец.— Оно принадлежало моей прапрабабке Рамзи, точнее, моя мать была ее внучатой племянницей. Я редко ношу его в последнее время, оно стало мне маловато, но сегодня решила надеть. Посмотри, что там написано. Конечно, сейчас можно подумать, что это ненастоящий изумруд, но раньше часто делали такие оправы.

Сильвия прочла на крошечной медной пластинке внутри кольца: «Агата — Ричард. До самой смерти».

— Это было ее обручальное кольцо. А Ричарда убили на поединке на песчаном берегу в Кале на следующий день.

— Какой ужас! Из-за нее?

— Да. Это произошло в каком-то клубе. Она считалась красавицей и многим нравилась, многие хотели бы жениться на ней, и вот Ричард Пенросс, так его звали, вошел в зал, как раз когда один человек говорил... ах, дорогая, он... ну, как это бывает у Шекспира... он бился об заклад, что проведет с нею ночь. Конечно, никто не знал, что она обручилась с Ричардом,— не стал бы он так говорить, если бы знал... А Ричард вошел — ты представляешь!

— Грейс, какой ужас!

— Да, и это чистая правда. Мне рассказывала мать. Конечно, когда я уже вышла замуж. Тот, другой, даже не был ранен, но ему пришлось уехать за границу. Что было совершенно неправильно в этих дуэлях — часто погибал не тот человек. Я рада, что дуэли запретили.

Сильвия не могла оторвать взгляда от крохотных изящных букв на медной пластинке: «Агата — Ричард. До самой смерти».

— Грейс, а это правда? — спросила она шепотом.— Что она была... из таких женщин? — Сильвия кивнула в сторону кольца.

— Конечно, нет, дорогая! — Грейс была оскорблена предположением. Затем, чуть подумав, сказала: — А впрочем, кто знает. В конце концов это только прапрабабка, да и то не по прямой линии. То есть мать происходит от ее брата... кто знает — в те времена, судя по тому, что иногда читаешь, всякое бывало. Спасибо, дорогая.— Сильвия отдала ей кольцо.— Я никогда не задумывалась над этим. Возможно, что и из таких.

— Ты вернула мне?..

— Да, вернула. Прелестное.

— По-моему, тоже.— Сильвия любовалась кольцом, крутя его на пальце.

— Как все это сложно, правда? — продолжала Грейс.— Ты счастливая, у тебя нет дочерей. Сильвия, тебе мать что-нибудь рассказывала?

— Мало... Почти... Нет, в сущности, ничего.

— Ну да. Я тоже потом это поняла... Я думаю, мне следует поговорить с девочками. Как они сейчас быстро растут! Агата на будущий год в мае поедет в пансион, наверное, я могу подождать до тех пор.— Сильвия смотрела на нее, широко открыв глаза.— Нет, нет, не в ее честь. У Фарли в семействе тоже были Агаты.— Она довольно улыбнулась.— Так что будем надеяться на лучшее. Наверное, ужасно, когда мать говорит так о своей дочери, но ты же знаешь, что я имею в виду.

Сильвия серьезно кивнула.

— Ты просто невероятно хороша! — воскликнула Грейс, вскакивая с кресла.— Я думаю, муж без ума от тебя!

А вот это только наша тайна — румянец цвета дикой розы выступил на щеках Сильвии. Она встала и повернулась к окнам.

— Пойдем пройдемся по саду. Сегодня чудесный вечер.

— Как я рада, что книжка идет хорошо,— сказала Грейс Хильдершем, следуя за ней.— Какой у тебя талантливый муж! А наши дети его просто обожают!

III

— Долейте себе.

— Спасибо.— Буль-буль-буль.— Джимми включили в сборную школы, я не говорил вам? — Он подвинул графин ближе к Реджинальду.

— Молодчина. Ему остался еще год, верно?

— Да, он молодец. Поговаривают даже о стипендии. Но я уже записал его в Винчестер. Это осложняет дело. Я не знаю, достаточно ли он подготовлен, чтобы там учиться, но не хотел бы, чтобы он учился в другом месте.

— А школьная стипендия не имеет значения для вас?

— В финансовом отношении, я думаю, это не так важно. Но мальчикам нравится получать стипендии. Всегда лестно упомянуть об этом.

— Да, но вы же не пошлете мальчика учиться не туда, куда хотите, только из-за того, что школа дает ему стипендию в рекламных целях.

Хильдершем пожал плечами и выпил глоток вина.

— Или пошлете? — спросил Реджинальд, попыхивая трубкой.

— Я думаю, отношение школы тоже надо учитывать — до некоторой степени.

Что, он действительно так думает, мелькнуло у Реджинальда, или мстит мне за историю с водой?

— А кем он хочет быть? Он уже решил?

— Нет, я еще не решил. Возможно, адвокатура, с перспективой заниматься впоследствии политической деятельностью.

— Вы совсем не советовались с ним? Я ведь не отец, я просто спрашиваю.

— Мой дорогой Уэллард, он хотел бы стать пиратом.

— Что ж, если он займется политикой, выйдет почти то же.

— Или профессиональным игроком в крикет. Кстати, вы были у Тайлеров?

— Нет. А кто это?

— Люди, которые купили Монкс-кросс.

— Ах да. Нет, мы почти ни к кому не ходим. Думаю, что по моей вине. Терпеть не могу завязывать отношения с людьми по соображениям географическим.

— Вам не кажется, что с таким же успехом можно не терпеть быть англичанином?

— Нет. Но сказано неплохо,— улыбнулся Реджинальд.— Я понял вашу мысль. Что ж, исправимся и на следующей неделе выберемся к Тайлерам.

— В этом-то все дело,— заметил Хильдершем, разглядывая кончик своей сигары.

— А! — воскликнул Реджинальд, пряча улыбку.— Мы не любим нашего брата англичанина. Почему же?

— Англичанина!

— Так. Вы мне все объяснили.

— Какой-то еврей-разносчик, который перед войной торговал неизвестно чем, а после подписания перемирия оказался миллионером. Для меня этого достаточно.

— Что-то я сегодня расположен спорить,— сказал Реджинальд.— Мне известен человек, который до войны был просто мелким дворянином, а когда было подписано перемирие, оказался графом... Его фамилия Хейг.

Хильдершем вежливо хмыкнул и заметил, что, если рассуждать всерьез, он не считает Тайлеров подходящим знакомством.

— Что вы не принимаете в нем, кроме вероисповедания?

— Он сколотил состояние на войне. Мне этого достаточно. Возможно, он не совершил ничего нечестного, но деньги он нажил на войне. Этого достаточно для каждого. Вам или мне было бы стыдно, если бы после войны мы оказались богаче, чем были до.

— Простите, что я опять привожу в пример Хейга, но разве с ним... э-э-э... не произошло то же самое?

— Мой дорогой Уэллард, не думаете ли вы, что деньги, присуждаемые парламентским актом за заслуги перед родиной...

— Нет, не думаю. Но до сих пор все сказанное о Тайлере в равной степени может быть отнесено к Хейгу и к тысяче ваших знакомых. Если солдаты считают войну исключительно своим делом, пусть занимаются ею сами и не прибегают к помощи гражданских лиц. А если помощью гражданских лиц пользуются, то они имеют такое же право извлекать из войны выгоду, как и солдаты.

— Только если они согласятся в той же мере рисковать. Каждый солдат рискует жизнью.

— Не каждый. Позвольте заметить, что вы рисковали значительно больше Хейга, а получили гораздо меньше, чем он.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мои заслуги перед Англией больше, чем заслуги Хейга? — спросил Хильдершем с сарказмом.

— Я не собираюсь сравнивать ничьи заслуги. Я не знаю, снабжал ли Тайлер армию обувью, пуговицами или штыками. Но если это было нужно стране, значит, он служил ей. А если страна тратит пять миллионов в день на то, что ей нужно, очевидно, что довольно много людей могут разбогатеть на этом.

— Я предпочитаю компанию тех, кто этого не сделал. За исключением тех, кто действительно совершил нечто значительное.

— Тогда налейте себе еще, это может оказаться ваша последняя рюмка в этом доме.— Реджинальд подвинул ему графин.— Поскольку перед вами типичный образчик разбогатевшего на войне человека.

— Вы? Ерунда! — Все же Хильдершему сделалось немного не по себе.

— Вовсе нет. Я влачил жалкое существование банковского служащего, когда началась война. И должен был вернуться к тому же. Но мой дальний родственник, сын весьма богатой дамы, погиб в последние дни войны. Его мать не пережила этого и, умирая, оставила свое состояние единственному родственнику, которого видела всего раз в жизни, когда он был мальчишкой. Мне. Вот так. Если бы не война, мы бы не сидели здесь сейчас с вами.

Хильдершем, у которого отлегло от сердца, попытался рассмеяться: «Ах, так!» Забавно, как мало знаешь о других людях. Уэллард всегда производил на него впечатление человека, привыкшего к деньгам. Легкая нотка снисходительности послышалась в его голосе:

— Если говорить серьезно, мне кажется, миссис Уэллард не стоит появляться в Монкс-кроссе. Говорят, он довольно неприятный человек. К тому же если вы, как правило, не ходите с визитами, то и не надо. Как идет книга?

— Хорошо.

— Это замечательно.

— Может быть, нам стоит?..

— Пожалуй.

Они не спеша поднялись.

— Я недавно встретил знакомого, который говорил мне о вашей книге. На него произвело большое впечатление, что мы с вами соседи.

— Правда? (Что здесь можно сказать?)

— Пишете еще что-нибудь?

— Нет... Не выйти ли нам в сад? Мне кажется, дамы направились туда.

— Конечно... Спасибо... Вы, наверное, продали тысяч пятьдесят?

— Около того.

— Это ведь неплохо?

— По-моему, да.

— Ну так вот, я сказал ему, что мы довольно близко знакомы, и это его очень заинтересовало. А вот и наши дамы.

Глава девятая

I

Поздней осенью они переехали в Лондон. Реджинальду стало сложно жить в деревне. Можно перестать полоть сорняки и написать книгу. Как только книга закончена, снова начинаешь полоть. Во всяком случае, так можно было бы предположить. Время от времени кто-то говорит: «Вы написали прекрасную книгу, Уэллард», а вы отвечаете: «Правда, вы так считаете?» (совершенно дурацкий вопрос, ведь вам же только что это сказали), а потом добавляете: «Очень мило с вашей стороны», а на самом деле вам хочется сказать «Очень умно». Потом вы возвращаетесь к своим сорнякам. Во всяком случае, так можно было бы предположить.

Но все обстояло иначе. Фирма «Каррузерс и сыновья» хотела бы сделать фотопортрет мистера Уэлларда. Очевидно, из-за отсутствия договоренности внутри фирмы Уэлларда просили об этом дважды в течение одного и того же утра. В одном письме мистеру Уэлларду предлагали сфотографироваться для выпускаемой ими Галереи Популярных Писателей, в другом — для Галереи Известных Землевладельцев, в которой не хватало мистера Уэлларда. «Решайте, кто вам нужен,— обращался

к ним Реджинальд, стоя у рабаток с маргаритками,— тогда и мне будет ясно, в каких штанах перед вами явиться».

Литературно-дискуссионный клуб Норт Финчли жаждал, чтобы мистер Уэллард принял участие в заседании, посвященном тенденциям современной беллетристики. В письме выражалась надежда, что мистер Хью Уолпол и мистер Пик тоже примут в нем участие. «Черт побери, какой еще Пик?» — вопрошал Реджинальд у георгинов, с удовольствием представляя, как в этот самый момент Пик, по всей вероятности, говорит: «Черт побери, какой еще Уэллард?»

Редактор «Дóма — изысканнейшего журнала для женщин» был бы рад обсудить с мистером Уэллардом серию предполагаемых статей в любое подходящее для него время. Мистер Уэллард, безусловно, понимает, что в финансовом отношении журнал не в силах равняться с более популярными изданиями, но как художник мистер Уэллард, разумеется, заинтересован в том, чтобы представить свои взгляды на суд избранной публики. Далее следовало заверение, что «Дом — изысканнейший журнал для женщин» полностью независим от газетных трестов.

Секретарь Объединенного Общества Писателей, Драматургов и Композиторов надеялся, что мистер Уэллард станет членом Объединенного Общества Писателей, Драматургов и Композиторов. Если мистер Уэллард посетит правление Объединенного Общества Писателей, Драматургов и Композиторов, секретарь Объединенного Общества Писателей, Драматургов и Композиторов сможет изложить ему преимущества, которые дает членство в Объединенном Обществе Писателей, Драматургов и Композиторов. «Интересно,— рассуждал Реджинальд среди гладиолусов,— как меняются нравы. Похоже, что теперь, если новая комедия пользуется успехом, восторженные зрители, вызывая на сцену автора, кричат: «Дра-ма-тур-га! Драма-тур-га!» Хорошо бы когда-нибудь услышать нечто подобное».

Мистер Освальд Чадли проводит по заказу популярного журнала симпозиум под названием «Как я развиваю свои идеи». Мистер Чадли будет чрезвычайно обязан мистеру Уэлларду, если тот как можно скорее вышлет 500 слов на эту тему, приложив не публиковавшуюся ранее кабинетную фотографию с собственноручной подписью. «Как же я развиваю свои идеи? — задумчиво произнес Реджинальд, разглядывая цветы аквилегии.— Понятия не имею... Зато вижу, как это делает мистер Чадли».

Священник из Лоуэр Бидинга был бы очень признателен мистеру Уэлларду за подписанный экземпляр его последнего произведения, который будет продан в пользу реставрационного фонда, поскольку теперешнее состояние колокольни (что, очевидно, огорчит мистера Уэлларда) представляет опасность для звонаря во время утрени и вечерни.

Минне Редферн восемь лет. Она прочитала все книги, написанные мистером Уэллардом, и полюбила их. Она начала собирать коллекцию автографов своих любимых писателей и была бы очень благодарна мистеру Уэлларду, если бы он прислал ей свой.

И так далее.

— Мне надо пройтись и подумать об этом,— говорит Реджинальд утке и двум селезням и покидает свой зáмок через заднюю калитку...

Вся беда в том, думал он, что здесь я отрезан от мира. Мне не с кем посоветоваться. Я не хочу прослыть невежей и не хочу оставаться в дураках. Если из-за случайно написанной книги я получаю столько писем, следует предположить, что настоящие писатели просто завалены ими. Как они поступают? Не обращают внимания? Или пишут вежливое «нет»? Или пылкое «да»? Конечно, они не могут на каждое предложение отвечать «да». Даже если отказываться... но у них, я думаю, есть секретари. По правде говоря, я-то должен был бы отвечать «да» на каждое послание, потому что я не профессиональный писатель и мое время не представляет особой ценности. Что за глупость. Любое время ценно, а время, когда не работаешь, гораздо более ценно, чем время работы. Да, мое время ценно, и будь я проклят, если собираюсь сидеть взаперти, отвечая на эти чертовы письма.

— Совершенно с этим согласна,— послышался ленивый голос.

— Добрый день! — Он остановился как вкопанный и уставился на нее.

— Вы не к нам заходили? — спросила Лина Коулби. Руки ее лежали поверх ограды, подбородок опирался на руки, взгляд устремлен в никуда.

— Нет. Я не подозревал, куда забрел.— Он огляделся.— Я не знал, что ваши владения простираются так далеко. Или нет?

— И да и нет. Это не наши владения, но могли бы быть. Я как раз ломаю над этим голову.

— Почему?

— Дорогой мой, вы пришли сюда по чудесной тропинке, и по сторонам ее не видели ни одного маленького уютного домика. Так, может быть, понастроить их здесь и там?

— Нет!

— Вот и я так думаю. Вот почему мне хочется купить поле. У меня нет никакой охоты наблюдать за чужой жизнью; мне хватает своей. Но Том говорит, что нам не осилить этой покупки. Наверное, он прав.

— Сколько же — как его зовут — Лэнгли? — хочет за поле?

— Шестьсот.

— Шестьсот? — недоверчиво переспросил Реджинальд.

— Дорогой Реджинальд,— мы ведь условились, что я называю вас по имени,— подумайте сами. Теперь это земля под застройку. Она гораздо дороже пахотной.

— Ведь это просто грабеж!

— Возможно.

Реджинальд облокотился на ограду, положил голову на ладонь и задумчиво посмотрел на Лину.

— Я уверена, что Маркус Стоун в свое время точно так же надул нас,— негромко сказала Лина.— Но это было давно.

— Послушайте, Лина, может быть, мне купить поле? — спросил Реджинальд.

— Зачем?

— Ну, не знаю. Пасти на нем коров.

— Чьих?

— Да, это вопрос. Можно ли пасти чужих коров? — Он замолчал, задумавшись над тем, с чего начинают разводить скот.

— Что вас так беспокоило, пока вы шли сюда? Я почти что слышала, как вы чертыхаетесь.

— А, глупости и мелочи. Но теперь меня беспокоит, что станет с полем.

— Почему?

— А что думает Том по этому поводу?

Лина не ответила ни словом, не сделала ни одного движения, казалось, она не слышала вопроса.

— Думаю, он прав,— вздохнул Реджинальд.

— Конечно, прав. Мы не можем позволить себе такую роскошь.

— Мне очень жаль.

Она взглянула на него — и отвела глаза. Потом лениво сказала:

— Я уже не помню, сколько раз стояла тут, опираясь на ограду. Вам нравится вид отсюда на долину? Это самая чудесная ограда в мире. И отсюда видны ваши трубы.

— Да, действительно,— откликнулся Реджинальд.— Спасибо. Это решает дело.

— Вы надумали?

— Да, я покупаю это поле.

— А я думаю, вы говорите о том... из-за чего чертыхались. Выкиньте из головы это поле.

— Я не могу позволить, чтобы кто-то глазел на мой дом. Не хочу, чтобы эти гадкие домики уставились на Вестауэйз. Я не...

— Им будут видны только трубы.

— Вполне достаточно. Они станут говорить: «Уэлларды сегодня затопили камин в гостиной». Это полностью разрушит мою частную жизнь. Будь я проклят, если допущу это.

— Ерунда!

— Эта ерунда, может быть, единственное, с чем стоит считаться в этом мире.

Лина встряхнула головой и показала на долину.

— Но так это оставить нельзя.

— Что вы предлагаете?

— Не знаю. В том-то и дело. Я ничего не могу сделать.— Помолчав немного, она добавила: — Благодарить вас было бы глупо.

— Еще бы... Я делаю это только ради себя. Не думаете же вы, что я член Общества по Охране Сельских Красот? Впрочем, может быть. Во всяком случае, мне нет никакого дела до Коулби. Кто они такие? Я их совсем не знаю.

— Том возьмет его у вас в аренду. Обязательно возьмет.

— Ничего не выйдет. Это мое собственное поле. Я стану нанимать кого-нибудь косить его. Может быть, Тома. Платить я ему не смогу, но разрешу забирать сено. Я не стану подавать на вас в суд, если вы будете облокачиваться на мою ограду, при условии, что вы не повредите ее. Слава Богу, нам удалось сегодня сохранить кусочек Англии. Я чувствую себя помолодевшим.

Лина сняла руку с ограды и, не глядя на Реджинальда, похлопала его по локтю.

— Мне нравится опираться на вашу ограду,— сказала она.— Поцелуйте за меня Сильвию и передайте ей, что я страшно люблю Уэллардов. До свидания.— И она ушла.

II

Шестьсот фунтов, думал Реджинальд. За такие деньги я мог бы купить Сильвии бриллиантовое колье. Ну, изумрудное. Или сапфировое. Или отдать их ей на покупку туалетов. Самых экстравагантных. Боже мой, я ведь не купил ей и ночной рубашки. Надо поехать вместе, походить по магазинам в Лондоне и накупить кучу мягких, кружевных, крепдешиновых хорошеньких тряпок. Прекрасная мысль!

Чем разговор с женщиной так отличается от разговора с мужчиной? Разумеется, с красивой женщиной. С красивой... или, во всяком случае, женственной. Но почему? Почему я ощущаю... Какое-то возбуждение. Не возбуждение, это слово не совсем подходит. Необыкновенное удовольствие... особый аромат... нет, дрожь, пожалуй, слишком сильно. Ведь я не влюблен в Лину. Разумеется, нет. Может быть, мне кажется, что она влюблена в меня. Да нет же, черт возьми, не так я самонадеян...

Наверное, виной всему некий сексуальный импульс. Желание понравиться, привлечь к себе внимание, блеснуть. Природа стремится воспроизводить себя, и она заставляет самцов блистать перед самками, чтобы они соединились и произвели на свет потомство. Чибис заводит себе новый хохолок — а потом целый выводок чибисят. И так из века в век, и от этого никуда не деться. Значит, истинные причины того, что мне приятно поговорить с Линой через ограду,— недостаточное число жителей Земли... Какая глупость... Но, я думаю, по сути правильно.

Возьмем, к примеру, Бетти Бакстер. Она совсем не дурна. Но испытываю ли я какое-либо волнение, разговаривая с ней? Ни малейшего. Я думаю, мы разных пород. Она не чибис. Грейс Хильдершем? Лина? С Линой все по-другому. Но умри Лина сегодня ночью, мне не было бы больно, разве что из-за Тома. Значит, я в нее не влюблен. Ну конечно нет. Но если бы я знал, что она завтра снова будет стоять у этой ограды, я отправился бы туда же. Только, может быть, чувствовал себя неловко. Ну вот, почему же неловко, если я не...

И почему я раздумываю, говорить ли Сильвии об этих шести сотнях? Конечно, мне совершенно необязательно рассказывать об этом. А почему, черт возьми, не сказать? Но если я нисколько не влюблен в Лину — нет, влюблен — неверное слово. Тогда что? Он шел через Биворс-вуд, раздумывая...

— Привет, дорогой, я решила выйти тебе навстречу.

На ней был светло-золотистый джемпер и юбка табачного цвета, на голове ничего; золотистая лесная нимфа, вне моды; неповторимая; казалось, такой она родилась и такой будет жить вечно. Такой уже тысячи лет она идет по лесам...

Лина! Какая чепуха...

Реджинальд глубоко вздохнул и крикнул:

— Стой там!

Сильвия ждала его с легкой улыбкой на губах, как если бы для нее было неважно, стоять или двигаться, сейчас или всегда.

Он подошел ближе и остановился, не сводя с нее глаз.

— Ты и в самом деле моя жена? — спросил он наконец.

Она кивнула.

— Ты моя? Совсем и на всю жизнь? Правда?

Она снова застенчиво кивнула.

— Невероятно, просто невероятно. Тебе кто-нибудь говорил, что ты — самое красивое создание, когда-либо существовавшее на Земле?

— Только ты, дорогой.

— Я достаточно часто говорю это? Говорю ли я это день и ночь, день за днем и ночь за ночью?

Она быстро повернула в обе стороны гладкую, блестящую головку, словно желая убедиться, что они одни.

— Тебе нравится, когда я говорю так?

Она снова быстро кивнула.

— Тогда я еще раз повторю тебе это,— сказал Реджинальд, обнял ее и поцеловал в губы; потом она повернулась, они взялись за руки, и он быстро повел ее к дому, быстро рассказывая на ходу:

— Я как раз купил поле вдоль дороги к Красному Дому. Лэнгли собирался понастроить тут жутких домиков, таких, как везде. Мне об этом рассказала Лина — я встретил ее. И я покупаю поле, чтобы помешать ему. Ты согласна? Дорогая Сильвия Уэллард, скажите, что вы не против. Трата большая, шестьсот фунтов. Но ты ведь знаешь, у нас совершенно неожиданные доходы от книги. Наша жизнь была бы у всех на виду. Я все время забываю о книге, то есть о ее финансовой стороне, так что давай поедем в Лондон и потратим деньги, по-настоящему потратим. Когда у тебя в доме самое красивое создание, когда-либо существовавшее на Земле, нужно, чтобы у него было достойное обрамление. Поэтому скажи, ты согласна поехать в Лондон и накупить себе самых красивых туалетов?

Кажется, Сильвия была согласна.

Глава десятая

I

Но еще до того, как они обосновались в Лондоне, им представилась возможность вкусить светской жизни на приеме в Семи Ручьях.

— Мы пригласили Эффингемов. Вы знаете сэра Роджера? Он только что вернулся с Малайских островов или откуда-то в этом роде. Он был там губернатором. Берти считает, что человеку, который в течение шести лет не видел никого, кроме своей жены и туземок с кольцами в носу, надо обязательно показать настоящую женщину. То есть тебя, дорогая. Наверное, я самая неревнивая женщина во всем Сассексе. Если бы речь шла не о тебе, а о ком-то другом, я бы сочла, что и сама могу сойти за красавицу после негритянок с кольцами в ноздрях. А с тобой мы договоримся. Я стану отчаянно флиртовать с твоим очаровательным мужем, и это даст сэру Роджеру возможность свободно пообщаться с тобой. Надеюсь, он не злоупотребит этой свободой. Никогда не знаешь, как на людей повлиял жаркий климат и это самоограничение. Престиж белого человека, и так далее. Это дело серьезное. Так в половине девятого, и обязательно надень свое золотое платье. Вот видишь, я не дала бы такого совета никакой другой женщине.

— Мы приедем с удовольствием,— сказала Сильвия, от души надеясь, что говорит и от имени мужа.

— Должны приехать еще несколько забавных людей,— продолжала Бетти тоже с надеждой.— Мисс Воулс и мистер Кокс. Вы знаете мистера Кокса, конечно. Да, тот самый мистер Кокс. Ваш сад просто очарователен. Какой молодец твой муж. Так и должно быть — хозяину нужно самому следить за садом. Так не забудь, в субботу, в половине девятого.

Реджинальд выслушал новость на удивление спокойно.

— Это означает белый жилет,— сказал он.— Я никогда прежде в белом жилете не вел машину и предвкушаю совершенно новое ощущение. К тому же можно считать это подготовкой к Лондону, где вся жизнь проходит в белом жилете.

— Белый жилет тебе идет, дорогой!

— Несомненно.

— Ты всегда раньше делал вид, что не любишь Бакстеров.

— Долой притворство. Я обожаю Бакстеров. Я всегда жаждал познакомиться с Боффингемами.

— Мне кажется, она назвала их «Эффингемы».

— А произносится «Боффингемы». Это чрезвычайно древний род. Сильвия, мы входим в высшие сферы общества, а я лет пять назад оставил гаечный ключ в заднем кармане фрака. Ты сумеешь привести его в порядок?

— Конечно, я приготовлю для тебя одежду, дорогой.

— Замечательно. А если уже поздно отдавать в стирку белый жилет, можно почистить его резинкой или хлебными крошками. Но ты наверняка знаешь, как лучше.

Сэр Роджер был небольшого роста, изящный, аккуратный и загорелый. За стеклами пенсне светло-голубые глаза. В Итоне (об этом сразу можно было догадаться) он заслужил награду за греческие ямбы, в Оксфорде получил медаль за греческую эпиграмму, хотя впоследствии ни его поэтическое дарование, ни его остроумие никак не проявились. Неизвестно, привели бы его стихи древних греков в такой же восторг, как его преподавателей. Он производил впечатление человека спокойного, знающего все тайны мира; хотя на самом деле он знал лишь одну: в мире существует заговор против престижа Великобритании. Все, что ни происходило на земном шаре, было либо очень хорошо, либо очень плохо для Империи. Отборочные соревнования, снижение банковского тарифа — хорошо; джаз и морские договоры — плохо. Сокращение курса античной литературы в наших средних школах, торговля с Россией, очередное банкротство в Сити, современный роман, скачки, смертная казнь, принц Уэльский, длина юбок, изменение правил игры в гольф — все падало на ту или иную чашу весов, и перед сэром Роджером всегда стояла проблема — как что расценить.

— Спросите у Чарли Уинтера, спросите у Лулу,— заметил сэр Роджер,— они скажут вам то же самое.

— Я всегда говорил,— откликнулся мистер Кокс,— что банковские тарифы служат барометром Империи.

Неужели, думает Реджинальд, можно *всегда* говорить подобные вещи?

Сэр Роджер взглянул через стол на маленького пухлого мистера Кокса (того самого Кокса) и с минуту задумчиво оценивал его. Друг.

— Да, в какой-то мере это так,— ответил сэр Роджер.— На вас, господах из Сити, лежит огромная ответственность.

— Когда вы говорите о престиже,— вставил Реджинальд, чувствуя, что надо что-то сказать,— вы имеете в виду внушение туземцам уважения к англичанину?

— Бремя белого человека,— пояснил тот самый мистер Кокс.

Сэр Роджер посмотрел на хозяйку дома, затем на мистера Уэлларда и с минуту задумчиво оценивал его. Враг?

— Я сказал бы, к англичанину как таковому,— уточнил он.

— Хорошо, пусть будет так.

— Да, именно так,— скромно подтвердил сэр Роджер.

— В таком случае я не вижу связи мощного флота и низких банковских тарифов с англичанином как таковым.

— Финансовая связь,— пробормотал мистер Кокс.

— То есть вы хотите внушить низшим, как вы их расцениваете, расам мысль об умственном, нравственном или материальном превосходстве британца.

— Существует два метода правления, мистер Уэллард. Внушать уважение или внушать страх. Мы, британцы, предпочитаем уважение.

— Да, но разве уважение тех, кто подчинен нам, так уж важно? Если я потрачу жизнь на то, чтобы внушить своему садовнику уважение к себе или, скажем, завоевать его, я, несомненно, должен буду проявить различные добрые качества, но жизнь моя окажется страшно ограниченной. И когда Бог спросит меня в Судный день: «Как ты употребил данные тебе Мною таланты?», а я отвечу: «Я использовал их, чтобы внушить уважение моему садовнику, Господи»,— ну, не знаю...— Сказав это, Реджинальд выпил полбокала шампанского и задумался, понравилось ли Сильвии то, что он сказал, и стоило ли приводить Бога на прием к Бетти Бакстер.

Сэр Роджер пожевал губами и произнес:

— Надеюсь, я всегда смогу ответить, что исполнял свой долг.

Старый дурак пытается завоевать мое уважение, вот в чем дело. Совершенно изумительное и в то же время нелепое существо. Типичный англичанин.

— Что вы считаете своим долгом, мистер Уэллард? — задала вопрос Бетти, уже начав слегка беспокоиться.

— Боюсь, что у меня он выражен в форме отрицания.

— Начинайте, Уэллард,— вмешался хозяин дома,— а мы все за вами. Долг человека, выраженный в отрицательной форме. Не обязательно всеобъемлюще или слишком искренне.

Молодчина Берти, подумала его жена. Теперь все в порядке.

— Ну хорошо, вот для начала,— улыбнулся Реджинальд.— Не мириться с мерзостью.

— Прекрасно. Теперь я. Не предъявлять другим бóльших требований, чем себе. Ваша очередь, леди Эффингем.

— Не говорить, когда не знаешь,— сказала ее светлость, и Реджинальд почувствовал, что ему дали отповедь.

— Не делать ничего только потому, что это делают другие,— произнесла женщина по фамилии Воулс.

Все говорят страшно личные вещи, подумал Реджинальд. Интересно, что скажет Сильвия.

— Ну, долг человека, то есть женщины. Салли, давай,— сказал Неизвестный Молодой Человек, подталкивая локтем Неизвестную Барышню, сидевшую рядом с ним.

— Совершать ошибки за свой счет.

— В отрицательной форме, дурочка.

— Хорошо, тогда так. Не позволять другим делать ошибки за твой счет.

— А я считаю, что не надо дожидаться, чтобы события шли тебе навстречу. Они, как правило, этого не делают.

— Люди тоже,— сказала Салли.

— Прекрасно, молодежь,— вмешался Бакстер.— Продолжай, Бетти.

— Ничего не пропустить.

Неплохо, подумал Реджинальд. Что-то скажет Сильвия.

— Не ожидать ничего,— сказал тот самый мистер Кокс.

И я не ожидал от него ничего даже отдаленно похожего. Молодец, подумал Реджинальд. Пока все превосходно. Сильвия, придумай что-нибудь!

— Я скажу обратное тому, что говорил наш хозяин,— произнес сэр Роджер.— Не предъявлять другим *меньших* требований, чем себе.

— Хорошо,— одобрил Бакстер.— Теперь миссис Уэллард.

Все посмотрели на Сильвию. Сильвия, любимая! Румянец цвета дикой розы стал ярче.

— Не бояться,— сказала Сильвия.

II

Реджинальд вошел в гостиную, преисполненный гордости. И не только потому, что Неизвестный Молодой Человек прошептал ему: «Кто это Неземное Создание рядом с Бременем Белого Человека?» А потому что в игре, в которую играли они все, она дала лучший ответ. «Не бояться». Я всегда боюсь, подумал он. Сэр Роджер всю жизнь прожил в страхе. В страхе, что кто-нибудь подумает иначе, чем дозволено. Бетти беспрестанно боится совершить какую-нибудь ошибку. Бакстер... чего же боится Бакстер? Если задуматься, я совсем не знаю Бакстера. Я всегда воспринимал его как биржевого маклера. Глупость какая-то.

В гостиной было включено радио.

— Передают старые вальсы,— заметила Бетти.— Для леди Эффингем и для меня это масса воспоминаний. А Сильвия и Салли вряд ли представляют себе, что такое вальс.

— Сколько воротничков я извел тогда,— сказал тот самый мистер Кокс.— Музыка возвращает меня к этим воротничкам. Я всегда говорил, что мне надо не меньше трех за вечер.

— Берти, мне хочется, чтобы мы с тобой станцевали этот вальс. Подойди и дай мне руку. Я сегодня сентиментальна.

— Да, что-то в них есть, в старых вальсах,— признала Салли.

Сэр Роджер подошел к жене. Они улыбались друг другу. Возможно, мелодия навевала им какие-то воспоминания. Он сел рядом с ней. Сейчас он возьмет ее за руку, подумал Реджинальд, или нет — под руку и поведет в оранжерею.

— Берти, очнись!

Бакстер стоял посреди комнаты, склонив голову набок, прислушиваясь к шелесту старинных длинных платьев по натертому паркету. Где-то далеко.

— Берти!

Берти очнулся, пересек гостиную и выключил приемник при начальных звуках нового вальса.

— Совершенно изумительная мелодия,— сказала Салли.— Никто не знает названия?

— Боже, конечно нет,— ответила Бетти.

— «Сицилиетта».

— Что-что? — спросил Неизвестный Молодой Человек.

— Забавно, что ты помнишь, Берти. Повтори еще раз.

— «Сицилиетта»,— буркнул Бакстер. Он стал предлагать мужчинам сигары, затем закурил сам и целиком отдался этому занятию.

— Расскажите нам о ней,— попросила Салли.

— Салли, ты невозможна.

— Было какое-то приключение, Берти? Ты мне никогда о нем не рассказывал, правда?

— Да, было, Бетти. Нет, не рассказывал. Я никому о нем не рассказывал.— И добавил после паузы: — Собственно, здесь не о чем рассказывать.

— Но мы просим вас,— улыбнулась леди Эффингем.

— Я не стану устраивать сцен ревности, Берти. Ты знаешь, я не ревнива.

— Я бы сказал, звучит угрожающе,— заметил Неизвестный Молодой Человек.

— Не говори глупостей, Клод,— одернула его Бетти.

Клод и Салли, подумал Реджинальд. Теперь я знаю всех.

— Здесь нет поводов для ревности. Разве кто-нибудь женится на своей первой любви? На девушке, которая казалась первой любовью. Сыграем в бридж, сэр Роджер?

— Разве вы не будете рассказывать?

— Пожалуйста, расскажите,— попросила Сильвия.

— Вы бы не назвали это рассказом, Уэллард. Это всего лишь... ничего особенного. Вы в самом деле хотите послушать? Ну ладно... История довольно простая.— Он откинулся на спинку кресла и затянулся сигарой.

Если бы люди умели переставать пить вовремя, думал Реджинальд. Как Бакстер сейчас. Как раз в тот момент, когда не утрачено ничего, кроме робости.

— Мне было года двадцать два. Если Бетти говорила вам, что я племянник герцога Аргайла или внук Ротшильда, забудьте об этом. Мой отец был сельским врачом. Он сумел послать меня в Кембридж; я изучал право. Потом дальний родственник взял меня в свою фирму в Сити, но только потому, что умер его сын, а ему хотелось сохранить имя. Первое время я не знал в Лондоне никого. Однажды я обедал у Грумса и уже собирался уходить, когда кто-то окликнул меня. Я обернулся, и лицо говорившего показалось мне знакомым. «Бакстер?» — спросил он. Я не сразу, но вспомнил его. Мы вместе учились в школе. Его фамилия была Вест. Я присел за столик и выпил с ним чашку кофе. Мы разговорились — как дела, чем сейчас занимаешься и так далее. По крайней мере, я рассказывал; он был неразговорчив. Вдруг он спросил, как будто все время только об этом и думал:

— Ты хорошо танцуешь?

В те времена танцевали по-настоящему. Устраивались торжественные, хорошо организованные вечера, куда нельзя было попасть без приглашения. Я немного танцевал в Кембридже, а как следует выучился в Лондоне. В субботние вечера я ходил в какой-нибудь танцевальный зал, и моими партнершами были молоденькие продавщицы; чертовски хорошенькие и чертовски любившие танцевать. Это все, что я мог себе позволить. Я никого не знал в Лондоне. Мы танцевали вальсы, котильоны, веселились напропалую. Как выяснилось, этот Вест пообещал привести с собой приятеля на Охотничий бал в Бистер. Не соглашусь ли я поехать? Ночлег обеспечен, и так далее. Конечно, в то время перспектива Охотничьего бала меня

немного страшила. Если вы думаете, что я в детстве был близок с аристократией или разбирался в лошадях, то ошибаетесь. Я с трудом различал, где у лошади перед, где зад. И конечно, я понимал — меня приглашают заткнуть дырку; Веста кто-то подвел. Но я не был гордецом, я очень любил танцевать, к тому же у меня мелькала смутная надежда, что я смогу понравиться этим охотникам и в тяжбах друг с другом они станут прибегать к моим услугам. Поэтому я ответил согласием и уговорился встретиться с Вестом на Паддингтонском вокзале на следующий вечер.

Разумеется, была зима, январь, темень, холод и слякоть. Нас встретили в Бистере и отвезли в усадьбу. В экипаже; на дорогу ушло часа полтора. Нас встретил Дворецкий и проводил нас в отведенные нам комнаты; когда мы переоделись и спустились вниз, уже начинался ужин. Меня представили множеству людей, но их фамилии ничего мне не говорили, и ни одна не удержалась в памяти. Их было человек десять — двенадцать; все мужчины, кроме нас,— в красных фраках, а девушки в розовых, голубых и зеленых платьях, чудовищно не сочетавшихся друг с другом. Только одна была в скромном черном платье. Моя соседка справа спросила, в чьей группе я охочусь, а узнав, что не охочусь вовсе, потеряла ко мне интерес и только за десертом, забыв, что уже спрашивала, повторила вопрос. Моя соседка слева спросила меня о том же, хозяйка, сидевшая напротив, тоже. Узнав, что я не участвую в охоте, они тоже утратили интерес ко мне. Так что ужин оказался довольно унылым.

— Бедняга Берти, неудивительно.

Бакстер выпустил облако дыма и наблюдал, как оно медленно превращалось в серую вуаль, повисшую неподвижно на уровне его взгляда. Вдруг он резким движением левой руки разогнал дым и продолжил рассказ:

— Девушка в черном. Как описать ее? Она была высокая и стройная и, казалось, напряженно ждала кого-то или чего-то, ждала, что произойдет нечто. У нее был — глупо звучит — хорошей формы нос и вздернутая верхняя губа. Именно эта короткая верхняя губа придавала ее лицу выражение ожидания, из-за нее рот был чуть приоткрыт и виднелись мелкие, снежной белизны зубы. Голова чуть наклонена, высокие скулы, румянец на щеках, но не от ветра или дождя, а от какого-то внутреннего огня. Было заметно, как он становился то ярче, то слабее... Видишь ли, Салли, это были времена, когда девушки еще не красились. Тогда гримом пользовались лишь актрисы и женщины сомнительного поведения.

Жаль, что я не могу описать ее лучше. Помню, я даже чуточку ее побаивался. Она казалась такой гордой, в ней чувствовалась порода. Все остальные девушки превосходили ее красотою, но, выражаясь их собственным языком, она была из другой конюшни. Глядя на нее за ужином, я раздумывал, отважусь ли я пригласить ее на танец.

Как только ужин кончился, мы уселись в экипажи. Я оказался в одной карете с нашей хозяйкой, двумя девушками — в розовом и голубом — и двумя мужчинами. Мы возвращались в Бистер невероятно долго, по дороге уговариваясь, кто с кем танцует. Когда мы добрались до места и оказались в танцевальном зале, я поискал глазами девушку в черном. Казалось, ее знают здесь все. Когда я сумел подойти к ней, у нее оставался всего один свободный танец. Последний. Двадцатый. Тогда, Салли, танцы записывали в специальную книжечку.

Бал оказался отвратительным. Любая из моих партнерш-продавщиц танцевала лучше всех этих девушек. А мужчины... Наверняка они были без шпор, но казалось, что со шпорами,— так сильно они то и дело задевали тебя по ногам. Ужасно. Время от времени мне удавалось пропустить танец и побродить с сигаретой, делая вид, что я кого-то жду; во всяком случае, так мне никто не оттаптывал ноги. К счастью, одна партнерша у меня была прекрасная — наша хозяйка; очевидно, ее кто-то подвел. Она состояла в каком-то родстве с Вестом и все расспрашивала меня о нем — а мне не хотелось признаваться, что мы не виделись с тех пор, как нам было по двенадцать лет. Раза два она опять спрашивала, в какой группе я охочусь, и тут же спохватывалась: «Ах да, вы же не охотитесь, вы уже сказали». Право, мне стоило бы повесить на грудь объявление, чтобы не оставалось никаких сомнений.

Пришло время последнего танца, и я разыскал девушку в черном. Я устал и совершенно замучился и подозревал, что она тоже. Танцевали мы скверно. Мы кружились и кружились по залу, пока музыка не перестала звучать. Тогда все

остановились и стали неуверенно хлопать в ладоши, а я молил Бога, чтобы и оркестр выдохся и можно было уехать. Но нет. Они начали новый вальс — «Сицилиетту».

В тот раз я впервые услышал его; возможно, его и играли впервые. Может быть, сам дирижер написал его и решил попробовать под конец вечера, чтобы понять, как он пойдет. Играл один из известных лондонских оркестров. Мы снова начали танцевать, и в этот раз действительно танцевали. И неудивительно. Я никогда не встречал девушки, которая танцевала бы лучше; никогда на свете не было двух людей, которые так подходили бы друг другу. Наши лица находились почти на одном уровне, и когда я бросал на нее взгляд, я видел перед собой ее глаза и видел в них такой восторг, как будто наконец исполнилось то, чего она давно ждала.

Наверное, они играли эту мелодию целый час. Даже те, со шпорами, стали танцевать по-человечески и не давали оркестру уйти. Мы танцевали и танцевали, слишком счастливые, чтобы обменяться хоть словом, только время от времени улыбались друг другу. Потом все кончилось, и наш хозяин заторопил нас, говоря, что лошади больше не могут ждать, и мы поехали, рассевшись так, как раньше. Я вновь оказался в обществе девушек в розовом и голубом.

Мы вернулись в дом около четырех. Все сразу же разошлись по своим комнатам. Вест должен был возвращаться рано, это означало, что мы будем завтракать в семь. Я только тогда и услышал об этом. Когда я желал хозяйке спокойной ночи и благодарил ее, то ждал, что она предложит мне задержаться, но этого не случилось. Я бы, конечно, не отказался уехать более поздним поездом, но она, очевидно, считала, что мы с Вестом неразлучны. Снова холод, темнота и слякоть; мы снова ехали в Бистер, на этот раз совершенно сонные; всю дорогу до самого Паддингтона мы спали, просыпались и снова засыпали, а потом Вест сказал: «Ну, до свидания, старина» — и взял кэб. Я вернулся к себе и стал думать о девушке в черном.

Я напишу ей и попрошу выйти за меня. Нет, ерунда. Конечно, надо написать и попросить о встрече, а потом, через день, через неделю, я попрошу ее выйти за меня. В любом случае мы должны увидеться как можно скорее.

Я сел писать ей. Дорогая... И тут я вспомнил, что, как это ни невероятно, я не знаю ее имени. Ну что ж, я узнаю его от хозяйки дома. Но как? Не могу же я написать, что мне понравилась девушка в черном и я хочу узнать, кто она. Я выдумывал новые и новые предлоги и наконец остановился на том, что мы с этой девушкой разговаривали об одной книге, которую я обещал ей прислать; «не будете ли Вы любезны сообщить мне имя и адрес девушки?» Потом я решил, что лучше послать девушке не книгу, а ноты вальса, который мы танцевали, — «Сицилиетты». Я узнал его название от дирижера.

Я сел писать нашей хозяйке. Конечно, я в любом случае должен послать ей письмо с благодарностью за гостеприимство. Была среда, ответа я ждал в пятницу, и если я напишу сразу же, то письмо от девушки может прийти в понедельник. Безумие — терять целых три дня, но ничего не поделаешь. «Дорогая...» И тут я вспомнил, что не знаю ни имени, ни адреса хозяйки.

Новая отсрочка. Но теперь все просто. Я должен ее поблагодарить, поэтому совершенно естественно, если я узнаю у Веста ее имя и адрес. Я сел и написал ему; написал, что очень доволен поездкой и чувствую себя обязанным поблагодарить хозяйку, но не знаю, куда адресовать письмо. Я просил извинить меня за беспокойство и выражал надежду, что мы скоро встретимся.

Бакстер медленно поднялся с кресла и минуту постоял, тихонько насвистывая первые такты «Сицилиетты». Затем, вздохнув, он повернулся к камину и сказал:

— Вот и все. На этом история кончается.

Раздались удивленные возгласы слушателей.

— Но как же!..— воскликнула Салли.

Бакстер бросил окурок сигары в огонь.

— У меня не было адреса Веста. Я не мог вспомнить его имени и не знал, где он работает. Я больше никогда не встречал ни Веста, ни нашей хозяйки, ни девушки в черном. А теперь, сэр Роджер, не сесть ли нам за бридж?

Бетти встала, подошла к Берти и сжала его локоть.

— Бедняга,— сказала она.— Хотя я рада, что все получилось именно так. Ну, кто будет играть?

III

Бакстеры и Эффингемы играли в бридж, молодые люди удалились в бильярдную, а мистер Кокс рассказывал Сильвии историю своей жизни.

Реджинальд оказался рядом с мисс Воулс.

— Давайте выйдем на воздух,— сказала она,— здесь душно.

Они уселись на одной из многочисленных веранд, которые Бетти именовала лоджиями, в ласковой тишине наступившего вечера.

— Вы позволите? — спросил Реджинальд, показав на свою трубку, и она кивнула. Тогда он набил трубку и закурил.

— Как люди глупы, правда? — сказала она вдруг.

— Я как раз не могу решить, кто я — совершенный осел или...

— Или мудрец?

— Да нет, человек среднего ума.

— Как вы собираетесь выяснить это?

— Задав вам один вопрос.

— Задавайте.

— Если я окажусь полным идиотом, вы не рассердитесь?

— Нет.

— Ну хорошо, рискну.— Он взглянул на нее и отвел глаза.— Вы всегда ходите в черном?

Какое-то время она молчала. Реджинальд стал сомневаться, слышала ли она его, а если слышала, то поняла ли. Он затянулся и подумал, что все же оказался дураком.

— Бакстер,— прошептала она.— Забавно чуть ли не тридцать лет пытаться узнать его фамилию, а потом выяснить, что просто Бакстер.

— Но вы ведь не дожидались его все это время,— предположил Реджинальд.

— О нет!

— Но долго? Простите меня. Не сердитесь, что я спрашиваю.

— Мне всегда хотелось узнать, что произошло. Я была уверена, что он не мог уйти просто так.

— Я не знаю, что можно было бы предпринять на его месте, а вы?

— И я... Но как вы угадали?

— Я заметил, что мелодия имеет какое-то значение и для вас. И потом — его описание... Он описал вас очень точно... Такою, как вы сидели там в кресле.

— Это было тридцать лет назад,— сказала мисс Воулс с легким смешком.

Множество комплиментов пришло в голову Реджинальду, но он молчал.

— А он, конечно, не подозревает,— произнесла мисс Воулс.

— Конечно нет. А вы ни о чем не догадывались, пока он не начал рассказывать?

— Совершенно. Только когда он упомянул Охотничий бал в Бистере. Тогда я сразу поняла.

— Я думаю, совершенно невероятное ощущение — спустя тридцать лет слушать этот рассказ.

— Да. Невероятное. Я почувствовала, что вы догадались. Наверное, только вы. Разве что...— Она задумалась.

— Я уверен, что, кроме меня, никто не мог...— сказал Реджинальд с оттенком гордости. Он представил себе продолжение фразы: «Ведь я пишу романы, изучать людей — моя профессия» — и содрогнулся при мысли о том, что нечто подобное можно произнести вслух. Вместо этого он спросил:

— Скажите, тогда... для вас много значила эта история? Мне всегда хотелось узнать, когда я ходил на танцы и мне нравилась какая-нибудь девушка, нравлюсь ли я ей тоже. Вы понимаете, о чем я говорю. С первого взгляда, сразу.

— Да, думаю, что да. Может быть, у девушек это реже. Мужчины чаще реагируют одинаково. Я хочу сказать, они часто бывают похожи один на другого. Одного типа. Особенно те, кто увлекается охотой. Мистер Бакстер был не таким — тогда. Сейчас он какой-то биржевой маклер... или просто выглядит так. Эта уверенность в себе, и аккуратные усики, и все остальное. Он был... больше похож на вас.

— На меня? — рассмеялся Реджинальд.

— Ну да, такой тип довольно редко встречается... в охотничьих кругах.

Они снова помолчали. Если бы я был настоящим писателем, я бы написал об этом рассказ. Сейчас ей, наверное... сколько? Лет сорок пять. Но пока Бакстер рассказывал, она была совершенная девушка в черном.

Мисс Воулс заговорила, почти позабыв, что Реджинальд рядом, как будто девушка в черном рассказывала приятной немолодой мисс Воулс о том, что произошло полчаса назад:

— Я заметила его за ужином. Наши взгляды ни разу не встретились, но я чувствовала его присутствие. Я знала, что он не такой, как остальные; и думала, что я тоже отличаюсь от окружающих... пока не убедилась в обратном. Он, очевидно, был прав, сказав, что я чего-то ждала. Когда живешь в каком-то окружении, а сам — иной, то обязательно думаешь, что так не может длиться вечно. Что существует возможность бегства... пока ты молод.

Мне вовсе не хотелось выглядеть гордячкой...

Я пробовала оставить несколько танцев на случай, если бы он пригласил меня. Мне хотелось этого. Но когда он подошел, оставался только один. Я страшно устала к тому времени, как заиграли этот танец, да и мелодия была бестолковая. Мне не показалось, что он хорошо танцует, к тому же он все время молчал. Хотелось поговорить о чем-нибудь, чтобы понять, что он собой представляет, но ничего не приходило в голову. Я боялась, что если открою рот, то обязательно спрошу, в чьей группе он охотится...

Потом заиграли эту мелодию, и мы оба вернулись к жизни. Я чувствовала, что знаю его давным-давно и что все прекрасно. Он был не такой, как все, я тоже; мы наконец встретились. Можно ли влюбиться вот так, сразу? Наверное, нет. Это только кажется.

— А может быть... Не могу сказать...

— Конечно, я думала, что увижусь с ним утром. Я придумывала, о чем мы будем говорить. Ведь мы же не обменялись ни словом. Только смотрели друг на друга, и он одно мгновение... вечность держал меня в объятиях. Глупо, конечно, я понимаю. Вся эта история — глупость.

Я сказала сегодня — не делать ничего только потому, что это делают другие. В те времена девушкам полагалось ждать, правда? Ничего не делать, только ждать. И я ничего не делала. Только ждала, что он вновь появится, что он напишет мне. Но этого не случилось.

Тогда мне стало казаться, что я все это выдумала.

Она замолчала. Потом очень тихо стала напевать этот вальс. Глупая сентиментальная мелодия, думал Реджинальд, а все же... Он различал в полумраке овал лица своей собеседницы, и ему легко было представить ее опять восемнадцатилетней, романтичной, ждущей, что вот-вот что-то произойдет, представить все, что она читала, думала и воображала в этом чужом окружении, все, что вдруг проснулось в ней. Была бы она счастлива с ним? Не с этим, довольным и благополучным, а с тем, каким он был тридцать лет назад?

— Не представляю, что бы вы могли сделать,— заметил он прозаически.

Она перестала напевать и ответила:

— Написать мистеру Весту. Только и всего.— И снова продолжила мелодию.

— Это изменило... изменило вашу жизнь?

Она замолчала, рассмеялась и сказала:

— Не стоит впадать в сентиментальность. В каком-то смысле, я думаю, изменило. Я стала сдержаннее, меньше доверяла своим чувствам. Замужество всегда казалось мне делом серьезным. Я думаю, каждому из нас дан шанс, упустив который, мы заменяем его чем-то второсортным. Я не сумела заменить. Я чувствовала, что потеряла предназначенное мне счастье, и для меня все на этом кончилось.

— Но было бы счастьем, если бы он... я хочу сказать, вы, наверное, должны были обидеться на него. (Бакстер как предназначенное судьбой счастье!)

— Я ведь видела, что он робок и очень скромен, и к тому же в чужом окружении. Это я должна была что-то сделать. (Бакстер робок!)

— Давайте вернемся. Становится прохладно,— сказала мисс Воулс.— А я уже не так молода.— Но прежде чем встать, она спросила: — Вы влюбились в свою жену как только увидели ее, сразу же — даже прежде чем обменялись с ней хотя бы словом?

— Именно так,— с жаром подтвердил Реджинальд.

— Ну да, так и должно было быть.— Она встала.— Вы, конечно, никому ничего не скажете, хорошо? Пусть это будет нашей тайной.

— Конечно, никому,— Реджинальд вслед за ней направился в комнаты,— за исключением Сильвии. Я не могу обещать не говорить ей, потому что...

— Она не станет всем рассказывать?

— Нет. Не думаю. Как мало мы знаем...

— Действительно, мало.— Мисс Воулс взглянула на него со странной улыбкой.— Скажите ей завтра, если захотите. Или в понедельник. После моего отъезда.

И Реджинальд ничего не сказал Сильвии, когда они очутились в машине, и ничего не сказал ей, пока осторожно вел автомобиль по грунтовой дороге, а когда они добрались до шоссе, Сильвия сказала:

— Ведь это она — та девушка?

— Какая девушка?

— Девушка в черном.

— Кто?

— Мисс Воулс.

— Кто это сказал? — воскликнул Реджинальд.

— Никто,— задумчиво ответила Сильвия.— Просто догадалась. Я подумала, что она могла рассказать тебе об этом, пока вы сидели на веранде. Все было хорошо, дорогой? Мне кажется, ты сегодня не скучал.

IV

Сильвия спала, положив, как обычно, правую руку под подушку. Под легким одеялом в свете месяца она казалась обнаженной. Все, что соприкасается с ней, думал Реджинальд, с радостью становится частью ее; как будто ее красота находит все новые и новые способы выразить себя. Она лежала без звука, без движения. Она оставляла здесь свою красоту, чтобы утром опять слиться с нею.

Реджинальд лежал на спине без сна и размышлял. Кто бы мог подумать, что с Бакстером приключилась такая история! Хотя что тут особенного? В юности влюбился в девушку, а она влюбилась в него. Что здесь такого? С тысячами юношей каждый день происходит то же самое. Только что девушка особенная и что он ей казался особенным. Бакстер! Постой, как же это было? Два лица?.. Два человека?.. Две души?.. Минутку... «Одно для мира» — да, верно. «Одно — для женщины любимой». У человека два чего-то, одно для мира, одно для женщины любимой. Два лица? Ведь нельзя, чтобы лицо было дважды... да нет, отчего же, если у тебя два лица... Не засну, пока не вспомню. Надо сосредоточиться. Как заметно, что ночью человек глупеет. У человека два лица, одно для мира, одно — для женщины любимой. Все!..

У Бакстера два лица. У каждого из нас два лица. Я знаю одно прелестное лицо Сильвии, а другого никогда не видел. А может, видел? Не знаю. У Бетти два лица. Мне сегодня понравилась Бетти. Есть жены, которые стали бы ревновать из-за подобной истории, потому что она случилась до того, как они познакомились со своими мужьями. Часть прошлого, к которому они не имеют отношения. Но Бетти молодец. Бетти — подумать только! Просто три лица. Одно для мира, одно для женщины — или мужчины,— и одно, которое никто, кроме Бога, не видит дольше нескольких мгновений... Человек с тремя лицами...

Но Бакстер! Типичный светский человек... Завсегдатай клубов... Какая разница между светским человеком и завсегдатаем клубов?.. Я бы предпочел быть светским человеком... Хотя нет... Я лучше бы... я в клубе... в клубке... все больше и больше...

Реджинальд повернулся на бок, положил руку на плечо Сильвии и уснул.

Глава одиннадцатая

I

Где-то на окраине города, к северу от Темзы, между Южным Кенсингтоном и Глостер-роуд, на самом краю современной цивилизации стоит указательный столб, одна из стрелок которого указывает на Лондон, этот пуп Империи, а другая,

расположенная под прямым углом к первой, на неосвоенную территорию Хейуардс-гроув. Кто поставил указатель, неизвестно; может быть, Хейуард. Этот указатель не перестает раздражать жителей Южного Кенсингтона и в особенности их жен, ибо как они могут решить, «пусто» в Городе или «полно народа» — в зависимости от того, дома они сами или нет,— если, согласно указателю, Город вообще находится в другом месте? Но для обитателей Хейуардс-гроув дорожный знак служит предметом гордости, поскольку существует только для них, а в дождливую ночь вызывает чувство глубокого удовлетворения, ибо по нему могут ориентироваться шоферы, которые иначе вряд ли рискнули бы повезти джентльмена в вечернем костюме по такой малопривлекательной улице.

Совершенно случайно двенадцать домов Хейуардс-гроув принадлежат двенадцати владельцам, каждый из которых живет или, как выражаются агенты по недвижимости, проживает здесь. Иначе Гроув непременно сделалась бы кварталом предназначенных к сдаче превосходных квартир, выходящих на Истнистрит, или открытым круглые сутки гаражом, или просто отделом садовых оград и огородного инвентаря, расположенного поблизости универмага. Время от времени миссис Карстэрс из дома номер шесть выражает желание продать свое владение отделу садовых оград, но то, что оно расположено посреди Гроув, не дает возможности превратить эту идею в деловое предложение, и миссис Карстэрс приходится довольствоваться тем, что она время от времени сдает квартиры «приличным и благонадежным» жильцам.

Прежде чем она отбудет в Бакстон, потихоньку взглянем на нее в спальне. Она в ночном чепчике и серой шали, присланной из Шетланда внуком, который ездит в те края рыбачить. «Будем надеяться,— сказала миссис Карстэрс, когда служанка развернула перед ней посылку и вытащила шаль,— что в рыбе он понимает больше. Я стану носить ее за завтраком, Паркс, при условии, что ты не будешь ею восхищаться. Никто больше не должен видеть меня в ней». Паркс принялась восторгаться мягкостью шерсти, а миссис Карстэрс добавила: «Кстати, когда день рождения мистера Гарольда? Во вторник? Удивительно!»

И вот теперь она завтракает в постели и распечатывает почту, а Паркс стоит неподалеку.

— Некий мистер Уэллард,— говорит миссис Карстэрс,— кажется, он написал книгу под названием «Вьюнок». Я, должно быть, читала ее, поскольку я читаю все, что выходит, но не помню ни слова, значит, вряд ли это хорошая книга. Если не считать плохой книги, его рекомендации вполне удовлетворительны.

— Я помню этого джентльмена,— замечает Паркс.— Он, кажется, очень приятный.

Миссис Карстэрс поднимает брови и говорит:

— Ты поедешь со мной в Бакстон.

— Да, мадам,— кротко соглашается Паркс.

— Я оставлю Стоукер, и они привезут служанку с собой. Сегодня придет человек, чтобы переписать обстановку. Если ты обратила внимание на джентльмена, Паркс, то наверняка запомнила и его жену. Что ты скажешь о ней?

— В первый раз он приезжал один, мадам, а в другой раз у меня был выходной.

— А! Подойди-ка к зеркалу и взгляни на себя, Паркс. Нет, к большому.

Удивленная Паркс идет к зеркалу.

— Ты считаешь, что хороша собой?

Паркс краснеет и говорит:

— Нет, мадам.

— Ты хочешь сказать: «Да, мадам».

— Да, мадам,— повторяет Паркс и в своем смущении кажется очень хорошенькой.

— Но не умна.

— Да, мадам.

— А ум долговечнее.

— Да, мадам.

Паркс слышала в кухне разговоры о том, что миссис Уэллард очень красива, и раздумывает теперь, относится ли последнее замечание к ней или к миссис Уэллард. А в сущности, кому нужен этот дурацкий ум?

— Как ты думаешь, я была красива в молодости?

— Да, мадам,— спешит ответить Паркс.

— Нет, ошибаешься. У меня была только хорошая кожа. Сейчас кожу можно купить, а в мое время надо было иметь собственную. Это гораздо труднее. Кожу и фигуру; в мое время фигура должна была быть фигурой, а не полным ее отсутствием. Да еще ум, Паркс. Миссис Уэллард, бедняжка, только красива. Но, Боже, до чего красива! Ну а теперь пойди пришли мне Стоукер.

После чего она отбывает в Бакстон, и мы теряем ее из виду.

II

Они приехали в Лондон во вторник, Реджинальд и Сильвия в автомобиле, Элис с багажом — на поезде.

— Мы сможем пользоваться автомобилем в Лондоне, как ты думаешь? — спросила Сильвия.

— Нет, но мы не будем чувствовать себя оторванными от Вестауэйза. Мы сможем заскочить туда в любой момент, когда захотим. Я не знаю толком, как это «заскакивают», но ясно, что не поездом. Кроме того, мне хочется повести машину.

— Ты уверен, что справишься, дорогой?

— Почти уверен, что не справлюсь, а во вторник посмотрим.

— Конечно, справишься.

Удивительно, думает Реджинальд. Только что она в этом сомневалась.

— Конечно, справлюсь. Хотя не исключено, что, как только мы въедем в предместье, я вдруг почувствую усталость и попрошу тебя ненадолго сесть за руль. А к тому времени как ты сумеешь разминуться со встречным автомобилем, избежать столкновения с фонарным столбом и увернуться от двух трамваев и одного полицейского, я, возможно, уже отдохну и снова поведу машину. Не знаю, чем это кончится. Но надеюсь на лучшее.

Проснувшись утром во вторник, он ощутил нависшую над ним тяжесть. То ли выступление перед публикой, то ли поход к зубному врачу. Ах да, он должен вести машину в Лондон. Не так плохо. Действительно, что ж тут плохого. Даже приятно. Чертовски приятно. Смешно, чтобы взрослый человек, писатель, к которому обращаются за автографами, так нервничал из-за ерунды. Он громко плескался, принимая ванну, энергично растирался полотенцем, пытаясь внести веселье в свои действия...

— Разве ты не голоден, дорогой? — спросила Сильвия за завтраком.

Неусыпная забота, подумал Реджинальд. А вслух ответил:

— Как обычно.— И сердито поинтересовался: — А что?

Разумеется, он справился. Сам. Ну, не совсем сам, думает он. Без подсказок Сильвии, без ее «Прекрасно, дорогой» в нужных местах я бы никуда не доехал. Хорошо было бы всюду брать с собою крошечную Сильвию; носить ее в жилетном кармане; тогда можно было бы время от времени вынимать ее и чувствовать ее тепло ладонью и слышать, как она говорит: «Прекрасно, дорогой»... А потом, конечно если захочешь, снова спрятать ее, когда рассуждаешь в клубе о теории относительности или ведешь тонкий и остроумный разговор, ну, скажем, с Линой или, например, с мисс Воулс...

Проклятье, рассердился Реджинальд. Почему мне в голову лезут такие мысли? А что Сильвия думает обо мне? Мир обратился бы в ад, знай мы мысли друг друга!

Элис и приготовленный чай ждали их в гостиной миссис Карстэрс.

— Привет, Элис,— сказал Реджинальд радостно, как будто только что вернулся с полюса и встретил старого друга.

По счастью, Элис знала, как следует отвечать.

— Добрый день, сэр,— почтительно произнесла она. Когда Элис вышла из комнаты, Реджинальд принялся хохотать.

— Что с тобой? — улыбнулась Сильвия, заражаясь его весельем.

— Я подумал, как бы мы удивились, если бы на мое «Привет, Элис», она ответила бы «Привет». Хотя ничего более естественного быть не может.

— Элис никогда бы так не сказала.— Такое предположение задело Сильвию.

— Конечно, нет, но это было бы смешно,— уверял Реджинальд.

Черт, думал он, как же ты не видишь, что это смешно?

Сильвия задумчиво разливала чай... Потом улыбнулась... Потом принялась хохотать...

Как я люблю твой смех, дорогая. Он так же прекрасен, как и вся ты. Как редко ты смеешься со мною вместе, Сильвия. Ты, щедро дарящая мне другие свои богатства. Дай мне свой чудесный смех, любимая, ничто в мире не может сравниться с ним...

Ну хорошо, подумал он, поскольку она продолжала смеяться, в конце концов не так уж это и смешно.

III

Обосновавшись в Лондоне, Реджинальд, естественно, начал задумываться, зачем он приехал сюда. Есть ли у него программа? Вечера как-нибудь устроятся; можно делать все то же, что за городом (то есть выбор невелик), и, кроме того, еще множество всяких вещей. Но что делать утром и днем и в прелестную пору между чаем и вечерней ванной? Насколько легче думать об этом «там», чем воплощать это «здесь». Быть сегодня в Англии — в этот день апреля! [1] — так можно мечтать, находясь в Италии, не расписывая подробно свои занятия от завтрака до ленча, от ленча до чая, от чая до ужина. Совсем необязательно восклицать: «О, беседовать с мистером Теннисоном во Фрешуотере 7 апреля в 11.30 утра!» Англия, апрель — достаточно этих двух слов. Но, сойдя с корабля на берег, не стоит кричать: «Я в Англии, в апреле, ура!» Надо как-то воспользоваться этим обстоятельством.

Лондон в конце октября. Что делать в Лондоне в конце октября? Встречаться с людьми. Разве не за этим он приехал в Лондон? В Вестауэйзе у него были другие занятия, зато здесь — именно такие. Хорошо. Он станет встречаться с людьми. Каким образом?

Стояло сияющее октябрьское утро. (О небо, зачем они уехали из Вестауэйза!) Сильвия в этот момент «встречалась» с миссис Стоукер на кухне. Он мог представить себе, как она, присев на кухонный стол, покоряет в очередной раз старую кухарку. Миссис Стоукер предлагает сделать замечательное филе камбалы, но про себя рассуждает, что никогда в жизни ей не приходилось иметь дела с такой приятной и милой дамой, а что касается внешности, то сама царица Савская была бы посрамлена при виде миссис Уэллард. Однако они продолжают обсуждать, какие блюда предпочитала миссис Карстэрс и какие могли бы понравиться мистеру Уэлларду... Хейуардс-гроув... Вестауэйз... и, несомненно, довольно долго беседуют о покойном мистере Стоукере... пока наконец Сильвия не наденет шляпку (что тоже займет немало времени) и не отправится через дорогу и, свернув за угол, как хаживала миссис Карстэрс, не ослепит поставщика рыбы, пообещав ему при том, что он сможет и дальше приносить рыбу в дом номер шесть, тем самым способствуя питанию бесценного мозга автора «Вьюнка». Да, время Сильвии было совершенно заполнено. Она уже освоилась. А как же мистер Уэллард?

— Придумал! — воскликнул Реджинальд.— Замечательно! — И он тоже надел шляпу (что вовсе не заняло у него времени) и отправился в «Бингли Мейсон», по дороге раздумывая, не ошибся ли он, точно ли это «Бингли Мейсон»?

Потому что, хотя Бингли Мейсон, Э. Х. Пратт, Миллер и Пибоди, Стантоны, а также Уитерби Белл занимались продажей самых очаровательных дамских вещиц, дамы бывают разные. Великосветские дамы, настоящие дамы, красивые дамы, несомненные дамы, а также женщины, вздрагивающие при слове «дама», и все они становятся еще более великосветскими, еще более настоящими, более красивыми и несомненными при содействии того или другого из этих джентльменов. И хотя витрины притягивали всех этих дам к дверям магазинов и не оставляли равнодушными и мужчин, его жене только один из магазинов казался райскими вратами. Около остальных она, очаровательно пожав плечами, говорила: «Ну конечно, Стантоны» или снисходительно замечала: «Совсем неплохо для Уитерби Белла», инстинктивно чувствуя, что только у Бингли Мейсона вещи отмечены маркой высокого класса. Во всяком случае — Реджинальд был не совсем уверен,— мне кажется, это именно «Бингли Мейсон».

В далекое предвоенное время, в эпоху финансовой невинности человека, уважаемый гражданин мог без колебаний предложить уважаемому торговцу чек, не ощущая при этом никакой неловкости. У торговца не возникало ни малейших

[1] Строка из стихотворения Р. Браунинга «В Англии весной», пер. С. Маршака.

сомнений, а клиент даже представить себе не мог, что здесь есть повод для сомнений. Возможно, настанут времена, когда те из нас, у кого в порядке банковский счет, вновь смогут высоко держать голову и представать перед своими временными кредиторами без тени стыда, но сейчас отсутствие наличных заставляет нас извиняться за свой промах и нервически выхватывать чековую книжку, причем такое поведение только усугубляет сомнения торговцев. Мы вдруг чувствуем себя отпетыми мошенниками, хотя те, скорее всего, держатся значительно увереннее. Перестаем быть собой и становимся воплощением подозрений человека, имеющего с нами дело.

Подобным же образом, в эпоху сексуальной невинности человека, когда бы она ни существовала, муж мог безо всякого смущения купить пару трусиков своей жене, которая также безо всякого смущения прекрасно могла обойтись и так. Ну и сейчас, конечно, нет ничего дурного в том, чтобы купить белье своей жене... и, однако, говорил себе Реджинальд перед входом в «Бингли Мейсон», поверит ли продавщица, что я покупаю белье для жены? Нет? Похоже ли, что я сам в это верю? Нет. И даже если мы оба верим в это, ситуация все равно несколько сомнительная... Я хочу сказать, у этих вещиц могут оказаться всякие особенности... я имею в виду... ну ничего, наверное, я не первый мужчина, который покупает женское белье. Продавщицы знают, как вести подобные разговоры. Или, может быть, ограничиться чулками?

Во всяком случае, он начнет с чулок. Он купил на первом этаже дюжину, опасаясь, что дальнейшие покупки ему будут не под силу. Молодая женщина (молодая дама? девушка? как к ней обращаться?) дружески улыбнулась ему и заметила, что сегодня удивительно теплый день для октября, что, впрочем, говорила каждому покупателю. Шелковые чулки? Пожалуйста. Какого размера?

— Не знаю...— сказал Реджинальд.— Я совсем забыл... то есть никогда не знал... это для моей жены,— пояснил он, как будто это могло помочь.

Но молодая женщина все еще нуждалась в данных.

— Какой размер обуви у вашей супруги?

— Этого я тоже не знаю.— Он попытался представить себе изящную ножку Сильвии.— Может быть, пятый? Понятия не имею.

— Ваша супруга примерно моего роста?

Реджинальд задумчиво взглянул на нее.

— Да, я бы сказал, как раз такого.

— Тогда девять с половиной.

— Звучит замечательно,— улыбнулся Реджинальд, чувствуя огромное облегчение. Мысль о том, чтобы упомянуть жену, оказалась кстати.

— Какой цвет предпочитает супруга?

Только все наладилось, и снова неудача.

Это гораздо труднее, чем мне представлялось, подумал Реджинальд. Вот, кстати, «пасть дракона» — название цвета или коктейля? Кроме того, есть оттенки, которые вслух и назвать страшно.

— Покажите мне разные. Все, что у вас есть,— распорядился он.— Самые модные и самые красивые. И самые дорогие. Я возьму дюжину.

К тому времени, как они выбрали самые красивые и Реджинальд доверился опыту своей собеседницы относительно модности и стоимости, у них сложились настолько добрые отношения, что даже духовное лицо не побоялось бы завести разговор о ночных рубашках. Но когда молодая женщина ответила: «Это этажом выше, сэр», вся его недавно появившаяся смелость исчезла. Этажом выше означало, что вместо непринужденного разговора с близким другом, который знает все о его жене, придется начинать разговор о ночном дамском белье с совершенно чужим человеком. А куда после ночных рубашек? Еще выше этажом и еще глубже в недоступное взорам?

Ведь ты светский человек, убеждал себя Реджинальд, ты — завсегдатай клубов. Возьми себя в руки.

Взяв себя в руки, он поднялся выше... Пять минут спустя он думал: если бы я был женщиной, я бы остался здесь жить. Никто не смог бы утащить меня отсюда. Если бы я был законодателем мод, я запретил бы носить чулки, чтобы у женщины оставалось больше денег на всякие другие вещи. Чулки! О небо, это же пустая трата денег! Когда выйдут все деньги, можно подделывать хозяйственные счета. А разорив мужа, начать красть в магазинах. Да, пожалуйста, дайте мне вот это, это и еще

вон то. А теперь вот то и то. Ну и это. А вот это сколько стоит? Только семь гиней? Весь комплект? То есть вот то, то и это? Да это просто даром. У вас есть еще такой же бледно-зеленого цвета? То есть Eau-de-Nil [1]. Погодите-ка, не слишком ли далеко мы зашли? Мы ведь говорили о ночных рубашках и вдруг оказались вот где. Вернемся к ним на минутку — нет ли бледно-зеленой и золотистой? Простите, Eau-de-Nil. Носит ли супруга пижамы? Нет, но, может быть, ей захочется попробовать. Давайте найдем какую-нибудь потрясающую. Самую нелепую из всех, что у вас есть. И... вы не рассердитесь на меня... не знаю, может быть, это не положено?.. я бы хотел, чтобы вы выбрали для себя какой-нибудь комплект... все, что вам захочется... Я хочу сказать, мне кажется чертовски обидным, что вы проводите жизнь среди этих очаровательных вещиц и не... хотя, возможно, все на самом деле иначе... но я хочу сказать, что таких вещей никогда не бывает слишком много. Вы согласны? Огромное спасибо. Вы доставили мне большую радость...

До смешного гордый и довольный собой, Реджинальд раскланивается и уходит.

После чая доставили два свертка. И это все? — удивляется Реджинальд, позабыв, как мало места это занимает. Он приносит свертки в комнату Сильвии, в нетерпении разрывает шнурок (Сильвия, конечно, развязала бы) и раскладывает одну за другой эти очаровательные вещицы на ее кровати. Затем он спускается за ней.

— Давай поднимемся на минутку, Сильвия. Я хочу тебе кое-что показать.

Она следует за ним, ничего не подозревая. Он распахивает перед ней дверь и небрежно машет рукой в сторону кровати.

— Вот тебе небольшой подарок, только не говори, пожалуйста, что я перепутал все размеры.

Но она некоторое время не говорит вообще ничего, замерев в удивлении. Потом трогает то одну, то другую вещицу с негромкими восторженными восклицаниями; вдруг она обходит кровать кругом и снова ахает, и прижимает что-то к щеке, и румянец цвета дикой розы становится все темнее, а глаза все больше, пока переполняющие их слезы не повисают на ресницах и она не смаргивает их.

— Дорогая, ты так любишь все это?

Она с жаром кивает, стряхивая с лица слезы, и смеется над собою — что за глупость плакать, когда чувствуешь себя счастливой,— и, стряхнув со щек слезы, говорит:

— Я так люблю *тебя*.

А потом она велит ему закрыть глаза, а когда позволяет открыть, предстает перед ним то в одном, то в другом из своих новых сокровищ, такая очаровательная, что он не может удержаться, чтобы не обнять ее...

— Ты счастлив? — шепчет Сильвия.

— Совершенно,— кивает Реджинальд и задумывается, так ли это.

IV

Поскольку Лондон, как начинает убеждаться Реджинальд, самое подходящее место для ничегонеделания, в нем либо работаешь, либо скучаешь. В деревне никогда не знаешь, работаешь ты или проводишь время в праздности. После завтрака, закурив трубку, выходишь в сад. Можно приводить в порядок мысли, чтобы приступить к главе о Поляризации и Проникающей способности световых волн, а можно пойти взглянуть, хорошо ли провела ночь рассада левкоев. В любом случае нельзя не остановиться на минуту возле цинний и не возблагодарить Создателя за их безмерную красоту. Но кто, полюбовавшись цинниями, останется равнодушным к прелестным цветам кореопсиса, напоминающим мотыльков, к бархатистым анютиным глазкам, золотой массе ноготков и настурций, кто не почувствует, хотя бы на минуту, что проникающая способность световых волн не такая уж важная вещь и потому можно, отложив ее в сторону, продолжить прогулку по саду... пока не дойдешь до питомника и не удостоверишься, что с рассадой левкоев ничего не случилось. Но в питомнике всегда чувствуешь себя на чужой территории и знаешь, что сейчас неуклюже или энергично появится Эдвардс или Челлинор

[1] Нильская вода *(франц.)*.

и начнется беседа, на первый взгляд праздная, но всегда дающая результат: нужно поймать рой, починить забор, заказать семена, вырыть канаву. И если окажется, что к обеду глава о световых волнах не продвинулась дальше заголовка на чистом листе, стоит ли укорять себя? Прошло ли утро в праздности, впустую? Нет, конечно, ведь это была насыщенная, великолепная жизнь.

Но что остается делать в Лондоне, как не тащиться в свою комнату, брать ручку и... работать? (Или разглядывать узоры на обоях?)

А день Сильвии был целиком заполнен. Поговорить с миссис Стоукер; поговорить с Эллис; переодеться, чтобы выйти из дому; не спеша заказать одно и другое; постоять минутку тут и там перед витринами; вернуться домой; переодеться к ленчу; ленч; расставить цветы; пойти в библиотеку поменять книги; вернуться; переодеться, чтобы отправиться к приятельницам пить чай или ждать их у себя к чаю; выйти из дому или в последний раз поправить цветы и подушки; чай; разговоры; показать свои последние покупки Лоре и Летти или рассмотреть их покупки; прощание; вернуться домой и лежать полчаса — ноги выше головы — на кушетке; не спеша принять ванну; не спеша одеться... и провести вечер с мужем.

А если вспомнить, думал Реджинальд, что еще нужно выкроить время, чтобы раз в неделю сходить к парикмахеру, то становится ясно, насколько она занята. Половина первого; я иду в клуб.

Удивительно, как мало народу в клубе заметило, что он сделался лондонцем и ежедневно является туда на ленч. И если после целого года регулярного посещения клуба он на семь лет уедет в Патагонию, удивительно мало народу заметит, что он перестал появляться в клубе. «Привет, что-то вас давно не было видно»,— возможно, скажет ему по возвращении самый наблюдательный.

Он причесывался перед зеркалом и, услышав голос, обернулся.

— Это вы,— сказал Ормсби.— Я так и решил. Трудно быть уверенным, когда видишь человека в зеркале. Вы замечали? Как-то я вхожу, застаю тут трех типов, которые причесываются, и говорю себе: Еще трое привели своих братьев в клуб.

Реджинальд засмеялся и сказал, что, по его мнению, в клубе не должно быть больше одного члена семьи.

— Верно. У вас есть братья?

— Нет.

— Ну, а если бы у вас был брат, сочетающий в себе достоинства Георга V, Джорджа Вашингтона и Джорджа Роуби [1], знаете, что бы я про него подумал?

— Нет.

— Я подумал бы: «Смешная бледная копия Уэлларда»... Понимаете? Первый, с кем вы знакомитесь, воплощает семью; остальные пытаются подражать ему, и, как правило, получается ерунда. Братья Криппена [2], наверное, оказались бы сплошным разочарованием. Полное отсутствие индивидуальности.

Он бросил полотенце в корзину и принялся чистить ногти.

— Послушайте, я пригласил на ленч нескольких жутких зануд. Но давайте выпьем вместе кофе в маленькой курительной наверху в два пятнадцать. К тому времени я от них избавлюсь. Пока.

Он кивнул и уверенно направился к двери.

Как чудесно, думал Реджинальд, быть так уверенным в себе. «Привет, дорогой мой, похоже, вы не прочь пообедать со мной. Ничего не выйдет, но в знак расположения могу выпить с вами кофе». А потом уйти, не сомневаясь, что собеседник явится. Наверное, так и становятся миллионерами. Абсолютная уверенность в себе и никаких сомнений.

Он явился в два пятнадцать, в чем Ормсби и не сомневался. Они сели пить кофе в маленькой курительной на втором этаже, и тайна Хейуардс-гроув тут же перестала быть тайной.

— Вы как-нибудь должны прийти к нам на ужин,— заметил Ормсби.— Я велю ее светлости написать приглашение вашей жене. Я думаю, нам необязательно обмениваться официальными визитами и заниматься прочей ерундой.

Ормсби и Сильвия! Что Сильвия может подумать о нем? А что он подумает о Сильвии?

— Не хотите писать для меня? — И, прежде чем Реджинальд успел открыть

[1] Джордж Роуби (1869—1954) — популярный актер мюзик-холла.

[2] Генри Криппен — преступник-женоубийца. Казнен в 1910 г.

рот, Ормсби предостерегающе поднял руку и сказал: — Я знаю. Вы больше не станете писать. Это была ваша первая и последняя книжка, верно? А я сказал тогда: «Ерунда!»

Еще одна отличительная черта миллионера. Память. Каждый, с кем вы знакомитесь, может понадобиться вам впоследствии, поэтому, когда вы встречаете его снова, вы должны прикинуть — может быть, сейчас как раз удобный случай использовать его.

— Я не совсем понимаю,— сказал Реджинальд,— зачем мы приехали в Лондон. Шла речь о том, чтобы сделать из книги пьесу, я собирался повидаться с одним американским издателем, еще были какие-то дела. Дела, которые представлялись довольно важными издалека, при ближайшем рассмотрении выглядят менее серьезно. Я, наверное, должен... не знаю... Здесь все иначе, чем в деревне... Только...— он колебался.

— Мои газеты не совсем в вашем стиле, да?

— Ну...— Реджинальд смущенно улыбнулся.

— Валяйте, не стесняйтесь. Нас ничто не связывает. Ни один из нас не умрет, если мы никогда больше не увидимся. Какого же черта не сказать, что мы думаем друг о друге?

— Хорошо,— решился Реджинальд.— Если говорить откровенно, Ормсби, меня иногда просто трясет от ваших газет. Я говорю о газетах, потому что не знаю точно, какие из еженедельников принадлежат вам. Какая вульгарность! Боже мой!

— Значит, они вульгарны?

— Откровенно говоря, да.

— Вы докурили трубку? Тогда возьмите сигару.

Реджинальд взял сигару, а Ормсби рассмеялся и потом объяснил:

— Когда мне было шестнадцать, я служил мальчиком на побегушках в типографии, совсем маленькой, мы печатали бланки, визитные карточки, объявления о продаже собак, прочую мелочь. Местная газета терпела очередное банкротство, и я явился к ее владельцу, он же был и издателем, и наборщиком, и всем на свете. Вдруг меня осенило. Шестнадцать лет, волосы, прилизанные на прямой пробор, высоченный воротник, атласный галстук: по черному фону алые подковы. Я выглядел сущим идиотом. Он спросил: «Какого черта тебе надо?» А я ответил: «Я пришел купить вашу газету». Он смерил меня взглядом с головы до ног — это не заняло много времени, я был небольшого роста — и сказал: «Конечно, сколько тебе нужно экземпляров?» А я ему: «Без шуток. Кому нужны ваши экземпляры? Я хочу купить всю вашу контору».— «Что-что?» — переспросил он. Я повторил свою фразу, которой был весьма горд. «Ты это всерьез?» — «Совершенно. Мои банкиры — Ллойды и К°». В это утро я взял из сберегательной кассы свои пятнадцать фунтов. Он воскликнул: «Боже мой!» — вытащил из жилетного кармана сигару и уже поднес ее ко рту, но, поколебавшись, протянул мне со словами: «На, сунь ее себе в рот и расскажи все по порядку». И много лет потом я любил говорить: «На, сунь ее себе в рот», предлагая кому-нибудь сигару. Мне казалось, что это чертовски забавно звучит.

Реджинальд пристально смотрел на него.

— Вы начинали именно так?

— Да. Вот почему я рассмеялся, прикинув, насколько вульгарным я вам покажусь, если произнесу: «На, сунь ее себе в рот».

— Это совсем другое.

— Так я не кажусь вам вульгарным?

— У вас есть характер. Человек с характером не может быть вульгарным.

— А у многих ли людей, умеющих читать и писать, есть характер? Вы думаете, я действительно продаю свои газеты ежедневно миллиону человек? Самое большее — десяти. Каждый мыслит в точности как девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять остальных в этом стаде. Эти люди вульгарны, и им нужна вульгарная газета.

— Я не уверен.

— Вы радио слушаете?

— Иногда.

— Наверное, концерты?

— Скорее, результаты крикетных матчей,— улыбнулся Реджинальд.

— Может быть, вы слышали когда-нибудь то, что называется Выпуском Новостей?

— Не уверен...

— Вам повезло. Сейчас я вам расскажу. Представьте себе миллион людей, два миллиона, три миллиона. Каждый из них сидит в своей жуткой гостиной с этими дурацкими наушниками, похож Бог знает на что и ждет сенсаций. И вот вдруг хорошо поставленный мужской голос начинает рассказывать, что по случаю засухи в Алабаме президент Соединенных Штатов решил отложить поездку в Огайо, что финский премьер-министр открыл памятник профессору Винкельштейну, что в Восточной Родезии неожиданно выпал снег и что генерал-майор Фокстрот мирно скончался в Саутси в возрасте ста одного года. По-вашему, это кому-нибудь нужно? Но это очень изысканно. Рассказывать людям всякую чепуху.— Он взглянул на часы и поднялся.— Беда в том, Уэллард, что жизнь вульгарна. Рождение вульгарно, и смерть вульгарна, а то, что между рождением и смертью, на три четверти определяется пищеварением, а все связанное с пищеварением чертовски вульгарно. Подумайте только, что происходит в нашем желудке.

— Да, конечно, но я не это подразумевал под вульгарностью. Я хочу сказать...

— Простите, но мне пора идти. Приходите к нам на ужин. Я скажу хозяйке. Вы говорите, Хейуардс-гроув? А номер дома? Вам понравится ее светлость. Она совершенно замечательная женщина.

— Номер шесть. Но...

— Хорошо. Пока.

И без этого, подумал Реджинальд, тоже не бывает миллионера. Без умения сказать вовремя: «Простите, но мне пора идти».

Глава двенадцатая

I

Как любил время от времени повторять его светлость, Маргарет Ормсби была совершенно замечательная женщина. Да оно и неудивительно. Отец ее, Джон Фондеверил, тоже был совершенно замечательным человеком.

Джон Фондеверил был одним из людей не от мира сего, которые могли бы сделаться кем угодно, если бы приложили к этому усилия, но, к несчастью для страны, предпочитают оставаться бухгалтерами в фирме, торгующей чаем. На Филпот-лейн, отвечая «Да, сэр» или «Нет, сэр» партнерам фирмы, мистер Фондеверил мог без труда тешиться иллюзией собственного величия. Внешность его — внушительный рост (шесть футов и три дюйма) и великолепные бакенбарды — способствовала этому. Без сомнения, фамилия тоже играла роль. Узнав, что этот благообразный джентльмен — мистер Смит, любой останется равнодушным, но, услышав, что это мистер Фондеверил, спросит: «Кто этот мистер Фондеверил? Я определенно где-то уже видел его». Он не скрывал своей фамилии, называя ее при случайном знакомстве прежде даже, чем его спрашивали, добавляя при этом, чтобы позабавить собеседника: «Всегда здоров, всегда готов, Джон Фон Деверил». Возможно, в восьмидесятых годах кто-то провозгласил в его честь такой тост, возможно, нет; но сейчас он был в этом уверен, и в застолье его всегда чествовали таким образом. Ему было присуще романтическое восприятие собственной персоны.

Он взял в жены мисс Стоукс из маленького городка в Центральной Англии. «Стоуксы из Лестершира, обширнейшего охотничьего графства,— как он любил объяснять своим друзьям, и, неизменно давая волю фантазии, добавлял: — Скучает по родным местам, бедняжка». Конечно, она скучала, если не без охоты, то без свежего воздуха, и, прожив лет десять на окраине Лондона неподалеку от Мейда-Вейл, вернулась, по образному выражению своего мужа, «в леса счастливой охоты». Мистер Фондеверил мужественно перенес утрату. Друзьям был известен его девиз:

Всегда здоров,
Всегда готов,
Джон
Фон Деверил.

Наверное, он понимал, что выглядит весьма романтично для своих спутников в омнибусе — высокий рост привлекал к нему внимание, а траур только усиливал впечатление. Он всегда сидел впереди, рядом с шофером (это место уже как бы предназначалось для него), а направляясь к Филпот-лейн шагом актера, уходящего со сцены, в полной мере сознавал, что шофер и сидящие неподалеку пассажиры ведут о нем разговор. «Человек, с которым я разговаривал,— мистер Фондеверил, он недавно потерял жену, бедняга»,— говорил один из пассажиров. «Боже! Какое горе!» — отвечал другой, раздумывая (как и все остальные), кто этот мистер Фондеверил. Иногда и сам мистер Фондеверил задумывался над этим. Сейчас столько говорится о переселении душ. Вполне можно себе представить, что, например, душа Александра Великого вернулась на землю в поисках подходящей телесной оболочки. При одной мысли об этом он начинал мурлыкать себе что-то под нос, а на приветствия рассеянно отвечал коротким воинственным жестом, каким мог салютовать Александр. Александр, только что потерявший военачальника.

Он любил свою жену — рассеянно, как любят все великие люди,— и был верен ей, так как она была хорошей слушательницей. К счастью, она оставила после себя слушательницу еще лучшую, девятилетнюю Мэгги. По воскресеньям они ходили вместе гулять в парк Хампстед-хит; по дороге мистер Фондеверил рассказывал, что бы он стал делать, если бы Король вдруг назначил его лорд-мэром Лондона, «но дав мне в руки настоящую власть», и его свободная рука описывала полукруг. «Власть убрать то или это. Власть говорить НЕТ! или ДА! в зависимости от обстоятельств. Например, дорогая, чтобы тебе было понятней...— Он огляделся кругом в поисках источника вдохновения.— Вот хотя бы этот пруд. Я бы мог решить... убрать его. Ну, разумеется, это значит, что сначала должен быть разработан план. Это вопрос мелиорации... и... инфильтрации и так далее. Пруд нужно было бы спустить, наполнить землей, затем разровнять и так далее. Я бы отдал все необходимые распоряжения. А затем я бы стал решать, что соорудить на его месте. Возможно, крикетную площадку. Конечно, в этом случае я бы был готов прислушаться к толковым советам. Я бы,— здесь он поднимал кверху указательный палец,— я бы сказал доктору Грейсу: «Подойдите на минутку, доктор. Скажите, если бы вы были...» Ты понимаешь?

— Да, папа,— кротко отвечала дочь.

— Дело в том, чтобы обладать Властью. Подлинной властью. Нужно, чтобы у кормила стояли люди, обладающие властью, в этом-то все и дело.

В другие воскресенья, когда Мэгги стала постарше, он брал ее на концерты в Куинс-холл, и там само собой создавалось впечатление, что он стал бы Великим дирижером, если бы захотел.

— Не могу сказать, что вижу эту часть совершенно по-другому,— объяснял он на обратном пути,— но я бы подробнее разработал ее, вот что. В сегодняшнем исполнении явно чего-то не хватало. В отношении техники все безупречно, разумеется, здесь не о чем спорить. Я бы мог только упрекнуть дирижера, что в какой-то момент он Свернул с Правильного Пути. Первое, о чем я бы спросил себя на его месте: «К чему я стремлюсь?» Если разобраться в этом, все остальное довольно просто, понимаешь?

— Да, папа,— торопливо отвечала дочь.

— Мы с дочкой были на концерте,— пояснял мистер Фондеверил шоферу некоторое время спустя.

— А! — откликался тот.— Ну и как?

— Может быть,— доверительно понижал голос мистер Фондеверил,— мне не стоило бы говорить об этом, но девочка далеко пойдет. Все считают, что у нее выдающиеся способности.

— Правда? — отзывался шофер.— Пианистка?

— Фортепьяно тоже, разумеется, но я имел в виду скорее пение. Как она поет! Какая искренность, какая чистота! Это всеобщее мнение.— Он вздыхал.— Жаль, что ее мать не дожила...

— Мать умерла? — переспрашивал шофер.— Да, случается.

— Она была из лестерширских Стоуксов,— пояснял мистер Фондеверил.— Там прекрасные охотничьи угодья. Чудесные места.

Немного погодя заходил разговор о пограничных конфликтах, и это давало мистеру Фондеверилу возможность объяснить, что Война — это не Рейды Отдельных Отрядов, а Всеохватывающий Взгляд.

— Если бы я был главнокомандующим, я бы вызвал к себе... э-э-э... начальника... э-э-э... штаба и сказал бы ему: «Взгляните вот сюда...» О! Мы уже приехали. Выходим, Мэгги. До свидания.

В такой атмосфере вырастала леди Ормсби. Она знала все о Великих Людях; ей всю жизнь приходилось слушать их. Когда ей было двадцать пять, в нее влюбился Боб Ормсби; ее отец был Великим Человеком с прошлым, а возлюбленный — Великим Человеком с будущим. Она привыкла быть терпимой к Великим Людям — Великим в перспективе или в ретроспективе. Мистер Фондеверил по большей части говорил о тех временах, когда он был или мог бы быть (в его рассказах это было почти одно и то же) премьер-министром; мистер Ормсби — о временах, когда он непременно станет им. И в том, и в другом случае она отвечала:

— Да, дорогой.

Ведь кто такие Великие Люди? Дети, которым надо уступать.

И вот в течение двадцати пяти лет Мэгги Ормсби уступала своему мужу. Двадцать четыре года из них он был неверен ей. То же самое проделывал и мистер Фондеверил. Как часто отец обещал ей то или это и, поглощенный своими великими думами, забывал об этих обещаниях. Разве это не неверность? Но Великим Людям следует прощать и не беспокоить их глупыми мелочами, которые кажутся такими важными людям обыкновенным. Поэтому следовало прощать и Боба. Какой смысл разводиться с ним? Будет ли он счастлив от этого? А она сама? Если бы она была его любовницей, а он завел бы (как нередко случалось) себе другую, она могла бы негодовать. Но она была его женой, это совсем другое. Как у его жены, у нее не было соперниц. Жена Великого Человека — и его нянька. Поистине, замечательная женщина.

II

Реджинальду ужин у Ормсби казался либо тем, что должно произойти, либо тем, что уже произошло, а вовсе не тем, что в данный момент происходит. В течение недели он пытался представить, на что это может быть похоже, а в течение следующей — вспомнить, на что это было похоже. Сам ужин оказался чем-то не вполне реальным. Он был начисто лишен протяженности во времени — ощущение, хорошо знакомое по снам.

У Реджинальда, однако, осталась вереница впечатлений, к которым можно было возвращаться.

Уэлларды долго раздумывали, что лучше — пойти перед ужином в театр или просто посидеть дома. Если они сначала отправятся в театр, возникнет проблема, где привести себя в порядок. Глупо возвращаться на Хейуардс-гроув только ради того, чтобы умыться и причесаться, но где еще Сильвия могла бы это сделать? Но еще глупее оставаться дома и читать, потому что к одиннадцати они сделаются совершенно сонными... После долгого обсуждения они все-таки отправились в театр.

Дом Ормсби. Большой, но, как ни странно, не величественный. Длинная столовая с низким потолком, ряд круглых столиков — четыре? пять? шесть? (детектива из меня не выйдет),— за каждым по шесть (или восемь?) человек.

Леди Ормсби. Маленькая, немного печальная, доброжелательная. (Может быть, среди ее добрых желаний — и желание понравиться?) Приятное лицо в обрамлении светло-каштановых волос, в которых виднеются серебряные нити. (Серебряные нити. Никуда не годится. Клише. Но раз я не писатель, стоит ли беспокоиться, хорошо или плохо сказано. Важно, что это правда.) Да, она рада была бы нравиться, но без нервозности, просто хочет, чтобы все были довольны, надеется, что так и будет, но не совсем в этом уверена. Как если бы когда-то мечтала о счастье, а теперь знает, что оно несбыточно.

Они приезжают. Оказываются в столовой. За столиками человек двадцать, все едят и болтают, половина стульев свободна, Ормсби не видно, леди Ормсби встает и приветствует их, приветствует несколько сдержанно, как бы говоря: «Мне трудно оказать вам более восторженный прием, поскольку я не совсем представляю, кто вы, но надеюсь, что вам будет здесь неплохо». Взаимные представления новоприбывших и сидящих за столиком леди Ормсби — и Сильвия остается там. Хозяйка

провожает Реджинальда к другому столику... ряд имен... здравствуйте, добрый вечер, приветствую вас... леди Ормсби возвращается на свое место. Реджинальд садится.

Девушка слева от него, красивая, темноволосая, в светло-зеленом платье мрачно, машинально слушает своего другого соседа, витая мыслями где-то далеко. Девушка справа от него, очевидно, когда-то решила, что она красива, и разговаривает с уверенностью девушки, знающей, что она красива, с уверенностью девушки, знающей жизнь и свое положение царицы кружка, в котором она вращается, совсем не красивая, но явно имеющая репутацию красавицы.

— Боже, тот самый мистер Уэллард?

— Крикетист? — спрашивает в ответ Реджинальд.— Нет, увы, нет.

— Дорогой мистер Уэллард, неужели я похожа на любительницу крикета? Вы написали «Вьюнок». Сознавайтесь.

— А вы читали?

— И вы еще спрашиваете?

— Теперь вам в любом случае придется делать вид, что читали.

— Разумеется. И вы никогда не узнаете правды. Сомнения будут глодать вас. Ведь сомнения гложут?

— Мне кажется, да.

— Наверное, вы пришли сюда в поисках материала для новой книги. Еще бы, мы недурной зверинец. Но делайте что хотите, мы не боимся. Только умоляю вас, изобразите меня брюнеткой. Мне всегда хотелось иметь черные волосы.

— Непременно,— отозвался Реджинальд.— И если меня обвинят в клевете на вас, я всегда смогу сказать: «Бог мой, я вовсе не имел ее в виду — ведь она блондинка».

— Ну разумеется,— восклицает Блондинка.

И так далее. Все время уверенная, что производит впечатление на собеседника, уверенная, что любая произнесенная фраза имеет отношение к ее особе.

Элегантный джентльмен, который мог оказаться членом прежнего кабинета министров (или, может быть, нынешнего? Реджинальд не силен в подобных вещах), все еще разговаривает с девушкой в светло-зеленом платье. Шесть футов и три дюйма ростом, белоснежные волосы, белоснежные закрученные усы — похож одновременно на Бисмарка и на актера Банкрофта.

— Если бы меня вызвали к Королю, я бы сказал: «Прекрасно, сэр, если таково ваше решение, тогда, конечно, у меня нет выбора, согласен с вами. Но при всем моем уважении к вам, сэр, я должен твердо сказать, что если я берусь сформировать правительство...»

Явно бывший премьер-министр. Но кто именно? Реджинальд охотно послушал бы еще, но Блондинку вновь обуяла жажда общения.

А вот и Ормсби, и, несомненно, он был здесь, когда они пришли. Ормсби сидит в самом конце столовой рядом с чрезвычайно хорошенькой актрисой, которую они с Сильвией видели несколько часов назад в спектакле. Его последняя пассия? Реджинальд что-то такое слышал, но, глядя на нее в огнях рампы и слушая высоконравственные сентенции, которые она с жаром произносила со сцены, не мог поверить, что они не имеют для нее ни малейшего значения. Да он просто мерзавец — притащить ее в собственный дом! Но весьма симпатичный мерзавец.

Блондинка разговаривает с соседом справа — явно ее собственностью. Широкоплечий, молодой, румяный, с коротко подстриженными усиками. Наверняка она привела его с собой. Он отрывался от еды, чтобы сказать «извини», когда она обращалась к нему, и «да, конечно», когда она умолкала. Этого требовали хорошие манеры — ведь он пришел сюда с нею.

Как там Сильвия? За ее столом все не сводят с нее глаз. Это понятно. Все слушают ее и смеются. Удивительно.

Он очутился за другим столом и снова ел фруктовый салат. Кругом было полно народу. Он на минуту встал поговорить с Рагланом, который только что появился, и кто-то занял его стул (может быть, тот, кого ждала девушка в зеленом платье?), и мгновенно кто-то предложил ему другой стул и тот же фруктовый салат. Надо же что-то есть. Теперь его соседом оказался молодой человек — неприятный молодой человек. Представим себе младшего офицера королевской гвардии с коротко, по уставу, остриженными волосами, с коротко, по уставу, подстриженными

бакенбардами и усами, который неделю провел под дождем, затем неделю пробыл под жарким солнцем, в результате чего на голове его, на щеках и над верхней губой образовалась буйная поросль, не лишавшая его, однако, некой элегантности. В результате, думает Реджинальд, он не так уж и зарос, но выглядит необыкновенно заросшим, подобно тому, как если бы барышня из хорошей семьи, живущая в небольшом благочестивом городке, вдруг начала бы ругаться, употребляя выражения гораздо менее резкие, чем армейский сержант, впечатление от этого было бы гораздо сильнее.

— Рад познакомиться с вами, мистер Уэллард,— произнес молодой человек,— поскольку мне всегда хотелось спросить, не находите ли вы, как и я, что ваш «Вьюнок» — совершенно отвратительный роман?

Реджинальд чуть не вскрикнул от удивления и начал соображать, как лучше ответить.

— Ну, вообще говоря, это тайна,— сказал он,— но я отвечу вам откровенно, если вы тоже дадите мне откровенный ответ.

— На какой вопрос?

— Не находите ли вы, как и я, что молодые люди с усиками выглядят совершенно отвратительно?

Молодой человек тут же исчез, а большеглазая, с крупным ртом приятная дама справа от него спросила:

— Наверное, Клод Ашмол, по обыкновению, наговорил вам грубостей?

— Кто он такой? Каковы его обыкновения? Я никого здесь не знаю.

— Прежде он считал себя поэтом и старательно изображал человека светского. А сейчас, после смерти богатых родственников сделавшись человеком светским, изо всех сил хочет походить на поэта. Он всегда стремится избегать банальных ситуаций.

— Что само по себе достаточно банально?

— Я бы сказала, в высшей степени. Но тогда как быть? Если банально избегать банального, то столь же банально было бы и не избегать его — и так далее. Это довольно сложно. Замкнутый круг.

— Да, понимаю.

— То же самое, что с классовыми различиями.

Реджинальд подумал немного и сказал:

— Нет, это для меня слишком сложно. Ведь я просто деревенский житель.

— Ну хорошо. Низшие классы ведут себя определенным образом, и у среднего класса существует целый ряд обычаев, по которым их можно отличить от низших, а у высших классов целый ряд обычаев, по которым можно отличить их от средних; в результате высшие классы ведут себя весьма похоже на низшие. Замкнутый круг.

— Например?

— Это не так просто объяснить экспромтом. Хотя... Возьмем семейную жизнь. Низшие классы просто помешаны на семье. Никто не осмелится отозваться непочтительно о дяде Альфреде. Если Лиз выходит замуж за Берта, она выходит и за его дядю Альфреда. То же и леди Элизабет, если она выходит за лорда Герберта. Но в средних классах можно найти людей, которые становятся все более независимыми от семьи. Или другой пример, полегче. Когда в гости забежит какая-нибудь родственница Берта, Лиз угостит ее стаканчиком портвейна. Средний класс называет его «порто». Но в хороших старинных семьях снова употребляют слово «портвейн».

— Замечательно,— сказал Реджинальд.— А если пойти дальше, то обнаружится, что в королевском семействе говорят «порто».

— Вероятно. Во всяком случае, королевскую семью можно без колебаний причислить к среднему классу, правда? Мы все страшно боимся, что нас примут за кого-то, кем нам не удалось стать, поэтому мы притворяемся кем-то, за кого нас никто не примет.

— Жизнь — сложная вещь,— вздохнул Реджинальд.— Не могли бы мы с вами, хотя бы на сегодняшний вечер, оставить это притворство? Я, безусловно, принадлежу к среднему классу, хотя из вежливости говорят, что к его верхушке. Во всяком случае, я так думаю.

— Хорошо. А я графиня, начавшая артистическую карьеру с пения песенок на эстраде.

— Боже мой! Невероятно! Ведь вы — Корал Белл.

— Да. И не удивляйтесь так. Должен же кто-то ею быть.

Корал Белл! Это было, наверное, двадцать пять лет назад. Он приехал по особому разрешению к зубному врачу, но произошла ошибка, не совсем, впрочем, случайная, и выяснилось, что врач может принять его только в следующую среду. Так он оказался в Лондоне. Конечно, можно было первым же поездом вернуться в школу, но он не сделал этого, предпочтя соврать преподавателям, что провел день в Музее естественной истории. Так он попал на выступление Корал Белл. Вся их группа сходила с ума из-за Корал Белл, ему было шестнадцать, он вот-вот должен был кончить школу, а Корал Белл не видал никогда... И в тот день увидел...

Как звучала ее песенка?

Этой нужен муж солидный
И с деньгами, и с чинами,
А для той удел завидный —
Славы блеск и шум признанья.
К семейному покою
Душою я стремлюсь,
Но, видя что смешное,
Конечно, улыбнусь.

А потом хор, не открывая рта, мурлыкал припев, и губы девушек расплывались в дурацкую счастливую улыбку.

Не красавица, не леди,
И умом я не блистаю;
От манер моих соседи
Тоже, думаю, устали.
Со знатью мне ль тягаться,
И денег — ни гроша...
Но как не рассмеяться,
Коль шутка хороша!

И опять хор, и ее смех, звучавший чудесной музыкой, вторили очаровательной мелодии; переливы, трели, смех, и ее необыкновенно привлекательное лицо — большие глаза, большой рот и, в сущности, больше ничего.

Последний куплет. Она пела совершенно серьезно, изо всех сил стараясь не рассмеяться.

Как-то в воскресенье в храме
Я молитву повторяла.
Вдруг я вижу — рядом дама
Панталоны потеряла.
Монахини скромнее,
Серьезней быть хочу.
Глаза поднять не смею —
И все же хохочу! [1]

Взрыв безудержного смеха, мелодия хора обрывается... и чудесным образом продолжается в переливах, трелях и смехе, как после второго куплета...

Корал Белл...

Но он уже оказался за другим столом, а перед ним снова оказался омар. За столом самого Ормсби.

— Приветствую вас, Уэллард. Вы знакомы с Уэллардом, Рут? Реджинальд Уэллард. Вы читали его книгу. Мисс Фэрфакс.

Реджинальд замечает, что видел сегодня вечером мисс Фэрфакс на сцене. Слабый интерес к мистеру Уэлларду, вызванный упоминанием его книги, несколько возрастает. Вам понравилось? Разумеется, необыкновенно понравилось. Мисс Фэрфакс с очаровательной скромностью хвалит актера, игравшего главную мужскую роль (с которым она уже давно не разговаривает). Реджинальд соглашается, что тот

[1] Перевод Дм. Раевского.

был великолепен. Мисс Фэрфакс, не показывая своего неудовольствия, пробует еще раз. Разве Долли Перкинс не божественна? Реджинальд восторженно подхватывает, что Долли Перкинс, сцену с которой мисс Фэрфакс каждый раз пытается испортить, поистине божественна. Мисс Фэрфакс отводит от него холодные глаза и окидывает комнату взором, останавливая его на лорде Ормсби. Так вот какова знаменитая мисс Фэрфакс. Забавный выбор для миллионера...

Теперь ужин напоминает детскую игру, в которой меняются местами. На очередном ее этапе Реджинальд вновь оказывается за своим прежним столом. Теперь там сидят только двое: экс-премьер и хозяйка дома.

— Все в порядке, дорогой? — озабоченно спрашивает она.

— В полном порядке, спасибо, Мэгги.

— А это мистер... Вы ведь знакомы с моим отцом, правда?

— Уэллард,— подсказывает он.

— Ну конечно, Уэллард. Ваша прелестная жена сидела за нашим столом. Отец, дорогой, это мистер Уэллард.— Ее лицо вдруг озаряется воспоминанием.— Вы написали «Вьюнок»! Отец, это он написал.— Затем она обращается к кому-то из гостей: — Неужели вам действительно пора уходить?

— Моя фамилия,— с достоинством произносит Государственный Муж,— Фондеверил. На приемах не всегда знаешь, с кем говоришь.

Реджинальд издает почтительный возглас, сожалея, что не проявлял интереса к политике. (Может быть, последний кабинет Гладстона?)

— Обо мне сложили глупенький стишок. Наверное, вы его слышали: «Всегда здоров, всегда готов, Джон Фон Деверил». Что-то в этом роде.

Реджинальд улыбается, всем своим видом показывая, что прекрасно помнит.

— У моей дочери блестящие организаторские способности. Нам трудно себе представить, что для такого приема, как этот, требуется в своем роде не меньше таланта, чем для проведения предвыборной кампании. Говорят, организаторские способности передаются по наследству. В какой-то мере это, бесспорно, так. Это вопрос умения Держать в руках Нити...— Он закончил фразу жестом белых, испещренных прожилками рук.— Вы меня понимаете?

— Несомненно,— отвечает Реджинальд, раздумывая, нельзя ли сейчас прямо подойти к Сильвии и сказать ей, который час. Половина четвертого.

— Эта способность Ощущать Пульс... чего бы то ни было. Инстинктивно Чувствовать. Инстинкт... да, об этом я и говорю. Это наследственное. Наверное, мне не стоило бы говорить об этом, но другие все равно расскажут вам. Спрашивайте в Уайтхолле... задавайте вопросы в Сити... Узнавайте,— неопределенно советовал мистер Фондеверил,— на Уолл-стрите.— Обратитесь,— закончил он, опорожнив бокал,— на Биржу.

— Непременно,— отвечал Реджинальд.

И едва он навел справки на Бирже, пробило четыре, и Сильвия вместе с ним очутилась в наемном автомобиле, и они уже катили назад, на Хейуардс-гроув.

— Правда, было чудесно? — спросила Сильвия, сияя от возбуждения.

Реджинальд сонно согласился.

III

Корал Белл! Двадцать пять лет назад он сходил по ней с ума больше всех. Он мечтал о ней целыми днями. Он ударял битой по мячу — она наблюдала за ним; он был в классе — она дожидалась его на улице; он пересекал школьный двор — она шла навстречу и спрашивала, как найти директорскую квартиру. Потом выяснялось, что визит к директору не так важен для нее, потому что, когда он предлагал провести остаток дня на реке и выпить чаю в «Розе и короне», она сразу же соглашалась. Это означало прогул и, возможно, неприятности, но ради нее можно было и пострадать.

Ему было уже шестнадцать, а по закону жениться разрешается с четырнадцати, но они бы подождали, пока ему не исполнится двадцать один. Пять лет, а все в классе только и мечтают жениться на ней. Но если бы в результате кораблекрушения их выбросило на необитаемый остров... Если бы... Надо совершить какое-нибудь морское путешествие в эти каникулы. Небольшое путешествие (сердце его

забилось, когда он понял, что путешествие может быть совсем недолгим), во время которого его судно столкнется с огромным трансатлантическим лайнером, и лайнер подберет потерпевших кораблекрушение, а Корал Белл будет смотреть, как он поднимается на борт. А потом и сам лайнер разобьется где-нибудь в тропических морях. В самом деле, достаточно отправиться через канал на континент. Надо будет намекнуть отцу... например, что ему не мешало бы попрактиковаться во французском... Как только он отплывет из Фолкстоуна, пальмы, синее небо, и белый песок, и сама Корал Белл окажутся рядом с ним, только руку протяни.

Это было двадцать пять лет назад, думал Реджинальд, и вот я увидел ее снова. Я думаю, ей сейчас сорок семь. Жаль, что я не был в ударе сегодня вечером, мне кажется, она ни разу не рассмеялась. Интересно, она и сейчас смеется так же чудесно? Я оказался прав. Она вовсе не дурочка, какой ее все считали. Удивительно умная, интересная женщина. Попадал ли ей в руки «Вьюнок»?

Что, если бы Сильвия пригласила ее на обед? Можно ли пригласить на обед графиню, едва с нею познакомившись? Но ведь Корал Белл не обычная графиня. Она поймет...

Ей не дашь сорока семи.

Невероятно. Кругом столько интересных, умных женщин. Лина... и эта мисс Воулс... и Корал Белл.

Глава тринадцатая

I

Некий мистер Филби Никсон собирался инсценировать «Вьюнок». По этому поводу он должен был сегодня утром посетить Реджинальда.

— Пьеса? Замечательно! — обрадовалась Сильвия, когда он сообщил ей об этом за завтраком.— Но разве ты не смог бы написать ее сам, дорогой?

Реджинальд уже несколько недель раздумывал, не взяться ли за инсценировку самому, и, естественно, вопрос Сильвии задел его.

— Дорогая моя Сильвия, это во многом вопрос техники. Не всякий может написать пьесу. Тут требуется опыт и знание ремесла. Необходимо видеть театр изнутри.— Именно это твердил он себе на протяжении последних недель, не веря ни единому слову. Сейчас впервые ему показалось, что в этих словах есть доля истины.

— Но ведь чтобы написать книгу, тоже требуется знание ремесла?

— Конечно. Но совершенно иного свойства. В том-то все и дело. Если человек написал книгу, это еще не значит, что он может написать пьесу.

— Да, я понимаю, но уверена, что ты бы смог.

— Сильвия, зачем ты так говоришь? — взорвался он; потом добавил: — Прости меня, но...— встал с чашкой в руке, словно для того, чтобы Сильвия налила ему еще кофе, повторил: — Прости меня,— и поцеловал ее в затылок, пока она наполняла чашку.

— Спасибо, дорогой,— ответила Сильвия.— Конечно, я не слишком хорошо в этом разбираюсь, но, по-моему, то, что я хочу сказать, верно.

— Хорошо, скажи,— виновато попросил Реджинальд.

— Я спросила тебя, разве не нужно знание ремесла, чтобы написать книгу, и ты согласился; а я думаю, это не потому, что ты... ты... не потому, что я люблю тебя, а просто ты владеешь этим ремеслом, и даже если это не означает, что ты можешь написать пьесу, то и не означает, что не можешь.

Истинная правда, подумал Реджинальд.

— Ты совершенно права,— сказал он, посылая ей воздушный поцелуй,— но я как раз ждал такого ответа. Я мог бы написать пьесу, но не сумею переделать для сцены собственную книгу, потому что буду по-прежнему воспринимать ее как книгу и не захочу выкидывать лучшие куски.

— Понимаю, дорогой. А ты обязательно должен их выкидывать?

— Нет,— терпеливо объяснял Реджинальд,— но лучшие куски романа могут оказаться не лучшими для пьесы.

— Ты мне все объяснил. А этот человек, о котором ты говоришь, хорошо разбирается в таких вещах?

— Филби Никсон? Да, наверное. Все так считают. Он один из ведущих драматургов. Ты предупредишь Элис, хорошо? Он скоро придет.

Мистер Филби Никсон был высок, хорош собой и прекрасно одевался; манеры его были безукоризненны. Он звал по имени каждого в театре, и каждый в театре называл его Филом. Войдя в уборную любой ведущей актрисы, можно было почти наверняка застать там Фила. Иногда актриса говорила: «Фил, дорогой, когда ты соберешься написать для меня пьесу?» На что он иногда отвечал: «Хочу тебя обрадовать, Мэри, я как раз заканчиваю пьесу, которая, я думаю, тебе подойдет». Его пьесы всегда были близки к завершению. Он был заметной фигурой на ежегодном театральном балу, где неторопливо и с достоинством помогал у киосков. Девушки с окраин Лондона, увидев его, догадывались, что он известный драматург,— известных актеров они знали. Затем они принимались спрашивать друг у дружки, что он написал, и могли припомнить только «Пополам, дружище!», но тут же их охватывали сомнения — разве ты не помнишь, ее автор умер в день премьеры, про это писали в прошлое воскресенье газеты, вот насмешка судьбы, верно?

Мистер Никсон неизменно появлялся на похоронах известных актеров, где с безупречной вежливостью кланялся и отвечал на поклоны, погрузившись при этом в воспоминания о знаменитом покойнике. Точно так же он раскланивался и на премьерах, но он нечасто посещал премьеры, чтобы не повредить своей репутации человека театра и не прослыть обычным любителем.

Время от времени в той или иной газете театральная колонка открывалась заголовком «Новая пьеса Филби Никсона». В напечатанной ниже заметке говорилось, что:

«Мэри Кардью (или кто-то другой), которая, как мы уже сообщали, пополнила список актрис, занявшихся антрепренерской деятельностью, на днях арендовала театр «Аполло» и собирается начать сезон возобновлением «Школы злословия». Затем она будет ставить либо «Квадрат», где вновь сыграет Салли, либо новую пьесу Филби Никсона, которую он сейчас заканчивает».

Как-то раз под заголовком «Новые пьесы Филби Никсона» читателям сообщалось:

«Как нам стало известно, вскоре на сценах Вест-Энда одновременно появятся четыре пьесы знаменитого драматурга Филби Никсона. Как мы уже писали, Мэри Кардью вслед за возобновленной «Школой злословия» собирается ставить одну из пьес Никсона. Не исключено также, что комедия, которую Уилмер Кассельс заказал Никсону, будет готова к началу сезона в театре Гаррика. Если добавить, что мистер Герберт Скотт уже практически решил возобновить «Пополам, дружище!» и что комедия «Да, папа», которая на этой неделе с большим успехом шла в Саутси, только и ждет, чтобы ею занялся какой-нибудь лондонский театр, то очевидно, что имя Филби Никсона не будет сходить с театральных афиш».

И даже если осенью в силу непредвиденных обстоятельств имя мистера Филби Никсона вовсе не появится на театральных афишах, сам он тем не менее не перестанет появляться в артистических уборных (где в ответ на настойчивые просьбы написать пьесу будет объявлять, что работа близка к концу) и на траурных церемониях; и неизменным пребудет всеобщее мнение о нем как о драматурге, из-под пера которого вышли лучшие пьесы последних двадцати лет.

Ибо пьеса «Пополам, дружище!» создала ему репутацию раз и навсегда. Правда, у него был соавтор, ныне покойный; правда, этот соавтор, как любой соавтор, был убежден, что именно он написал всю пьесу; но правда также, что задолго до того, как пьеса кому-либо приглянулась, соавтор Никсона решил продать ему свои права за пять фунтов. В этой истории Никсон вел себя благороднейшим образом. Был составлен договор, согласно которому Никсон выплачивал соавтору не пять, а двадцать фунтов — почти все, чем он тогда располагал. Больше того, вначале на афишах и в программках фигурировали (напечатанные одним шрифтом) имена обоих авторов, хотя в договоре об этом не было ни слова. И вплоть до того как одна из воскресных газет опубликовала заметку, в которой

щедрость Никсона толковалась превратно, он на каждое Рождество посылал десять фунтов единственному родственнику покойного соавтора, его дяде-алкоголику, жившему в Блэкпуле и в жизни не видавшему своего племянника. На остаток дохода от пьесы «Пополам, дружище!», а ее играли в Лондоне, в провинции, в Америке и в любительских театрах, Филби Никсон мог вести жизнь, не лишенную удобств и удовольствий.

У него был лишь один недостаток. Он продолжал писать пьесы.

На «Вьюнок» Фила натравил Уилмер Кассельс. Он говаривал впоследствии — «разумеется, в шутку, старина»,— что ему причитается за это десять процентов, но повторял шутку так часто, что казалось, предложи ему Никсон комиссионные, он бы их взял.

Уилмер Кассельс был в числе людей, первыми оценивших «Вьюнок». В минуты, свободные от занятий, связанных с деятельностью актера-антрепренера — или, скорее, несмотря на отсутствие свободных минут,— мистер Кассельс читал массу книг — через посредников. Сложилось так, что жена Кассельса, его домашние, секретарша, управляющий и режиссер тоже были страстными читателями, абонентами множества библиотек и читательских клубов. Каждый из них интересовался своей областью литературы, а вместе они охватывали ее целиком, и это создавало у Кассельса впечатление собственной всесторонней начитанности, которым он щедро делился с каждым новым человеком. Среди людей, тесно связанных с ним, всегда находился кто-то, прочитавший последнюю работу Борна о теории относительности или Вертхайма о банковском деле, новый детектив или исторический роман и умевший рассказать о них профессионально и убедительно. Эта убедительность естественно и по праву передавалась и самому Великому Человеку. «Вы читали «Вьюнок»? — спрашивал он вдруг у изнервничавшейся молоденькой актрисы, ищущей ангажемента.— Немедленно прочитайте. Я сейчас как раз дошел до середины — чудесная книга». Бедная претендентка на роль чуть ли не со слезами на глазах принималась уверять его, что купит книгу нынче же вечером, стараясь тем самым показать, как она счастлива воспользоваться его советом.

Таким образом он прочел «Вьюнок». Старину Фила он, естественно, знал много лет. Раз десять он просил Фила написать для него пьесу и раз двадцать вынужден был отказываться от того, что тот приносил. Мистер Кассельс пребывал в убеждении, что следующая пьеса будет именно такой, как надо, и с годами ему стало казаться, что Фил — гений драматургической техники; у него даже появилась привычка в беседе с молодыми драматургами ссылаться на Филби Никсона как на мастера сценического искусства, которого им следовало бы изучить, прежде чем нести в театр очередную пьесу. «Если бы,—говаривал он,— Фил взглянул на вашу вещь, он бы сразу растолковал вам, как привести ее в порядок.— Он пролистывал несколько страниц.— Вот что. Приходите как-нибудь на ленч, а я затащу Фила». Молодой драматург рассыпается в благодарностях и ждет приглашения, но для актера-антрепренера ленч уже закончился, и он прощается с гостями.

Именно так высоко ценя Никсона, Кассельс возвратил ему очередную, двадцать пятую пьесу с обычными очаровательными извинениями, объясняя, может быть подробнее, чем всегда, что пьеса пришлась ему по вкусу, но ничего не выходит по той или этой причине, что Филу сказочно повезло, потому что пьеса написана будто специально для театра такого-то, а затем добавил:

— Знаешь, что бы мне хотелось получить от тебя, Фил, старина?

— Что же? — спросил Никсон без всякого воодушевления.

— Сделай пьесу из «Вьюнка».

— А! — односложно откликнулся Никсон, поскольку для него это слово звучит скорее как название сорняка, чем книги.

— Ты читал роман?

— Нет еще.— И с обидой в голосе Филби добавил: — Я был чертовски занят последнее время.

— Понятно. Ну так прочти. В ней кроется прекрасная пьеса. Я читал и все время думал: «Фил сделал бы из этого гениальную пьесу».— Он рассмеялся своим милым пренебрежительным смешком и добавил: — Я чуть было сам не принялся за нее, но ты, конечно, сделаешь в тысячу раз лучше. Вещь в твоем стиле.

— А кто автор?

— Как же его фамилия? Да ты знаешь. У меня, наверное, книга где-то здесь.— Он оглядел гримировальный столик, посмотрелся в зеркало и добавил румян на

щеки.— Ах нет, я отнес ее домой. Но ты обязательно разыщи книгу, потом разыщи автора, подпиши с ним договор, и тогда я...— Он вдруг вытянул руку и сказал: — Послушай, мне через две минуты на сцену. «Вьюнок». Не забудь. Из него можно сделать потрясающую пьесу, а ты — единственный человек в Англии, кто на это способен. Пока, Фил, старина.

И вот Реджинальд сидит в своей комнате на Хейуардс-гроув и ждет прихода мистера Филби Никсона. Как это мудро, что они переехали в Лондон. Сидя в кабинете в Вестауэйзе, нечего и ждать, что тебя посетит известный драматург. А как легко, как естественно это происходит в Лондоне! С утра — дела, например, обсуждение договора об инсценировке романа или нечто подобное; во второй половине дня — возможно, посещение картинной галереи, обмен приветствиями с Корал Белл и другими знакомыми; ленч, спектакль; затем ужин у Ормсби или в другом месте. Как наполнена жизнь в Лондоне! Ни минуты свободной.

Сильвия тоже страшно занята. Гости к ленчу... в гости на ленч... в гости на чаепитие.

— Филби Никсон.

Пожимают друг другу руки, обмениваются приветствиями, садятся, закуривают.

— Прежде всего,— начал мистер Никсон,— примите мои поздравления по поводу «Вьюнка». Это одна из самых очаровательных книг, которые я прочел в последнее время.

— Очень любезно с вашей стороны,— отвечает Реджинальд.

Но почему, думает он, похвала всегда оказывается общей фразой? И почему, раз уж подобная похвала достаточно формальна и неискренна, и к тому же исходит от человека, вкусы которого нам совершенно неизвестны,— почему бы такой похвале не выглядеть хоть немного точнее? Скажем, «самая очаровательная книга, которую я прочел за такое-то время». Или — «одна из самых очаровательных книг, которые я вообще когда-либо читал». Насколько было бы приятнее.

— Из беседы со своим приятелем Уилмером я понял, что вы хотите, чтобы я попытался инсценировать ваш роман. Не знаю, говорил ли он вам что-нибудь...

— Уилмер? — удивляется Реджинальд.— По-моему, я...

— Уилмер Кассельс.

— А, Кассельс,— поспешно говорит Реджинальд, не признаваясь, что совершенно незнаком с этим великим человеком, а как бы давая понять, что их отношения еще не позволяют называть друг друга по имени.

— Я расскажу вам, как я обычно действую в таких случаях.

Чувствуется, что он от чего-то страдает, думает Реджинальд, наблюдая за лицом Никсона, пустившегося в объяснения. Он хорош собой, прекрасно одет, известен и ценим, он человек светский, завсегдатай салонов, член многих клубов, он пользуется уважением и окружен восхищением, и при всем этом в нем проглядывает какая-то тоска, как будто он чего-то очень хотел, а ему не досталось. Интересно, как он поведет себя, если я похлопаю его по плечу и скажу: «Мне очень жаль, старина, но ничего у нас не выйдет»? Придет в изумление, наверное, или вообще не поймет, о чем я говорю. А может быть, разразится слезами? Нет, не стану проверять.

Они перешли к делу.

— Скажите, у вас есть агент?

— Агент? — удивился Реджинальд.— Нет. А должен быть?

— В данном случае это не так важно. Как вы знаете, пьесу заказал Уилмер, но я не люблю смешивать дружбу и дело. У меня есть хороший специалист, и если вы готовы передать дело в его руки...

— Конечно, конечно,— горячо согласился Реджинальд.— Вы в этом прекрасно разбираетесь. А я полный профан.

По лицу Никсона скользнула вежливая улыбка, но Реджинальду показалось, что в уголках губ по-прежнему таится тоска.

— Что же касается договора между нами, я предлагаю поровну.

— Я и в этом ничего не понимаю,— сказал Реджинальд.— Так обычно и делается?

Книга моя, думал он, а этому типу достается половина.

— Ну, разумеется, все зависит от обстоятельств, но обычно именно так. Если мы имеем дело с известным драматургом,— Реджинальд слегка поклонился, а Никсон, в свою очередь, поблагодарил его обычной быстрой улыбкой,— соотношение

часто бывает две трети к одной. С другой стороны, если книга популярна, как ваша... Одним словом, мне кажется, пополам будет справедливо по отношению к нам обоим.

— Очень любезно с вашей стороны.

— Во всех случаях — то есть я имею в виду, разумеется, все страны, если пьеса будет переведена, провинцию, Америку, Канаду, любительские спектакли и так далее.

— Согласен.

— И права на фильм, разумеется, тоже. Если вы еще не получали таких предложений.

— Нет,— покачал головой Реджинальд.— Вряд ли это подходящая книга.

— Ну да. Но пьеса может оказаться подходящей. Почти по каждой пьесе, имеющей успех, снимают фильм. Возможно, надо будет взять в долю режиссера; и Уилмер наверняка потребует себе что-нибудь; что же касается нас с вами — мы делим все доходы от фильма поровну. Вы согласны?

— Согласен,— повторил Реджинальд.

Таким образом, он получил на подпись официальный договор о том, что все доходы от пьесы делятся между ним и мистером Никсоном поровну. А сразу же после подписания договора в одной из газет появилась заметка, оповещавшая, что Филби Никсон работает над пьесой по известному роману Реджинальда Уэлларда «Вьюнок». Две недели спустя в очередной заметке говорилось, что, как сообщалось ранее, Никсон пишет для Уилмера Кассельса новую пьесу по мотивам романа «Вьюнок». И как раз когда Наш Театральный Корреспондент сообщил, что новая пьеса Никсона «Вьюнок», по всей вероятности, станет гвоздем сезона, Реджинальд снова встретил Корал Белл.

II

Они столкнулись на углу Пиккадилли и Сэквилл-стрит. Реджинальд возвращался с затянувшегося ленча в каком-то клубе и вдруг остановился на углу Сэквилл-стрит, раздумывая, не стоит ли, раз он оказался в этих краях, заглянуть к портному и заказать один-два новых костюма. Лондон предъявлял бóльшие требования к одежде, чем Вестауэйз. Нет, без Сильвии он не пойдет. Сильвия любит выбирать ему одежду. Для него рулон материи был всего лишь рулоном материи; быть может, некоторые отличались приятной расцветкой, но он никак не мог представить ту или иную ткань с рукавами и штанинами и с самим собой внутри. А Сильвия, кажется, может. Возможно, только делает вид, а возможно, это еще одна из множества ее удивительных способностей. В любом случае, они всегда ходили на Сэквилл-стрит вместе, и каждый визит к портному оставался у них в памяти милым воспоминанием.

Поэтому он вдруг снова повернул на Пиккадилли, продолжая путь домой, столкнулся с кем-то, пробормотал извинения и тут же воскликнул:

— О, это вы!

— Да, я,— ответила Корал Белл.— И, как всегда, занимаю слишком много места. А вы... Мы с вами... да, вспомнила. Нет, не говорите ничего.

Она вздернула подбородок и посмотрела на него из-под опущенных ресниц.

— Ормсби. Я вспомнила, кто вы. Реджинальд Уэллард.

— Да. Удивительно, что вы вспомнили.

— Удивительно? Что вы! Наоборот, это вы так чудесно... Давайте свернем на Сэквилл-стрит. Мы загородили весь тротуар, и люди начинают ходить вокруг меня. А я этого не выношу.

Они свернули на тихую Сэквилл-стрит.

— Ну вот. Это вы так чудесно признались, что в шестнадцать лет были влюблены в меня. Это было... как у вас с арифметикой?

— Неплохо. Я какое-то время служил в банке.

— В банке? О Боже мой! Тогда если вы знаете, сколько мне было, когда вы влюбились в меня, то можете легко сосчитать, сколько мне сейчас?

— Вовсе нет.— Реджинальд покачал головой.— В моем банке творилось что-то странное со временем. На него нельзя было положиться. Если кому двадцать пять лет назад было восемнадцать, тому теперь оказывалось тридцать.

— А если двадцать два?

— Значит, теперь, на Сэквилл-стрит, вполне можно дать двадцать девять.

— Прекрасно. Этот вопрос мы выяснили, не стоит больше к нему возвращаться. Почему вы так нерешительно двигались по Пиккадилли?

— Я думал, не заказать ли новый костюм. Тут неподалеку живет портной, он шьет мне раз в три года фланелевые брюки, которые сидят на мне мешком, и, скорее всего, неплохо на этом зарабатывает.

— А три года истекают как раз сегодня? Потрясающе! Какое стечение обстоятельств!

Корал Белл рассмеялась. Совсем как прежде, подумал Реджинальд.

— Пожалуйста, продолжайте,— умоляюще обратился он к ней.— Я не слышал этого уже... как мы решили, сколько лет?

— Не слышали чего? — удивилась Корал Белл.

— Вашего смеха. Перед этим вы только улыбались, а теперь засмеялись. Могу ли я надеяться на продолжение?

Она снова рассмеялась смехом прежней Корал Белл.

— Наверняка, если вы и дальше будете смешить меня.

Мистер Хопкинс, невысокий, щуплый, седобородый, с очками на кончике носа, склонился под углом сто тридцать пять градусов, произнес: «Добрый день, ваша светлость», «Добрый день, сэр» и «Сегодня довольно прохладно» — и стал ждать, не выказывая большого интереса к пришедшим. Реджинальд объявил, что хочет заказать два костюма, один кричащий, а другой весьма скромный. Мистер Хопкинс улыбнулся ее светлости, как бы говоря: «Мистер Уэллард любит замысловатые выражения»,— и пошел за тканью.

— Мне кажется, вас знает весь Лондон,— сказал Реджинальд.

— Я была здесь с Чарльзом раз или два,— объяснила Корал Белл, щупая материю.

Это, очевидно, муж, подумал он. Я совсем забыл о нем.

— Его светлость, я надеюсь, в добром здравии,— сказал мистер Хопкинс, вернувшись с двумя-тремя рулонами ткани.

— Да, благодарю вас.

— Весной, я надеюсь, талия у нас сделается на несколько дюймов тоньше. Я заранее рад. Вот, мистер Уэллард, материал, который вам подойдет. Не слишком вызывающий и в то же время не скучный. Как вам кажется, леди Эджмур? Я думаю, он будет к лицу мистеру Уэлларду.

Леди Эджмур не торопилась с выбором. Мистер Хопкинс, очарованный ее светлостью, не выказывал нетерпения. Реджинальд проявлял еще меньшую поспешность. Они рассматривали рулон за рулоном...

— Я думаю,— сказал Реджинальд, когда они очутились на улице,— было бы смешно приглашать вас куда-нибудь выпить со мной чашку чая?

Корал Белл взглянула на него с улыбкой.

— Дело в том,— объяснил он,— что, если не смешно, вы согласитесь, и это будет просто божественно, а если смешно — рассмеетесь; в любом случае я не проиграю. Что вы ответите?

Она с сомнением покачала головой.

— Боюсь, вы проиграете в обоих случаях. Я бы согласилась, но уже обещала зайти к леди Коллингборн. Вы с ней знакомы?

— Я ведь говорил вам, что не знаю здесь никого.

— Значит, мы не сможем навестить ее вместе. Или кого-нибудь еще. Так о чем бы мы стали говорить, если бы я пошла с вами пить чай?

— Так вы согласны? — воскликнул он с жаром.— Благослови вас Бог!

— Не каждый день встречаешь старинного поклонника.

— Чепуха, вы просто окружены ими.

Они пили чай у Стюартса и болтали без умолку.

— Вы знакомы со всеми,— сказал Реджинальд.— И с Филби Никсоном тоже?

— С Филом? Конечно. А что с ним такое?

— Он инсценирует мой роман.

— Вы написали их много? — спросила она с невинным видом.

— Вы не поверите,— засмеялся он,— я просто пытался быть скромным, а это чертовски трудно. Скажи я: «Он инсценирует «Вьюнок», выходило бы, что я аб-

солютно уверен — вы читали «Вьюнок» и знаете, кто его автор. Вообще, все эти определения «мой роман», «моя книга» звучат страшно эгоцентрично. А откуда вам известно, что я не написал их много?

— Мне известно больше, чем вы думаете.

— Наверняка. Поэтому расскажите мне о Никсоне. Он хорошо пишет?

— Фил? Да, замечательно. Бедняга Фил.

— Да, и мне тоже кажется — «бедняга Фил». Но почему?

— Вы видели «Пополам, дружище!»?

— Нет. А что, очень плохо?

— Что вы, просто блестяще.

— Вроде «Тетки Чарлея»?

— Нет, вовсе нет. Может быть, так было задумано, но в результате появился некий одухотворенный фарс. Просто удивительно, насколько эта пьеса популярна и по всей Англии, и в Америке, везде. Да и в Лондоне тоже. В конце концов публика везде одинакова. Я думаю, сейчас одухотворенности в пьесе поубавилось, что ж, так и должно быть. Но на премьере вы были бы в восторге.

— И наверное, написал пьесу соавтор Никсона, а он украл ее и теперь мучается угрызениями совести...

— Ну и ну!

— Правда? Так и было?

— Вовсе нет. Никакой романтики. Фил однажды рассказал мне. Мы вместе ужинали, все было великолепно, и во мне, очевидно, появилось нечто материнское — это в последнее время случается все чаще,— а Фил стал похож на мальчишку, который много выпил. Так вот — идея пьесы принадлежала ему, потом они работали над ней вместе, внесли множество добавлений, главным образом Фил. Окончательный вариант целиком сделан им, одним словом, четыре пятых работы — его. Соавтор все время пытался свести пьесу к обычному фарсу. Все это тянулось года три, и тот, другой, постоянно обвинявший Фила во всех неудачах, в конце концов продал ему свои права на пьесу за двадцать фунтов. С тех пор Фил каждый год получает от пьесы не менее трех тысяч.

— Тогда почему Фил бедняга?

— Он помешан на театре и на том, чтобы еще раз добиться успеха, но это бедняжке не удается. И он мучается, чувствуя, что все считают его мошенником... как вы, например... и думают, что первую пьесу написал соавтор... Стеннинг, вот как его фамилия. Поэтому Филу так хочется повторить свой успех, доказать, что та пьеса вышла из-под его пера. Но у него ничего не получается и никогда не получится. «Пополам, дружище!» — его единственная удача, и сам он не имеет ни малейшего понятия, как все произошло. Бедняга Фил.

— Но ведь с тех пор ему сопутствует успех?

— Нет. Ни одна из его пьес не идет в сравнение с первой. Но он настолько сросся с лондонским театром, что никто не осознает этого. К счастью для Фила.

— Но возможно, к несчастью для меня.

— Нет, он прекрасно сумеет сделать инсценировку. Надеюсь, ради вас обоих, что она ему удастся. Вам хочется узнать о ком-нибудь еще?

— Да, Корал Белл. Скажите, вам нравится знать всех?

— Необыкновенно. А вам — не знать никого?

— Чрезвычайно.

— Правда?

— Конечно. Я думаю, в этом основная разница между мужчинами и женщинами. Мужчина инстинктивно избегает новых людей, а потом с удивлением обнаруживает, что многие из них очень милы. Женщине нравится заводить новых знакомых, а потом, к ее разочарованию, оказывается, что многие из них совершенно невыносимы.

— Нет-нет. Вы не правы. Люди действительно делятся на две эти категории, но не по признаку пола. К первой относятся люди типа выпускников элитарных школ, ко второй — все остальные. Большинство женщин относится ко второй группе, на этом вы и построили свою классификацию.

— Корал Белл,— неожиданно сказал Реджинальд,— вы необыкновенно мудрая женщина. Вы... то есть... Могу я задать вам неприличный вопрос?

— Попробуйте. Не уверена, что у вас получится.

— Вы всегда были так умны или поумнели, попав в высшее общество?

Она весело рассмеялась.

— Вы, верно, забыли, что я участвовала в представлениях на курортах, начиная с восьми лет. Забыли, какую я прошла школу. Вы думаете обо мне как о глупенькой хорошенькой мещаночке, которая в семнадцать лет идет на сцену, потому что слишком глупа и слишком хороша собой для всего остального. Как раз из таких выходят глупые, тщеславные актрисы. Я, слава Богу, не была ни хорошенькой, ни глупенькой. Если бы вы знали, как меня всю жизнь забавляли люди.

— Я думаю. Но как не рассмеяться...— процитировал он строчку ее песенки.

— Ошибаетесь. Ошибаетесь, как всякий дилетант. Вы путаете роль и исполнителя. На самом деле я довольно серьезный человек. Говоря «забавляли», я имела в виду интерес, волнение, которое вызывали во мне люди. Например, когда я слушала Эйнштейна.

— Вы встречались с ним? Хотя, конечно, должны были встречаться.

— Не понимаю, почему «конечно», но встречалась.

— Наверное, вы правы. Я думал о вас как о девушке из песенки. Всегда веселой, смеющейся — и очаровательной. Но вы же знаете, сколько мне было лет — мог ли я думать по-другому?

— Вот почему женитьба на актрисе — ошибка.

Реджинальд немного помолчал, затем спросил:

— Скажите, что́ кажется вам более странным — что так много удачных браков или что так много неудачных? Я никак не могу решить.

— Неплохой вопрос,— одобрила Корал Белл.— Я никогда не задумывалась над этим. Наверное,— она склонила голову набок и задумалась,— наверное, что так много удачных. Ужасно трудная вещь брак, правда?

— Почему трудная? Нет, не так. Я хочу спросить — что вы имели в виду?

— Самое трудное — это знать, когда и как перестать любить.

— Подождите, ведь существуют люди, которые любят друг друга всю жизнь.

— Ну конечно, и мы все надеемся, что наш брак именно такой. А поскольку люди не перестают надеяться, даже когда никакой надежды нет, их так часто ждет неудача. Видите ли, когда люди влюблены, любое самое мелкое недоразумение должно быть выяснено, чтобы они снова могли быть счастливы; а если люди уже не любят друг друга, можно ссориться сколько угодно, при этом сохраняя прекрасные дружеские отношения.

— На низшем уровне.

— Да. Но большинство браков терпит крах при переходе на более низкий уровень. Если удается благополучно добраться до нижнего уровня, все в порядке. Конечно, оставаться на высшем уровне — это блаженство. Но это редко кому удается.

— А когда человек очутился на низшем уровне, что удержит его от того, чтобы влюбиться в кого-нибудь другого?

— Влюбиться или изменить?

— Наверное, я имел в виду измену.

— Ну, что вообще может удержать человека, если ему хочется совершить что-то дурное или непорядочное? Что может удержать от невыполнения обещанного? Я не знаю.

— Я тоже. А вот еще один вопрос для вас. Что удивляет вас больше — что люди так хороши или что так плохи?

— Мне жаль, мистер Уэллард, но я приглашена на ужин. Если вдруг у меня окажется год свободного времени, мы займемся этим вопросом. Сейчас я могу вам сказать только одно: нельзя отправиться на уик-энд с чужой женой, не сознавая при этом, что делаешь. Таких вещей не совершают, не взвесив, быть может подсознательно, все «за» и «против». Мне пора. Я чудесно провела день. Огромное вам спасибо.— Она открыла сумочку и посмотрелась в зеркальце.

Большие глаза, большой рот, лицо умное, благородное и открытое.

III

Реджинальд отправился домой на верху омнибуса; какое-то время он с удовольствием думал о приятно проведенном дне, вспоминая то свои, то ее реплики. Он чувствовал, что был в ударе. Он казался себе героем романа: полчаса назад он, как

заправский соблазнитель, вел легкую и непринужденную беседу с графиней, театральной знаменитостью. И я даже неплохо выглядел, подумал Реджинальд, машинально коснувшись галстука; Сильвия говорит, что мне к лицу этот костюм...

Вдруг он вспомнил, как они с Сильвией выбирали этот костюм в прошлом году в неожиданно жаркие сентябрьские дни. Она приехала вместе с ним из Вестауэйза; машину до станции вел он, а она сидела рядом и, когда он переключал скорости, говорила: «Прекрасно, дорогой, сейчас гораздо лучше». Потом она была на ленче вместе с Маргарет, а он был на ленче в клубе, и они договорились встретиться в магазине Хатчарда. Она пришла раньше его и просматривала какую-то только что купленную книгу, слегка касаясь кончиками пальцев ее страниц; она была спокойна, свежа и прелестна. Все другие бывшие там женщины болтали, суетились, нервно листали непослушные страницы — как будто занесенные жарким ветром в этот книжный оазис. Но Сильвия была частью оазиса.

Она почувствовала его появление, повернулась к нему — и, как всегда при встрече с ним, глаза ее потемнели — и посмотрела на него застенчивым и страстным взглядом, который он так любил. Они накупили множество книг с беспечной расточительностью, иногда находившей на него в книжных магазинах, и, оставив адрес для пересылки книг, перешли на другую сторону Пиккадилли, держась за руки. И, пока мистер Хопкинс дружески поглаживал то один, то другой рулон, их руки украдкой встречались под прилавком, они обменивались взглядами, тихонько смеясь над наивностью мистера Хопкинса, полагавшего, что перед ним солидная супружеская пара, давно забывшая обычай держаться за руки.

А сейчас? Что с ним произошло? Он позволил другой женщине занять место Сильвии, он украл у себя и у нее то получасовое воспоминание. Никто из них уже не сможет сказать: «Мы всегда ходим туда вместе. Это одна из тех вещей, которые мы всегда делаем вместе». Я все испортил, подумал Реджинальд...

Какое ребячество, думал он, это ведь как раз то, о чем говорила Корал Белл. Пока мы любим друг друга, нас ранит каждая мелочь, даже самая глупая. Обидится ли Корал Белл, если ее Чарли пойдет к портному без нее? Разумеется, нет. Они благополучно и наилучшим образом добрались до низшего уровня. А я буду всю жизнь биться, чтобы не попасть туда. Именно так распадаются браки, предупреждала она. Ну и пусть. Если мы с Сильвией не будем любить друг друга, для нас все кончится.

Смешно, думал он, подходя к дому, я чувствую себя так, будто обманул Сильвию самым ужасным образом, а ведь все это сущая чепуха. Пойду и расскажу ей все и попрошу прощения.

Посмеиваясь над этой мыслью, он отворил дверь дома. В холле моментально возникла Элис, и в ту же минуту он заметил на вешалке чужую шляпу.

— Лорд Ормсби наверху, сэр,— объяснила она.

— А! — отозвался Реджинальд.— Спасибо.

Он не пошел наверх, а направился в маленькую столовую и попытался второй раз за день прочитать «Таймс». Он чувствовал, что с ним обошлись очень скверно.

Глава четырнадцатая

I

Поэтому о Корал Белл пока не было сказано ни слова. В следующие несколько дней Реджинальд время от времени думал: ерунда. Я всегда делаю что-то, о чем ей не рассказываю. Нельзя же рассказывать другому человеку обо всем. И если уж на то пошло, она постоянно бывает в гостях, и сама принимает гостей, и ничего не рассказывает мне. Затем он задумывался, справедливы ли его рассуждения. Конечно, ничего нельзя сравнивать. В жизни не может быть точных параллелей. И тут же он (в связи с параллелями подумав об Эйнштейне) мысленно возвращался к Корал Белл. Она очаровательна, думал он, и невозможно предполагать, что человек вычеркнет из своей жизни всех очаровательных женщин только потому, что женат и любит свою жену...

В то же время, если бы Ормсби провел полдня с Сильвией, помогая ей выбирать

платья, а потом они пошли бы выпить чаю... нет-нет, это совсем другое. Здесь не может быть параллелей.

У миссис Стоукер сегодня был выходной. Каждую среду, в ясную погоду и в дождь, она предпринимала связанную со сложнейшими пересадками поездку на автобусе в отдаленный уголок Уилсдена, чтобы поужинать со своей вдóвой невесткой. Ее вело скорее желание воспользоваться правом на свободный день, чем удовольствие, которое она получала от этого визита. Братья Стоукер всю жизнь враждовали, причем их жены, вышедшие за них в разгар этой вражды, не были посвящены в ее тонкости. Она перешла по наследству к вдовам и глубоко захватила их в самый трудный период вдовьего траура, но, в отличие от покойных мужей, они гораздо хуже представляли себе, в чем, собственно, дело. Ужины по средам, начинавшиеся холодной бараниной с помидорами и повторением версии младшего Стоукера, который, по воспоминаниям Джейн, утверждал, что все началось с того, что он разбил голову, упав с велосипеда в возрасте восьми лет, или с того, что родители ожидали рождения не его, а дочери, и заканчивавшиеся холодным саговым пудингом и заявлением миссис Стоукер о том, что если бы Законы были Законами, некоторые не могли бы сейчас вести разговоры с соседями насчет шкафов настоящего красного дерева, давно уже утратили характер импровизации, зато приобрели величавость театрального представления, где исполнители знают свои роли назубок, включая финальные реплики. «Надеюсь, ты придешь в следующую среду»,— произносила Джейн без малейшего воодушевления, на что миссис Стоукер так же уныло отвечала: «И я надеюсь».

Итак, по средам Уэлларды обедали в городе; в эту среду их выбор пал на ресторан «Плющ». Они не были одеты по-вечернему, поскольку не собирались ни в театр, ни в гости, но думали зайти в кино по пути домой. Изучая меню, Реджинальд уловил улыбку Сильвии, адресованную кому-то позади него. Он посмотрел на нее, увидел, что она продолжает улыбаться, и спросил: «Кто это?»

— Мистер Фондеверил. Он прошел мимо нашего столика в другой зал.

— Фондеверил? Отец леди Ормсби? Он был тогда на ужине. Я не знал, что ты с ним знакома. Не начать ли нам с устриц? А потом решим, что еще взять.

Сколько же устриц, подумал он, гибнет именно по этой причине.

— Хорошо, дорогой.

— Две порции устриц и, пожалуйста, дайте мне карту вин.

Официант поспешно уходит.

— Я познакомилась с ним не в тот вечер, он был на ленче в другой раз.

— У кого? А-а, спасибо. Что мы будем пить, Сильвия?

— Мне не очень хочется. Хотя... Мы не могли бы заказать... что это было за вино?.. То, что мы пили в Италии?

— Кьянти?

— Оно так чудесно называлось.

— Наверное, «Лакрима Кристи»?

— Да, оно. Но только если ты хочешь, дорогой. Это было у леди Ормсби.

— Надеюсь, оно здесь есть,— сказал Реджинальд с сомнением. Заглянул в карту и заказал бутылку.

— Там был лорд Ормсби и он, и все.

— Я не знал, что ты бываешь у них на ленче. Ты ничего мне не рассказывала.— Реджинальд был слегка удивлен и слегка задет.

— Наверное, ты думал о чем-то другом. Я рассказывала тебе.

Подходящий момент рассказать о Корал Белл.

— Ты видела на том ужине леди Эджмур? Наверняка нет. Я ведь рассказывал тебе о ней, правда?

— Не на ужине. Я виделась с ней после. Леди Ормсби приглашала ее на чай.

— Да? — Он опять был и удивлен, и задет.— Я не...— он не договорил.— Она милая, тебе не кажется?

— Очаровательная.

— Я недавно встретил ее случайно на Пиккадилли... Да, спасибо.

Это появились устрицы, сначала перед ней, затем перед ним.

— Она показалась мне не... Спасибо, спасибо.

Теперь черный хлеб, масло, лимон и тому подобное.

— Вы уже решили, что заказать?

— Черт возьми,— пробормотал Реджинальд.— Сильвия, что ты хотела бы?

— Что-нибудь легкое,— ответила Сильвия, без особого интереса разглядывая меню.

— Возьми омлет с почками, жареный картофель и японский салат,— произнес Реджинальд в мгновенном озарении.

— Хорошо.

— В таком случае две порции,— сказал Реджинальд официанту и, возвращаясь к Сильвии и к рассказу, вдруг увидел, что к ним приближается Филби Никсон, изысканный, как герой собственной пьесы.

— Да, и она... Смотри-ка, Никсон! Я должен представить его тебе.

Никсон поймал его взгляд и подошел.

— Сильвия, это мистер Филби Никсон. Моя жена.

Они с улыбкой пожали друг другу руки.

— Нас познакомили,— сказал Никсон,— хотя, может быть, миссис Уэллард не помнит. На днях у леди Эджмур на ленче.

Боже мой, думает Реджинальд.

— Конечно, помню,— ответила Сильвия.— Разве я не рассказывала тебе, дорогой? И о том, как замечательно продвигается пьеса?

— Ах да,— пробормотал Реджинальд.

Что с нами случилось, думает он. Очевидно, я опять думал о чем-то другом. Или читал за завтраком газету.

— Прошу вас, присядьте на минуту и расскажите нам еще о пьесе.

— Я жду Этель и посижу с вами, пока она не придет. Она вечно опаздывает, как вы уже, наверное, убедились.

— Вы говорите об Этель Прентис? — спросила Сильвия.

Черт побери, думает Реджинальд, ведь это знаменитая актриса. Если окажется, что ты знакома и с ней, если ты знакома уже со всеми, а я бедный родственник из провинции, который никого не знает, я просто закричу.

Оказалось, что Сильвия знает ее только по имени.

— Я представлю ее вам, если можно. Кстати, ей страшно хочется сыграть Салли.

Если она будет играть Салли, думает Реджинальд, она должна быть так же хороша, как Сильвия, потому что Салли — это Сильвия. Ну, не совсем. Ведь у Салли... есть чувство юмора. Но впрочем...

— Здесь просто все собрались,— извиняющимся тоном произнес Никсон, поклонившись в четвертый раз с тех пор, как оказался за их столиком. Под «всеми» он понимал актеров, составлявших театральный мир, его мир.

— Кто это вон там? — спросила Сильвия.— Такое знакомое лицо.

— Вилли? Высокий, худощавый? Вилли Эванс. Писатель.

— А-а! Нет, тогда я его не знаю.

— Может быть, просто похож на кого-то.

— Да, скорее всего. На какого-нибудь артиста.

— Поздновато для артистов,— объяснил Никсон.— В такое время здесь бывают только безработные или те, у которых сейчас репетиции.

Он взглянул на часы.

— Десять минут девятого. Мы приближаемся к тому моменту, который Этель считает восемью часами.

— Мисс Прентис не играет сейчас? — спросила Сильвия.

— К счастью, нет. Поэтому мечтает о «Вьюнке».

— Она играла раньше с Кассельсом? — интересуется Реджинальд.— Я думаю, они были бы очень хорошей парой.

— Видите ли,— говорит Никсон,— я как раз вчера вечером был у Уилмера. Он жалеет ужасно, но у него подписан договор — он играет в той французской пьесе. Можно, конечно, подождать, пока он освободится, но я думаю... Я не уверен, что он подходит.Что же касается Этель... да вот и она.— Он встал и направился к двери.

Сильвия бросила на Реджинальда быстрый взгляд, в котором читалось жгучее любопытство, а под столом легко коснулась ножкой его ноги.

Реджинальд встал. Знакомство состоялось. Мужчины в некоторой нерешительности. Мисс Прентис, уверенная в себе, надменная, отчеканивает свои реплики. Она обожает «Вьюнок». Вы, наверное, страшно гордитесь мужем, миссис Уэллард? Страшно. А вы в самом деле собираетесь сыграть Салли? Конечно, она была бы счастлива, но, возможно, придется поехать в Америку. Ее приглашают сыграть

в одном фильме. Приветствую вас — как дела — добрый вечер — привет — улыбки четырем разным столикам. Да, она была бы счастлива. Фил, дорогой, мы опаздываем — добрый вечер — и отрываем мистера и миссис Уэллард от устриц. Вы ведь тоже обожаете устрицы? До свидания, миссис Уэллард. До свидания, чудесно было познакомиться с вами, пьеса будет божественная. Еще одна сияющая улыбка, гаснущая, как только актриса отворачивается, и она идет к дверям. Никсон на прощание раскланивается особенно любезно, как бы извиняясь за нее, а может быть и за всех людей сцены, которые, стараясь очаровать каждого встречного, так явно демонстрируют то, что хотели бы скрыть.

— Я не знал, что ты знакома с Никсоном,— садясь, сказал Реджинальд все еще с некоторой досадой.

— Да, он был на ленче у леди Эджмур.

— А? Я даже и не знал...

— Я рассказывала тебе, дорогой, но ты читал «Таймс».

— Когда это было?

— Ленч был в четверг, а я говорила тебе за завтраком.

— В четверг. Да, значит, после.

— После чего? Ты об этом хотел рассказать мне?

— Да. Знаешь, я встретил ее на Пиккадилли, как раз когда...

— Она говорила мне, что вы пили чай.

Реджинальду вдруг становится стыдно.

— Я хотел рассказать тебе. Мне очень неловко. Не сердись.

— Ничего страшного. Здесь, в Лондоне, никак не найдешь времени поговорить, правда? Я рада, что ты пригласил ее выпить чаю. Она очень обаятельна.

— Она говорила тебе, что мы делали?

— Нет. Только о чаепитии.

Реджинальд признался.

— Понимаешь, как все получилось? — допытывался он.— Она, и я, и Хопкинс...

— Конечно, дорогой. Как ты думаешь, мне понравятся костюмы?

— Надеюсь,— холодно ответил Реджинальд.

Странным образом, он был раздосадован, что это так мало ее задело. Неужели все дорогие ему воспоминания ничего не значат для нее? Но в глубине души он знал, что, если бы Сильвия хоть сколько-то рассердилась, он был бы недоволен не меньше.

— Я бы страшно обиделась, если бы мы жили в деревне,— сказала Сильвия.— Я так люблю встретиться с тобой в книжном и потом отправиться вместе к портному. Но когда живешь в Лондоне, все по-другому.

— Да, верно,— согласился Реджинальд, вдруг почувствовав себя гораздо лучше.

Дорогая моя, подумал он, вот сейчас ты сказала именно то, что нужно.

— Кругом столько разных людей.

— Да, я думаю, дело в этом.

Он вдруг задумался, сравнивает ли Сильвия его со всеми этими людьми, как он сравнивает ее, и мысль эта обеспокоила его.

II

Мистер Фондеверил сегодня вечером обедал в «Плюще» с дочерью. Она опаздывала. Он величественно прошел из дальнего зала к входным дверям, постоял там минуту, пока случайные посетители гадали, кто это, и величественно вернулся к своему столу. Он взглянул на часы с видом человека, которому однажды пришлось дожидаться Паулуса Крюгера и который удивлен, что урок, преподанный этому возомнившему о себе деятелю, не пошел другим впрок.

Леди Ормсби и ее отец много времени проводили вместе. Ормсби относился к тестю с поразительной терпимостью, которая, к его собственному удивлению, время от времени сменялась явной симпатией. Старик, конечно, был безумен, как Шляпник, но, несомненно, являл собою личность. Казалось невероятным, что человек пятидесяти пяти лет, к тому же Роберт, первый барон Ормсби, вообще может иметь тестя, но раз уж так сложилось, пусть он будет оригинал, а не

ничтожество. Весь Лондон знал мистера Фондеверила в лицо; он либо производил впечатление, либо казался смешон. Про каждого ли тестя можно так сказать? Ормсби должен был как-то проявить свою благодарность.

И он проявил ее. Мистер Фондеверил сделался украшением официальной резиденции четы Ормсби. С одобрения барона Мэгги постоянно приглашала отца, демонстрировала его на приемах и даже проводила в его обществе невеселые уик-энды, когда сам Боб, к сожалению, бывал в разъездах. Пусть у него будет своя комната, старушка, и если тебе вдруг взгрустнется... Ладно? А я позабочусь, чтобы все было в порядке. «В порядке» — это, разумеется, означало деньги. Хорошо, что Ормсби позаботился о деньгах, поскольку пенсии, получаемой мистером Фондеверилом от чайной фирмы, могло хватить лишь на парадные рубашки для бесчисленных приемов, где он появлялся. Ормсби с неожиданной щедростью обставил тестю квартиру на Нью-Кавендиш-стрит, в районе, который был выбран не без добродушной насмешки. Если мистер Фондеверил хотел, он мог воображать себя светским человеком, живущим в Вест-Энде, но с таким же успехом он по желанию мог казаться модным врачом-консультантом, с квартирою в другой части Лондона. Мистеру Фондеверилу нравились оба варианта. Покупая что-нибудь, он мог сказать продавцу: «Доставьте это в мой кабинет» — и вдруг, нахмурясь и подняв руку, поправить: «Нет! Лучше ко мне домой», либо: «Отошлите это ко мне домой — нет, как я сразу не подумал? В мой кабинет для консультаций»; но в обоих случаях он мог назвать адрес, который звучал весьма убедительно.

В каком-то смысле его квартира действительно была кабинетом для консультаций, поскольку там он консультировался, роясь в словарях и энциклопедиях. Преуспевающий владелец газет всегда может обеспечить тестя, не задевая его чувств и не принося вреда обществу. Не один год постоянную колонку в «Домашнем советнике Ормсби» под названием «Удивительный мир, в котором мы живем» вел Джон Фондеверил, который (как светский человек) предпочитал использовать nom-de-guerre [1] Джеймс Фонтейн, Б. И. [2]. Колонка эта как нельзя более соответствовала его близкому к oratio recta [3] стилю, поскольку в своих еженедельных статьях он как бы брал читателя за руку и излагал предмет ему лично. «Теперь предположим, что я директор банка, а вы приходите ко мне и говорите: «Доброе утро, мистер Фонтейн, мне нужна ссуда в Десять Тысяч Фунтов». Что ж, я отвечаю так: «Прекрасно, мистер Смитерс, но какое Обеспечение можете вы мне предложить?» — и так далее. Буквы Б. И. после фамилии добавил издатель, посчитавший, что они помогут завоевать доверие читателя. Мистер Фондеверил, увидев их в первый раз, был несколько шокирован и поделился с зятем своими сомнениями относительно права писать их, если, «строго говоря», он не Бакалавр Искусств. На что Ормсби, изрядно выпив и держа во рту сигару, ответил: «Но я надеюсь, что вы, старина, всю жизнь были Безупречным Исполнителем». Таким образом, дело разрешилось, и вскоре мистер Фондеверил с сожалением вспоминал потраченные впустую университетские годы.

С появлением таких заведений, как «Синема де люкс» и «Пале де данс», число людей, желавших заниматься самообразованием, сильно уменьшилось, во всяком случае, настолько, что не приносило дивидендов, и Джеймс Фонтейн приказал долго жить. Вот и получается, что в четверг подробно объясняешь читателю, почему он видит свое отражение в чайной ложке вверх ногами, а в следующий четверг сам ввергаешься в хаос, из которого однажды возник Удивительный мир. Сначала деньги, которыми Ормсби снабжал тестя, можно было считать авансом, потом они почти начали превращаться в выплаты иждивенцам Джеймса Фонтейна, и тут, как раз вовремя, страну охватило увлечение кроссвордами. Всегда здоровый, всегда готовый Джон Фондеверил вновь принялся за работу, на этот раз как Мэседон в «Санди сан». Новое занятие подходило ему не меньше, чем прежнее. Он писал: «13 по вертикали — брюхоногое, обладающее кубаревидной раковиной и легочной полостью» — и погружался в мир размышлений с той же легкостью, с какой перед этим воображал себя Гладстоном или сэром Гарнетом Вулсли, а позже разъяснял тонкости банковского дела или законы рефракции.

Он снова взглянул на часы, и в эту минуту леди Ормсби тихо подошла к его столику.

---

[1] Псевдоним *(франц.)*.

[2] Бакалавр искусств *(англ.)*.

[3] Прямой речи *(лат.)*.

— Прости, дорогой,— извинилась она.— Я остановилась поздороваться с Уэллардами.

— Четверть девятого,— произнес мистер Фондеверил, защелкивая крышку своих золотых часов с дарственной надписью и обеими руками засовывая их в карман брюк.— Четверть девятого, Мэгги.

— А, значит, я и так уже опаздывала. Ты видел Уэллардов?

— Я поклонился миссис Уэллард. Очаровательная женщина.

— Прелестная.

— Ты помнишь миссис Лэнгтри в молодости? Нет, конечно, и не можешь. Что за красавицы жили в наши времена! Я заказал для начала устрицы. Ты не против?

— Спасибо, дорогой.

— Я всегда говорю, что миссис Лэнгтри, леди Рэндольф Черчилль и твоя мать были самыми красивыми женщинами, каких мне доводилось встречать в жизни. Миссис Лэнгтри не охотилась. Ее красота была слишком экзотична. Мы вставали на скамейки в Гайд-парке, когда она проезжала.

— Я думаю, сейчас так уже не делают. Отец, меня немного беспокоит Боб.

— Боб? — переспросил мистер Фондеверил, изображая удивление.— А! Гм! — И он погрузился в изучение карты вин.

На самом деле он нисколько не удивился тому, что Боб вызывает у жены беспокойство, странно было, что Мэгги прямо заговорила об этом с отцом. Он, разумеется, знал о похождениях Ормсби, да и кто не знал? Но между ним и Мэгги как бы существовал уговор, что он ничего не знает, по крайней мере официально. Если бы он знал, разговор с зятем стал бы неизбежен. Конечно, он должен был бы поговорить с ним как мужчина с мужчиной или хотя бы как светский человек со светским человеком. Но непременно пришлось бы что-то сказать. Неловко, конечно, когда приходится говорить зятю, который тебя содержит, что он подлец,— так неловко, что помимо воли возникает желание не осознавать его подлости и не попадать в эту малоприятную ситуацию. Это желание, едва возникнув в сознании мистера Фондеверила, тут же захватило его целиком. Он был убежден, что ни о чем не подозревает, что как светский человек он не должен вмешиваться в чужие дела, что, даже если он что-то и знает, его молчание — это героическое жертвование собственным счастьем, даже счастьем любимой дочери на благо общества.

— Мне очень жаль, дорогой,— сказала Мэгги с грустной улыбкой, прекрасно понимая причины его замешательства,— но иногда мне только ты можешь помочь.

Он похлопал ее по руке, прощая.

— Дорогая моя Мэгги, ты единственное мое сокровище. Я сказал это твоей матери, когда она умирала. «Она — мое единственное сокровище, Кэролайн,— сказал я,— предмет моих забот. Увы! Я не могу обеспечить ей всего, что было у тебя в детстве: красивого и богатого дома, охоты и верховых прогулок, но можешь быть уверена, я посвящу ей всю свою жизнь». Она знала, что я говорю правду. И умерла спокойной.

Мэгги сжала и отпустила его руку.

— Я знаю, дорогой.

— Нам ведь неплохо было вместе, правда? — спросил он с жаром.— Правда, Мэгги? Помнишь, как мы ходили в Зоосад и в музей мадам Тюссо, как ездили в Рамсгейт, и в первое лето встретили там негров, и я заговорил с одним, и мы пригласили его выпить чаю, а он пел нам свои песни...

— Ну конечно, дорогой! Конечно, помню,— воскликнула леди Ормсби, и лицо ее посветлело, она выглядела в эту минуту почти как девочка-Мэгги.— Я помню и песни, которые он пел. Одна «Хай-тиддли-хай-тай», а другая «Я спросила Джонни Джонса и теперь я знаю...», а еще...

— Да-да,— припомнил и мистер Фондеверил.— Возможно, там были несколько рискованные моменты...

— Дорогой, песни нравились мне ужасно, но я не понимала в них ни слова. Мы с тобою жили чудесно.

— Ну так что же с Бобом?

Леди Ормсби поколебалась, потом произнесла:

— В сущности, ничего. Только,— она повернула голову к другому залу,— та пара...

— Ну, не хочешь же ты сказать...

— Я ничего не хочу сказать. Только я немного беспокоюсь. Она так прелестна и так... невинна.

— Но...— начал мистер Фондеверил с уверенностью в голосе, но тут же спохватился и смущенно закашлялся. Он чуть было не сказал: «Но ведь женщины Боба всегда... профессионалки... Никто из них в него не влюбляется». Но вовремя вспомнил, что не подозревает о похождениях зятя.

Она угадала его мысли, как угадывала всегда.

— Дело не в этом,— сказала леди Ормсби.— Просто, если они и дальше будут появляться вместе, начнутся разговоры... Его репутация... Жаль... Она так мила... А люди бывают жестоки.

— А они... действительно появляются вместе?

— Они ведь только что познакомились. Она была у меня на ленче, и Боб некоторое время провел с нами... Я и не знала, что он собирается в это время быть дома. Он говорил мне, что с тех пор виделся с нею.

— Ну, если он сам сказал тебе...— заметил мистер Фондеверил, стараясь разуверить себя.

Она покачала головой.

— Видишь ли, я знаю Боба. Я видела, как он смотрит на нее. Я не думаю, что он...— она поколебалась, но закончила: — Видишь ли, до сих пор он держался подальше от моих приятельниц. Кроме того, она совершенно другая и слишком влюблена в своего мужа, чтобы думать о ком-нибудь еще. Но она так хороша собой... Бедняга Боб! Всегда вообразит неизвестно что, а потом за все расплачивается. Как это, в сущности, печально.

Мистер Фондеверил собирался возмутиться тем, как спокойно его маленькая Мэгги мирится с неверностью мужа, но понял, что это не совсем сообразуется с его полной неосведомленностью. Поэтому он сказал:

— Мне кажется, здесь не о чем беспокоиться. Ты только что видела их. Это самая счастливая пара в Англии.

— Да, но я знаю Боба. Начнутся сплетни. И этим милым бедным Уэллардам придется плохо.

Значит, она еще не все сказала. Хорошо, он сейчас подведет итог.

— Одним словом, ты считаешь, что он захочет бывать с нею на людях, а в таком случае начнутся сплетни. Но почему бы тебе тогда не поговорить с ним по-дружески? Или с ней? Или даже с Уэллардом?

Леди Ормсби взглянула на отца с любящей улыбкой. Мысль о том, чтобы предупредить едва знакомую женщину, что появление в обществе Боба повредит ее репутации, была довольно забавной.

— Спасибо тебе, дорогой,— сказала Мэгги.— А что ты собирался рассказать мне?

И мистер Фондеверил рассказал ей. А случайные посетители ресторана переговаривались между собой: «Кто это? Я наверняка встречал его раньше». Тем временем Уэлларды, еще раз заглянув в меню, выпили кофе и поспешили в «Риальто».

III

Но еще неизвестно, попадут ли они туда. Хотя границы уэллардовского Лондона расширялись с каждым днем, освоить географию лондонских кинематографов им никак не удавалось. Реджинальд довольно давно пытался освоить ее, но пока что безуспешно. Когда он уверенно говорил себе: «Это «Тадж Махал», перед ними возникал сияющий яркими огнями «Лувр». Нет, дорогой, это «Баргелло». Или «Лувр»... а может быть, «Риальто»? И хотя, выходя из ресторана, они собирались именно в «Риальто», на фильм, который все так хвалили, они оказались, скорее всего, в «Пирамиде Хеопса» и остаток вечера провели там.

В обществе двухмерных мужей и жен. Что удивляет вас больше, спрашивал Реджинальд у Корал Белл, что столько браков удачных или что столько неудачных? Удивительно, без сомнения, что столько удачных. Перестанем ли мы когда-нибудь осквернять наш домашний очаг? Если писатель пишет о семейной жизни в серьезном тоне, у него существует лишь одна возможность: брак должен оказаться трагической ошибкой, отвратительной и мерзкой; тело, разум и дух — чем-то в высшей степени

вульгарным. Если же писатель семейную жизнь изображает юмористически, у него только один путь: брак должен оказаться ошибкой комической; но тоже отвратительной, мерзкой и вульгарной. Трагедия, комедия? Человек теряет веру, честь, любимую женщину или, скажем, теряет шляпу; он тут же становится темою комедии или трагедии, но только в том случае, если принято считать, что вера, честь и любимые существуют на свете и что не каждый день человек теряет шляпу.

Да, размышляет Реджинальд, и на экране можно было бы время от времени показывать, что брак бывает и счастливым, что в нем есть красота, к которой нужно стремиться, если даже многие не подозревают об этом.

Перед ними молодая пара. Может быть, они два года, держась за руки, каждую неделю смотрят фильмы, посмотрели уже сотню таких фильмов, и вот теперь они женятся! Как все будет для них легко! Какими знакомыми, какими неизбежными покажутся невзгоды семейной жизни!

А если дети этой убогой пары не прославят имя своих родителей, родители, конечно, обвинят другие, легкомысленные фильмы в растлении юных душ...

Нет ничего нравственного или безнравственного, думает Реджинальд, есть только прекрасное или безобразное. Безобразное — вот то единственное, что должно подлежать цензуре...

Из-под кровати осторожно высовывается голова мужа. Его челюсти мерно движутся, жуя резинку. На лице его ужас, и, по мере того как камера удаляется, причина его страха и беспокойства становится все понятнее — это решительного вида маленькая женщина со скалкой в руках, сидящая под дверью в ожидании возвращения мужа. Голова мужа высовывается и прячется вновь, как у испуганной черепахи, а жена, похожая на сбитого с толку ястреба, дожидается жертвы, не подозревая, что та прячется под кроватью. Четыре тысячи глаз перемещаются от мужа к жене, туда и сюда, туда и сюда, чтобы не пропустить ничего в этом нагромождении недоразумений. Жена ждет мужа; муж давно здесь. Жена полна решимости ждать всю ночь. Муж под кроватью обречен всю ночь провести там...

Сцена в спальне. К счастью, не из тех, что развращает нравы. Чистое, здоровое развлечение...

Сильвия хохочет. (Как удивительно бесчувственны женщины!)

Реджинальд хохочет. (Отвратительно, безобразно, но тем не менее ужасно смешно!)

Глава пятнадцатая

I

Несомненно, Сильвия, как принято выражаться, жила собственной жизнью. Она не была больше Сильвией из Вестауэйза, которую (то есть их обоих) приглашали на ленч, или чаепитие, или обед, на партию в теннис или в крикет; она не была больше просто половиной супружеской пары Уэллардов. Обращенное к ней «вы» означало теперь только Сильвию Уэллард, эту прелестную Сильвию Уэллард в единственном, а не множественном числе. В деревне «вы» значит «вы», а в Лондоне «вы» часто употребляют вместо «ты». Сколько мужей, не понимая этого, приводят с собой никому не нужных жен, сколько жен тащат неприглашенных мужей!

Разумеется, Реджинальд тоже жил собственной жизнью, совершенно отдельной. Но это естественно. Ведь это он написал «Вьюнок», он соавтор (если можно так сказать) пьесы, которую уже репетируют, это он встречается за ленчем с мистером Пампом, чтобы обсудить с ним свой следующий роман. Сильвия не имеет к этому никакого отношения. А ее деятельность носит характер чисто светский, и Реджинальд мог бы прекрасно в ней участвовать. Занятия Реджинальда были деловыми, в них не оставалось места для Сильвии. Ни одна жена не могла бы возражать против того, что Реджинальда называют на «ты», но самый терпимый муж почувствовал бы себя уязвленным (не правда ли?), постоянно слыша это местоимение второго лица единственного числа, обращенное к миссис Уэллард.

Реджинальд был уязвлен. Без всяких на то оснований, разумеется, но от этого не легче. Чего бы мне действительно хотелось, как и любому мужчине, думал он, это завести гарем. Три жены. Одна — чтобы заботиться обо мне, другая — чтобы вести беседы, третья — для любви. Возлюбленная должна быть священна. Никому нельзя ее видеть, никому нельзя появляться рядом с ней, кроме меня. Чепуха получается? Конечно. Выходит, что да. Во всяком случае, чертовски несправедливо... Если бы я был одним из трех мужей Сильвии, для чего бы она меня предназначила? Может быть, вообще ни для чего. Нет, невозможно... Так ка́к же, Сильвия? Ты еще любишь меня?

В золотом свете памяти перед ним проходила череда милых событий прошлого. Любой эпизод жизни в Вестауэйзе казался чудесным сном, воплощенным счастьем, возможно, неповторимым. Там они сидели, стояли, держались за руки; встречались, гуляли, целовались, смотрели в глаза друг другу, играли и смеялись вместе. Один день сменял другой, тогда случилось то, тогда произошло это, каждое воспоминание, даже самое обычное, приносило ему картины прежней жизни, где он и Сильвия были слиты воедино. Она была чудесным цветком, красотою которого он жил.

Разве только ее физическая прелесть давала ему жизнь? Разве только ее тело он любил? Глупости. Как ему виделось сейчас, любая ее мысль, даже любое непонимание, любая ошибка составляли часть той Сильвии, к которой он был привязан, той Сильвии, которой он оказался неверен. Существует неверность духовная, подумал он, грех не менее тяжкий, чем телесная. Я изменил Сильвии. Помоги мне, Боже, я даже пренебрегал ею. Нет, нет, этого не было, подумал он быстро... А потом подумал, нет, все-таки было...

Меня мучает ревность без всякой причины. Почему бы Сильвии не жить своею жизнью, а мне своей? Ведь мы встречаемся вечером... ночью... и мы вновь — одно. У меня есть тайные мысли, почему бы и ей не иметь их? У меня есть собственные друзья, собственные занятия, почему бы им не быть и у нее? Этот чертов мужской собственнический инстинкт. Я хочу быть свободным и в то же время хочу, чтобы она не была свободной. И оказываюсь еще менее свободным, потому что в обществе другой женщины не могу отделаться от тягостного ощущения неверности по отношению к Сильвии. Чувствует ли она то же? Конечно, нет. С какой стати?

Хорошо бы очутиться с нею на всю жизнь на необитаемом острове... Он рассмеялся, вспомнив, что когда-то хотел того же, но с Корал Белл.

Хорошо бы мы никогда не приезжали в Лондон. (И никогда не встретились с Корал Белл? Конечно.)

А еще мне бы хотелось... один Бог знает, чего мне еще хотелось. Только я люблю тебя, Сильвия, и не проводи столько времени без меня, и... давай поскорее вернемся в Вестауэйз! Ведь мы были там страшно счастливы.

Но, дойдя до Грин-парка, он изменил последнюю фразу: «Я хочу сказать, я был там страшно счастлив», а пройдя парк насквозь, изменил ее вторично: «Я хочу сказать, *сейчас* мне кажется, что там я был страшно счастлив», а приближаясь к театру, он думал, что Лондон все же очень неплохой город, где случаются поразительные вещи.

Он имел в виду свое сегодняшнее появление в театре, куда впервые в жизни проник через служебный вход. Мистер Огастес Венчур, известный импресарио, должен был представить Этель Прентис, знаменитую актрису, любимицу публики, на роль в новой пьесе прославленного драматурга мистера Филби Никсона по необычайно популярному роману «Вьюнок». «Вам может быть интересно заглянуть на репетицию,— написал ему Никсон.— Мы начинаем в понедельник». А в четверг Реджинальд понял, что откладывать это развлечение больше нельзя.

И вот он оказался здесь, не совсем представляя, с чего начать. Попросить мистера Никсона? Но тогда придется вытаскивать его с середины репетиции. Открыть дверь и пройти, надеясь на лучшее? Вопрос решился сам.

— Что вам угодно, сэр? — обратилась к нему голова из отверстия в кабинке.

Реджинальд объяснил с извиняющимся видом, вполне естественным в этой ситуации.

— Сегодня утром репетиции нет.

— Неужели? Но ведь она была назначена.

— Да, сэр, верно, но, как я понял, возникли какие-то сложности. Мистер Никсон наверху с мистером Венчуром. Сказать ему, что вы здесь?

— Не знаю, захочет ли он...

— Я сообщу ему на всякий случай,— и театральный страж снял трубку телефона.

Поэтому чуть позже Реджинальд обменивался рукопожатиями с мистером Огастесом Венчуром и был представлен Латтимеру: «Вы, конечно, знакомы с Латтимером?»

Мистер Венчур был человек среднего роста, но, вероятно, самый толстый в Лондоне. При этом он питал пристрастие к светло-коричневым жилетам и имел привычку засовывать большие пальцы за подтяжки, отчего казался еще полнее. На нем был красно-коричневый костюм, алая гвоздика в петлице, рубашка с высоким воротником и красным галстуком бабочкой. Лицо у мистера Венчура было круглое, румяное, почти детское, а изо рта торчала сигара. Мистер Латтимер, одетый в черное, должно быть, принадлежал к служителям церкви.

Даже при таком помощнике, подумал Реджинальд, мистеру Венчуру нелегко будет попасть на небо из-за своих объемов.

— Я рад, что вы пришли, старина,— повторил Никсон.— Это касается и вас в определенном смысле.

— А четыре головы лучше, чем три,— сардонически заметил священник.

Мистер Венчур, не вынимая изо рта сигары, пробормотал что-то неразборчивое и кивнул Никсону.

— Дело в том, что...— начал Никсон.

Мистер Венчур вытащил сигару изо рта.

— Послушайте,— сказал он.— Послушайте, мистер... простите, я не расслышал вашей фамилии.

— Уэллард, Реджинальд Уэллард,— торопливым шепотом подсказал Никсон.— Автор.

— Послушайте, мистер Уэллард...— он глубоко затянулся, вынул сигару изо рта двумя толстыми пальцами, выпустил большой клуб дыма, вернул сигару на место и сказал Никсону с видом человека, внесшего свою лепту: — Расскажи ему.

— Все дело в Этель. Да вы знаете. Она играет Салли.

— Худшая актриса в мире. Да вы знаете,— сказал священник.

Из-за сигары мистера Венчура послышалось что-то вроде: «А кто ее пригласил?»

— Черт побери, Латтимер, что толку говорить об этом?

— Он сам и пригласил,— пробормотала сигара.

— Конечно. И вот результат.

Мистер Венчур вдруг напрягся, как будто собирался произнести речь, священник невольно воскликнул: «О Боже!» — как будто уже слышал ее.

— Мистер Уилрд,— серьезно сказал мистер Венчур, не вынимая пальцев из-за подтяжек и сигары изо рта,— у меня небольш коттж в Кенте я каж неделю езжу в эткоттж и проезж мимо тыс мальдомиков, а тыслюдей живущ в тыс мальдомиков ходят в театр. Возм развгод. По случ годовщ, днярож, свадьбы или в этроде. И что они идутсмреть? В эт вседело. Они идутсмреть не что, а кого.— Он вытащил сигару, выпустил клуб дыма и произнес очень отчетливо и уверенно: — В этом все дело.

— Теперь, когда вы все знаете,— сказал Латтимер, плавным движением вытаскивая золотой портсигар из кармана брюк,— давайте покурим.

Изящество жеста Латтимера навело Реджинальда на мысль о сцене. Ну конечно! Латтимер — режиссер. А не священник. Как же я раньше не сообразил? Теперь все понятно.

— Мисс Прентис отказалась от роли? — спросил он.

— Дождемся воскресных газет,— ответил Латтимер.— Тогда и узнаем, что произошло: то ли ей неожиданно дали роль в фильме, то ли доктор порекомендовал отдых на Мадейре.

— Больше просто никого нет,— произнес Никсон,— кроме Летти...

Мистер Венчур высвободил руку из-под подтяжек и сделал жест, отправивший Летти туда же, откуда она пришла.

— Значит, никого.

— Я знаю одну молоденькую актрису,— начал Латтимер, но мистер Венчур

повторил свой жест, возвращая всех молоденьких актрис туда, откуда они пришли,— в провинциальные драматические кружки, любительские театральные студии и Академию театрального искусства.

— Гасси считает — и я думаю, он прав,— что нам нужно имя.

Реджинальд беспокойно огляделся в поисках Гасси, еще раз обратил внимание на подтяжки мистера Венчура и решил, что он и есть Гасси (конечно, Огастес).

— Идутсмреть не что, а кого,— пробубнил Огастес.

— Что же, действительно никого нет? — спросил Реджинальд Никсона.

— Никого, кроме...— Мистер Венчур начал вытаскивать большой палец из-под подтяжек, и Никсон, пожав плечами, не назвал это исключение.— Никого.

Реджинальд умоляюще посмотрел на Латтимера, и бывший священник снова вытащил золотой портсигар. Реджинальд покачал головой и спросил его:

— Ну и что же вы собираетесь делать?

А про себя подумал: «Скорее назад, в Вестауэйз».

— Я уже рассказывал им, что я предлагаю, мистер Уэллард. Разумеется, они не в восторге, потому что мое предложение означает больше работы для Никсона и меньше денег для Венчура.

— Черт побери, Латтимер, ведь существует еще и книга. Я должен быть лоялен по отношению к мистеру Уэлларду. А кроме всего прочего, она не согласится.

Мистер Венчур вынул изо рта сигару:

— Сколько вы собирались ей платить?

— Восемьдесят.

— Деньги для нее ничего не значат,— вставил Никсон.

— В таком случае предложите ей сорок,— сказал мистер Венчур, возвращая сигару на прежнее место.

— Кроме того, она не имя в вашем смысле слова.

— Нивком смыслова,— ответила сигара.

— Мне все это безразлично,— сказал Латтимер.— Она настоящая актриса. И на роль Салли у меня есть одна девица, она сыграет как надо. И все мы будем довольны.

Мне кажется, я бы мог чем-то быть полезен, подумал Реджинальд, но чем?

— Если бы мистер Уэллард не возражал,— начал Никсон с сомнением,— конечно, это можно было бы сделать.

— Что сделать?

— В конце концов это ваша книга.— И, поскольку мистер Венчур пробормотал что-то похожее на утверждение, что пьеса им куплена, Никсон повернулся к нему.— Я знаю, Гасси, знаю, но существуют какие-то пределы.— Он снова обратился к Реджинальду: — Речь идет о тетушке Джулии.

К мистеру Венчуру, который, сидя в кресле с засунутыми за подтяжки большими пальцами, застыл, словно позируя фотографу, подошла секретарша и принялась что-то говорить, не получая ответа. Она произнесла свой монолог и вышла. Мистер Венчур сидел в той же позе, не сводя взгляда с противоположной стены. Латтимер, присев на письменный стол мистера Венчура, от нечего делать листал страницы иллюстрированного театрального справочника и приговаривал: «Боже мой, ну и физиономии». Филби Никсон продолжал объяснять проблему тетушки Джулии:

— Послушайте, старина, что, если она выйдет замуж за Эндрю? В таком случае я легко мог бы дописать недостающую сцену. Разумеется, ее роль при этом вообще должна быть расширена, но я могу все это сделать, и тогда встает вопрос, должна ли она быть тетушкой, то есть я хочу сказать, тетушкой, и только. Ее можно сделать вдовой. Ведь такая очаровательная женщина, какую она сыграет, не могла не быть замужем прежде, правда? Такой оборот чуть отодвинет в сторону Салли, но ничего страшного, если ее будет играть одна из девиц Латтимера. Я знаю их, все чертовски способные, но для большой роли этого может оказаться мало. Поэтому мне кажется...

— Я понял,— холодно сказал Реджинальд.— Но это все не имеет ко мне отношения.

Салли... Сильвия... должна сделаться второстепенным персонажем! И играть ее будет какая-то чертовски способная длинноносая девица!

— Формально нет, но два автора всегда сумеют договориться. Я полностью в ваших руках.

— Очень мило с вашей стороны, но я должен сказать...— Он запнулся и спросил: — Как я понимаю, вопрос в том, чтобы заполучить актрису с именем на роль тетушки, если не вышло с племянницей? Давайте выясним все до конца.

— Совершенно верно. Пьесу нужно поддержать всеми способами. Если вы заставите зрителей сказать: «Я непременно должен пойти посмотреть такую-то в такой-то роли...»

— Хорошо, но кто это? Посмотрим, скажу ли я эту фразу.

— Корал Белл.

— Кто? — воскликнул Реджинальд.

— Корал Белл. Едва ли вы помните ее по сцене. Теперь она леди Эджмур, почему Гасси и хочет ее заполучить. Вы ведь знакомы с ней? Миссис Уэллард...

— Да, да, но захочет ли она вернуться на сцену?

— В том-то и дело. Латтимер считает, что захочет.

— Клянусь небом,— сказал Реджинальд мягко,— это было бы чудесно.

Мистер Огастес Венчур внезапно ожил и объяснил всем, что у него есть небольшой коттедж в Кенте. Каждую неделю он ездит в этот коттедж и проезжает мимо тысяч маленьких домиков, а тысячи людей, живущих в тысячах маленьких домиков, ходят в театр. Возможно, раз в год. По случаю годовщины, дня рождения, свадьбы или в этом роде. И что они идут смотреть? В этом все дело. Они идут смотреть не что, а кого. В этом все дело.

Реджинальд кивнул. Они пойдут смотреть Корал Белл. Кто бы не пошел?

II

Тем временем лорд Ормсби вновь навестил Сильвию.

— Добрый день,— сказала Сильвия с приветливой улыбкой.— Элис, подай чай, пожалуйста.

— Мне не надо, миссис Уэллард.— Он крепко пожал ей руку и уселся в кресло.— Я просто посмотрю на вас.

— Не знаю, на что тут смотреть.

— А я знаю. Вы про Байрона слышали?

Сильвия сдвинула брови и стала вспоминать, слышала ли она о Байроне.

— Это поэт. Он жил лет сто назад.

— Боже мой! Как смешно! — Она рассмеялась.

— Вы чудесно смеетесь. Неважно, даже если надо мной.

— Я не над вами смеюсь, просто... Знаете, я ведь решила, что речь идет о ком-то из ваших лондонских знакомых. Конечно, я слышала о Байроне.

— А! Вот чем плохо самообразование, миссис Уэллард. Ты уверен, что знаешь чертовски больше... простите... чем другие, но никогда не знаешь, что именно знают они. Понимаете? У всех вас, получивших образование, были одни и те же гувернантки и бонны, вы ходили в одни и те же школы и колледжи, и знания у вас одни и те же. Скажем, я разговариваю с дамой о чертовски интересном... простите... писателе по имени Бекфорд, вы о нем слышали?

Сильвия неуверенно взглянула на него.

— Нет, не слышали, и она тоже нет. Но откуда человеку со стороны знать, что Байрона знают все, а Бекфорда нет? Понимаете?

— Мне всегда кажется, что другие знают все то же, что я, и еще многое сверх того,— сказала Сильвия.

— Не думайте так. И послушайте, что я вам скажу. Все это образование. Латынь и греческий. Я не имею ничего против таких умных голов, как Раглан. Но чего ради мы учим этих чертовых... простите... мальчишек в итонских воротничках латыни и греческому? Ради их образования? Нет. Только ради того, чтобы чертовы мальчишки без итонских воротничков не знали латыни и греческого. Понимаете? Я не социалист, нельзя издавать такие газеты, как мои, и быть социалистом, да и вообще социализм — это ерунда, а мне бы чертовски... простите... хотелось знать латынь и греческий не хуже Раглана. Но не думайте, я все это понимаю.

Когда-то Ормсби было трудно говорить с женщинами, не похожими на тех, на кого, как правило, падал его выбор, поскольку некоторые слова сами слетали у него с языка, если он не следил за собой; затем он выучился вставлять нейтрализующее

«простите», после чего вновь почувствовал себя свободно. Сейчас, возможно, даже такая милая женщина, как миссис Уэллард, не нуждалась в извинениях, но они настолько вошли у него в привычку, что обойтись без них ему было бы трудно.

Вошла Элис с чаем.

— Вы так и не выпьете чаю?

— Нет, спасибо. О чем мы говорили?

— Об образовании.

— Да. Нет... Какого... А-а, я спросил, знаете ли вы Байрона.— Он досадливо нахмурился.

Сильвия засмеялась.

— Да. А я подумала, что речь идет... Итак, ответ утвердительный. И что же?

— Чертовски глупо возвращаться к этому. Знаете, иногда в клубе рассказываешь что-нибудь и как раз доходишь до самого интересного, как вдруг появляется какой-нибудь болван... простите, простите... хлопает твоего собеседника по плечу, восклицает: «Сколько лет, сколько зим, старина!» — и начинает расспрашивать о всяких чертовых... простите... родственниках и знакомых. Через полчаса твой собеседник возвращается к тебе и говорит: «Ну так о чем ты рассказывал?» А вся история уже остыла, как овсянка, понимаете? — Он пожал плечами.— Понимаете? Прошу прощения.

— Вы только ухудшили положение,— заметила Сильвия,— поскольку я жду, что вы скажете о Байроне, а чем дольше это откладывается, тем больше он остывает.

Ормсби засмеялся, не сводя глаз с Сильвии. Это был его старый испытанный прием покорения женщин. Сильвия чуть повернула голову и неторопливо выбирала один из совершенно одинаковых ломтиков хлеба с маслом.

— Байрон не выносил вида женщин за едой,— медленно произнес Ормсби.— Он считал, что они должны есть в одиночестве... как... в общем, он считал, что они должны есть в одиночестве.

— Забавно,— холодно произнесла Сильвия.

— Таково было его романтическое представление о женщинах, миссис Уэллард.

— А вы не романтик, лорд Ормсби?

— В другом роде,— ответил он со смешком.— Чем больше я смотрю на женщин, тем больше они мне нравятся.— Он снова засмеялся.— Чем бы они ни занимались.— И продолжал смотреть на нее с обожанием и вызовом.

Сильвия с легким вздохом повернула к нему блестящую головку, ее глаза встретились с его глазами, ее взгляд скользнул по нему и словно прошел сквозь него в мир, куда ему не было доступа. Сколько раз под неотрывным жадным взглядом Ормсби женщина чувствовала себя обнаженной и смущенной (или обнаженной и несмущенной), но ни одна не была перед ним такой беззащитной, каким он ощутил себя под взглядом Сильвии. Этот взгляд увидел все его уродство и неотесанность. Ормсби словно раздели, и он стоял трясущийся и страшный — воистину непристойное зрелище, настоящее оскорбление любви, ее таинственного обаяния и нежности. Он чувствовал, что не душу, а тело его увидела Сильвия, взглянула, презрительно отбросила и оставила лежать на земле, чтобы он подобрал. Она слегка отвернулась, а Ормсби, покраснев, поспешно втиснулся в свою телесную оболочку.

— Простите, я совсем забыла,— сказала Сильвия, вновь возвращаясь к нему,— может быть, вы хотите курить?

— Нет, спасибо. Я, собственно, пришел вручить вам вот это.— Он вытащил руку из кармана и протянул Сильвии конверт.—Билеты на сегодняшнее представление. Думаю, вам и вашему мужу будет интересно. В «Паласе».

— Это премьера?

— Ну конечно. Потому я и подумал, что вам это может показаться интересным. Мне давно следовало прислать их, но я вспомнил об этих чертовых билетах... простите... только сегодня утром.

— Но я думала,— неуверенно произнесла Сильвия,— что на премьерах все места...

Ормсби засмеялся, чувствуя, как к нему понемногу возвращается самоуважение, и объяснил, почему ко всем Ормсби этого мира обычные мерки неприменимы.

— Как бы мне хотелось пойти, и как мило с вашей стороны, но...

— Вы заняты сегодня?

— Да. Реджинальд должен идти на какой-то спектакль... он позвонил из театра... увидеться с какой-то актрисой. Он сказал, что это очень важно. Какая жалость! Я ни разу не была на премьере.

— Вы немного потеряли.

— Но ведь это удивительное, потрясающее ощущение, когда ты ничего не знаешь о спектакле, никто еще ничего не знает... и наряды, и все остальное.

Глаза ее горели.

— Да, похоже, людям это нравится.

— Как мило, что вы подумали о нас. Огромное вам спасибо.— Она протянула ему конверт.— Позвоните и осчастливьте кого-нибудь другого. Поскорее.

Ормсби взял билеты, посмотрел на них и робко сказал, не поднимая глаз:

— Может быть, вы не откажетесь пойти со мной. Я бы заехал за вами, мы бы поужинали вместе — или нет, как вам захочется. Я бы мог рассказать вам обо всех, кто там будет, если вам интересно. Если вам кажется, что такой вечер вам понравится, жаль отказываться.

Не понимая ни каким образом она это поняла, ни каким образом это произошло, Сильвия поняла, что именно с этим предложением он явился к ней в гостиную, что потом он отступился от своего намерения в пользу Реджинальда, так что теперь он лишь смиренно предлагает в отсутствие Реджинальда сопровождать ее. Кроме того, Сильвия почему-то была уверена, что отныне ей ничто не грозит со стороны лорда Ормсби. А Лондон — замечательнейший город.

— С удовольствием,— ответила Сильвия, и лицо ее просияло от радости.— Это так любезно с вашей стороны. Но лучше я поужинаю дома, тогда не нужно будет так спешить.

Ормсби встал.

— Я заеду за вами в четверть восьмого. Вы успеете?

— Конечно. Я вам очень благодарна.— Она протянула ему руку.

— Это я вам благодарен, миссис Уэллард. Значит, в четверть восьмого.

Спускаясь по лестнице, он размышлял. Проклятие, почему я не завел себе такой дочери? Если бы Мэгги знала свое дело... Никто, черт возьми, не может сказать, что это моя вина...

А Сильвия лихорадочно думала: «Может быть, надеть зеленое... Мне кажется, леди Ормсби там не будет... леди Эджмур видела его... Конечно, ее там может не быть, или мы не встретимся с нею. Надену пелерину, а пелерины она еще не видела...»

— Спасибо, Элис, можешь все убрать.

— Только что звонил мистер Уэллард,— сообщила Элис, забирая поднос.— Он сожалеет, но не сможет вернуться к ужину, он где-то задерживается.

— Да? Ну что же, это даже неплохо. Подай мне что-нибудь в семь часов. Поговори с миссис Стоукер. Скажем, рыбу и десерт. Я собираюсь на премьеру в «Палас», Элис.— Она рассмеялась.— В «Палас». Правда, заманчиво?

— Подумать только,— ответила Элис.

Глава шестнадцатая

I

Когда Корал Белл была в зените славы и окружена толпой поклонников, носивших шапокляки и ежедневно ужинавших в «Савое», она как-то в один день от одного и того же человека получила два предложения. Она сидела в своей уборной после matinée [1], завернувшись в выцветший халат, из зеркала на нее глядело белое, блестевшее от крема ее собственное лицо. Нед Латтимер, скрестив кисти на набалдашнике трости и опираясь на них подбородком, не сводил взгляда с ее отражения.

[1] Утреннего спектакля *(франц.)*.

— Теперь вы знаете, какая я бываю красавица,— сказала Корал Белл.

— У вас так удачно расположены кости, что вы красивы всегда.

— Боже, надеюсь, вам не видно моих костей? — Она бросила полотенце, которым вытирала лицо, и поплотнее запахнула халат.

— Я имел в виду лицевые кости.

— А! На них можете смотреть сколько хотите,— и Корал Белл снова занялась ими. Он молча наблюдал за ней.

— Я снял на сезон «Ротонду»,— вдруг произнес он.

— Что значит «снял»? Для чего?

— Как режиссер. Режиссер и директор, совместно с Хоффманом.

— Правда? Я вижу, вы делаете успехи. Вам же, кажется, не больше шестидесяти семи.

— В этом году мне исполнится двадцать восемь.

— Я была уверена, что шестьдесят семь. А когда вам было девять лет?

— Восемнадцать лет назад, скорее всего.

— Только не говорите мне, что восемнадцать лет назад вы бегали, кричали и прыгали...

— Да.

— И смеялись, и играли в серсо?

— Очевидно.

— А потом сдохла ваша любимая белая мышка, и вы перестали улыбаться?

Он ответил улыбкой и сказал:

— Моя жизнь не была легкой.

— Боже, а разве должна была?

— Действительно... Корал, мне хотелось бы, чтобы вы сделали для меня две вещи.

— Если смогу.

— Надеюсь, что сможете. Прежде всего, выходите за меня замуж. И еще: сыграйте у меня Розалинду.

Она мгновенно обернулась к нему, обеими руками придерживая халат.

— Это вы серьезно?

— Вы говорили, что я серьезен всегда.

— Какого вы ждете ответа?

— «Нет. Нет». Но я пессимист. А в глубине души надеюсь, что вы скажете «Да. Да».

— Я должна дать оба ответа вместе?

— Необязательно.

Она еще какое-то время смотрела на него, затем повернулась к зеркалу.

— Почему вы хотите жениться на мне? — спросила она тихо.

— Потому что я люблю вас больше чем кого-нибудь или что-нибудь на свете.

— О Нед, Нед, мне страшно жалко.

— Наверное, все говорят так.— Он имел в виду — «все, кто делает вам предложения».

— Они произносят те же слова, но в их устах это звучит не так убедительно. Простите меня, Нед.

— За что? Сыграйте у меня Розалинду, и я буду вас благословлять весь остаток жизни.

Она вздохнула и ничего не ответила.

— Так что же?

— Дорогой мой, ведь я так называемая субретка из музыкальной комедии. Почему бы вам не пригласить настоящую актрису?

— Потому что вы лучше всех актрис мира.

Она повернулась к нему с широкой, радостной улыбкой.

— Вы и вправду гений! Как вы догадались?

— Не будем выпытывать друг у друга тайны ремесла. Вы сыграете Розалинду?

Она медленно с легкой печалью покачала головой.

— Слишком поздно.

— Договоры? Я могу...

— Нет, нет. Это пока еще тайна. Вы первый, кому я говорю.— Она задумалась в нерешительности, посвящать ли его в эту тайну, затем сказала: — Я бросаю сцену и выхожу замуж.

— А! — Он встал.— Тогда, конечно, все гораздо проще.

— Нед!

— Если вы когда-нибудь решите вернуться...

— Нед!

Он подошел к двери, обернулся несколько театрально, сказал, усмехнувшись:

— Еще одна белая мышка сдохла,— и вышел.

И хотя в дальнейшем Корал Белл вступила в брак с лордом Эджмуром, Джоан Хедли имела огромный успех в роли Розалинды, а Латтимер время от времени женился на разных женщинах, эта сцена навсегда осталась в памяти обоих.

Корал Белл вспомнила ее сейчас, протягивая ему руку.

— Спасибо, что позволили мне прийти,— произнес он.— Значит, вот так живет аристократия?

— У вас было множество возможностей увидеть, как именно, если вы действительно этим интересовались.

— Я не бываю в гостях.

— Во всяком случае, у меня.

Он оценивающим взглядом окинул комнату.

— Неплохие декорации.

— Можете скопировать, если нужно.

— А там ваша спальня?

— Да. Хотите взглянуть? В каком-нибудь втором действии там можно спрятать кучу народу.

Он не ответил и подошел к столику, стоявшему у окна.

— Какая прелесть,— сказал он, разглядывая пару серебряных подсвечников.— Я как раз присматривал что-нибудь такое для «Дамы в голубом». Где вы их нашли?

— В Италии.

— Но это не итальянское серебро.

— Это не бросается в глаза, вы хотите сказать. Но художник, сделавший их, итальянец. Мне очень жаль, но это так. И мы познакомились с ним в Италии, и он работает в Италии, и мы купили их в Италии. Вот почему я называю их итальянскими — только и всего.

В углах его губ блуждало подобие улыбки; он опять подошел к ней и напомнил:

— Однажды я предложил вам роль.

Даже две, подумала Корал Белл. Розалинды и миссис Латтимер. И сказала:

— Я всегда с благодарностью вспоминаю об этом.

— Сейчас я хочу предложить вам еще одну роль. Разумеется, вы откажетесь, но я сказал этому толстяку Венчуру, что если я как следует вас попрошу, то, может быть, вы и согласитесь. Никсон очень хотел бы вас заполучить. И Венчур тоже. Вас это не пугает? Что вы скажете?

— О чем, собственно, идет речь? — жалобно спросила леди Эджмур.

И он рассказал ей... и спустя три четверти часа Корал Белл говорила:

— Да, это может оказаться довольно занятным. Соглашаться? Нет? Во всяком случае, нужно послать телеграмму Чарли.

Чарльз, лорд Эджмур, отправился в Тибет на поиски горного козла Монтрея. Несколько недель назад одного из последних представителей этого благородного вымирающего племени видели в горной деревушке, где он появился, словно разыскивая лорда Эджмура. Его светлость принял вызов и поспешил в Тибет. Телеграмма застала его в предгорьях Тибета. Он тут же ответил телеграммой, исполненной чисто восточной невозмутимости: «Поступай как знаешь, дорогая».

Так все и произошло.

II

Слушать, как она произносит написанные им слова, было удивительно приятно. Слушать, как она произносит слова, написанные Никсоном (что случалось чаще), было хоть и не так, но тоже приятно. Даже слушать, как она, забыв слова монолога, говорит то, что не позволил бы себе написать ни один уважающий себя литератор (а это случалось чаще всего), все равно огромное удовольствие, думал Реджинальд.

Но, впрочем, он получал огромное удовольствие и слушая Латтимерову молоденькую актрису (которая, к счастью, оказалась не такой уж длинноносой) в любовной сцене с ее кузеном, во время которой Корал Белл сидела среди декораций (действие I, картина 2, терраса замка, полночь), весело болтая («Корал, прошу тебя! Как мы можем репетировать, когда...» — «Прости, пожалуйста, Нед. Простите меня, мисс Мастерс»), а потом разговаривая приглушенным шепотом с Разорившимся Адвокатом. Конечно, он был бы страшно доволен, если бы Корал Белл подсела к нему в партере или если бы он сам набрался храбрости подсесть к ней на террасе замка. Ее разговор, ее ум настолько восхищали его, что он завидовал тем, кто постоянно общался с нею. А по красоте никакая мисс Мастерс не шла с ней в сравнение.

Реджинальд сразу же определил свое место в происходящем. Конечно, он никому не был здесь нужен. Но, с другой стороны, если он не вмешивался, никто, конечно, не возражал против его присутствия. Мистер Венчур купил пьесу, Латтимер ставил пьесу, Никсон (несомненно) написал пьесу. Мистер Венчур не подозревал о существовании книги под названием «Вьюнок». Защищая нечитающую публику, он подчеркивал, что в руки не берет книг, что он — Человек Театра. Но, разумеется, если мистер Уэллард приятель Фила, то все в порядке.

Итак, несколько дней Реджинальд являлся в театр в качестве приятеля Фила. Ты не против, старина, если я приведу с собой приятеля? Некоторые бывают против, некоторые нет. Мистер Венчур не был против. Но ходить на репетиции собственной пьесы, пользуясь приглашением приятеля, к тому же едва ли близкого, довольно странно. Поэтому приятель мистера Никсона перестал появляться, а вместо него на репетициях присутствовал некий мистер Уэллард, «интересующийся театром».

— Вы не возражаете,— сказал он Латтимеру и чуть не добавил «старина», чтобы показать, как он усвоил театральные нравы,— вы не возражаете, если я посижу там сзади и посмотрю, как вы это делаете? Для меня это возможность узнать что-то о... — Сможет ли он выговорить? Смог.— Э-э... технике... и актерском ремесле, и так далее. Я хочу сказать, если я когда-нибудь возьмусь за пьесу... Знаете, для меня все это так ново.

Мало кто мог бы отказаться просветить новичка.

— Ну разумеется. Приходите когда захочется. Здесь есть чему поучиться.

И время от времени маэстро подходил и обращался к сидящему в глубине партера явно заинтересованному Уэлларду:

— Вы видите, чего я добиваюсь? Понимаете, как мы...— и что-то показывал, широко разводя руки.

— Конечно,— откликался мистер Уэллард.— Это замечательно.

Мистер Венчур сидел в середине первого ряда и курил сигару, торчавшую в середине рта. Время от времени он что-то бормотал. Никто не слышал его, а если и слышал, то не понимал, а если и понимал, то не обращал внимания. Время от времени через сцену пробегала его секретарша, быстро спускалась по ступенькам и что-то шептала ему в ухо с самым серьезным видом, но на нее тоже никто не обращал внимания. Филби Никсон сидел в третьем ряду партера с краю. Время от времени он вскакивал, подбегал к Латтимеру и размахивал руками. Латтимер говорил: «Конечно, конечно... я буду иметь в виду» — и продолжал делать по-своему. Тем временем актеры перевирали и забывали свои реплики и требовали от суфлера подсказки.

Однажды Корал Белл спустилась поговорить с Латтимером и, застав его за беседой с Реджинальдом, воскликнула:

— Да это же мистер Уэллард!

— Минутку, дорогая,— извинился Латтимер и поспешил на сцену.

— Давно вы здесь? — спросила Корал, садясь рядом с ним.

— Дней десять,— просияв, ответил Реджинальд.

— Боже, вы все время были здесь?

— Почти.

— К чему такая скромность?

— А как выглядела бы нескромность?

— Можно было бы отправиться знакомиться со всей труппой. И начать так: «Кстати, о моем романе «Вьюнок», сейчас его тираж составляет полтораста тысяч...» Они мечтают познакомиться с вами.

— Честно говоря, не могу в это поверить.

— Что ж, а я не могу доказать этого. Но давайте поднимемся на сцену, я познакомлю вас с мисс Мастерс. Она позабавит вас.

— Прекрасно. Как вы себя ощущаете, вернувшись на сцену?

— Все так странно. Наверное, и у вас такое же ощущение. Жаль, вы никогда не видели, как репетируют музыкальную комедию. Я просто идиотка, что согласилась играть.

— Вы играете изумительно.

— Ну конечно, всех изумит, что я решилась играть,— в этом смысле вы правы. Как поживает миссис Уэллард?

— Прекрасно.

— Почему бы вам не привести ее как-нибудь на репетицию? Или ей неинтересно?

— Я и сам робею, приходя сюда, а привести ее... Я просто никогда об этом не думал.

— Ну так теперь подумайте.— Она встала.— Мне надо поговорить с Недом. До свидания.

На этой репетиции все постоянно расхаживали взад-вперед. Латтимер все чаще повторял свое: «Минутку, дорогая» — и исчезал. Никсон каждому ухитрился что-то шепнуть на ухо; он даже присел рядом с мистером Венчуром и, жестикулируя, произнес перед ним краткую речь, затем отошел. Актеры, похоже, утратили всякую надежду, что пьеса сдвинется с места.

— Что стряслось? — спросил Реджинальд проходившего мимо Никсона.

— Что? Ах, это вы, Уэллард. Простите, не заметил вас. У Бэнкс обнаружился аппендицит. Или не аппендицит. Не знаю. После вчерашней репетиции у нее могло обнаружиться что угодно.

— Это та... Диана... которая...

— Да. Латтимер никогда не умел держать себя в руках. Сарказмом ничего не добьешься. Это слишком легко.

— Она отказалась от роли?

— Либо у нее разыгрался аппендицит. Надеюсь, доктор сможет отличить одно от другого, а мне это не по силам.

— Кого вы собираетесь пригласить?

— Есть одна девушка в Голдерс Грин — мы собираемся взглянуть на нее сегодня. Я только что заказал по телефону ложу. Она играет в театре «Глоб». Вы не видели их спектакль?

Реджинальд не видел.

— Думаю, вам стоило бы пойти с нами.

Реджинальд засомневался, что ему удастся.

— Корал тоже пойдет.

Пожалуй, он сумеет выкроить время. Он будет очень рад. Огромное спасибо.

Он вышел и позвонил Сильвии. Позднее — а репетиция тянулась до бесконечности — кто-то предложил поужинать вместе.

— Я приглашаю всех,— с жаром воскликнул Реджинальд.

— Что за чепуха, старина.

— Нет, правда.

— Ну хорошо, потом сочтемся,— ответил Никсон.

Реджинальд еще раз позвонил Сильвии.

III

Входя в двери дома номер шесть по Хейуардс-гроув, Реджинальд был полон раскаяния. Он не чувствовал за собой никакой вины, но извиниться хотелось. Сильвии пришлось одной ужинать и одной провести вечер, потому что он предупредил ее в последнюю минуту. У нее не хватило времени пригласить Маргарет или кого-нибудь еще для компании. Да, ему было жаль, ужасно жаль, дорогая, но он не виноват. Знаешь, как случается в театре. На репетициях. Человек просто не распоряжается своим временем. Не может, уходя из дома, пообещать: «Вернусь в пять часов» — как обычные мужья. Вдруг это окажется пять утра. Что-то пойдет не так,

а это бывает довольно часто, и надо то повидаться с одним человеком, то переговорить с другим, то поехать в Голдерс Грин или еще куда-нибудь — и вот результат.

Да. Такую речь с успехом мог бы произнести Никсон перед своей женой (есть ли у него жена? Как мало знаешь о ближнем!), но не Уэллард. Это абсурд. Он ведь зритель, а не актер и должен думать только о собственном удовольствии. Вот он и думал о собственном удовольствии. Он не мог повсюду таскать с собой Сильвию — особенно в этом новом мире, где редко вспоминают о мужьях и женах, где, кажется, вообще толком не знают, кто в данный момент на ком женат. Предположим, он говорит Никсону: «Да, я хотел бы пойти, но должен взять с собой жену». Это прозвучало бы ужасно, как будто он побаивается Сильвии или как будто она ревнива и всюду таскается с ним, чтобы не оставлять его наедине с хорошенькими актрисами. Ужасно! Мерзко! Как в каком-нибудь из этих отвратительных фильмов. Нет. А если бы он сказал: «Простите, к сожалению, я занят...»

Но ведь он так и сказал сначала. А потом, когда услышал, что Корал Белл...

В ее обществе удивительно себя чувствуешь. Она умна, и при ней словно сам умнеешь. Я уверен, она тут же понимает все, что я ни скажу. Как Лина. Как мисс Воулс. Ну, это естественно... мужчинам нравится... я хочу сказать, это вполне естественно.

А все же...

Ну а что, если поступить так, как советовала Корал Белл? Привести завтра Сильвию в театр? И представить Латтимеру, и Венчуру, и, может быть, даже мисс Мастерс, и всем остальным. Да они просто на ногах не устоят! Тут все и увидят, как выглядит действительно красивая женщина. Да, так и сделаем. И все будет в порядке...

Реджинальд вошел в гостиную, и фраза, которая должна была все исправить, вертелась у него на языке («Послушай, что мне пришло в голову»). В гостиной никого не было. Сильвия отправилась спать, бедняжка. Дочитала книжку и пошла спать. На столе сандвичи и лимонад. Два стакана, оба не тронуты. Странно. Наверное, она легла очень рано. Но, может быть, еще не уснула.

Реджинальд прислушался у дверей спальни. Ничего не слышно. Он негромко постучал. Никакого ответа. Вошел на цыпочках. Тишина. Повернул выключатель. Сильвии не было.

Он заглянул в ванную, в маленькую столовую, куда она могла пойти погреться, ведь камин в гостиной не горел. Перед каждой комнатой Реджинальд тихонько окликал ее по имени и входил. Сильвии не было в доме.

— Боже мой! — На мгновение его охватил леденящий страх.— Наверное, она ушла от меня!

Но тут же он вспомнил, что подобные вещи случаются на театральных подмостках и потому вряд ли происходят в реальной жизни. Он засмеялся, поймав себя на этой мысли, затем подумал уже с меньшим страхом: «Все равно люди бросают друг друга и в жизни». Он припомнил один случай... но, конечно, это совершенно другая история. Ничего общего с ним и Сильвией.

Она просто вышла, ну конечно. Ей позвонила Маргарет, или она позвонила Маргарет и сказала, что приедет на ужин. Реджинальд отправился в столовую, пытаясь определить, ужинала ли она дома. Шерлок Холмс наверняка обнаружил бы что-нибудь. А Реджинальд обнаружил лишь два прибора, приготовленных для завтрака; это ровно ни о чем не говорило... разве только о том, что если Сильвия сбежала из дому, то не посвятила в это Элис. Он мог думать об этом легко, как бы в шутку — вот почему ему было ясно, что никуда не сбежала. Он засмеялся — как глупо даже думать...

Но предположим, она все-таки?

Реджинальд знал, что она не могла уйти, но продолжал думать об этом. Что, если она все-таки ушла, как ни трудно ему в это поверить? Он мерил шагами комнату, жевал сандвичи и раздумывал.

Если женщина убежала с другим мужчиной, значит (о ужас!), она любит его. Может ли Сильвия полюбить другого? У женщин любовь более личная, чем у мужчин, думал он, то есть физическая любовь. Любой приличный мужчина может захотеть провести ночь с любой приличной женщиной, даже с незнакомой, при этом он не ощутит ни смятения, ни отвращения. Но большинство женщин должно было

бы прежде проникнуться к мужчине сильным чувством. Мужчина может оставить жену и завести любовницу, какую угодно, только потому, что ему наскучил дом. А женщина не может. Не должна. Она может уйти из дома, но не к мужчине. Сильвия любит только меня; она не могла, не могла полюбить другого... Если она меня любит — не могла.

Но, может быть, ей наскучило со мной и она ушла от меня — куда? Ну, куда-нибудь. Неважно куда. Вот чего никогда не знаешь — когда именно одному человеку становится скучно с другим. Чужой рассказ об успехах в гольфе невыносим, а каким интересным кажется свой! Человек просто не способен взглянуть на собственный рассказ с нетерпимостью постороннего слушателя. Быть может, я смертельно надоел Сильвии за все эти годы. Неужели правда? Боже, как же тогда наскучил ей Вестауэйз... Вправду наскучил?

Реджинальд взглянул на часы — двенадцать. Пожалуй, это действительно нехорошо с ее стороны. То есть, что уже двенадцать. Как это можно возвращаться домой за полночь? Если, конечно, с ней ничего не стряслось.

Несчастный случай! Вполне возможно. Несчастные случаи происходят ежедневно. Ежечасно. Несчастный случай. Сильвия ранена, Сильвия мертва.

Сильвия мертва. Вестауэйз без Сильвии. Жизнь без Сильвии. День за днем, ночь за ночью. Нужно будет продать Вестауэйз. Он не сможет жить там без Сильвии, даже если миссис Хоскен и Элис согласятся остаться... а они, конечно, согласятся... Он продаст Вестауэйз и поедет за границу, в кругосветное путешествие, сделается исследователем. Не заботясь о том, что может случиться с ним; это даже неплохо для исследователя... Так приговоренный в камере смертников, ощутив боль там, где, по его мнению, находится аппендикс, или сломав зуб, знает, что он единственный человек в Англии, в буквальном смысле слова единственный, кто может не беспокоиться из-за этой боли. Просто наплевать на нее... Может быть, из этого получился бы рассказ, будь он писателем... Настоящим писателем... Конечно, смертника должны были бы помиловать...

Четверть первого. Наверняка несчастный случай. Ничего другого и предположить нельзя. О Боже, сделай так, чтобы с ней ничего не произошло. Я не знаю, кто ты, но если ты существуешь, кем бы ты ни был, Боже, в этот раз пусть все обойдется. Клянусь, что постараюсь быть хорошим. Ведь ты все время беспокоишься именно об этом? Хороши ли люди? И вся разница между Шекспиром и Банном для тебя — это разница между Верой и Религиозной практикой? Осознаешь ли ты, что Леонардо как художник более велик, чем Хейли, или тебе это безразлично? Прости; я поверю во что угодно, сделай, чтобы это не был несчастный случай.

Что предпринять? Позвонить Маргарет? Но вдруг это не Маргарет. Разбудить Элис и спросить, не знает ли она, куда отправилась ее хозяйка. Но это выглядело бы довольно... и потом, Элис может не знать... и... несчастные случаи не так уж часты. По крайней мере, с такими людьми, как Сильвия. За все это время с ней не произошло ни одного. Предположим, они бы отправились всей компанией ужинать, как он и собирался,— только они были одеты не для ресторана,— так если бы они были одеты как полагается, он бы вернулся еще позже. И никакого несчастного случая. Просто ужин в ресторане...

Почти половина первого. Что-то случилось. Она умерла, она погибла. Что делать? Сколько можно ждать? Где бы она ни была, ей давно пора вернуться. Сильвия, Сильвия!

Снизу послышался слабый шорох; похоже, что скребется мышь. Реджинальд бросился к двери, выбежал на лестницу. Во входной двери поворачивается ключ, дверь открывается и закрывается, шуршит платье. Сильвия!

«Слава Богу! — воскликнул мысленно Реджинальд. А потом подумал сердито, потому что очень перепугался: — Ну и ну!»

И он вернулся в гостиную, пока Сильвия легкими шагами поднималась по лестнице.

IV

— Ура, дорогой, ты вернулся! — воскликнула Сильвия радостно.

Начало было не из лучших.

— Вернулся! — сказал Реджинальд.— Ты знаешь, который час?

— Нет. Я оставила дома часы. А что, очень поздно?

— Половина первого,— ответил он холодно. И добавил: — Ровно.

Сильвия засмеялась. Очаровательно, как показалось бы любому, но не Реджинальду.

— А я все время думала, как поздно ты вернешься, и как я буду ждать тебя, ведь Голдерс Грин неблизко.

— Ну, все-таки не Манчестер.

— Конечно. Хотя я даже не знаю толком, где это. Я должна съесть сандвич. Элис просто прелесть.— Сильвия присела на ручку кресла и принялась есть.— Ты давно вернулся?

— Час назад,— ответил Реджинальд холодно. И добавил: — Почти.

— Дорогой, тебе не стоило дожидаться меня.

— Ты понимаешь, что я не знал, где ты?

— Я не могла сообщить тебе, дорогой, потому что плохо представляла себе, где ты. То есть где ты ужинаешь.

— Могла оставить записку.

— Я подумала об этом, но уже торопилась и к тому же была уверена, что вернусь раньше тебя.— Щеки ее чуть порозовели (никто, кроме Реджинальда, никогда не видел этого застенчивого румянца).— Я так люблю оставлять тебе записки и находить твои. Но в последнее время мы их почти не пишем.— И она тихонько вздохнула.

Но Реджинальд все еще был сердит, причем вдвойне. Во-первых, потому, что ее вечер в одиночестве, вызвавший у него угрызения совести, оказался плодом его воображения; во-вторых, потому, что натерпелся из-за нее такого страху.

— Где же ты все-таки была? — спросил он и, спросив, подумал, до чего глупо здесь звучит «все-таки».

— На премьере в «Паласе», дорогой,— ответила Сильвия весело и гордо, как будто ожидая восторгов по этому поводу.

Восторгов не последовало.

— В «Паласе»? Каким образом... кто же... и как...

— Меня пригласил лорд Ормсби.

— Ормсби! Ты шутишь, надеюсь! — воскликнул Реджинальд.

Ормсби! Отправиться на премьеру с Ормсби!

— Да нет же, не шучу, дорогой.

Что за глупости я говорю: «Ты шутишь, надеюсь!» Как персонаж из романа.

И он рассердился на Сильвию еще больше, потому что она, разумеется, заметила, что он разговаривает как персонаж из романа.

— Вдвоем? — спросил он.

— Да, конечно. То есть мы пришли вдвоем, а там оказалось множество знакомых, и лорд Ормсби познакомил меня еще со многими людьми. Слева от меня сидел... забыла фамилию... человек, который просто в восторге от твоей книги и жаждет с тобой познакомиться.

Отправиться на премьеру с Ормсби — вдвоем! А потом думать, что при всем этом его могут заинтересовать восторги какого-то дурака по поводу его книги! Что же еще мог сказать этот бедняга сосед!

— Послушай, Сильвия, я думаю, ты знаешь, кто такой Ормсби?

— Ну, конечно, дорогой. Он владелец всех этих газет.

— Ты прекрасно понимаешь, что я говорю о другом. Я имею в виду его личность, его характер. Его репутацию — в отношении женщин.

Произнеся эти слова, он почувствовал, что сделал что-то непоправимое. Его любовь к Сильвии, ее любовь к нему, тайны их любви, известные только им двоим, ее верность — все это были вещи, о которых никогда не говорилось ни слова. Они существовали, они были несомненны; если начать в них сомневаться, миру придет конец. Он и не усомнился; но фраза, произнесенная им, как бы поставила их в категорию вещей, относительно которых сомнения возможны.

Рука Сильвии, протянутая к подносу, медленно опустилась. Она поглядела на него — сердито, обиженно, недоуменно? Он не мог бы сказать. Как мало он ее знает.

Я не знаю о тебе ничего, думал он, но так люблю тебя, что сердце сжимается. Ах, зачем я сказал все это? Не смотри на меня так. Скажи что-нибудь. Давай лучше устроим скандал.

Она тихонько вздохнула.

— Ну? — настаивал он.

— Дорогой, должна ли я знать репутацию всех людей, с которыми ты меня знакомишь?

Он не мог сдержать злости:

— Я не... Я хочу сказать... Ты прекрасно понимаешь, в чем дело.

— Я только спросила.

Несмотря на гнев, он оценил, как умно она поставила вопрос, и почувствовал гордость за нее; и рассердился еще сильнее, видя ее ум и самообладание.

— Одно дело,— принялся он объяснять ей терпеливо, как ребенку,— пойти в гости к даме в большой компании и совсем другое — отправиться в театр вечером вдвоем с мужем этой дамы.

Она не ответила. Она вновь протянула руку к подносу, налила себе немного лимонаду и выпила.

— Сильвия! — воскликнул Реджинальд, вдруг в ужасе поняв, что он сейчас наговорил и к каким непоправимым последствиям это может привести.— Ты же знаешь, я не... я хочу сказать, что это ничего... это не... я не хотел тебя обидеть... Просто у Ормсби такая репутация в отношении женщин, что люди, увидев тебя с ним в «Паласе» вечером... как раз именно там... станут говорить... люди, которые не знают тебя... я хочу сказать, начнут думать, кто, собственно, ты такая. Страшно вообразить... что они решат... именно с Ормсби.

Он замолчал и взглянул на нее из-под полуопущенных век. Она сидела с озадаченным видом; потом спросила:

— Почему ты сказал «как раз именно там»?

— Ну, ты же знаешь, кто такой Вено?

Она покачала головой.

— Вено? Какое странное имя.

— Это мулат, который поставил спектакль.

— Но что...

— Ормсби финансирует его — при условии, что имеет право выбора.— Реджинальд презрительно рассмеялся.— Можно сказать, что он обладает привилегированными акциями.

Настала тишина. На каминной доске тикали хозяйкины фарфоровые часы с пастушкой. Минуты, которых не вернешь. Слова, которых не вернешь. Но ведь ни одной минуты нельзя вернуть, нельзя вернуть и ни единого слова, а между тем мир продолжает существовать, и никто особенно не меняется, и ничего, в сущности, не случается. Глупо думать, что все это может что-то изменить в нашей жизни. Не может, правда, Сильвия? Часы продолжают тикать.

С тяжелым вздохом Сильвия поднимается.

— Мне было так хорошо,— говорит она.— А ты все испортил.

Она медленно, печально идет к двери.

— Сильвия!

Медленно, печально уносит свою красоту, и с нею мир, покой и уют покидают комнату.

Глава семнадцатая

I

Реджинальд лежал без сна в своей комнате, мысленно возвращаясь к случившемуся. Он совершенно прав. Ормсби — именно такой человек. Никто не обрадуется, узнав, что его жена появляется на людях с таким человеком, любой разозлится, если жена, не сказав ему ни слова, пойдет на вечерний спектакль с таким человеком. Он совершенно прав. (Как приятно быть совершенно правым.)

Но погодите. Весь Лондон знает Ормсби в лицо. Ну, если не весь Лондон, так по крайней мере все те, кто ходит на премьеры музыкальных спектаклей. Никто не знает Сильвии. Для всех, кто присутствовал в театре, она — просто удивительно

красивая молодая женщина; никому не известная, следовательно, не принадлежащая к тому, что именуется Обществом; никогда прежде не появлявшаяся на премьерах; скорее всего, начинающая актриса, мечтающая о сцене, которая, как известно, приманивает и отвергает десятки красивых молодых женщин. Скорее всего, актриса музыкальной комедии. В сопровождении Ормсби! На премьере у Вено! Что о ней могут подумать?

Какая разница, что о ней подумают, если ни один из них понятия не имеет, кто такая Сильвия? Разве ему не все равно, что думают о нем совершенно чужие люди? «Вьюнок»? А, вон он, этот Уэллард. А вы слышали, что он... дальше следует либо дурацкое вранье, либо мерзкая сплетня. Сколько сплетен, сколько лжи доводилось ему слышать о знакомых по клубу! Стоит ли огорчаться, если люди, которые тебя не знают, думают, что ты такой или сякой? Не стоит. Но твоя жена...

Если на то пошло, неожиданно подумал Реджинальд, что я знаю об Ормсби? Одни сплетни. И ни единого факта, их подтверждающего. Некоторое время он раздумывал об этом, слегка смущенный. Затем с облегчением вспомнил свою пятиминутную беседу с Ормсби, которая несомненно подтверждала, что Ормсби именно таков, как о нем говорят. Я был совершенно прав, подумал он, что сказал все это Сильвии. (Как приятно быть совершенно правым.)

Однако хватит о Реджинальде, человеке, который совершенно прав. Теперь займемся заблудшей Сильвией. Он попробовал поставить себя на место Сильвии.

Муж приводит тебя в дом одного из своих друзей. Ты знакомишься с хозяином и хозяйкой. Затем хозяйка как-то приглашает тебя на ленч, и ты вновь видишь хозяина. Затем он появляется в вашем доме; разумеется, ты встречаешь его приветливо и гостеприимно. Он приходит еще раз, не зная, что мужа нет дома (откуда ему знать?), и предлагает пойти с ним в театр. Так случилось, что твой муж неожиданно на целый вечер предоставил тебя самой себе, и ты, разумеется, соглашаешься. А когда ты возвращаешься домой после чудесного представления, горя желанием рассказать о нем мужу, тот внезапно и без всякого повода устраивает тебе скандал и все портит.

«А ты все испортил».

Ему сорок один год. Ей двадцать шесть. Она еще ребенок. Он все испортил. Как он осмелился жениться на ней? Как он осмелился, будучи ее мужем, считать, что ее любовь навсегда принадлежит ему? Как он осмелился оскорбить подозрением ту, что по-королевски снизошла к нему?

«А ты все испортил».

Если бы сейчас отворилась дверь и она вошла! Как чудесно было бы, если бы она сейчас вошла и они помирились! Послушай! За дверью что-то шелестит. Смотри! Дверь приоткрывается. Сильвия, любимая!.. Нет, это невозможно. Ведь это он все испортил; *ему* надо просить прощения.

Реджинальд мысленно перебирает все их предшествующие ссоры. Какие ссоры — недоразумения. Такого, как сегодня, еще не бывало. Никогда раньше они не ложились спать, не помирившись. Ссора, прощение, и они снова друзья и снова любят друг друга. Так и случается, когда ты, по теории Корал Белл, еще находишься на высшем уровне, еще любишь. Счастливо добравшись до нижнего уровня, можно даже обойтись без примирения. После ссоры отправляешься спать, а утром чувствуешь себя как ни в чем не бывало. Но когда все еще любишь, самое мелкое недоразумение оборачивается катастрофой, так легко ранить друг друга словом, взглядом, и каждая рана, оставшаяся незалеченной, долго болит.

Ему представилось, как она, бедняжка, лежит за стеною с открытыми глазами, раздумывая, придет ли он к ней, или ей несмотря ни на что надо пойти к нему. Неожиданно он понял, какой стыд будет, если она сейчас придет к нему с извинениями, хотя виноват кругом он. Нет, он пойдет к ней, бедняжке, лежащей с открытыми глазами, и попросит прощения. Так или иначе, они должны помириться сегодня же.

Он бросился к ней в радостном нетерпении. Нетерпеливо открыл дверь и позвал: «Сильвия!» Нетерпеливо повернул выключатель ночника у кровати. Она лежала... и глубоко, безмятежно, сладко спала.

Что же? Неужели все это для нее ничего не значит?

Негодующе хлопнув дверью, он вернулся к себе и еще час пролежал с открытыми глазами. Затем тоже уснул.

Утром он ничего не забыл. Когда он спустился к завтраку, она уже сидела за

столом, погруженная в «Таймс». Он отворил дверь, и Сильвия встала и подошла к нему, уронив на пол газету. Что сказать, как себя вести? Наверное, выбора не было; слова выговорились сами, рука сделала непроизвольный жест; дружеское «Привет, дорогая», дружеское похлопывание по плечу, и он проскользнул на свое место. Именно так счастливые мужья, добравшиеся до нижнего уровня, приветствуют своих жен, примерно так же они здороваются с приятелями по клубу и гладят любимую кошку или собаку. Реджинальд справился блестяще.

Но, намазывая маслом тост, он вовсе не ощущал себя победителем. Что за черт во мне сидит, думал он. Я ведь хотел обнять ее, а он помешал.

— Дать тебе газету, дорогой? — Она протянула ему газету через стол.

— Спасибо.

Газета была развернута на театральной странице. Сильвия читала рецензию на вчерашнюю премьеру. Злость снова поднялась в Реджинальде. Хорошо, что он не стал просить прощения.

— Мне бы не хотелось отбирать ее у тебя.

Именно так говорят счастливые мужья. Ему доводилось слышать такие фразы со сцены.

— Я уже все прочла, спасибо, дорогой.

Именно так отвечают счастливые жены. Ему доводилось слышать.

Он молча читает. Она молча чистит яблоко. Пора что-то сказать.

— Похоже, вчерашняя премьера прошла неплохо,— говорит он и отмечает, что выбрал правильную линию. «Вчерашняя премьера» благополучно сведена на нижний уровень и заняла свое место в ряду случайных колебаний, которым подвержена счастливая супружеская жизнь. Теперь они оба снова будут счастливы.

— Немыслимо хорошо,— отвечает Сильвия. — Мне так хотелось, чтобы ты пошел.

— Ну, меня ведь никто не приглашал.

Прекрасно сказано, с налетом дружеской иронии, с приличествующей случаю улыбкой.

— Ну что ты, дорогой! Было два билета для нас обоих, а когда я стала отказываться, зная, что ты занят, лорд Ормсби спросил, не могу ли я пойти с ним. Было бы чудесно, если бы ты вернулся как обычно — я бы сразу же сказала тебе, и мы могли бы пойти вместе.

— А-а, так вот как это было,— говорит Реджинальд.

Так вот как это было. Если бы не этот ненужный поход в театр, если бы он не навязался в компанию Латтимера, Никсона и Корал Белл, которые отправились туда по делу, в то время как он — развлечения ради, не было бы ни этого дурного вечера, ни дурного утра...

Он поднимается по лестнице; ее головка высовывается из-за двери спальни.

— Скорее, дорогой, в твоем распоряжении двадцать минут.

— Но почему... ведь сейчас только...

— Догадайся!

— Мы куда-нибудь идем? Угадал? Добрый вечер.— Он сжимает ее руку.

— Поцелуй, но только один раз.— Она оказывается в его объятиях.— Скорее. Надень белый жилет и прочее. Все для тебя приготовлено.

— Чудесно. Судя по всему, мы идем в Букингемский дворец. Не надеть ли мне бриджи?

— Почти. Не в Букингемский, но во дворец. Точнее, в «Палас».

— Неужели на премьеру?

Она в восторге кивает головой.

— Но как...

— Прошу тебя, одевайся скорее. Я все расскажу тебе за ужином. Разве не чудесно?

Так вот как это могло быть. А сегодня утром они бы весело обсуждали вчерашнее представление. «Тебе понравилось, как он...» — «А самое лучшее — это было...» — «Забавно: критики никогда не замечают того, что бросается в глаза всем...» И вдруг он говорит: «Знаешь, я подумал... Давай пойдем со мной на репетицию?.. Ну, конечно, никто не возражает. Они будут только рады увидеть тебя. А если захочешь, пригласим кого-нибудь на ленч».

Что ж, скажу все это сейчас. Это очень просто. Сейчас!

И Реджинальд понял, что не может. С чего начать? Вчерашний вечер прошел, забыт, глупо ворошить все снова; и, однако, он чувствовал, что они не могут весело и счастливо вместе отправиться в город, пока дух этого вечера еще не изгнан и витает между ними. А если она так безмятежно спала, для нее, быть может, это не слишком важно. Она вряд ли поймет, о чем идет речь, подумал Реджинальд с горечью.

— Налить тебе еще кофе?

— Да, пожалуйста.

Момент упущен. Если он не извинился сейчас, значит, не извинится никогда. Я веду себя как капризный ребенок, подумал он, и сам это чувствую, я вижу себя со стороны и презираю, но ничего не могу поделать. Если я начну извиняться, она скажет: «Я про это уже забыла».

— Ты идешь в театр, дорогой?

Глупый вопрос. Она прекрасно знает, что да. Она говорит это, чтобы казалось, что он зря тратит время, посещая репетиции, чтобы дать ему понять, насколько никому не нужны его хождения в театр, чтобы он чувствовал себя неловко, разговаривая там с другими женщинами.

Что можно на это ответить? Он думает:

Если муж терпеть не может жену, он ответит самым ледяным тоном: «Да, разумеется».

Если муж любит жену, он радостно скажет: «Да, но только ты пойдешь со мною. Ладно?»

— Ты идешь в театр, дорогой?

— Да, разумеется,— отвечает Реджинальд самым ледяным тоном.

II

Реджинальд выходит из дома, а Сильвия занимается своими делами. Прежде всего нужно написать несколько писем, заплатить по нескольким счетам. Затем отправиться к миссис Стоукер.

Миссис Стоукер любит миссис Уэллард и считает ее самым красивым созданием, когда-либо переступавшим порог ее кухни. К тому же это Приличная Женщина, из тех, кто не злоупотребляет помадой и не занимается пустою болтовней. Они приветствуют друг друга улыбками и начинают обсуждать дневное меню, Сильвия — опершись о кухонный стол, миссис Стоукер — приставив к животу грифельную дощечку, на которой записывает названия блюд. Они приходят к согласию относительно того, как следует кормить мистера Уэлларда, но расходятся во мнениях относительно питания миссис Уэллард.

— Разве это обед? — мрачно произносит миссис Стоукер.— Вот мое мнение: хорошая еда еще никому не повредила.

— Мне никогда не хочется плотно обедать,— отвечает Сильвия.

— Вы и на завтрак съедаете не больше воробья,— замечает миссис Стоукер,— обыкновенного воробья. Но, по правде говоря, выглядите вы прекрасно.

Сильвия начинает рассказывать о вчерашней премьере. Миссис Стоукер в жизни не переступала порога театра. Ее отец порвал с театром в один прекрасный вечер, когда, вернувшись домой слегка навеселе, с радостью обнаружил, что жена покинула его ради дрессировщика слонов, который выступал с номером в местном мюзик-холле. Но его мужская гордость была задета. Выследить беглецов, путешествующих в компании трех слонов, не составило труда, и погоня мистера Багсуэрти увенчалась успехом, чего нельзя было сказать о попытке покарать соблазнителя. Он вернулся домой с предубеждением против любого рода публичных представлений, повторяя с горечью: «Фигляры!» По каким-то причинам это слово нравилось ему больше, чем любая брань. «Фигляры,— бормотал он, прикладывая мокрую губку к подбитому глазу,— фигляры, да и только». С тех пор он не переставал предостерегать дочь от какого бы то ни было общения с фиглярами. «Компания фигляров,— мрачно повторял мистер Багсуэрти, когда они с дочерью проходили мимо ярко освещенного здания.— Все они фигляры, вместе со своими слонами». И мистер Стоукер, когда пришел его черед выслушать символ веры мистера Багсуэрти, продемонстрировал свое полное с ним согласие.

«Все в порядке, малышка,— сказал он.— Не станем тратить деньги на такого рода глупости. Вспомни про Рим. Panem et circenses [1] и все прочее, понимаешь? Верно, Багс?» Мистер Багсуэрти, который явно не был в восторге от того, что будущий зять, пусть даже и сведущий в греческом, называет его Багсом, сказал только «А!» с видом человека, добавившего важное примечание к научной работе.

Но за время вдовства кругозор миссис Стоукер несколько расширился. Она по-прежнему считала, что показываться в коротеньких юбочках перед толпою зрителей грешно, но пока ее хозяйка не требовала от нее ничего подобного, она принимала как должное, что хозяева смотрят спектакли, и даже не возражала против того, что горничная тоже бывает в театре (хотя лучше бы не бывала), при условии, что она искупает это прилежной работой. Иногда миссис Стоукер хотелось бы вернуться к прежней ограниченности кругозора. Например, когда один маляр, любитель порассуждать, сказал: «Посмотрите хотя бы на Шекспира», и она посмотрела. Но театральные сплетни она просто обожала.

— Должно быть, вы получили большое удовольствие, мадам,— сказала она Сильвии.— Интересно, был ли там сэр Эдгар Бейнс. Уж наверное был.

— Я незнакома с ним,— отвечала Сильвия.— Кто это?

— Сэр Эдгар Бейнс, баронет? Очень известный человек. И большой друг миссис Карстэрс. Сколько раз он обедал у нас. Да и ужинал. Наверняка он там был.

— Возможно, лорд Ормсби показывал мне его. Там было столько народу, что я просто не запомнила всех.

— Ну конечно, он был там, и его светлость знаком с ним, я уверена.

— Лорд Ормсби сказал, что знаком с миссис Карстэрс. Он когда-нибудь здесь обедал?

— Его светлость? Нет, мадам.— Миссис Стоукер слегка поджала губу.

Сильвия уже собиралась перейти к другой теме, как вдруг зазвонил телефон.

— Простите, мадам.— И затем: — Какой-то мистер Беллами, во всяком случае, фамилия похожая,— сказала миссис Стоукер, положив трубку рядом с аппаратом.— Наверное, вам будет удобнее разговаривать наверху.

— По-моему, я незнакома... Вы уверены, что это меня?

— Он просил миссис Уэллард.

Сильвия поднимается в спальню, берет трубку и усаживается.

— Алло!

— Это миссис Уэллард?

— Да.

— Говорит мистер Фондеверил. Не знаю, помните ли вы меня. Мы с вами виделись...

— Да, конечно, помню! А мне назвали вас Беллами!

— Наверное, мне следует назваться полным именем. Джон Фондеверил. Как любят говорить в клубах, да вы наверняка слышали: «Всегда здоров, всегда готов, Джон Фондеверил».— Он рассмеялся и в ответ услышал смех на другом конце провода.— Миссис Уэллард, не могли бы вы сегодня со мной пообедать?

На другом конце провода в нерешительности молчали. Может быть, Сильвия раздумывает, какова его репутация в отношении женщин? И как реагируют мужья, узнав, что их жены обедали с мистером Фондеверилом?

— С огромным удовольствием.

— Вы очень любезны. Вас устроит «Плющ»? Там прекрасно делают Sole Veronique [2]. Или вы предпочитаете другой...

— Нет, я приду с удовольствием. Спасибо.

— Тогда, скажем, в четверть второго? — Раздался легкий щелчок, как будто там решили для верности взглянуть на золотые часы с дарственной надписью на крышке. Несомненно, четверть второго вполне подходящее время.

— В четверть второго. Чудесно.

— Тогда до четверти второго, в «Плюще». Au revoir.

— До свидания.

Мистер Фондеверил также был в «Паласе» и, увидев своего зятя рядом с прелестной миссис Уэллард, вспомнил, что ему говорила дочь несколько недель назад. Если она тогда беспокоилась из-за Боба, то сейчас, должно быть, беспокоится

[1] Хлеба и зрелищ *(лат.)*.

[2] Камбала с виноградом *(франц.)*.

еще больше. Он решил, что должен Сделать Что-то. Тонкий дипломатический ход. Поговорить с Уэллардом? Тогда обнаружится характер зятя, и больше нельзя будет делать вид, что ничего не знаешь о нем. Может быть, тактично побеседовать с миссис Уэллард? Не утверждая, не обвиняя, в самых общих чертах поговорить с ней об Осторожности, о Добром Имени и о Сокровищах Женщины в манере Умудренного Государственного Мужа. Скажем, за обедом, за бокалом доброго вина.

Вот он в ресторане, ждет ее. Склоняется над ее рукой, как, и он надеется, что она чувствует это, он (а может быть, не он, а кто-то другой) склонялся над рукою Королевы в те времена, когда даже у молодых людей хватало досуга, чтоб быть учтивыми и обходительными. Он повел ее к столу, как в свое время вел леди Рэндольф Черчилль к ее креслу на концерте Мелбы в «Ковент-Гардене». Они сели рядом.

— Я заказал устрицы,— сказал он.— И, если вы не против, предложил бы Sole Veronique. Чего бы вам хотелось еще, миссис Уэллард?

— Я думаю, мне достаточно.

— Может быть, птицу?

— Спасибо, нет.

— Omelette aux fines herbes? [1] Или просто десерт?

— Чудесно, просто десерт.

— Возьмите pêche Melba [2]. Вы, наверное, и не знаете о Нелли Мелбе, миссис Уэллард?

— Нет, увы, не знаю.

Он глубоко вздохнул, и этот вздох заключал в себе целое повествование о Великой Певице, принесшей Любовь и его, мистера Фондеверила, в жертву Искусству.

— Наверное, она была прекрасная женщина.

— Таких теперь не бывает.— Мистер Фондеверил проглядывал карту вин.— Выпьем по бокалу вина?

— Но я...

— Легкий рейнвейн? «Иоганнисбергер» двадцать первого года? Отличный год для сухих вин.

— Да, чудесно.

Он вытащил из кармана часы.

— Вы необыкновенно точны. Это редкое у женщины качество — пунктуальность. Я вижу, что вы... Часы? — Он спрятал их в карман.— Мне их презентовала известная фирма в Сити. Меня пригласили туда для финансовых консультаций, и я сумел поправить их дела, поэтому они...— он сделал жест рукою,— настояли, чтобы я...— другой жест.— Что оставалось?.. У вас есть лимон? Так, прекрасно. Ну как вам понравилось вчерашнее представление?

— Вы тоже были? — спрашивает Сильвия с жаром.— Правда, замечательно?

— Я вижу, вам действительно понравилось, миссис Уэллард.

— Да, а вам разве нет? — Радость в глазах Сильвии гаснет.

— Конечно, но у меня более критический подход. Уже выработалась привычка видеть вещи в Соотношении с Общим Фоном. Ценить скорее Исходный Материал, чем Поверхностные Эффекты, вы меня понимаете?

Сильвия старается сделать вид, что понимает.

— Вы хотите сказать, что иногда сцена бывает хороша сама по себе, но плохо сочетается с представлением в целом?

— Вы совершенно точно уловили мою мысль,— со старомодным изяществом замечает мистер Фондеверил.

— А мне понравилось все от начала до конца,— улыбается Сильвия.

— Вы так молоды,— чуть снисходительно говорит он.— Помните слова Вордсворта, миссис Уэллард?

Сильвия не решала сегодня кроссворда, поэтому не помнит цитаты, фигурирующей в нем под номером семнадцать по вертикали, и качает головой.

— «Молодость — вот настоящий рай». Моя дорогая жена согласилась бы с ним. В ней была истинная joie-de-vivre [3], что так редко встретишь в наше время. Всегда — и на охоте, и в салоне.— Он осушает бокал в ее память.

---

[1] Омлет с зеленью *(франц.)*.

[2] Персики «Мелба» *(франц.)*.

[3] Радость жизни *(франц.)*.

— Вам, наверное, было очень одиноко без нее,— тихонько говорит Сильвия.

— У меня была моя Мэгги. Леди Ормсби. Она была прекрасной спутницей.

— Еще бы! Она такая милая.

— Мы везде бывали вместе. Не расставались. Сегодня мы ехали в Хампстедхит, завтра в Зоологический сад, и, куда бы мы ни попадали, Мэгги всегда рассказывала мне, что бы она сделала, если бы была Главным Смотрителем или чем-то в этом роде, и всегда, миссис Уэллард, всегда она улавливала самое главное. Это большой дар. Организаторский талант.

— Она, наверное, чудесный организатор. Это видно хотя бы по тому, как она ведет дом.

— Да.— Он задумался, прикидывая, как бы перейти к сути дела. С отсутствующим видом он обвел взглядом зал, обменялся поклонами с биржевым маклером, проходившим мимо. «Один из наших проконсулов»,— объяснил он с отсутствующим видом. Вошла мисс Прентис и остановилась в ожидании аплодисментов. Поймав взгляд Сильвии, мисс Прентис одарила ее механической улыбкой, и Сильвия радостно улыбнулась в ответ, чувствуя, что знает весь Лондон.

— Во многих отношениях,— произнес мистер Фондеверил,— у нее была нелегкая жизнь.

— У мисс Прентис?

— У моей дочери, Мэгги. У леди Ормсби.

— Да, да!.. Мне показалось...

— Лишиться матери в таком нежном возрасте! И какой матери! Я пытался заменить ей мать, но, разумеется, не мог проводить с дочерью все время. Человека посылают то туда, то сюда,— он изобразил жестами Багамы и Новую Землю,— знаете, как это бывает: телеграмма, полчаса, чтобы собрать саквояж, и в дорогу — не самая подходящая жизнь для девочки. Бродячее, можно сказать, богемное существование. У нее были, конечно, друзья в Латинском квартале,— продолжал мистер Фондеверил, который отклонился от темы, уведенный в сторону словом «богемное»,— Мюссе к тому времени, разумеется, давно умер, хотя Ренуар был еще довольно молод. Однако...— И он пожал плечами, чтобы подчеркнуть разницу между Ренуаром и родной матерью.— А затем сразу быть ввергнутой в водоворот Светской Жизни, оказаться женою пэра Англии и миллионера, persona grata при дворе. Но через все это, миссис Уэллард, она пронесла свое доброе имя. Вот величайшее сокровище женщины, оно ценнее любых бриллиантов. Ни малейшая тень сплетни никогда... никогда,— подчеркнул мистер Фондеверил,— не коснулась ее. Злословие,— и мистер Фондеверил наклонился над бокалом «иоганнисбергера» двадцать первого года, словно собираясь выйти ему навстречу,— простирает свои крылья в местах совершенно неожиданных, и тень их покрывает как людей невинных, так и...— В последний момент он отказался от слова «виновных» и закончил: — Так и грешных.

— Люди, мне кажется, иногда говорят ужасные вещи,— заметила Сильвия.

— Естественно, мы ощущаем это гораздо сильнее, чем большинство людей,— сказал мистер Фондеверил.— Дальняя родственница ее матери,— добавил он, понизив голос,— была замешана в деле Транби Крофта.

— Правда?

— Совершенно не подозревая об этом, разумеется, но ее имя... упоминалось в связи с делом.

— Но ведь это была карточная афера? Как же она могла...

— Одно влечет за собой другое, миссис Уэллард. Пошли Сплетни. В прежние времена за подобные вещи вызвали бы на дуэль,— и рука мистера Фондеверила коснулась места, где должен был располагаться эфес шпаги,— но сейчас... Вы живете в деревне, дорогая моя миссис Уэллард. Вам, я думаю, трудно и вообразить, но Лондон по части слухов и сплетен — это настоящая каморра.— Он приостановился, заметив удивление во взгляде миссис Уэллард. Каморра, ведь так, кажется? Сыр — камамбер, а мафия — каморра. Успокоенный, он повторил: — Настоящая каморра.— А удивление Сильвии объяснялось тем, что она вдруг увидела своего мужа.

III

В воздухе повеяло теплом. В Вестауэйзе, наверное, выполнив свой долг, уже отцветают крокусы, склоняя увядшие фиолетовые и золотые головки в прощальном поклоне солнцу. Они храбро выпроводили зиму и, погибая, передали эстафету желтым нарциссам. Зеленые стрéлки «императора» и «золотой шпоры» просвечивают первой слабой желтизной; теперь со дня на день, с часу на час будут зажигаться новые светильники во славу весны.

Весна в Вестауэйзе. Желтые нарциссы в саду, между черно-белыми грушами и сливами. Зеленые бордюры вдоль изгороди пестрят бледными примулами, барвинком и земляникой. Серые стены Вестауэйза поросли розово-лиловой и пурпурной камнеломкой, а розовые флоксы играют в салочки с незабудками, барбарис готов хлынуть золотым дождем; ракитник превратился в бледно-желтое облако; клумбы первоцвета переливаются всеми красками; легкомысленная желтофиоль и чопорные тюльпаны горят оранжевым и красным.

Крокусы мы пропустили, мрачно думает Реджинальд в омнибусе, неужели желтые нарциссы тоже отцветут без нас?

Внезапно он ощутил тоску по дому. В Лондон хорошо приезжать, но жить в нем плохо. Всегда нужно что-то делать; в деревне можно не делать ничего. «Не делать ничего» — означает делать все что угодно: думать, смотреть, слушать, чувствовать, жить. Он истратит впустую это утро, первое утро весны; чем бы он ни занялся, это будет просто трата времени. А что, если честно поработать? Забавное определение. Что же в работе «честного»? Работа — это проклятие человека. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Казалось бы, человек предназначен для чего-то лучшего; поэтому должен стремиться к чему-то лучшему, стремиться избегать работы. Работа — это кара, от которой надо уклониться или разделаться с ней как можно скорее. А не конечная цель человека.

В пользу работы следует сказать, все так же мрачно размышлял Реджинальд, что она отвлекает тебя от тяжелых дум...

Оказалось, однако, что, кроме работы, существуют и другие вещи, способные отвлечь его от мыслей о Сильвии. В театре его ждало письмо от мистера Пампа. Мистер Памп никак не мог усвоить лондонский адрес Реджинальда. Сколько бы ни писал ему Реджинальд с Хейуардс-гроув, ответ всегда приходил через Вестауэйз. По счастью, ему не приходилось вести с мистером Пампом обширную переписку, и было безразлично, насколько запаздывают ответы издателя. Мистер Памп был недоволен им. Поглаживая одной рукой длинную белую бороду, а другой теребя лацкан сюртука, мистер Памп как-то разъяснил Реджинальду его долг перед 1) мистером Пампом, 2) Англией, 3) Самим Собой — долг написать второй роман, чтобы к осени он был уже напечатан. Когда Реджинальд ответил, что мистер Памп неплохо заработал на его первой книге, что Англия, без сомнения, прекрасно обойдется без второй его книги, а что касается его самого, то он решил быть снисходительным к собственной необязательности, мистер Памп оставил попечение о благе нации и сосредоточился на своем, подробно рассказав о Накладных Расходах, Издержках и Доверии Читателя. Поскольку разговор Реджинальда и мистера Пампа проходил за ленчем, Издержки на глазах выросли на какое-то количество шиллингов; Реджинальд чувствовал себя неловко, но стоял на своем, и мистер Памп заплатил по счету, подозвал такси, увеличив Накладные Расходы и, холодно попрощавшись, отбыл в свою контору. Конверт с фирменной надпечаткой «Пампс лимитед» был адресован прямо в театр.

Фирме «Пампс лимитед» стало известно о готовящейся постановке пьесы, которая представляет собою сценическую версию опубликованного фирмой романа под названием «Вьюнок», и фирма напоминает автору, что, по условиям существующего между ними договора, все деньги, полученные от сценических или кинематографических версий книги, должны быть поделены поровну между автором книги и издателем.

Боже мой, подумал Реджинальд, ведь я совсем об этом забыл! И ведь я получил уже сотню фунтов. Нет, нет, девяносто; десять взял агент Никсона. Интересно, мистер Памп рассчитывает получить пятьдесят из них или сорок пять? Будь я проклят, если дам ему пятьдесят. А остальные выплаты? А права на фильм? Если мы продадим их, а Никсон не сомневается, что так и будет, то Венчур получит

половину, и Никсон получит половину, и Памп получит половину, а что достанется мне? Похоже, что минус половина. Выходит, чем больше успех, тем больше мне приходится платить. Хорошенькое дело.

Он попытался вспомнить точные условия соглашения, но понял, что ему нечем расшевелить память. Договор для него никогда ничего не значил. Как это Раглан назвал Пампа в тот первый день? Подлецом и кровопийцей. Конечно, кровопийца. Грязнуля Памп, как прекрасно выразился Ормсби. А теперь Реджинальд связан с ним обязательством предоставить ему следующие шесть книг (а может, двенадцать?),— эту часть договора он прекрасно помнил и помнил, как она ему в свое время нравилась! — и каждая из этих книг будет обложена той же данью, и каждая будет для Реджинальда источником постоянного раздражения. Не оттого, что он заработает меньше денег, чем ожидал, поскольку до сих пор ему вполне хватало получаемых доходов; нет, его бесило бы ощущение, что его обманывают, выводили бы из себя сражения с Пампом из-за этих жалких агентских комиссионных, постоянные споры. Ему все время будут напоминать о них. Каждую неделю придется выписывать чек для Пампа! Можно ли вынести такое! И каждую неделю получать от Пампа письмо, оспаривающее удержание комиссионных, и опять затевать споры!

Надеюсь, пьеса провалится, мстительно подумал Реджинальд, вот была бы ему наука. И конечно, я никогда больше не напишу ни одной книги. Не хочу, чтобы она попадала в его грязные лапы. Зачем я вообще ввязался во все это?

Реджинальд откинулся на спинку кресла, размышляя о своих неприятностях. Репетиция шла своим чередом, но он почти не обращал внимания на сцену. Рассказать Никсону? Но Никсон профессионал, а он — любитель; Никсон станет презирать его за неосведомленность, за дилетантство. Связаться с Пампом! Погодите, кто это играет в любовной сцене? А, это Тодди, как все его называют. Реджинальда познакомили с Тодди, и его поразило, что актер знает имена всех первоклассных крикетистов. Такого актера нельзя не полюбить; как нельзя было бы не полюбить классного крикетиста, разбирающегося в театре. Надо будет пригласить Тодди на ленч. Гораздо лучше, чем тащиться в клуб и обедать неизвестно с кем. И размышлять.

Или Корал Белл? Удивительно, но он (почему бы это?) несколько охладел к Корал Белл. Может быть, из-за вчерашнего вечера, когда он ощутил себя любителем среди профессионалов; из-за того, что она (вполне естественно) больше общалась с Никсоном и Латтимером; из-за отсутствия между ним, Реджинальдом, и ею какой-либо духовной близости; из-за того, что ему почудилось легкое пренебрежение в ее обращении с ним? Или просто теперь он понял, что они принадлежат к разным мирам, что она появилась в его мире как блуждающий огонек, который ему никогда не поймать? Или все дело в Сильвии?

Но Тодди был другим. С ним не хотелось быть в дружеских отношениях. Только говорить о крикете. С ним можно было беседовать о крикете бесконечно.

Но, очевидно, не сегодня.

— Мне ужасно жаль, старина, но я собираюсь угостить Корал порцией устриц. Мы хотим поскорее вернуться и еще раз прогнать эту сцену.

— Что ж, тогда, может быть, в другой раз.

— Хорошо!

Какая одержимость в людях этой злосчастной профессии! Что только не ставят им в вину — они играют в гольф, они стремятся бывать в обществе. Ну хорошо, а чем прикажете им заняться, когда они не на подмостках? Читать пособия по актерскому искусству, написанные людьми, не имеющими о нем понятия? Или штудировать Шекспира?

Мисс Мастерс в углу надевала шляпку.

— Добрый день,— с улыбкой сказал Реджинальд, направляясь к двери.

— Привет. Так вы были здесь все это время? Хорошо, что я не знала, а то бы отключилась и — полный провал.

Реджинальд тут же попался на этот старый комплимент и был приятно удивлен, узнав, что кто-то может его бояться.

— Вы уже решили, куда пойдете на ленч? — неожиданно спросил он.— Может быть, сходим вместе в «Плющ», чтобы вы могли убедиться, вправду ли я так страшен.

— Роскошно,— сказала мисс Мастерс.— Я просто в восторге.

IV

Мисс Мастерс называли человеком слова, которому она, по мнению друзей, была верна, пожалуй, даже слишком. Когда-то этим словом было «загибаться», потом все стало для нее «дико» или, напротив, «мощно», потом мир оказался «кошмарным», а большинство событий в нем — «позорными». К этим жизненным вехам теперь добавились «роскошно» и «чудовищно», а уж когда все вокруг становится «чудовищно кошмарным», что еще остается девушке, как не «отключиться».

— Ну, нравится вам ваша роль? — спросил Реджинальд, когда для начала они заказали копченую семгу.

— Просто роскошная,— убежденно сказала мисс Мастерс.

— Правда? Я очень рад.

— Разве не потрясающе сидеть и слушать, как за тебя кто-то переписал книгу. Я хочу сказать, это, наверное, чудовищно. То есть кошмарно. Конечно, я не знаю, что там сделал Фил, но, по-моему, это полный провал — когда какой-то тип переписал твою роскошную сцену и оказалось, что он совсем выбросил Ночь в Гареме. Я бы определенно отключилась, если бы это я написала книгу, а Фил или кто другой впутал бы викария в историю с девицей, а ведь книга совершенно другого рода. Понимаете? Просто чудовищно.

— Да, это действительно обескураживает,— заметил Реджинальд.— Я пытаюсь не думать о пьесе как о моей книге, а когда мне удается узнать написанную мною фразу, я преисполняюсь гордости.

— Я, конечно, не читала вашу книгу,— сказала мисс Мастерс.— То есть я решила, что этого не нужно. Я хочу сказать, это могло бы оказаться обескураживающим.

— Определенно,— улыбнулся Реджинальд.

— По-моему, чудовищно, если в книге написано, что у героини черные волосы, а Фил переписывает, что белокурые, а Нед велит играть девушку с волосами мышиного цвета, а у актрисы собственные волосы каштановые. Это провал.

— Где вы познакомились с Латтимером?

— С Недом? В Вулвергемптоне. Вы бывали там?

— Нет. И даже не очень хочу.

— Да, там дико скучно. Я играла Рейчел в «Ночнике». Нед сидел в одном из первых рядов — дожидался поезда, я думаю. Он специально пришел за кулисы, чтобы познакомиться со мной. Я только что кончила играть, и, когда услышала, что это знаменитый мистер Латтимер, чуть было не отключилась. Он спросил, почему я пошла на сцену. Ну, когда ты в таком кошмарном виде, то не можешь расписывать, что в десять лет прочла всего Шекспира или что обожаешь актрису миссис Сиддонс. Я сначала что-то мямлила, а потом выпалила: потому что у меня семь сестер и мачеха меня била. Ничего другого не пришло мне в голову. Нед Латтимер сказал довольно холодно: «Да, это все объясняет. Теперь мне понятно». Потом он спросил, каких шекспировских героинь мне хотелось бы сыграть. Кажется, у меня был просто провал. То есть я начала колебаться между Пердитой из «Повести о двух городах» и Маленькой Нелл из «Кукольного дома», как вдруг Алек, наш импресарио, я чуть было не бросилась ему на шею, говорит: «Из нее выйдет неплохая Виола, как ты думаешь?» А по лицу Неда было видно, что он вовсе так не думает. Тут я немного очнулась и сказала, что уже провалила роль Виолы один раз в театральной школе, другой — в Академии, и если я еще раз возьмусь за нее, похоже будет, что я определенно имею зуб на бедную девушку. Это Неду понравилось, и он велел мне приехать в Лондон и зайти к нему. Я так и сделала.

— В сопровождении мачехи?

Мисс Мастерс сверкнула улыбкой и ответила отрицательно. Как это ни кошмарно для мачехи, ей пришлось отключиться в своем Вулвергемптоне.

Ленч продолжался. Мисс Мастерс, подумал Реджинальд, забавная собеседница, с ней приятно поболтать во время короткого ленча; во всяком случае, пока закусываешь копченой семгой. Но только подумать о том, чтобы жениться на ней! Возможно, это просто роскошно в первые пять минут, зато потом кошмарно и чудовищно. Он бы не выдержал и отключился. И полный провал. Определенно.

Жениться на ней! Он не может представить себе в роли жены никакой другой женщины, кроме Сильвии. (Женщине представить себе другого мужчину в роли

мужа, наверное, еще сложнее.) Реджинальду вдруг вспомнилась заметка об одном бракоразводном процессе, на котором адвокат сообщал какие-то подробности и, в частности, сказал: «Первые три месяца они были совершенно счастливы, а затем между сторонами возникли разногласия». Это навсегда врезалось ему в память. Как же невысоки требования к браку у этих «сторон»! Пока они были «совершенно счастливы», брак можно было бы считать удачным; но три месяца, конечно, несколько не дотягивают до среднего уровня. Бедняжки не ждали многого, и за одно это могли бы быть вознаграждены более щедро.

— Чего бы вам хотелось, мисс Мастерс?

«Возникли разногласия». Что же, теперь, после шести неправдоподобно счастливых лет, между ним и Сильвией возникли разногласия? Чепуха. Как можно быть женатым на ком-нибудь, кроме Сильвии?

— Ничего, кроме холодного мяса?

— Да, да. Я просто отключаюсь, если днем ем горячее.

Значит, если бы он женился на мисс Мастерс, то был бы вынужден ежедневно есть на ленч холодное мясо. Вот так. Назад в Вестауэйз, подальше от всяких подлецов, и кровопийц, и от сатиров вроде Ормсби. Настала весна, скоро будет лето. Весна и начало лета в Вестауэйзе с Сильвией. Уезжать на один день в Лондон вместе с нею, уезжать без нее и, зная, что она встретит тебя, возвращаться к ней... и к цветам на клумбах, и к белым и розовым лепесткам, слетающим с деревьев.

— Неужели? — спросил Реджинальд.

Он повел взглядом по залу и вдруг увидел Сильвию. Сильвию! Она сидела с кем-то, кого Реджинальду не было видно за перегородкой, делившей зал, и, улыбаясь, оживленно беседовала с этим неизвестным мужчиной.

Ормсби! Ну конечно! На минуту он ощутил ненависть к Ормсби и, на одно страшное мгновение, ненависть и к Сильвии. После вчерашнего вечера — еще и это! Затем ее собеседник наклонился вперед, и Реджинальд увидел, что это всего лишь мистер Фондеверил.

Благодарность, и раскаяние, и любовь к Сильвии переполняли его так, что трудно было дышать. Ему хотелось вскочить и замахать руками. Ему хотелось кинуться к Сильвии, упасть к ее ногам и умолять о прощении. Ему хотелось расцеловать мисс Мастерс. Он и расцелует ее на премьере, вот увидите, и ее, и Корал Белл, и всех остальных (всех, кроме мистера Венчура). О Сильвия, как я благодарен тебе!

— Простите меня,— сказал Реджинальд, поворачиваясь к мисс Мастерс и вдруг осознав — это, впрочем, не могло согнать с его лица счастливой улыбки,— что невнимателен к ней.— Я просто увидел...

Он удержался и не произнес чудовищных слов, слов кошмарных и едва ли не позорных — «свою жену». Пригласить девушку на ленч, а потом отключиться, потому что просто увидел дорогую женушку,— вот это да! Его спасло то, что именно тогда мисс Мастерс сама заметила Сильвию.

— Клянусь Еленой Рубинштейн! — воскликнула она.— Досточтимым Пондом и его ангелами! Клянусь тенями от самой Элизабет Арден! Вот это да!..

— Что случилось?

— Нет, нет, не смотрите. Смотрите на меня.

Реджинальд посмотрел на мисс Мастерс.

— Вы считаете, я хороша собой?

— Конечно! Очень!

— Дорогой мой, как вы заблуждаетесь. И я тоже. Если вы хотите увидеть действительно красивую женщину, взгляните вон туда. Куда указывает вилка. Ну?

— Да,— ответил Реджинальд.

— Вам когда-нибудь доводилось...

— Никогда,— ответил Реджинальд.

— Кто это может быть?

— Это? — небрежно переспросил Реджинальд.— А-а, это моя жена. Завтра я вас познакомлю. Она придет со мной на репетицию.

Глава восемнадцатая

I

Весной они возвратились в Вестауйэз, оставив «Пампс лимитед» на попечение агента Никсона.

— Конечно, он возьмет свои десять процентов с книги и все, что положено, но вы увидите, дело того стоит,— объяснял Никсон.— Хотя, возможно, миссис Уэллард будет другого мнения. У меня есть жена, и мать, и незамужняя сестра, и сходятся они только в одном — что эти десять процентов сплошное беззаконие.

— Все, чего я хочу,— это не приходить в бешенство каждую неделю при мысли о том, какого дурака я свалял.

— Ну, это вам обеспечено.

Реджинальд вышел, держа в руке письмо к агенту. Он никак не мог выкинуть из головы эту незамужнюю сестру. Он почему-то был убежден, что она оказала большое влияние на жизнь Никсона. Конечно, она старше; когда он был мальчишкой, она его одергивала; когда вырос — порицала; с подозрением относилась к безалаберному миру, в который он попал. Это она помешала ему сделаться «своим парнем». Вот в чем его беда, вот почему у него иногда такой тоскливый вид. Он знает всех, все называют его просто Фил, но на самом деле он чувствует себя чужим. Я не свой парень, но я и не собирался им быть, никогда не думал, что могу им стать. А он и хотел бы, да не может. И это ее вина.

Забавно, подумал Реджинальд, вдруг заглянуть в семейную жизнь Никсона, и все из-за Пампа.

На премьере ему удалось заглянуть в нее еще раз, когда они с Сильвией после второго действия зашли в ложу Никсона, где тот представил их матери и сестре.

— Мы всегда бываем на премьерах Артура,— сказала сестра.— Мы живем в крошечном домике в Борнмуте. Вы бывали в Борнмуте, мистер Уэллард?

Значит, «старина Фил» на самом деле Артур. Да, конечно, так и должно было быть.

— Теперь он уже не тот, что прежде,— говорила сестра, имея в виду Борнмут.— Мне иногда хочется... но, впрочем...— Она пожала плечами и торопливо продолжала: — Как подумаешь о других местах... я имею в виду, например, Истборн... и, конечно, есть люди, которым совершенно необходимо жить там из-за сосновых лесов. Это так нужно маме. Именно поэтому... или нам пришлось бы жить за границей.

— Я полностью с вами согласен,— ответил Реджинальд, не вполне понимая, с чем соглашается, но представляя, как нелегко мисс Никсон вдохновенно воспевать Борнмут, не переставая при этом сердиться на Артура, который держит их там.

Сестра на минутку отвлеклась от Борнмута и объяснила, что жена Артура никогда не ходит на премьеры, потому что ужасно нервничает и боится, что от этого Артур нервничает еще больше.

— Вам не кажется, что это просто смешно, мистер Уэллард? Мне думается, ее место рядом с мужем. Я бы хотела, чтобы мой муж был около меня, если бы мне пришлось открывать благотворительный базар или вручать награды. Когда я выйду замуж,— добавила она.

Бедняжка, подумал Реджинальд. А вслух произнес:

— Я думаю, они разобрались, что лучше для них обоих. Но скажите мне, сколько же пьес написал ваш брат?

Мисс Никсон попробовала вспомнить, сколько раз они с матерью приезжали из Борнмута.

— Ведь, в сущности, все сводится именно к этому, мистер Уэллард. Мне всегда хотелось, чтобы у нас была маленькая квартирка в Лондоне. Наверное, это наш шестнадцатый приезд. Мы обычно останавливаемся в гостинице «Де Вере». На мой взгляд, это одна из лучших, если не можешь себе позволить «Карлтон». Там уютно и тихо, и, конечно, нас там теперь знают. Все подходят к нашему столику и желают удачи. Может быть, мама завтра пойдет к доктору, поэтому мы уедем ближе к вечеру. Обычно мы возвращаемся поездом двенадцать тридцать.

Мама, в противоположность угловатой дочери, была женщиной полной

и жизнерадостной. Она искренне обрадовалась знакомству с мистером Уэллардом, искренне восхищалась его книгой и откровенно, без боязни или смущения, говорила о своих сложных заболеваниях.

— Я всегда говорю, мистер Уэллард, что уж в мои-то годы я могу распоряжаться собственными внутренностями, и я не позволю чужим людям разрезать мне живот только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Что у меня там есть, то и есть. Артур и Милли все хотят, чтобы я показалась специалисту, но показаться специалисту значит лечь на операцию, по которой он специализируется, на то он и специалист. Можете себе представить: импресарио спрашивает у Артура, стоит ли ему поставить какую-нибудь из Артуровых пьес, а Артур отвечает «нет»? Как по-вашему, эта пьеса должна иметь успех? Пьесы Артура на премьерах обычно всем нравятся, а уж потом рецензенты растолковывают публике, что именно ей не понравилось и насколько лучше получилась бы пьеса, если бы кто-нибудь другой написал бы ее совершенно иначе. Но что бы они все ни говорили, по-моему, Артур самый красивый мужчина в театральных кругах. Скажите, вы бывали в Борнмуте?

После спектакля Реджинальд и Сильвия пошли за кулисы. Здесь Сильвия неожиданно встретила школьную подружку. Реджинальд, который между делом был ей представлен, покинул их в старых классных стенах, где они, забыв о мужьях, принялись вспоминать давние времена. Холодные театральные коридоры и шумные лестницы превратились для них в другие, не менее холодные и гулкие коридоры и лестницы, одна толпа сменилась другой, а звучавшие голоса сделались молодыми, ломкими и задорными, как их собственные. За дверями находились сердечные подруги и смертельные противницы; сколько же было друзей когда-то, сколько врагов... Сильвия, помнишь ту девочку, как же ее звали? Конечно, Сильвия прекрасно помнит... или это совсем другая? Сегодня это не важно. А завтра, вспомнив клятвенные обещания позвонить и «что-нибудь устроить вместе», они обнаружат, что не помнят ни фамилий, ни телефонов, а для того чтобы связаться друг с другом, имени и фасона платья недостаточно. Но и это не важно. Вчерашний день уже прошел.

Реджинальд, сделавшись на время холостяком, отправился в уборную Корал Белл. Ему представляется сцена из спектакля, в которой он прощается с нею.

— Что ж, до свидания, леди Эджмур.

— Неужели вы уезжаете? — Рука у горла, испуг в ее чудных глазах.

Он кивает, боясь, что если заговорит, то забудет о пресловутой английской сдержанности.

— Куда?

— В Вестауэйз. То есть в Вест-Индию. Или... в какие экспедиции обычно уезжают?.. Как бы то ни было, я — уезжаю.

— Но почему?

— Мне кажется, вы знаете почему, леди Эджмур.

Он смотрит ей прямо в глаза. Она знает.

— Из-за меня? — еле слышно произносит она.

Самое время выказать себя настоящим джентльменом.

— Ну, скажем, из-за подоходного налога.

Нет, не годится, это вызовет смех.

— Скажем, из-за климата.

Вот так. И больше ни слова. Только вскинуть руки и уронить их.

— Вы не... не влюблены в меня? — шепчет она.

Ну что ж, в этом все и дело. Конечно, по-настоящему нет... Что за толчея здесь... но сегодня вечером вы глубоко тронули меня. Я люблю умных женщин, если они к тому же хороши собой. Конечно, я прекрасно знаю, все, что вы говорили сегодня, не ваши слова... скорее мои собственные... но вы часто говорите похожие вещи, и вы как раз такая женщина, что... но надо подойти поближе. Кто все эти люди?

— Дорогая, ты была великолепна!

— Тебе понравилось? Правда, замечательная пьеса? Я так рада за Фила.

— Поздравляю. Вы были...

— Спасибо. И спасибо за прелестные цветы.

— Корал, дорогая, ты прекрасно сыграла.

— Как чудесно, что всем вам понравилось. Я очень рада.

— Поздравляю вас. Я...

— Ах, мистер Уэллард, как мило, что вы и миссис Уэллард прислали мне дивные цветы. Она здесь? Поблагодарите ее от моего имени.

— Вы действительно были... я даже не думал, что когда-нибудь...

— Изумительно! Перл, дорогая, это мистер Уэллард. Это он написал книгу, ты ведь знаешь. Дик, милый, как я рада была твоей телеграмме. И цветы! Ты просто ангел.— Она целует ангела.

Реджинальд беседует с Перл. Он обижен и из-за этого зол на себя. Он чувствует себя неуклюжим и косноязычным. Во рту пересохло. Язык ворочается с трудом. Он слышит каждое свое слово, но не разбирает ни одного слова Перл. В уборной душно и тесно. Реджинальд прижат к стенке. Он никогда не знал за собой пристрастия к жестикуляции, но сейчас не может ничего сказать, потому что не в состоянии шевельнуть рукой. Он несет чепуху и прекрасно об этом знает.

Так выглядит его прощание с Корал Белл. Ну что ж, хорошо. Все актрисы одинаковы. Пойдем-ка домой, никому мы здесь не нужны. Нет, надо еще на минутку забежать к мисс Мастерс. Где же Сильвия?

Он пробрался к выходу, обнаружил Сильвию и силком вытащил ее из школы.

— Пойдем,— сказал он, вдруг решив не ходить к мисс Мастерс.— Пошли домой.

— Устал, дорогой?

— Чертовски,— ответил Реджинальд.— Смертельно устал от Лондона.

Глава девятнадцатая

I

Бабуся, казавшаяся еще меньше и озабоченней, чем обычно, появилась в холле.

— А, вот и ты,— отозвался с батареи Джем.— Я как раз покончил с рыбной головкой. Кстати, если ты идешь на кухню, скажи этой тетке, что батареи снова совсем холодные. Что толку...

— Пойдем,— сказала Бабуся и вышла во двор.

— Куда пойдем? Я тебе рассказываю про батарею. Если трубы не горячие, то для чего они вообще? Коты не потому...

Джон Весли, еще больше, чем обычно, похожий на черную пантеру, появился в холле.

— А, вот и ты,— отозвался Джем.— Я как раз покончил с рыбной головкой. Кстати, если ты идешь на кухню, скажи этой тетке, что она плохо следит за домом. Батареи снова совсем холодные. Коты не потому лежат на батареях, что им нравится форма труб. Я всегда считал...

— Пошли,— сказал Джон Весли, направляясь к двери.— А то опоздаешь.

— Куда опоздаю? Я как раз покончил с рыбной головкой. И теперь дожидаюсь...

— Они возвращаются. Вот-вот будут здесь.

— А! Наверное, им рассказали про батареи. Ну, наконец-то в доме будут люди, которые знают, что нужно коту. Хорошо, я иду. Я хотел бы присутствовать, когда станут рассказывать про эту зеленую вазу в столовой. Кот может быть каким угодно ловким и осторожным, но если люди ставят вещи на самый край, да потом еще винят во всем кота... Хорошо, я иду.

И они пошли, все трое.

— Взгляни, дорогой! — воскликнула Сильвия, когда Реджинальд остановил машину у ворот.— Они ждут нас.

Она выскочила из машины. Бабуся и Джем тут же оказались у нее на руках. Джон Весли ждал Реджинальда, и как только тот вылез из «морриса», принялся выделывать восьмерки, отираясь о его ноги.

— Ну, Джон, как дела?

Джон Весли всем видом показывал, что все прекрасно.

— Привет, Джем, ты рад, что я вернулся?

Джем небрежно кивает.

— Хочешь, я поставлю машину, дорогой?

— Нет, не надо. Я не хочу ждать. Пошли скорее, посмотрим, что тут делается. Ох, Сильвия, взгляни на нарциссы! До чего хороши! Пойдем.

И они, взявшись за руки, пошли в сад, а кошки следовали за ними.

— Посмотри, разве было когда-нибудь столько примул! Вот колокольчик, а вон другой. О, да их уже много. Я думал, они расцветут только через неделю. Их просто сотни. Но желтые нарциссы самые чудесные, правда? Вишни почти облетели, хотя день-два еще простоят. Я боялся, что мы... Слива распускается. И груша вот-вот зацветет. Кажется, все в порядке, и мы увидели весь сад в цвету и все желтые нарциссы... Может быть, лучше было бы вернуться неделей раньше. Во всяком случае, слава Богу, что мы вернулись сегодня. Знаешь, давай... Какая жалость... Ну ничего. Ты так же рада, как и я?

— Наверное, дорогой. Что ты хотел сказать?

— О чем?

— Чего-то жаль.

— А! Просто я подумал, как хорошо было бы вместе набрать цветов для дома. Но это уже наверняка сделано. Я так люблю собирать с тобой цветы. Смотреть, как ты рвешь их, и помогать тебе, и знать, что ты не сердишься, если я не все время этим занят, и знать, что ничто не имеет значения, только Сильвия и цветы.

— Ты так это любишь, дорогой?

— Ужасно.

— И я тоже.

— А Лондон кажется сразу таким глупым, правда? Интересно почему?

Они на минутку зашли в дом.

— Стоит ли? — спросил Реджинальд.— Сейчас тебя поймает миссис Хоскен и начнет говорить, говорить и говорить, и я уже больше никогда тебя не увижу. А я не могу ждать. Мне хочется увидеть каждый цветок и каждый бутон, посмотреть, что пережило зиму, а что нет, и я хочу, чтобы ты была при этом, чтобы я мог все время говорить: «Посмотри!» Но я не могу ждать.

— Обещаю тебе, я не стану сейчас с ней разговаривать. Только скажу: «Мы приехали», и «Добрый день», и «Мы поговорим как следует потом». Через минуту я вернусь.

— Ну хорошо.

И она сдержала обещание. А Реджинальд провел эту минуту, бродя по дому и раздумывая, что в нем не так. Полнейшее отсутствие Уэллардов, решил он. День-другой, и Вестауэйз поймет, что они вернулись, и примет свой прежний облик. Пока он был ничей.

— Правда, дом странно выглядит без цветов? — спросила Сильвия, вернувшись.— Такой пустой.

— Конечно! Мне и казалось, что чего-то не хватает. Подумай, какая удача! Так, значит, мы сейчас можем пойти...— Он вдруг замолчал. Сильвия смотрела на него застенчиво и как будто что-то скрывала.

— Пойдем, дорогой.

— Сильвия! Ты писала миссис Хоскен и просила ее не ставить цветов?

Сильвия кивнула.

— Чтобы ты и я могли...

Она снова застенчиво кивнула, не сводя с него глаз.

— Ты просто чудо!

Такова была Сильвия Уэллард. А Реджинальду Уэлларду, известному писателю, поклоннику красоты, человеку с фантазией, наделенному творческим воображением, эта мысль пришла в голову двумя днями позже. Прекрасно. Неудивительно, что он смотрит на жену свысока.

Был один из тех апрельских дней, которые остаются в памяти вопреки унылой статистике апрельских дней, и при слове «апрель» вам вспоминается именно такой день, и в надежде на его повторение можно простить этому месяцу все его капризы. Сначала Реджинальд и Сильвия спешили увидеть сразу все свои любимые места в саду, они оживленно разговаривали, восклицали при каждой новой находке,

показывали друг другу то распускающийся цветок, то замерзший побег, радовались каждому воскресшему к жизни растению, но постепенно на них снизошло умиротворение, и они оказались безмолвными в мире, который внезапно наполнился собственными чудесными звуками: дрозд распевал на груше, пчелы гудели в камнеломке, первое «ку-ку» эхом донеслось из дальнего леса. Они сели, и Реджинальд скорее почувствовал, чем подумал: Это Вестауэйз, я связан с ним навсегда, и тут же его разум перестал замечать красоту, анализировать свои впечатления и принял это счастье просто и обычно, как принимают прекрасный сон.

II

Сон продолжался в течение всего волшебного дня, пока они собирали вместе цветы, но когда пришла пора пить чай, мир вновь оказался реальным, потому что к чаю приехали Хильдершемы.

— Сильвия! Не сердись, что мы так свалились на вас в первый же день, но мы услышали, что вы приезжаете, а с тех пор, как мы виделись, кажется, прошла вечность.

— Грейс! Конечно! Как чудесно, что вы заглянули!

Даже Реджинальд был рад увидеть их. Они были частью этого мира, частью деревенской жизни. С тех пор, как мы виделись, кажется, прошла вечность. Какая глупость, что мы не приезжали на уик-энды. Почему не приезжали? Да просто так. А потом, мы не из тех людей, кто ездит за город по воскресеньям. Мы тоже часть деревенского мира. Я даже рад, что мы не приезжали. Зато сейчас ощущаешь, что вернулся домой.

— Вы добились успеха,— заметил Хильдершем таким тоном, как будто был причастен к этому или, по крайней мере, вопреки всеобщему мнению давно твердил, что так и будет.

— Ну... я думаю, да,— ответил Реджинальд.

— Так пишет «Таймс»,— сказал Хильдершем, широко раскрывая голубые глаза на маловера.— Я читал сегодня утром.— И, чтобы не оставалось сомнений, добавил, что специально купил в деревне «Пост», и «Мейл», и «Телеграф», и «Ньюс», и везде одни похвалы.

— Чудесно,— сказал Реджинальд.— Я еще не видел газет.

— Да, да,— подтвердила Грейс.— Фарли привез их все, кроме «Ньюс», и я прочла все рецензии.

Хильдершем, избегая удивленного взгляда Реджинальда, принялся объяснять, что в Такое Время не повредит Осторожность. Когда Свирепствует Большевизм.

— Конечно,— добавил он,— это небрежность миссис Коулмен. Я совершенно ясно просил «Экспресс».

Они немного поговорили о Лондоне. Грейс хотелось узнать, носят ли длинные платья — не вечерние, конечно, а днем. И кто — только некоторые модницы или Вообще Все? Конечно, здесь мы просто не можем этого себе позволить.

Фарли интересовало, что пророчат в Лондоне относительно выборов, которые должны состояться осенью. Уэлларды рассказывали о Лондоне как могли. Но когда уже подали чай и можно было не опасаться за нравственность Элис, Фарли и Грейс переглянулись. Грейс, казалось, умоляла: «Дай я расскажу им, Фарли! Ведь ты узнал все от меня». А взгляд Фарли отвечал: «Лучше предоставь это мне, дорогая. В конце концов, это уже не сплетня, а факт. Вы еще наговоритесь потом». Затем он отставил чашку, вытер усы и серьезно сказал:

— Вы, наверное, не слышали *наших* новостей?

Какую-то секунду Реджинальд думал услышать, что миссис Хильдершем ждет очередного ребенка, и с трудом подавил желание приглядеться к ней поближе. Сильвия, наверное, заметила сразу, решил он. Хильдершем, возможно, прочитав его мысли, торопливо продолжил:

— Речь идет о Бакстерах.

— Нет. А в чем дело?

— Миссис Бакстер подала на развод.

— Боже мой! Из-за кого?.. или просто...

— Да, из-за кого-то. Совершенно определенно. Некая мисс Воулс, так? — Он вопросительно взглянул на жену.

— Мисс Воулс,— подхватила Грейс с жаром.— Он знал ее когда-то давно, и вдруг они встретились снова. Ужасно, правда?

— Неправильно это,— покачал головой Хильдершем.— В Такое Время... Мы не можем Позволять себе... я имею в виду Что-Либо Подобное... Конечно, они никогда, в сущности, не принадлежали... Нельзя же только Получать Удовольствия. Необходимо Принимать во Внимание.

Реджинальд и Сильвия смотрели друг на друга и принимали во внимание.

— Вы видели ее? — воскликнула Грейс.

— Да.

— Ну, какая она? Сколько ей лет? Я думаю, совсем молоденькая. Сильвия, по-твоему, она хороша собой?

— Она ровесница Бетти. Пожалуй, старше.

— И не особенно хороша, Грейс.

— Она привлекательна? Должно быть, да.

— Очень,— медленно произнес Реджинальд.— Да... очень.

— Бедняжка Бетти! Как это ужасно для нее,— сказала Грейс.— Ты только представь, Сильвия, каково ей сейчас! Что бы я делала, если бы Фарли сбежал от меня с кем-нибудь?

Фарли, сконфуженный, но в глубине души польщенный этой замаскированной похвалой его мужественности, опускает глаза с видом человека, разбившего множество сердец своей неколебимой верностью жене.

— Конечно,— продолжала Грейс,— мне было бы еще тяжелее из-за детей.

Фарли выглядит сейчас прямо-таки героически. Ничего не стоит представить, как целые сонмы красавиц добиваются его благосклонности. Но все напрасно.

— Что же,— скромно заметил Фарли.— Я не думаю... Но в любом случае это не только личное дело. Я смотрю на это иначе. Noblesse oblige [1]. Хотя, мне думается, отец Бакстера... Но что говорить, он был владельцем Семи Ручьев... А теперь любой Том, Дик или Гарри сплетничают об этом. Подобные истории Не Ведут Ни К Чему Хорошему.

— Noblesse так часто никого не oblige,— пробормотал Реджинальд.

— В каждом стаде есть паршивая овца, разумеется, но принцип остается.— Фарли взял еще сандвич с вареным мясом и подумал: «Если на то пошло, наши хозяева вряд ли выполняют свой долг перед страной. Позвольте, сколько лет они женаты?» Грейс думала: «Я иногда удивляюсь, почему он не бросит меня. Он все так же молод, а теперешние девушки все такие хорошенькие! Наверное, я не смогла бы жить здесь, но в другом окружении, может быть, скоро привыкла бы. Сколько бы я получала — половину или треть доходов? И, разумеется, дети остались бы при мне». Реджинальд думал: «Нет ли «паршивой овцы» в твоем «стаде»? Да ладно, неважно. Бакстер! Что должно было твориться в этой гладко причесанной голове!» А на изменившемся лице Сильвии без труда можно было прочесть: «Боже, сколько времени пропало зря!»

— Ты о чем-нибудь догадывалась, Сильвия? — спросила Грейс. За это время она почти успела снова выйти замуж и больше не могла оставаться наедине со своими мыслями. Сильвия посмотрела на нее — казалось, она затруднялась ответить.

— Это выглядело... Он просто снова нашел ее в тот вечер.

— Да, значит, ты заметила...

Хильдершем покашлял со значением.

Грейс сказала без обиняков:

— Фарли, ведь мы все здесь друзья.— И добавила: — Фарли не выносит сплетен.

Хильдершем взглянул на Реджинальда и заметил:

— Женщинам этого не понять.

— Не понять чего? — спросила Грейс.

— Вот именно.

— Мы видели ее всего один раз,— объяснила Сильвия.— И кругом были люди.

Грейс понимающе кивнула и тихо сказала Сильвии:

— Поговорим, когда останемся одни.

Женщины, подумал Реджинальд, не скрывают ничего, кроме собственного тела, которое они охраняют от хищника самца. Во всем остальном мужчины

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

проявляют куда больше застенчивости, скромности, впечатлительности. Или мы попросту более лицемерны?

— Ах вы, женщины! — воскликнул Хильдершем, добродушно качая головой.— Пойдем, дорогая, у них еще масса дел.

Грейс встала и обратилась к Сильвии:

— Меня просто бесит, что мужчины всегда говорят о женщинах так, будто бы все они одинаковы.

Сильвия посмотрела на Реджинальда, словно хотела, чтобы он ответил.

— Можно сделать общий вывод относительно воды и суши,— улыбнулся Реджинальд,— всем известно, как они различны. Но это вовсе не значит, что пруд в Риджентс-парке и Тихий океан — одно и то же.

— Хорошо сказано,— заметил Хильдершем.— Так-то вот, дорогая. Пошли, Грейс.

Возвращаясь домой, он поймал себя на мысли, что было бы совсем недурно завести новую жену. Как Бакстер. Хотя бы на медовый месяц. Что говорить, порядочность имеет свои недостатки. А вознаграждается разве что на том свете. Скажем, целой толпою таких Сильвий.

— Фарли, правда, она чудесно выглядела сегодня? Лондон пошел ей на пользу.

— Гм, пожалуй.

Ладно, в жизни много разных других вещей.

III

И вот они снова остались одни в саду, одни с этой потрясающей новостью.

— Бакстер! — задумчиво произнес Реджинальд.

— Ты удивлен, дорогой?

— Ошеломлен. Люди разводятся каждый день, и это никого не трогает, но когда такое случается с кем-то из знакомых, то кажется невероятным. Ты так не думаешь?

— Я видела их однажды в Лондоне.

— Ты ничего не говорила мне,— сказал Реджинальд и тут же вспомнил про все, о чем он не говорил ей.

— Здесь не о чем было рассказывать, дорогой. Я не говорила с ними.

— Ты тогда подумала...

— Они казались совершенно счастливыми и... далекими ото всех.

— Что они делали?

— Ничего. Рассматривали витрины. Просто были вдвоем. Чудесно было видеть их вместе.

— Да, но...

Черт возьми, подумал Реджинальд, речь идет о чем-то большем.

— Ты огорчен, дорогой? Я — нет. Я просто рада.

— Не то чтобы огорчен...

— Ты ведь никогда не любил Бетти?

Как это женщины всегда переходят на личности!

— За Бетти я не беспокоюсь.

— Она выйдет замуж снова, как ты думаешь? Она нравится мужчинам. Во всяком случае, большинству мужчин.

— Я думаю, да.

— А в чем дело, дорогой?

— Ни в чем. Но меня всегда чуточку смущает вопрос нравственности. Я хочу сказать, вообще в подобных случаях.

— Нравственности? — растерянно переспросила Сильвия.— Как мистера Хильдершема?

— Ну нет,— улыбнулся Реджинальд,— не совсем так, но я считаю, что здесь затронут вопрос нравственности. Если ты клянешься женщине в вечной верности, следует сдержать клятву. Но при этом считается, что истинная любовь — самая прекрасная в мире вещь и за нее не жаль отдать любую цену. Что из этого верно?

Сильвия молчала; потом показала ножкой на камнеломку, выросшую у стены, и спросила:

— Красиво, правда?

— Очень. Жаль только, они скоро выцветают.

— Если бы я была замужем, когда мы встретились, ты бы не стал просить меня уйти с тобой?

Реджинальд долго смотрел на нее, потом покачал головой.

— Почему?

— Мне просто не пришло бы это в голову.

— Я бы ушла.

— И ты могла бы бросить меня, если бы полюбила кого-нибудь еще?

— Разве я могла бы полюбить кого-нибудь еще — теперь?

Реджинальд засмеялся, посмотрел на нее с любовью и сказал:

— Любимая, с тобою все становится невероятно сложным. Не представляю себе, как тебе удалось полюбить меня, и не представляю, как это я еще не надоел тебе. Когда я впервые увидел тебя, мне казалось, что ты явилась из сказки. И до сих пор кажется. Я едва решился признаться тебе. Если бы ты тогда была замужем, я бы знал, что твой муж боготворит тебя, а ты не можешь жить без него. Как бы я осмелился стать между вами?

Сильвия накрыла его руку своею и сказала:

— Я рада, что не была замужем до того, как встретила тебя. Что не совершила ошибку.

— В этом все и дело. Как быть с теми, кто ошибку совершил? А если они ошиблись однажды, не повторят ли они ошибку в другой раз? Поэтому супружеские узы так крепки. Чтобы удержать нас от новых пристрастий.

— Мистер Бакстер не был новым пристрастием, напротив, очень-очень старым.

— Да, конечно, будем надеяться, что в этот раз он не ошибся, что он явно сделал, женившись на Бетти.

— Дорогой,— с беспокойством спросила Сильвия,— ты ведь не... Грейс говорила, что Фарли против того, чтобы она зналась с мисс Воулс, если они... А ты?..

— Боже мой, конечно, нет. Мне страшно хочется повидать их обоих. Ну конечно! Но что ты сказала? Неужели Хильдершем... Это ужасно!

— Они выглядели такими счастливыми, когда я их видела. Какими-то умиротворенными и как бы зачарованными.

— Вот видишь. Это ведь довольно сложно — быть одновременно плохим и счастливым. Я уверен, что Бакстер бы не смог. Но все же я считаю, что оставить жену — поступок сам по себе необязательно благородный и восхищения не заслуживает. Только в этом мы с Хильдершемом и сходимся.

— Конечно, нет.

— Многие считают, что да.

— А я думаю,— серьезно сказала Сильвия,— что брак без любви гораздо хуже, чем любовь без брака.

— Ты совершенно права,— отозвался Реджинальд, удивляясь, как верно она это сформулировала. (Неужели я вправду считал, подумал он, что с Сильвией нельзя разговаривать?) Она права. Любовь освящает брак, а не брак придает святость любви.— Видишь ли,— продолжал он, следуя собственным мыслям,— в основе всех рассуждений относительно брака и развода лежит чудовищная мысль, связанная с религией: любовь сама по себе греховна, она допустима только потому, что служит продолжению рода. Поэтому они неохотно говорят: «Что ж, можете любить друг друга, если дадите страшную клятву, что будете совершать это только с одним партнером, как религиозный обряд, с единственной целью принести миру ребенка». Вот почему они всегда...

— Кто «они», дорогой?

— Они? — Реджинальд рассмеялся.— Я толком не знаю кто, но именно они заправляют почти всем на свете. Их я никогда не любил.— Он минуту подумал.— Представь себе полицейского в сутане, кровожадного, как языческий божок, с внешностью и манерами оксфордского преподавателя и вдобавок занимающего высокий государственный пост... Нет, мне не нравится такое сочетание.

— А ты считаешь, что любить и не иметь детей — грех? — спросила Сильвия, крепко держа его под руку.

Реджинальд посмотрел на нее в изумлении.

— Любовь моя! Как ты могла!..— Он замолчал, взял ее ладони в свои и мягко спросил: — Почему ты... так вдруг...

— Я так счастлива, дорогой. И хотела узнать, счастлив ли ты.

— Ты знаешь, что да.

— Но ты был бы счастливее, если бы у нас был ребенок?

— Если бы они продавались в магазинах, может быть, я как-нибудь попросил бы тебя присмотреть какого-нибудь покрасивее. Но если...

— Совсем маленький, похожий на тебя, дорогой, мог бы оказаться прелестным.

— Поначалу они все совсем маленькие,— улыбнулся Реджинальд.

Сильвия улыбнулась в ответ, а потом сказала, чуть ли не извиняясь:

— Мне кажется, нельзя быть женою и матерью. По-моему, меня хватает только на роль жены. Я так ужасно люблю тебя.

— Любимая, я счастлив.

— Но если...

— Любовь моя, я совершенно счастлив с тобою. Я и думать не хочу, что ты станешь бояться, чувствовать себя плохо и выносить такую боль.

— Я боюсь, хотя думаю, что не должна бы. Поэтому я спрашиваю тебя, хотел бы ты иметь ребенка.

— Нет, нет и нет!

— Но если это случится, ты ведь простишь меня, дорогой?

— Что ты, любимая! — воскликнул Реджинальд, вдруг охваченный стыдом за себя, за свой пол, за все, что вынуждены женщины терпеть от мужчин.

Сильвия кивнула головой и сказала:

— Я просто хотела знать.

IV

Сильвия ушла на кухню рассказать миссис Хоскен все про Лондон. Наверное, миссис Хоскен собирается рассказать миссис Уэллард все про деревню; что теперь означает — все про Бакстеров. О них сплетничают не только любой Том, Дик и Гарри, но и любая Гарриет. Странно, думал Реджинальд, идя среди азалий (сплошь покрытых бутонами, они никогда еще не были так хороши),— странно, что во мне все восстает при мысли о том, чтобы обсуждать проблемы Бакстеров с Эдвардсом, а Сильвии кажется совершенно естественным толковать о них с миссис Хоскен. Чем вызвано это удивительное содружество женщин всех сословий? Наверное, род оборонительного союза против засилия мужчин, наследие времен, когда женщины были настоящими рабынями. И если Женщине недостает чувства чести, чувства стиля, чувства спортивного духа, которыми так гордится Мужчина, то это объясняется тем, что подсознательно она находится в состоянии войны, а на войне им нет места. В любви и войне все средства хороши, говорит Мужчина, а потом обвиняет женщину в том, что она следует этому принципу.

До чего глупы эти обобщения насчет Мужчины и Женщины! А может быть, не так уж глупы? Глупо утверждать, что если подбросить пенни шесть раз, то три раза выпадет орел, а три раза решка. Но утверждение, что чем дольше подбрасывать монету, тем заметнее эта тенденция, абсолютно верно.

Неожиданно ему на глаза попался цеанотус (Gloire de Versailles), чьи голые побеги, как обычно, ни в какой мере не обещали красоты и голубизны еще не появившихся цветов. Реджинальд в который раз задумался, стоит ли держать в саду этот цветок. Природа не должна проделывать таких шуток. Дерево зимой красиво своеобразной, совсем иной, чем летом, красотою; дельфиниум зимою просто ничто; его не существует до тех пор, пока первые светло-зеленые побеги не начнут снова будить ваше воображение. А это растение? Оно просто оскорбляет глаз, пока вдруг не становится для него отрадой. Нужно будет как следует все взвесить, прежде чем принять решение. Черт возьми! Снова вьюнок...

Да, Реджинальд снова оказался там, где почти два года назад впервые подумал о книге. Напишет ли он когда-нибудь другую? Нет... Ни за что, назло мистеру Пампу. А все-таки — можно ли жить, ничего не делая? Два года назад ему казалось, что он что-то делает. Он даже полагал, что очень занят. Сможет ли он вернуться

к прежним занятиям? Размышлять и полоть цветники? Ах, чертов Памп! Ну ничего, он может писать и не публиковать написанное. Или — почему бы и нет? Он напишет пьесу.

Пьесу! Он уставился на цеанотус, ожидая вдохновения. Ничего не вышло.

Кто-то сказал, что каждый человек должен посадить дерево, написать книгу и произвести на свет ребенка. Ну и умник! Можно в одиночку посадить дерево и в одиночку написать книгу; но чтобы произвести на свет ребенка, нужны двое. Поскольку, к счастью, другой — это всего-навсего женщина, решение принимаешь ты сам.

Ну хорошо, дерево он уже посадил и книгу написал. Трудно представить себе, что книга окажется долговечной, но посаженные деревья будут стоять здесь и через сто лет. Не сожалеет ли он, что не оставит на земле потомка? Я не питаю иллюзий в отношении детей и не питаю особой привязанности к собственной фамилии. А Вестауэйз пусть лучше достанется человеку, который будет любить его, чем моему сыну, которому там будет просто нравиться. Мне кажется, отцовство — смешное занятие. Мне так же трудно всерьез представить себя Отцом, как, скажем, Епископом или Судьей. А ведь и Отец, и Епископ, и Судья должны относиться к себе с необыкновенной серьезностью, чтобы преуспеть на своем поприще. Я бы совершенно на это не годился. Если заводить ребенка, я предпочел бы девочку. И предоставил бы все ее воспитание Сильвии. А если мне и хочется иметь ребенка, то только из соображений эгоистических, чтобы испытать новые ощущения.

И все-таки почему Сильвия...

Вдруг он ощутил огромную радость. Радость от этой совсем новой Сильвии, радость от приближения пышного лета, радость от смешной мысли о пьесе, которую он писать не должен, вряд ли сможет написать и, скорее всего, не напишет. Радость от воображаемой встречи с ребенком, которого он не хочет и не будет иметь, но может завести, как только захочет; с ребенком, который какое-то время существовал в их с Сильвией мыслях; радость от сознания, что стать отцом и матерью, если только захочется, в их власти.

А пока, если он должен создать что-то, он может написать пьесу. Он задумчиво посмотрел на цеанотус. Пьесу? Пожалуй. Он направился к дому, вернулся оттуда с садовой лопаткой и принялся выкапывать вьюнок.

Глава двадцатая

I

Снова погасли свечи, снова лунный свет лился в окна спальни Сильвии. Под карнизом возились скворцы. Сова жалобно покрикивала с одной стороны дома, потом неожиданно с другой, за холмами вдалеке залаяла сторожевая собака. Эти звуки лишь подчеркивали тишину деревенской ночи, и Реджинальд и Сильвия казались еще сильнее отрезанными от мира.

Сильвия шепнула:

— Ты счастлив, дорогой?

— Да, Сильвия.

— Здесь мы с тобою совсем одни. В Лондоне так не было.

— Я наедине с Сильвией и Вестауэйзом.

— Это все, что тебе нужно, дорогой?

— Да. Нет, еще люди, которые бы смотрели на тебя. Если бы я попал в «Who's Who», то на вопрос «Любимое занятие» ответил бы: Наблюдать за лицами людей, которые впервые видят Сильвию.

— Я думаю, ты попадешь в «Who's Who». Непременно.

— Наблюдать за лицами людей, которые впервые видят Сильвию. Так бы я и сказал.

— Я слушаю тебя, дорогой. Тебе вправду это так нравится?

— Немыслимо. А тебе?

— Да... наверное.

— Я часто думаю, на что это может быть похоже.

— Тебе хотелось бы стать мною?

— Только попробовать. Одному мудрецу было позволено становиться тем, кем ему хочется. И он решил быть замечательным атлетом с пятнадцати до двадцати пяти лет, прекрасной женщиной с двадцати пяти до тридцати пяти, великим писателем с тридцати пяти до сорока пяти, доблестным полководцем с сорока пяти до пятидесяти пяти, известным всему миру политиком с пятидесяти пяти до шестидесяти пяти и садовником с шестидесяти пяти до семидесяти пяти. А потом он отправился на небо.

— Это правда, дорогой?

— Что ему удались все воплощения — неправда, но что ему этого хотелось — правда. Я забыл его имя и что-то упустил, но, наверное, получилась неплохая жизнь. А что бы ты выбрала, Сильвия?

— Выйти за тебя, когда тебе было тридцать пять.

— Так ты и сделала. Забавно, эта история вспомнилась мне случайно и оказалась к месту. Тебе нравится, что ты такая красивая?

— Да, да, я просто счастлива.

— Ты единственный человек в мире, кто никогда по-настоящему не видел, какая ты красивая.

— А ты единственный, кто видел,— прошептала Сильвия.

На каминной доске тикали маленькие часики Сильвии. Рай может оказаться бесконечным созерцанием прекрасного. Тогда старинное представление о рае как о вечном поклонении и слагании гимнов окажется совершенно верным. Видеть красоту, обожать ее, уметь выразить свое обожание — есть ли восторг, который сравнится с этим? Если Рай — это сад и Сильвия, подумал Реджинальд, как я стану воспевать его...

Сад, в котором одновременно цветут все цветы и не отцветают деревья...

— Что с тобой, дорогой?

— Ничего, Сильвия.

— Я решила, тебе неудобно.

— Мне замечательно удобно.

— Я люблю разговаривать с тобою в постели. Когда мы совершенно одни.

— А моя голова у тебя на груди.

— Разговор вещь обычная, но такой — совсем другое дело... Я люблю делать обычные вещи, когда... когда они необычны.

— Ты ни разу не сказала и не сделала ничего обычного.

— Ты так думаешь сейчас.

— Да, я так думаю сейчас. Но только это и считается.

— Что ты будешь делать, когда я стану старой?

— Не знаю, Сильвия. А ты разве станешь?

— Постараюсь не стать, дорогой. Постараюсь отгонять старость как можно дольше. И не сердись, если я из-за этого иногда покажусь тебе неумной. Потому что я все время буду стараться отогнать ее...

— У тебя есть мудрость, а это больше, чем ум.

— Разве? Мне кажется, я не очень много знаю о себе.

— А я беспрестанно думаю о себе.

— Наверное, в этом разница между нами.

— Я так мало знаю о тебе, Сильвия. Я ничего о тебе не знаю. И не уверен, что хочу знать. Это часть твоей прелести.

— Тогда я буду хранить свои тайны.

— Да... да, Сильвия, храни их.

— Ты не хочешь заснуть, дорогой?

— И хочу и не хочу. Я такой счастливый. И сонный.

— Тогда засни.

— Я могу остаться тут? Ты так прекрасна.

— Оставайся, мой дорогой.

— А ты оставайся прекрасной, любимая моя Сильвия.

— Постараюсь, мой милый. Кажется, я только за этим и живу на свете.

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД

ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИИ

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

О Британской империи уже больше сорока лет в Англии не говорят. Даже термин «британское Содружество» потерял свой смысл. Но каждый раз, путешествуя, я сталкиваюсь с остатками этой империи и удивляюсь, почему они со временем не стушевываются. Самое яркое воспоминание — это неделя на острове Пенанг, в Малайе, где мы целую неделю ждали парома в Индию. Мы остановились в бывшем доме отдыха для британских правителей и их секретарей. Уже двадцать лет прошло с тех пор, как последний британский губернатор прихлебывал свой отвратительный уиндзорский суп и ел свой тошнотворный пудинг из говяжьего жира и сиропа. Теперь в городе Пенанг в любом придорожном ресторане подают перлы малайской и китайской кухни, со свежими фруктами, рыбами, с ароматными кореньями. Но в доме отдыха малайские официанты подавали малайским бюрократам тот же уиндзорский суп, облюбованный овдовевшей королевой Викторией, потому что в нем было много уксуса. Потом нам подали ростбиф с жареной картошкой, и если бы у нас хватило сил остаться на месте, подали бы еще и тот сытный рождественский пудинг, который своими калориями заменяет англичанам центральное отопление. Жара стояла неимоверная — сорок градусов при максимальной влажности. Даже с ящериц, которые висли на потолке, капал пот. Малайские бюрократы-ревизоры спокойно сидели в галстуках и пиджаках и как будто без усилия над собой поглощали имперскую еду.

Британская империя, видно, хотела, чтобы даже в самом удаленном ее уголке все было точно так, как дома. Когда я попал в Австралию, меня удивило, что, несмотря на возможность охотиться на кенгуру, англичане ввезли для охоты лисиц, отчего теперь ночью парки Сиднея или Мельбурна так же кишат наглыми бродячими лисицами, как и парки Лондона. Мясо сумчатых не нравилось имперским конкистадорам, поэтому они ввозили кроликов, которые опустошают австралийские равнины.

Дороги мы, британцы, строили тоже не как римляне и не прямые, а с изгибами. На дорогах в малайских джунглях до сих пор главным препятствием оказываются не корни тропических деревьев, не горные ручьи, а те милые английские перекрестки в форме карусели, где все останавливаются, и никто не знает, кому проезжать первым. Не только в Малайе, но и в Индии удивительно сохранились грандиозная железнодорожная система и бюрократия, которые сейчас разваливаются в Англии.

Конечно, для путешествующего англичанина-моноглота самое дорогое наследство нашей империи — всеобщее знание английского языка. Без нашего языка Индия разорвалась бы на части от национальных распрей, и до сих пор индусы-буржуа говорят на таком хорошо сохранившемся английском, какого в Лондоне уже не услышишь. Культура центра, конечно, лучше сохраняется на периферии, как живые ветви на давно гнилом стволе старого дерева. Только в Новой Зеландии женщины до сих пор надевают белые перчатки, чтобы сходить в магазин, и только в Австралии жена профессора требует, чтобы жена доцента носила ей сумку. Империя строго соблюдает сословные различия, хотя в Англии все уже перемешано, так что среднего профессора трудно отличить от среднего бомжа.

Британская империя, что помнит не каждый историк, раньше включала и Европу: ведь мы долго не отдавали французам Кале и до сих пор не собираемся уходить из Гибралтара. Наши связи с бывшими европейскими колониями до сих пор основаны на торговле вином. Даже французы, ценители самых лучших вин, должны покупать их у англичан. Недаром мы долго владели Бордо, и до сих пор производство портвейна и хереса (без которых цивилизованное общение в Англии немыслимо) зависит от португальских и испанских семейств, которые уже столетиями говорят на подозрительно чистом английском, посылают своих сыновей в английские школы и являются последними реликтами того времени, когда в каждой стране жило хоть одно сословие, зависимое от Британской империи.

АНГЛОМАНЫ И АНГЛОФОБЫ

«Патриотизм — это последнее убежище негодяя»,— провозгласил лексикограф Сэмюэл Джонсон двести лет назад, и с тех пор британская интеллигенция ютится в любом убежище, но только не в этом. Распри и ссоры среди писателей сосредоточиваются на их отношении к феминизму, к гомосексуализму, к социализму, к «зеленым», к искусству ради искусства, к деньгам, но не на отношении к патриотизму. На первой мировой войне английские поэты гибли пачками не потому, что они верили в правоту дела, а потому, что считали нравственным долгом убежать из лицемерной, ура-патриотической Англии и разделить общую судьбу в окопах северной Франции.

На словах наши писатели были антипатриотами. Когда призывали в армию биографа-эссеиста Литтона Стрейчи и он, как пацифист, отказывался от службы, его спросили: «А что вы сделаете, если увидите, как немецкий солдат насилует вашу сестру?» Он ответил: «Я вклиню между ними собственное тело». Романист Форстер заявил, что он лучше предал бы родину, чем друга.

Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину и предпочитает ссылку своему родному очагу. Грэм Грин во Франции, подобно Байрону в Греции, Шелли в Италии, Одену в Америке, Лоуренсу в Мексике, своим творчеством и местом жительства исключает традиционный патриотизм.

Объяснить такое явление просто обывательской атмосферой родины нельзя; скорее мы имеем дело с каким-то личным империализмом, который гонит наших интеллигентов (как в России он гнал Грибоедова и Лермонтова) на чужбину. Убегая от родины, интеллигенты бессознательно выполняют ее задания. Великие английские патриоты часто переодевались до неузнаваемости. Генерал Гордон, герой и мученик империализма в Хартуме, одевался китайским мандарином. Томас Эдуард Лоуренс, автор чудесной биографии «Семь столпов мудрости», превратился в араба, чтобы возглавить отряд спецназа на Ближнем Востоке.

Фактически все наши интеллигенты отвергают патриотизм: трудно назвать хоть одного интеллигента, поддерживавшего Тэтчер во время фолклендской войны. Народный фронт в Англии является черносотенной партией, в которой нет ни одного интеллигента.

По сравнению с Францией или с Россией идеология английских интеллигентов озадачивает своим нигилизмом. Но верить ему нельзя. Англичанин, который прячется в тосканских холмах и ужасается, если узнает, что другой англичанин поселился рядом, в глубине сердца готов всем жертвовать ради родины. Патриотизм, как все английские пороки, скрытен и лицемерен. Недаром французы спрашивали: «Почему солнце никогда не заходит в Британской империи?», на что им отвечали: «Потому что Бог не верит англичанам в темноте». «Коварный Альбион», по мнению опытных соседей, скрывает свое самолюбие, свой огромный комплекс превосходства. Англичане всегда первые ругают самих себя, чтобы опередить критиков со стороны. Когда они говорят словами романиста Стерна, что дела лучше делать во Франции, то при этом подразумевают, что все-таки самое важное — личную неприкосновенность — гарантирует только Англия.

Доказательством этой внутренней самоуверенности служит тот факт, что английская интеллигенция мало читает иностранную литературу, плохо знает иностранные языки и ругает свою родину, как арабы ругают красавиц дочерей, чтобы не сглазить их. Подобное коварство, может быть, связано с тем, что английская культура глубоко гомосексуальна. Если вычесть из литературы двадцатого века всех гомосексуалистов, а из музыки — всех евреев, в Англии останется очень мало романов и симфоний. Может, наше отступничество от римской церкви по чисто политическим причинам приучило нас к постоянному отречению от собственных убеждений. Французы давно издеваются над нами за нашу несъедобную еду, за равнодушие в любви, за хладнокровие во всем. Мы притворяемся, что они правы, не говорим о патриотизме, не охотимся за англофобами. Но посмотрите в лицо англичанину на пароме через Ла-Манш, когда он впервые видит дуврские белые утесы, и убедитесь, что англомания — его самое постыдное, но и самое глубокое чувство.

ПАДЕНИЕ БРИТАНСКОЙ АРИСТОКРАТИИ

Какую роль играют дворяне в современном искусстве или даже в политике — к примеру, в нашей стране, где палата лордов еще влачит свое жалкое, безмозглое существование?

И вдруг новости из Москвы: возрождают Дворянское собрание! Известия из Москвы часто бывают для нас неправдоподобными, но бессмысленнее этого проекта вряд ли найдешь. Целесообразно было бы возродить, например, кулаков или волжских немцев: ясно, что́ они могли бы дать стране, если бы их воскресили. Но возрождать дворянство имеет столько же смысла, сколько искусственно разводить мамонтов или динозавров. Как и динозавры, дворяне способствовали собственному истреблению: разве Бакунин или Кропоткин не представляют собой классовых самоубийц?

Доказательством неизбежности того, что произошло с дворянством, является история английской аристократии. Она стушевалась не из-за революции, не из-за пулеметов. (Пулеметы первой мировой войны больше истребляли английское мещанство: аристократы сидели в тылу.) Викторианцы вытеснили аристократов новыми правилами нравственности; либералы и социалисты двадцатого века окончательно лишили их земельных уделов крутыми, почти стопроцентными налогами.

Уже к концу восемнадцатого века, когда парламент мог решить участь премьер-министра, лорды обесценились: лорд Норт был абсолютным ничтожеством в истории государства. В царствование королевы Виктории самые блестящие премьер-министры часто были самого сомнительного происхождения: Дизраэли был, как говорится и у нас, «жид

крещеный», а от него недалеко до «коня леченого» или «вора прощеного». И вообще, чем больше присматриваешься к родословным аристократии, тем они сомнительнее: ведь большей частью аристократы происходили от любовниц Карла I.

Верующие викторианцы весьма не одобряли традиционное вольнодумство аристократов; английская аристократия начинала странствовать по следам Байрона. Примеры, которые приводит Каннадайн, поразительны своим чудачеством: поэт-аристократ Уилфрид Блэнт построил себе дворец недалеко от Каира, переоделся бедуином и при жене и любовницах стал арабским судьей; дипломат Сайкс поехал к курдам; Герберту, сыну герцога Карнавонского, албанцы предложили престол. Другие аристократы были сосланы своими родственниками или сами предпочли вольные просторы Новой Зеландии или Канады.

Как в России во времена Николая I дворянство пополнялось и разбавлялось снизу, точно так же и в Великобритании аристократия была пронизана пришельцами. В России критерием были заслуги перед государством; в Англии правительство или правящая партия просто продавали аристократические титулы. С помощью подкупленных новоиспеченных аристократов парламент овладел палатой лордов, которую хитрый Ллойд Джордж в начале века окончательно лишил власти. С тех пор аристократия стала увядать; ни один изо всех дворцов Лондона больше не принадлежит лорду. Продавая картины или вазы, некоторые сумели выплатить чудовищные налоги и тем сохранить великие усадьбы, где стреляют рябчиков или гоняются за лисицами; но только туристы, журналисты и ностальгирующие историки все еще высоко ценят лордов. Среди английской аристократии трудно найти теперь меценатов или людей творческих. Что до их культурного уровня, они жалки в своей допотопной ископаемости. Четыреста лет тому назад, в расцвете елизаветинской эпохи, аристократы, по крайней мере, поощряли и ценили культуру.

ГАМЛЕТ

Кто у нас в Англии только не играл Гамлета! Старики, молокососы, интеллигенты, борцы, трагики, клоуны, американцы, гермафродиты, женщины (даже одноногая Сара Бернар), мультипликаторы, марионетки! Недоставало разве ученого слона. Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли пошел еще дальше: в его фильме Гамлета играет мускулистый австралийский актер Мэл Гибсон, знаменитый благодаря фильмам масскультуры «Сумасшедший Макс» и «Смертоносное оружие». Мэл Гибсон не говорит, а рычит; беспощадно сокращены монологи Гамлета, Гибсон удивил бы Шекспира своими энергичными, резкими жестами: Офелию он швыряет об стену, Полония сталкивает с лестницы. Теперь стало понятно, что Гамлет — прадед Рэмбо, а все эти многословные речи, которые Шекспир сочинил для него,— пустая затея.

Наша публика по-новому оценивает Гамлета. В школах уже давно не преподают Шекспира: его язык слишком многого требует и от ученика, и от преподавателя. Конечно, каждый англичанин цитирует его — помимо воли, не сознавая, что сотни крылатых слов и большая часть нашей идиоматики рождены кипящей изобретательностью Шекспира. Все-таки раньше некоторые люди знали, что́ именно Гамлет представляет собой — философа, призванного к решительной деятельности, или потустороннего мечтателя — все, что угодно, кроме того, что сделал с ним Дзеффирелли: очередной психопат-убийца, которым следует любоваться, ибо он ловко избавился от семи врагов, прежде чем самому погибнуть.

За рубежом никогда не было сомнений в том, кем является Гамлет. Эпоха романтизма сделала его почетным русским, немцем и французом. Все поняли пьесу и в прямом, и в иносказательном смысле. Конечно, русские сразу узнали в нем своего человека. Еще Борис Годунов пригласил к себе датского принца и нечаянно отравил за трапезой. Русские писатели от Тургенева до Чехова воскрешали Гамлета в Щиграх или около Полтавы. Русские мыслители видели в нем типичного русского интеллигента, неспособного к любви, смертельно опаздывающего подвижника, жертву государства, внутреннего эмигранта. Когда англичанин смотрит, как Смоктуновский играет Гамлета и как Григорий Козинцев изображает Эльсинор, то он должен признаться, что только на чужбине Гамлет становится подлинным.

У себя на родине Гамлет так же многословен, как в переводе. Но даже самые талантливые переводчики не умеют передать ту смесь недосказанной иронии и вызывающей прямоты, каламбуры и сногсшибательные скабрезности гамлетовской речи. В своем грубом отношении к Офелии Гамлет показывает, до какой степени он (подобно его создателю Шекспиру) страдает от брезгливости и в то же время от похоти. Этот комплекс слишком задевает англичанина за живое: он борется с собственной чувственностью, стыдится ее и становится сам себе отвратителен. Тут скрыто и начало протестантства, и ключ к известному британскому лицемерию.

Женоненавистникам трудно быть с живыми женщинами. Поэтому на сцене или на холсте Офелии у нас так часто до слащавости сентиментальничают со смертью. Из растерзанной сумасшедшей девушки делают прекрасную и спокойную утопленницу, плывущую по тихой речке с охапками вербы и чистотела. В порыве некрофилии, любуясь красивым неподвижным трупом, который уже никому не угрожает, современные Гамлеты могут на время забыть, что это они своей трусостью и нерешительностью извели Офелию.

Отношение Гамлета к Офелии как-то слишком злободневно и для современной публики. Но еще типичнее, может быть, отношение Гамлета к матери. Когда Чехов в своей пьесе «Чайка» пародировал Гамлета, он тоже вывернул наружу ту нелепую инфантильную сексуальную ревность, которая типична для эдипова комплекса. Эдип жив в каждом европейском мальчике, но те слова, которые Гамлет обращает к матери, очень характерны для Англии. Клавдий и Гертруда отправляют Гамлета, избавляются от него подобно английским аристократам, до сих пор отсылающим малолетних сыновей из дома. Посмотрите в лицо бедным школьникам в униформах, когда они уезжают в далекий

интернат, и вы поймете, как хотели бы современные английские мальчики по-гамлетовски приговорить к казни своих конвоиров, розенкранцев и гильденстернов, и убежать домой из ссылки. Какие горькие гамлетовские истины они готовят своим грешным матерям!

Вот почему в Англии любой актер просится на роль Гамлета: играть эту роль — значит изгонять из себя все те нечистые комплексы, которые подарила тебе твоя мать. Помните, что пьеса заканчивается не только похоронным маршем, но и торжественным залпом. Ведь богиня в конце концов простила Оресту убийство своей преступной матери Клитемнестры. Подозреваю, что Франко Дзеффирелли когда-нибудь снимет вторую серию «Гамлета» и воскресит героя, который освободится от всех, кто мешал ему быть счастливым и нормальным.

ВЛЮБЛЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

В 1848 году, когда во всех столицах Европы молодежь мечтала о политической власти, в Лондоне встретились несколько молодых художников и учредили группу «Братство прерафаэлитов». Они — Данте Габриэл Россетти, Уильям Холман Хант, Джон Эверет Милле — решили восстановить чистоту, присущую ранним итальянцам, как Фра Анджелико, не только в искусстве, но и в жизни. Они были талантливы — может быть, гениальны — и для своих целей тщательно изучали мастерство старинных голландцев и вырабатывали такую технику, что, кажется, было бы незачем изобретать цветную фотографию.

В свое время прерафаэлиты были обруганы за новаторство и превознесены за душевную чистоту и поучительную нравственность сюжетов. Даже когда Королевская академия отказалась принимать их картины, сама королева Виктория приказала принести их к ней во дворец. Но к концу века прерафаэлитов забыли; увлекаясь французскими импрессионистами, англичане вовремя спохватились, что после Тёрнера они отделились от европейского модернизма, для которого прерафаэлитское наивное воспроизведение действительности и нравоучительные темы просто смешны.

Теперь, когда импрессионисты давно под замком в музеях, а богатые коллекционеры ищут, на что потратить свои миллионы, вновь выкладывают огромные суммы за прерафаэлитов. Но может быть, частная жизнь прерафаэлитов интереснее их живописи. Во-первых, они как будто не родились, а кем-то выдуманы. Все они удивительно похожи на гоголевских Пискарева и Чарткова. Данте Габриэл Россетти, Милле и Холман Хант родились в скромных столичных семействах, испытывали нужду и жертвовали собой в поисках мечты. Как Пискарев, Холман Хант нашел свой гений красоты на лондонской улице, побежал за девушкой и понял, что она проститутка. Как Чартков, Данте Габриэл Россетти вдруг открыл путь к славе и к самоуничтожению. Подобно героям Гоголя, они бредили Италией, средневековыми мифами и идеалом художника-христианина; они были одержимы женской красотой и в то же время ошеломлены опасностью чувственности.

У викторианцев была самая лучшая почта во всем мире. В течение дня в Лондоне можно было два раза обменяться письмами с невестой, с другом, с критиком. Несмотря на камины, в которых вдовцы и вдовы сжигали все, что компрометировало их, остался огромный архив. Но мы, англичане, ждали сто лет, пока одна очень энергичная американка, Гэй Дэли, не разобралась в этих десятках тысяч писем и дневников и не открыла нам в обширной коллективной биографии, «Влюбленные прерафаэлиты», всю сложность и трагикомизм жизни этих художников.

У Достоевского в «Записках из подполья» антигерой говорит: «Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину». Так и художник Данте Габриэл Россетти боготворил и влюбил в себя модистку Лизу, но мучил ее тем, что не хотел стать ни ее любовником, ни мужем, пока не довел ее до наркомании и смертного одра. Он будто обожал ее (а спал с проститутками и с невестой своего собрата Ханта). Она служила ему поначалу натурщицей, и его безумный реализм обрек ее на смерть. Как утонувшая Офелия, она должна была лежать неподвижно в холодной воде, пока не заболела воспалением легких; облегчения она искала в опиуме. Данте Габриэл Россетти хотел, подобно его тезке, любить рано умершую Беатриче и вдохновляться своим горем, и бедная Лиза поняла свою судьбу. Как студенты по всей тогдашней Европе, художники тоже спасали бедных девушек и обрекали их на страдания гораздо худшие, чем в доме терпимости. Измученные скрупулезной работой, художники-импотенты женились, эротоманы давали обеты целомудрия. Свою дружбу они скрепляли открытой изменой.

Всю эту грустную историю можно было бы забыть как типичное последствие викторианского лицемерия и страха перед плотью, если бы она не повторялась так часто. Например, в начале двадцатого века влияние прерафаэлитов, кажется, проникло в Россию: такая же смесь поэзии, дионисийства и христианства, в духе рассказов Оскара Уайльда и рисунков Обри Бердслея, опутала символизм и декадентство. Вспомним странные отношения Вячеслава Иванова (несмотря на свои «Кормчие звезды» и «Cor Ardens» («Жгучее сердце») с женой Зиновьевой-Аннибал, их гомосексуальные эксперименты с Городецким и Маргаритой Сабашниковой наряду с возвышенным культом воздержания, или отношения Блока и Белого с Любовью Дмитриевной Менделеевой, или убийственные опыты Брюсова, который сам вручил влюбленной Нине Петровской револьвер, чтобы избавиться от нее. Современный биограф, даже если он прочитал всего Фрейда, не в силах объяснить странную несовместимость идеала и поведения художников, будь они неоромантики или символисты. Здесь скорее помогут фантазии Гоголя и проницательность Достоевского.

ЛЮБОВЬ У АНГЛИЧАН

Что значит слово «любовь» для англичанина? Прежде чем заглянуть самому себе в душу, я открыл Большой оксфордский словарь. Я нашел такую путаницу предрассудков

и упований, что мне сразу стало понятно, почему мы, как народ, в вопросах любви стоим — мягко говоря — поодаль от других народов и языков. Любовь — это «то чувство привязанности, которое основано на разнице полов». (Данное определение устарело, так как наша культура требует, чтобы мы уточнили: «то чувство привязанности, которое основано на разнице — или на одинаковости — полов».) Словарь предлагает нам еще одно определение любви по-английски: «состояние души по отношению к человеку, возникающее из признаний привлекательности, из сочувствия или из естественной привязанности и проявляющееся как нежность и привязанность». Как уютно, как это годится для домашнего очага. Что общего у такой спокойной английской любви с той любовью, которую признают французы или русские?

Говорят, что если бы не было слова «любовь», то вряд ли приходило бы кому-нибудь в голову влюбиться. Любовь внушают нам дешевыми романами, песнями, стихами. Правда, рифмы песен делают много, чтобы определить, что такое любовь. Недаром в русском языке рифмуются «любить», «губить», «убить». А в английском единственные созвучные рифмы love, above, dove, glove — любить, наверху, голубь, перчатка. Тепло и неопасно. У аристократки-писательницы Нэнси Митфорд есть замечательный автобиографический роман «Любовь в холодном климате». Англичанин и англичанка ищут в любви не горячку, не пожар, а удобную душевную батарею.

У англичан своеобразны не только рифмы, но и семантические отношения слова «любовь». С раннего детства наши священники и преподаватели настаивают на разнице между love — любовь духовная — и ей созвучным lust — похоть, как будто одна исключает другую. Таким образом, нам, англичанам, фактически подносят чувство любви без чувственности, как коньяк без алкоголя. Это еще одно из достижений пуританства, вроде псалтыря без пения, дома без центрального отопления и баранины без чеснока. Святой Павел, кажется, не умер, а поселился в Англии, где обитатели тройным образом определяют любовь, так же как он: любовь love — идеально; эрос lust — плохо; предпочтение liking — желательно. В нормальной человеческой душе все три слова на «л» (love, lust, like) объединяются в одном чувстве любви, а у нас они раздельны.

Аристократы, которые навсегда определили нравственность русских и французов, давно поняли, что любовь — одно, а брак — другое. Любовь — это невольное и простое чувство, брак — это расчетливый и сложный контракт. Как считает современный американский сексолог Рут Диксон, любовь и брак даже несовместимы. Но пуритане и буржуа, наследники Святого Павла, решили, что любовь и брак нераздельны. Недаром в знаменитой английской песне поют, что любовь и брак — это лошадь и карета. Так что тяни, бедная кляча, свою телегу, пока не сдохнешь.

ВЫДАЮЩИЕСЯ САДОВОДЫ

Иностранцев в Англии всегда поражает английская страсть к садоводству. Во многих отношениях англичанин — самый жалкий обыватель в Западной Европе: мало читает переводную литературу, редко ходит в галереи, не знает никаких стихов наизусть, не умеет петь, довольствуется плохой кухней. Но стоит только пройтись по пригородам Лондона или по деревням южной Англии и узнаешь, что всю свою эстетику, свой внутренний мир англичанин (и еще чаще англичанка) черпает из сада. Вот почему из всей иностранной литературы англичане воспринимают одного Чехова: ведь Чехов был не только писателем и доктором, но и маниакальным садоводом: половина его рассказов и пьес — от «Драмы на охоте» до «Вишневого сада» — проникнута темой заброшенного сада и несчастного садовника. Поэтому Чехов стал у нас почетным англичанином.

В самом деле, английская литература вышла не из шинели, а из сада: романтический дикий сад предшествовал разнузданной романтической поэзии Шелли и Китса. Садоводство — это самое скрытое, властолюбивое и чувственное из искусств: им можно наслаждаться в одиночестве, критики или публика не мешают. Садовник — бессловесный художник, который полностью сливается с природой. И с нашей природой нетрудно слиться, так как Англия — это цивилизация на Гольфстриме. Здесь приживаются деревья и кустарники почти со всего мира.

Наследством нашей утраченной империи являются сотни импортных растений, которые одичали в Великобритании. Бывшие конкистадоры, вернувшиеся на родину, тоскуют по Гималайским горам или австралийской пустыне; утоляя эту тоску, они засадили целые графства рододендронами из Непала, эвкалиптами из Тасмании, кедрами с Аляски, фейхоа из Бразилии. Около городов юго-западной Англии из магнолий и камелий выращены настоящие джунгли.

Каждое воскресенье гуртом и гурьбой англичане усаживаются в свои машины и ездят, чтобы смотреть чужие сады — большие и маленькие. Люди, во всех других отношениях совершенно честные, берут с собой садовые ножницы и воруют отростки, чтобы потом их привить у себя дома. Садоводство — это подлинное и единственное сохранившееся народное искусство.

Как во всех искусствах, в садоводстве есть свои большие мастера, и мало-помалу мы понимаем, что их надо сравнивать с великими поэтами и художниками. Такие женщины, как Гертруда Джекил или Вита Сэквил-Уэст, или мужчины, как Кристофер Тэннард или американец майор Мортон, создали сады, потрясающие своим оригинальным планом и своей изменчивостью. Но главное — в отличие от других искусств,— эти сады в прямом смысле вдохновляли тысячи посетителей, и каждый посетитель создает собственные зеленые вариации, которые распространяются по всей стране.

Выдающиеся садоводы были недюжинными личностями. Они были не только удивительно трудоспособны — некоторые трудились полвека от зари до зари, как каторжники,— они были визионерами, которые решили создать вечный рукотворный памятник и таким образом заштриховать ненавистный им мир. Садоводство часто являлось убежищем от других искусств: Вита Сэквил-Уэст писала романы, а Воан-Уильямс сочинял симфонии. Но садоводство часто стано-

вилось коллективным подвигом; разбивая сады, люди спасались от семейных дрязг и даже трагедий. Раз дети выросли и уехали, единственные узы, связывающие английскую чету,— это сад, где еще можно трудиться в дружном безмолвии. Поражающий пример садоводства как спасительного подвига — это великий сад Сиссингхерст в графстве Кент: его создали Вита Сэквил-Уэст с мужем Гарольдом Николсоном. Она была писательницей, он — дипломатом. Они пережили страшные скандалы и кризисы: он понял, что он гомосексуалист; в то же время она страстно влюбилась в буйную лесбиянку Виолетту Трефусис. Но половые страсти и жажда творчества в конце концов перелились в сказочное видение Сиссингхерста; этот сад стал для них чем-то вроде монастыря. Читая очерки Джейн Браун, понимаешь, что жизнь у нас — и не только у выдающихся садоводов — переходит в житие исключительно тогда, когда англичанин отчаивается в возможности обрести счастье и целиком отдает себя воссозданию миниатюрного Эдема около собственного дома.

ВОДА И АНГЛИЧАНЕ

Англичане — островитяне, и на нашем острове нельзя находиться от моря дальше, чем на сто километров. Морская вода течет у нас в крови; англичане до того любят море, что первыми затеяли одиночное кругосветное плавание. Англичанин доверчиво ест все, что приносит море,— от морских прыщей до печени палтуса. На сто лет раньше, чем другие европейцы, англичане купались в своем отвратительно холодном Ла-Манше. Когда в Биаррице жили только баскские рыбаки, а в Ялте — крымские татары, в Брайтоне и Богноре уже купались под медицинским надзором министры и принцессы из королевской семьи. Холодное море, считалось, унимает страсти и развивает мужественные добродетели. До сих пор половина населения ездит на побережье купаться, несмотря на то что врачи теперь признают, что купаться в наших загрязненных морях менее заманчиво, чем спускаться в ванну с дерьмом.

Странно, что пресная вода издавна находится в опале. Англичане в реках не купаются; в Кембриджском университете в шестнадцатом веке за купание в реке секли студентов, а на аспирантов надевали колодки. Как будто русалки могли соблазнить купающихся. В английских реках водится почти такое же обилие съедобной рыбы, как в русских, а разница в том, что англичане удят, но не едят. Форелей покупают только на фермах, а вкусных карасей, лещей и судаков снимают с крючка и пускают обратно в воду.

Немцы и американцы приезжают в Англию и удивляются странным табу, связанным с водопроводной системой в английских домах. У нас даже законом запрещается вводить нормальную европейскую систему водопровода. Поэтому, если принимаешь душ в английском доме, можно или простудиться, или обжечься, смеситель в ванной сделает все что хотите, но не смешает горячую воду с холодной. Хотя англичане полтора века назад (раньше всех) ввели современную канализацию и водопровод в крупных городах и тем спасли народ от холеры и брюшного тифа, дальше они не пошли. Что касается водопроводов, мы одержимы какой-то манией преследования. Во время наполеоновских войн нам казалось, что французы могут отравить наши водопроводы. Мы изобрели такую систему кранов, клапанов и цистерн, которая изолирует каждый жилой дом от магистрального водопровода, в результате чего современному иностранному туристу мерещится, что он попал куда-то в район Тибета, где моют тело как следует только два раза: после рождения и после смерти. В самом деле, французские послы всегда докладывали, что английская королева Елизавета I ужасно воняет. Современные туристы замечают, что до сих пор англичане неохотно принимают душ, а предпочитают лежать в полной, но не очень теплой ванне, как гиппопотамы в собственной грязи.

Всю хорошо отфильтрованную городскую воду мы тратим не на себя, а на наши сады. Хотя в любом месяце на любой английский сад падает пять сантиметров дождя, все жалуются на засуху и строят удивительные системы орошения, которые сделали бы даже из Сахары зеленую зону. Летом опорожняются водоемы, и горсоветы запрещают орошение садов; ночью полиция ловит граждан, которые выливают последние капли городской воды на свои газоны и розы. А если и моются в такое время, то потом тщательно переливают грязную воду из ванны на клумбы.

КАК АНГЛИЧАНЕ УМИРАЛИ

Фармазонов до сих пор отправляют в мир иной под музыку Моцарта. Обыкновенного англичанина, однако, хоронят неинтересно, анонимно. Даже смертного одра нет. При первых признаках конца упекают в больницу, усыпляют снотворными, обвешивают проводами и трубками и, когда электроника объявляет, что мозг перестал мыслить, звонят сначала в похоронное бюро, а потом уже родственникам. Закрытый фанерный гроб стоит пятнадцать минут на конвейере у алтаря в крематории; священник мямлит короткую молитву, из громкоговорителя льется такая же успокаивающая музыка, как в супермаркетах. Все, что остается — пепел,— хоронят под одинаковыми плитами на кладбище, которое не отличишь от площадки для гольфа.

Раньше англичане не хуже других народов уважали своих мертвецов. Войди в любой из готических соборов и увидишь средневековые саркофаги с горизонтальными статуями покойников — он в мраморном панцире, рука об руку с женой, облаченной в свадебное платье; можно бродить по старым кладбищам и изумляться откровенности старинных надписей на гробовых плитах: «Здесь покоятся кости Элизабет Шарлотт, рожденной девицей, умершей потаскухой. Но она была девицей до семнадцати лет, что неслыханно в городе Абердин». А сегодня такие надписи запрещены и ни саркофагов, ни посмертных масок не делают.

Страшная жестокость палачей шестнадцатого века показывает, до какой степени участь тела по тогдашним понятиям решала участь души. Вспарывали повешенных, пока те еще были живы, и сжигали кишки; сдирали кожу с разбойников; делали из вскрытия

анатомический театр для учащихся хирургов и публики. Тогда еще была сильна языческая вера в то, что цельность тела обеспечивает загробную жизнь души. Даже великий свободный мыслитель и экономист Иеремия Бентам завещал свой труп Лондонскому университету на вечное хранение. Его автоикона до сих пор шокирует публику прямо при входе в главный колледж университета. Иеремия Бентам сидит гораздо более живой, чем Ленин. Его автоикона состоит из скелета, искусственной кожи и праздничного костюма. Голова, к сожалению, дала усадку: на тело поставили желтоватую восковую копию. Настоящая голова, пугающая стеклянными глазами и лопнувшими красными жилами, щерится у его ног под стеклянным колоколом.

Смерть была обрядом: к нему люди готовились, как к свадьбе. Дарили друг другу гробы, пробовали на вкус разные бальзамирующие жидкости. Великий хирург Уильям Хантер не мог гарантировать живущим исцеление, но обреченным умереть — особенно красавицам — он обещал нетленные останки. Анонимный поэт восемнадцатого века писал, что усопшая госпожа Ван Бутчел благодаря бальзаму Хантера «стала еще красивее, слаще и сочнее, чем когда она была жива». Поэт поздравил вдовца с тем, что ему досталось «редкое сокровище: жена с ровным нравом». Тогда и гробовщик не стыдился показывать свой товар тяжело больным клиентам. Художников тоже приглашали к смертному одру; они не только снимали маску покойника, но и малевали портрет целого семейства у постели усопшей матери или умершего ребенка. Мы видим дворянина семнадцатого века Томаса Эстона, сидящего со своими детьми у постели жены, умирающей от родов. Слез нет, его дочери даже позируют. В левой руке Томас Эстон держит череп, у его ног стоит гробик для новорожденного, обитый черным бархатом: торжественное, но отнюдь не трагическое зрелище. Английский протестант был абсолютно убежден в том, что при покаянии и соблюдении всех правил умирающий христианин уплывает в лучшую жизнь, поэтому показывать неуместное горе — обидеть Бога.

Массовые смерти первой мировой войны до того затопили наше общество похоронными обрядами, что смерть навсегда утратила свою поэзию. Люди, увидевшие ад в окопах, уже не верили в Страшный суд. Сегодня после смерти близкого родственника обращаются к адвокатам, а не к священникам: их волнует судьба имущества, но не души.

АНГЛИЙСКИЕ ПАУКИ

«Маленькая мисс Мэффит сидела на тумбочке / И ела свой творог с пенками. / Подошел большой паук, сел рядом с ней / И испугал маленькую мисс Мэффит». Каждый английский ребенок знает эту старинную песенку: она внушает детям, что пауков надо уважать и нельзя убивать. Если бы Свидригайлов из романа Достоевского вдруг очутился в Англии, он поверил бы, что очутился в аду: в бане с пауками. Англичанин, прежде чем принять ванну, вместо того чтобы открыть краны и смыть все живое из ванны, всегда становится на колени и мылом помогает пауку, застрявшему в ванне, выкарабкаться и спастись. (Англичанка выбегает из ванной и зовет первого попавшегося мужчину на помощь.) Не только детские песни, но и история говорит нам, что паук — тварь назидательная. Средневековый шотландский король Роберт Брюс, посаженный в подвал, подружился с пауком, который каждый вечер штопал свою паутину и своим примером убедил короля не сдаваться.

В наших темных, сырых замках и дворцах пауки замечательно размножались: недаром первым пауковедом в мире стал англичанин. С семнадцатого века ученые, священники и врачи ловили пауков, смотрели на них в микроскоп, разводили их, разрезали и рисовали. В Англии живет почти 600 видов пауков — было чем заниматься.

К сожалению, английские ученые, даже Исаак Ньютон, в семнадцатом веке пренебрегали родным языком, брезговали обывателем и писали на латыни. Первым пауковедом был королевский врач Мартин Листер, который издал свое исследование «Английские пауки» к концу семнадцатого века. Прошло триста лет, и труд впервые перевели на английский. Книга «Английские пауки» уводит нас к истокам английского самосознания. Какие уроки извлек Мартин Листер из жизни пауков? Пауки занимаются любовью, как христиане, лицом к лицу, соблюдают Великий пост не хуже любого христианина; самец ведет себя наподобие английского джентльмена — когда ходит к самке в гости, приносит съедобный подарок, опутанный шелком, и этим сохраняет себе жизнь. А какие паучихи образцовые матери! Листер сорок раз рвал паутину, где паучиха спрятала яйца, и каждый день она плела новую. Любовь к родному гнезду, матриархат, нелюдимость, молчаливость, трудолюбие — чем паук не англичанин?

Мартин Листер первый доказал, что пауков незачем бояться. Если укусят, не больно и не опасно. Паутина у них целебная, исцеляет раны. (В этом он прав — в паутине, кажется, есть пенициллин.) Как почти всех пауковедов, Бог наградил Мартина Листера долговечностью. Он прожил длинную жизнь. Его пережили вдова, шестеро детей и несколько десятков тысяч пауков, законсервированных в алкоголе.

Когда ученые перестали читать по-латыни, Мартина Листера забыли. Но его традиции живы. Профессор Росс из Абердинского университета всегда закусывал «бордо» пауком. Один английский священник-натуралист был просто влюблен: «У паучихи лапки, как пальцы самой красивой девушки — длинные, тонкие, чуткие, так что нет твари, которая сравнится с ней». Он даже промывал глаза паучьей мочой.

Иностранцы боялись пауков: великий шведский король Густав Адольф дрожал при одном виде паука. Завоевав империю, британцы поняли свою ошибку. В австралийских нужниках их подстерегал паук «черная вдова»: после его укуса оставалось жить всего пять минут.

ВЕДЬМЫ

Без малого четыреста лет прошло с тех пор, как в Англии в последний раз сожгли ведьму. Казалось бы, с исчезновением не-

счастных старушек и их котов стушевалась и память о ведьмах. Но открываю престижную газету «Гардиан» и на серьезной странице для мыслящей женщины нахожу без тени насмешки интервью с современной самозваной ведьмой. Ведьма Бет Гуревич, как седьмое дитя седьмого дитяти, оказывается, унаследовала вещие способности и даже посвящает собственную дочь в страшные тайны своей профессии.

Как в России, так и в Англии сто лет назад декаденты опутывались всевозможными мистическими поверьями, вплетали теософию в свои сексуальные заблуждения, воскрешали мнимые дохристианские религиозные обряды. Их вождем в двадцатых годах стал Алистер Кроули, по кличке Зверь: он выдумывал нелепые варианты сатанизма и собрал на острове Сицилия целый шабаш английских ведьм, которые шокировали даже видавших виды сицилианцев совокуплением с козлами.

Однако, как все виды декадентства, ведьмачество окончилось невинным буржуазным развлечением: вялые банкиры и скучающие домохозяйки раздеваются догола и пляшут в полнолуние. Но нежданно-негаданно ведьмы приобрели идеологию и теперь претендуют на видную роль в новом мышлении — почему? Потому, во-первых, что в феминизме нарастает убеждение, что настоящей провидицей и представительницей матери-сырой-земли может быть только женщина, что наука и логика, в частности,— это вымысел мужчин, что мужчины украли религию и выжали из нее все соки; поэтому женщина должна утвердить древнюю интуицию, познание мира через магию. Уже в двадцатых годах поэт Роберт Грейвз выдвинул теорию «белой богини» и произвел свою любовницу, американскую поэтессу Лауру Райдинг, в истинную ведьму (с чем соглашались почти все знавшие ее мужчины). В своем большом справочнике греческой мифологии Роберт Грейвз настаивал, что греки нарочно замалчивали древнюю религию ведьм. Бет Гуревич в своем культе мнимой богини Уикка продолжает эту религиозную контрреволюцию.

Во-вторых, для всех очевидно, как наука и техника опустошают современную Англию, загрязняя воздух, заливая бетоном луга. Экологи-радикалы верят в землю как в живую богиню Гею и обращаются к ней с заклинаниями, как ведьмы к источнику своей власти. Великие древние курганы и молельни вроде Стоунхенджа, несмотря на государственную охрану, во время летнего солнцестояния и в весеннее равноденствие осаждаются бродячими толпами: в этом тяготении к первобытному общению с землей немалую роль играют современные ведьмы.

Религиозную жажду утоляет не англиканская церковь, а остатки — уже, может быть, фиктивные — дохристианской религии древних кельтов. Тот, кто хорошо знает нравы и учения англиканской церкви, сразу поймет почему. Наша государственная церковь — как охарактеризовали ее сатирики — это молящаяся консервативная партия. Прочтите те тридцать девять статей, которые должен признать каждый священник по принятии духовного сана, и узидите, что вероучения англиканской церкви состоят в том, что, несмотря на Нагорную проповедь, англиканский христианин может — даже должен — поступать (воевать, убивать) по велению не совести, а короля. Во всех других отношениях он может веровать как католик или как баптист; единственное недвусмысленное заявление среди всех тридцати девяти статей — это то, что «у епископа римского нет юридических прав в этом королевстве». Немудрено, что, убегая из англиканской церкви, вероотступники принимают католичество или православие, но наоборот — никогда. И, конечно, неудивительно, что от бесцветной религии, которая теперь теряет то последнее, что у нее осталось — прекрасный язык своей литургии, верующие спасаются ведьмовством. Сегодня, когда церковь колеблется и по-прежнему не хочет принимать женщин в духовный сан, единственный выход для тех женщин, которые чувствуют религиозное призвание,— это стать ведьмой.

А чем доказывают ведьмы свою власть? Три года назад в графстве Кент, откуда прокладывали чудовищный тоннель под Ла-Маншем, местный шабаш ведьм проклял строительство. С тех пор столько финансовых кризисов и несчастных случаев обрушилось на этот объект, что тоннель действительно считается обреченным, и те, кто не хочет, чтобы самое красивое графство Англии заживо погребли жадные капиталисты, втайне зажигают свечу и благословляют ведьм.

АНГЛИЯ И КУЛЬТ ЛОШАДИ

«Кто хочет понять, как возник феодализм, должен изучать средневековую боевую лошадь»,— пишет один американский историк. Ключом к истории Англии, может быть, являются также размеры и свойства средневековой боевой лошади. Решающую роль сыграла боевая лошадь и в наших этногенезе и мировоззрении.

Дело в том, что нормандская победа в одиннадцатом веке бесповоротно переломила нас: она придала нашей германской прямолинейности и кельтской замкнутости совершенно другие черты: французскую субтильность, латинскую казуистику. Нормандцы превратили наш простой англосаксонский язык в самое богатое и двусмысленное из всех средств человеческого общения. А как смогла нормандская армия покорить целое англосаксонское королевство? Своими могучими, гигантскими, холеными лошадьми — этими живыми, мозолистыми танками.

Англичане быстро полюбили не только своих победителей, но и их лошадей. Уже через три века английские породы боевой лошади одерживали победы на французских полях. В средневековой Англии целые парки отдавали полуодичавшим табунам, из которых отбирали самых крупных и красивых жеребят. Военные и дворцовые кони и крестьянские лошади образовали ту же классовую систему баронов и холопов. Как и во всей западной Европе, слово «кавалер» приобрело огромное значение: кавалерство значит благородство. В великой английской гражданской войне семнадцатого века недаром называли сторонников обреченного короля «кавалерами». Но вождь республиканцев Оливер Кромвель оказался если не кавалером, то самым ревностным кавалеристом

страны. Когда он брал кавалеров в плен, он относился гораздо бережнее к неприятельским коням, чем к солдатам.

В Англии кони пользовались такими льготами и правами, о которых люди могли только мечтать. Например, в шестнадцатом веке, когда девушек насильно выдавали за нелюбимых мужей, коневод сэр Томас Бландевил настаивал, что «кобыла имеет полное право отказать жеребцу», а если она согласится, «то обоих коней надо отпустить в лес, чтобы они могли вместе гулять и полюбить друг друга».

После гражданской войны, когда Англия стала колониальной империей, источником ее мощи служили дубравы и боевые корабли. Огромный конь в латах стал анахронизмом, и коневоды начали выводить более легкие породы. Тем не менее конь оказал огромное влияние на английский образ жизни и мышления. Самое модное современное слово «менеджмент» происходит от слова «манеж». Раз человек превратился в экономическую единицу, к нему приложимы все психологические принципы коневодства.

Странно, каким образом это животное из сухой безбрежной евроазиатской степи приспособили к влажным лугам и просекам Англии. Но для наших коней строят прочные конюшни из кирпича и из пышных луговых трав готовят самое ароматное сено во всем мире. Лошадь в Англии знает себе цену. Уже злосчастный король Ричард I вопил: «Полцарства за коня!» Даже сегодня унылые лица королевы Елизаветы или ее дочери принцессы Анны оживляются только тогда, когда они возятся с лошадьми. Такая зависимость аристократа от коня, конечно, не уникальна: вспомним Пушкина. Когда он поехал вслед за русской армией в Арзрум, он взял с собой турецкий словарь-минимум. Этот словарь состоял всего из трех слов: «Вербана ат — дай мне лошадь». (Вот самая английская черта в характере Пушкина.)

Еще не исчезла кавалерия: правда, кавалеристы, которые выгнали аргентинцев с Фолклендских островов, сражались без коней. Теперь частные любители разводят огромных, так называемых «шайр», коней. Очень редко пашут землю такими лошадьми — только в торфяных болотах, где трактор портил бы почву. В городах бочки пива по традиции доставляют в кабаки великолепные кони-гиганты, они, кроме полицейских чистокровных арабских лошадей, последние по-настоящему городские рабочие лошади. В моем детстве каждую улицу обслуживала лошадь молочника — такие лошади точно знали весь маршрут и каждого покупателя. Их уже сменили безличные электрофургоны. Теперь типичная лошадь — это пони, на котором ездит или о котором мечтает каждая деревенская девочка. А память о великой боевой лошади долго еще не сотрется из коллективной памяти Англии.

ПАЛАЧИ

«Дорогу его превосходительству главному палачу». Так весело представляют палача в старой английской оперетке «Микадо» Гилберта и Салливена; еще жива была память о публичных казнях в Лондоне, когда детей вешали за кражу и продавали пиво под эшафотом. Но вот уже двадцать семь лет никого не вешают. Тем не менее теоретически смертную казнь пока не отменили. Тот смельчак, который изнасилует старшую дочь королевы или подожжет военные доки в Портсмуте, может стать жертвой единственной оставшейся виселицы в Англии. Говорят, что эта виселица стоит в Уондсуортской тюрьме и что ее проверяют каждый год. Только компетентного палача уже нет.

Дело в том, что наш главный палач Альберт Пирпойнт недавно умер. Он был общительным стариком, и когда перестали вешать убийц, он купил себе кабак под названием «Помоги бедному горемыке», где потчевал путешественников. Шестнадцать лет назад он написал свою автобиографию «Палач Пирпойнт» и не раз давал интервью по телевидению. В конце концов он сам убедился, что смертная казнь никаких целей, кроме отмщения, не достигает; он признает, что некоторые из его жертв не заслужили своей кончины и даже были невиновны. Но утешал себя мыслью, что они были все-таки обречены, и кто-то должен был их вешать. Заплечных дел мастер, он был уверен, что вешал так быстро, так гуманно, так безболезненно, как дай нам Бог всем умереть. Святая простота! Но Альберт, даже до того как стал дряхлым стариком, подкупал всех своей искренностью и профессиональной гордостью. Его отец и дядя тоже были палачами: это призвание, а не ремесло.

Более ста тридцати лет назад британское министерство внутренних дел издало таблицы и спецификации, чтобы жертвы и палачи могли убедиться, что смерть на виселице произойдет моментально от разрыва позвоночника, а не от удушения. С тех пор Альберт и его предшественники каждый год отправляли на покой от двадцати до тридцати осужденных. Палач прокрадывался в тюрьму накануне казни, тайно наблюдал за своей жертвой, даже спал в соседней камере (как в романе Набокова «Приглашение на казнь») и до последнего миллиметра вычислял длину петли. На следующее утро он входил в камеру, вежливым пальцем трогал плечо приговоренного, говорил: «Прошу за мной. Не бойтесь, все будет хорошо»,— и через десять секунд уже снимал труп с веревки. Альберт Пирпойнт уверяет нас, что это было для него вроде снятия Христа с креста, хотя иногда он ходил на вскрытие, чтобы констатировать, что смерть наступила моментально.

Альберт особенно гордился тем временем после войны, когда он слетал в Германию, за одно утро без сучка без задоринки повесил семнадцать немецких охранников из Бельзена и спокойно съел бутерброды, которые любящая жена приготовила для него. Альберт и не сомневался, что Герман Геринг покончил с собой, узнав, что его повесит не Альберт Пирпойнт, а какой-нибудь неучамериканец. Из четырехсот подневольных клиентов только один сопротивлялся Пирпойнту: немецкий шпион Отто Шмидт долго не сдавался и даже сорвал с кистей рук замшевые ремни.

С тех пор как мы фактически отменили виселицу, Англия, конечно, стала более гуманной страной. Затем в наших школах даже перестали сечь детей. Но каждый год консерваторы в парламенте — особенно Маргарет

Тэтчер — требуют восстановления смертной казни. Общественное мнение тоже «за». А большая часть депутатов в этом случае слушает свою совесть. Когда у нас вешали, очень трудно было найти дельного министра внутренних дел; нормальные люди не хотели подписывать ордеров на казнь. К тому же случился и ряд вопиющих жестокостей. Повесили восемнадцатилетнего мальчика Бэнтли просто потому, что он был замешан в убийстве полицейского, а сам убийца был по закону слишком молод для казни. Несчастная Рут Эллис убила неверного и жестокого любовника: во Франции судья освободил бы ее и наверняка пригласил бы на ужин; а британский судья приговорил ее к смерти, и Альберт Пирпойнт ее повесил.

Благодаря трагедии Рут Эллис британские убийцы теперь остаются в живых. Но условия в наших тюрьмах до того ухудшились, что арестанты часто вешаются сами. А пятно смертной казни еще долго не смоется с нашей совести. Международная организация «Эмнисти интернэшнл», которая борется против смертной казни, только что опубликовала материалы, показывающие, до какой степени Англия замешана в чужих государственных преступлениях. Мы продаем Абу-Даби виселицы; когда вешают в Южно-Африканской Республике, заказывают веревку из Лондона; когда на вест-индских островах приговаривают убийц к смерти, приговор утверждают британские министры «Тайного совета».

Другая недавняя публикация обновляет мою веру в гуманность людей. Издательство «Иэн Фолкнер паблишинг» только что издало книгу «Ад приветствует вас»: это корреспонденция одного английского общества «Лайфлайнз» (Спасательные тросы). Члены этого Общества переписываются с американскими смертниками. В Америке ждут не год, а иногда десятилетие, когда их убьют электрическим током, газом, петлей или уколом снотворного. Читая эти письма, понимаешь, что все равно — повесят ли осужденного за десять секунд или за десять минут. Неимоверная жестокость наполняет бесконечный промежуток между приговором и исполнением. Садист ли палач или добряк — все равно это ужасно. Только в оперетках Гилберта и Салливена безо всякого содрогания герои составляют список зануд, которых так хочется казнить.

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ ЖУРНАЛА «ВОГ»

«Вот Дези и Лилли, ленивые и глупые, гуляют на набережной и обсуждают, какие моды были и какие будут». Семьдесят лет назад музыка Уильяма Уолтона и дурацкие стихи поэтессы Эдит Ситуэлл ошеломили публику и взбесили критиков заискиванием перед модной передовой публикой. Но композиция «Фасад» стала классикой; Дези и Лилли еще живы и до сих пор говорят только о модах. Я вдруг вспомнил музыку Уолтона и стихи Ситуэлл, когда посетил выставку, которая открылась в Королевском колледже искусств: семьдесят пять лет журналу «Вог», то есть «Моды». Там я увидел фотографию поэтессы Ситуэлл: она лежала как будто в гробу, вся спеленутая черным саваном. Ее вытаращенные глаза и чудовищный нос (по сравнению с которым орган Гоголя кажется приплюснутым) внушают и жалость, и смех, и раздражение. У нее было мало таланта, полное отсутствие красоты, минимум даже человеческого, но ей удалось увековечить свои слова, свой голос и образ. Чем? Позой перед фотографом, волшебными силами журнала «Вог», который уже семьдесят пять лет одевает и раздевает англичанок — красавиц, заурядных и дурнушек,— превращая их во властительниц мод.

Чем глубже я всматривался в экспонаты, тем больше меня поражало значение журнала, великих портних и фотографов. Совместными усилиями они не столько отражали Англию и женщин высшего света, сколько создавали их. И еще изумительнее — физическая гибкость женщин: они умели с каждым поколением подвергаться радикальным метаморфозам — не бабы, а бабочки. Фотографии из журнала выставлены в хронологическом порядке. Во время первой мировой войны, когда еще не увяли роскошные семипудовые венеры, манекенщицы стояли как статуи, не то что одетые, а задрапированные в бесконечные ткани, которые тянулись по всему залу. После войны вдруг появились тощие, подвижные девушки без бюста и без задниц: куда исчезли плоть и волосы? Исчезли и изящные легавые собаки; женщина двадцатых годов, взбудораженная кокаином, прыгала в спортивный автомобиль и исчезала. Через десять лет ее сменяет мускулистая амазонка в мужском костюме: у нее волосы — как шлем, и она держит мундштук как копье. Потом фотографы будто отучились фокусировать: среди развалин военного Лондона всплывают сентиментальные и эротические контуры безвременно овдовевших красавиц. Они ежатся в огромных шинелях, болтаются на опустелых платформах. Ресницы, огромные, как у верблюда, зазывают современных Русланов или Тристанов. Но и эти женщины улетели как феи. В начале пятидесятых годов вернулась жесткость тридцатых; мода как будто слушала Мандельштама: «Роговую мантию надену, / От горячей крови откажусь, / Обрасту присосками и в пену Океана завитком вопьюсь».

Тут я испытал настоящую боль. Ведь мое детство исковеркали такие вот женщины в роговых мантиях, которые всегда указывали и поучали. Как все англичане, которые стали взрослыми к началу шестидесятых, я все еще благодарю моду за то, что она смела с лица земли этих серых мегер. Неизвестно откуда появилось новое племя: длинноногие, как жирафы, с вьющимися волосами до пояса, даже в туманном Альбионе они как будто не нуждались в одежде. Выражение лица больше не играло роли: в моде центр женской тяжести сдвинулся к промежности. Именно тогда журнал «Вог» стали читать и мужчины.

Сегодня мы все изгнанники рая шестидесятых годов. Мода отомстила: появились манекенщицы с квадратными лицами и страшными когтями, сердитые, как тигрицы в заточении. Фотографы и дизайнеры тоже мстят, издеваются. Последние современные экспонаты удручают. Талантливый фотограф лорд Сноуден (его карьере не помешал тот факт, что он шурин королевы) тщательно вымыл

шампунем дородную рыжую свинью и сфотографировал ее с той же любовью, с какой он раньше снимал ведущих красавиц лондонских балов. Конец «Вога» похож на конец «Скотного двора» Оруэлла: людей уже не отличишь от свиней.

Покинув выставку, я долго стоял перед манекенами, которые были одеты в новые «творения» самых известных дизайнеров. Все до последнего издевались. Вот женщина одета в твердые диски, отделанные войлоком: швов нет, есть гайки. Следующий манекен изображает женщину, будто чудом вырвавшуюся из рук Джека-Потрошителя. У третьего на одной ягодице — принцесса Диана, а на другой — принц Чарльз: при ходьбе принц и принцесса целуются. Конечно, все эти модные «творения» одноразовы: всех удивишь за один вечер, а потом выбросишь. Раньше отдавали платье благодарным горничным, сегодня же любая прислуга откажется от этой чести.

Может быть, «Вог» уже обречен. В университете феминистки требовали изъятия журнала. Когда я вышел на улицу, то с облегчением увидел, что в Гайд-парке совершенно нормально одетые «Дези и Лилли» продолжали обсуждать моды, не соблазняясь чудовищным перегибом «Вога».

«ЕДОКИ» ОПИУМА

«Фантастическую симфонию» написал не Берлиоз, а Берлиоз плюс что-то, то есть Берлиоз под влиянием опиума. Иногда меня одолевает сомнение, возможно ли любое искусство без вдохновляющей жидкости. Есть, конечно, и естественные, и искусственные стимулы. Американский роман, кто спорит, без виски неосуществим; Заболоцкий плюс красное «телиани», композитор Глазунов, тонущий в алкоголе, обогащали русскую культуру. Зато Мандельштама вдохновлял адреналин страха, и поэзия Цветаевой пропитана бьющими через край гормонами. Даже этот скромный текст без четырех чашек крепкого кофе остался бы мертворожденным.

Кофе — да, опиум — нет, считают сегодня. Сам я всего раз попробовал опиум. Невыносима зубная боль, еще невыносимее — гнев зубного врача, когда ему звонят в воскресенье. Был июль, в саду лепестки опадали с головок мака, как раз подоспел опиум. Я сорвал головку и съел ее как салат, вместе с белой жидкостью. Шестнадцать часов я спал мертвым сном и проснулся, удивленный, как Лазарь. Зубной боли не было, но и вдохновения не было.

Раньше в Англии глотали опиум как аспирин. В тринадцатом веке главным продуктом Линкольншира был опиум. И мало кто в Европе возмущался, когда принимали опиум или морфий. Что общего у Шерлока Холмса и Анны Карениной? Оба — морфинисты. Английских романтических поэтов представляют себе здоровыми, почти спортивными скитальцами. В действительности их творчество, как музыка Берлиоза, опиралось на опиум. Самое мечтательное, самое сочное стихотворение на английском языке — это «В Ксанаду Кубла Хан построил...», которое приснилось Сэмюэлу Колриджу под влиянием опиума. Стихи вдруг обрываются: к нему постучался «человек из деревни Порлок», и опиумный сон моментально померк. С тех пор деревня Порлок слывет презренным гнездом обывателей.

Лучшие стихи у Теннисона и Элизабет Баррет Браунинг были созданы с помощью лауданума, опиума, разведенного в алкоголе. Но из всех романтиков-наркоманов самый знаменитый Томас Де Куинси, который написал шедевр романтической прозы, «Исповедь англичанина — любителя опиума». К сожалению, это шедевр, который все признают, но никто не читает. Беспорядочные наркотические мысли, полутрезвые размышления, смесь автобиографии и комментариев должны были остаться профессиональной тайной больного и психиатра. Томас Де Куинси — один из тех писателей, которого интереснее толковать, чем читать.

Издательство Йейльского университета недавно опубликовало книгу профессора английской литературы Джона Баррела «Инфекция Томаса Де Куинси — психопатология империализма». Джон Баррел уже не старается убедить современного читателя, что можно с наслаждением читать «Исповедь» Де Куинси. Он ищет истоки наркомании Де Куинси и связывает его болезненные сны с патологией английского империализма. Англичане тешатся мыслью, что их, здоровых европейцев, растлевали опиумом злые китайцы — ну, бред того же сорта, что и байки про еврейских шинкарей, спаивающих украинцев. В реальности наоборот. В здравомыслящей китайской империи пользоваться опиумом было строжайше запрещено. В тридцатых годах прошлого века с помощью флота англичане заставляли китайские города принять и Библию и опиум. Издержки миссионеров оплачивала продажа опиума, который культивировался в индийских областях Британской империи.

Но Де Куинси думал иначе. В детстве у Де Куинси была глубокая травма: у него умерла сестра, он остался наедине с ее бездыханным телом и пальцем тронул там, где не надо. Всю жизнь он старался опиумом глушить свою вину; в его сновидения врывались образы чудовищных китайцев, которые угрожали ему в Англии неописуемыми мерзостями. Де Куинси помогал создавать идеологию империализма, утверждая, что обитатели восточных стран выродились и стали недостойными жизни. Конечно, империалисты даже и без опиума могли додуматься до такой идеи. К примеру, русский конкистадор Николай Пржевальский, предпочитавший опиуму и алкоголю казаков, в одной главе, которую советское издательство изъяло из его книги, рекомендует физически уничтожить всех монголов и тибетцев и населить их земли казаками. Но Де Куинси своим наркологическим бредом представляет век империй в новом свете, как век психически нездоровый. Не следует ли из этого, что пользоваться опиумом можно разрешить одним лишь стихотворцам и композиторам?

ГОТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Тот, кто в первый раз приезжает в гости к английскому или еще лучше к ирландскому лорду в те помещичьи дома, которые еще не совсем развалились, поймет, почему готичес-

кая повесть до сих пор здравствует в нашей литературе. Гость богатого лорда с трудом жует странные, скудные, полухолодные блюда при тусклом освещении и в почти безмолвной компании; дети хозяев упрятаны от гостя в каком-то отдаленном флигеле; в средневековой ванной он напрасно ждет горячей воды и всю ночь страдает от бессонницы: дует из окон, на крыше ухают сычи и филины, и крысы снуют по чердаку, опрокидывая заброшенную мебель. Утром гость стряхивает с одежды чердачную пыль, глотает прогорклый кофе и чувствует себя так, как если бы он вечер и ночь провел у проголодавшихся вампиров.

Конечно, приехавшему в субботу гостю в воскресенье перед отъездом не миновать утренней службы в местной церкви. Литургия и проповедь дадут ему понять, что англо-ирландская знать до сих пор трепещет от ужаса перед святой инквизицией и всей суеверной тиранией римской католической церкви.

Как же после всего этого не появиться богатой готической литературе? Сегодня традиция еще живее, чем когда-либо. Средневековое варварство пугало классический ум восемнадцатого века, и писатели-романтики начали наслаждаться своим испугом, превращая его в истинный восторг, и зашли так далеко, что все мы оказались во власти призрачного, подсознательного и смертельно опасного мира мстительных фантомов, сатанинских румынских князей и ненасытных русалок. Конечно, в этот одержимый жанр внесло свой вклад также исследование фольклора, но и в железный, и в атомный века наша литература одинаково нуждается в нематериальных ужасах, не подлежащих анализу.

Возьмите, например, Томаса Харди, может быть, самого великого из английских романистов после Диккенса. В его романах сплетаются жестокие легенды западной Англии с пессимизмом Шопенгауэра и с грустной восприимчивостью английского романтика. Когда он сгущает трагическую любовную фабулу своих романов в готическую повесть, получаются одновременно и пародия на собственное творчество, и его квинтэссенция. В повести «Барбара из рода Гриб» найдешь всего Харди в шаржированном мире. Аристократка-героиня страстно влюбляется в мещанина, тот изувечен, она бросает его и выходит замуж за нелюбимого аристократа, который садистски мучает ее, заставляя молиться на статую изувеченного возлюбленного. Смешно, как от хорошей пародии, но в то же время неумолимые трагические законы любви проступают здесь резче, чем в романах Томаса Харди.

Готическая повесть вообще напрашивается на пародию. Американец Брет Гарт в своей «Селине Седилии» до того осмеял болезненную сексуальность, запутанные интриги и нелепую декорацию готического жанра, буквально взрывая всех своих действующих лиц, что покатываешься со смеху.

В готической литературе от начала до конца преобладают авторы-женщины. Романтики-мужчины писали лирику, а их жены — готические повести: Мэри Шелли написала «Франкенштейна», как будто корректируя бойкий оптимизм мужа. В наше время такие женщины, как недавно умершая британка Анджела Картер в рассказе «Дама из дома любви» или чилийская знаменитость Исабель Альенде в повести «Если бы ты тронул мое сердце», не только пародируют мужской жанр: для них сексуальная и политическая тирания мужчины воспроизводит все ужасы католической инквизиции или навязчивых фантомов. Писательницы, как им кажется, укладывают оборотней навсегда в гробы, и женщины, порабощенные ими, хоть под старость выходят на свободу.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КУЛЬТУРА

В своей комической оперетте «Конституционная утопия» либреттист Гилберт и композитор Салливен уже сто лет назад определили суть британской парламентской культуры как систему государственного паралича: «Все будет хорошо: пока можно стрелять рябчиков и травить лисиц, повсюду будут болезни, битком набитые тюрьмы — словом, общее и небывалое благополучие». Несмотря на цинизм Гилберта и Салливена, иностранцы пока не разочаровались окончательно в британской парламентской культуре и обожают нашу мать парламентов, не замечая, до какой степени она стала дряхлой, злой и корыстной бабой-ягой, пожирающей своих невинных депутатов.

В последние двести лет парламент все больше уступает свою власть премьер-министру. Может быть, депутаты продемонстрировали свою силу в последний раз в 1940 году, когда они выгнали Чемберлена с Даунинг-стрит и призвали Черчилля к верховной власти. Теперь, когда решаются вопросы войны и мира, парламент отдыхает и маленький кружок приближенных премьер-министра принимает непоправимые решения. Почему парламент потерял ту власть, которую он впервые обрел, обезглавив триста лет назад Карла I?

Тут, без сомнения, виноваты честолюбие и страх. Честолюбие, потому что те, кто метит в министры, уже не смеют досаждать своим лидерам; страх, потому что наша пресса, желтая или качественная, сразу может осрамить любого незаурядного чудака, который позволяет себе быть оригинальным. Вдобавок разница между лейбористами и консерваторами до того сузилась, что смена власти уже не приводит к значительным переменам в государстве: конформизм стал золотой мерой.

Раньше парламентские речи были замечательны или своей риторикой, или своим остроумием. Премьер-министры от Гладстона до Ллойд Джорджа поражают витиеватым красноречием. Когда телевидения не было, они брали не гримом, не прической, а мастерством слова. Читаешь реплики, брошенные в восемнадцатом веке, и наслаждаешься: радикалу Джону Уилксу сказали: «Вы кончите на виселице или умрете от сифилиса». Он сразу ответил обидчику: «Это зависит от того, полюблю ли я ваши принципы или вашу любовницу».

В сегодняшнем парламенте спикер охраняет министров от подобных грубостей, но этим не объяснишь отсутствие остроумия. Правда, в Англии — в отличие от Франции — всегда считали, что остроумие — дурной знак, что оно доказывает неустойчивость человека, ненадежность, даже нечестность

в выборе оружия. Остроумных ораторов быстро выживают из парламента. Когда в 63-м году правительство консерваторов попало в переплет благодаря неправдоподобным сексуальным приключениям разных министров, премьер-министр Макмиллан хотел выкарабкаться из трясины, разогнав почти весь кабинет. Лидер либералов Джереми Торп вызвал общий хохот, переиначив слова апостола Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит друзей своих за душу свою». Хохот утих. И спустя некоторое время Торпа судили в связи с гомосексуальным скандалом и предали остракизму.

Некоторые ругательства в парламенте все еще разрешаются. Нельзя обозвать противника незаконнорожденным или лгуном, но можно обвинить его в фашизме или в коммунизме и вполне можно сравнить с животным. Нормана Тэббита, самого примитивного из консерваторов, обозвали «наполовину прирученным хорьком». Когда сэр Джеффри Хау возражал лейбористам, бывший министр Деннис Хили объявил: «Мне кажется, что полуживая овца щерится на меня». С тех пор нельзя было смотреть на Тэббита и Хау и не видеть перед собой хорька и овечку. Но автор реплики гораздо быстрее стушевался в политике, чем его жертва.

Жизнь у современных наших депутатов незавидная. Прения часто продолжаются ночь напролет; так называемые партийные «хлысты-старосты» принуждают их голосовать по партийной указке. Жены сбегают от депутатов, дети становятся наркоманами. Неудивительно, что сами депутаты ведут иногда дикий образ жизни. Раньше английское лицемерие охраняло членов парламента от гласности. Ведь цель лицемерия — втайне разрешать то, «перед чем хмурят бровь / И морщат переносицу». Редакторы газет знали, что премьер-министр Гладстон по ночам ходил по лондонским переулкам, приглашая потаскушек на Даунинг-стрит, там он поил их какао, наставлял и отпускал, после чего в спальне высекал себя плетью за похотливость. Они знали, что Ллойд Джордж относился к секретаршам, как козел к молодым козам. Но они молчали, и миф о парламентской культуре цвел как ни в чем не бывало.

Теперь же у нас новое лицемерие. Редакторы популярных газет (а нравственность этих газет проигрывает в сравнении с поведением Петра Степановича Верховенского или Мессалины) обрушиваются на любого депутата, который отступает от строгих норм целомудрия. В парламенте целая раса подхалимов смотрит с испугом и с подобострастием и на министров, и на журналистов. Эта раса уже не может служить примером свободы слова для новоиспеченных парламентов Восточной Европы. Как Гилберт и Салливен предсказывали, парламент есть паралич, и реальные власть имущие могут жить припеваючи.

ДОЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Английские поэты уже давно уяснили, что на них не распространяется знаменитая британская терпимость. В тридцатых годах, во времена политического и творческого расцвета наших поэтов, Уистен Оден иронически отметил:

> Обыватель, который — я должен
> признаться —
> Хорошо разбирается в жизни,
> Установил, что интеллигент —
> Это тот, кто неверен жене.

Самый образованный человек в Англии все-таки не осмелился бы объявить себя интеллигентом. В Англии до того пренебрегают поэтами-изгоями, что уже триста лет их не вешают, не расстреливают: вот почему современные поэты как будто завидуют судьбе Мандельштама или Гумилева. Пострадали — значит, наступили государству на мозоль.

Может быть, на нашем государственном теле нет мозолей и интеллигентам не на что наступать. У государства нет конституции, в правосудии нет уголовного кодекса, в политике — явной идеологии. Все мышление обращено на практику, на теорию смотрят подозрительно. Причина такого раскола — сам английский язык, в котором конкретные феномены называются своими англосаксонскими именами, а отвлеченные понятия — мертвыми латинскими заимствованиями.

Ненависть к интеллигенции продолжает расти. Солидное издательство «Уайденфелд энд Николсон» выпустило книгу Пола Джонсона «Интеллигенты». Это сборник биографий «светлых личностей» от философа Руссо до немецкого кинорежиссера Фассбиндера. Почти без исключения они разоблачены как лицемеры, лжецы, сатиры с уродливыми половыми органами, подхалимы, садисты, предатели словом и делом и родины, и самих себя.

Кроме Джорджа Оруэлла, которому многое прощается, так как он вовремя раскаялся и сам напал на бывших товарищей, у Пола Джонсона каждый интеллигент выходит негодяем и самозванцем, заслуживающим беспощадного поношения. Конечно, неоспоримо, что Руссо проповедовал любовь к детям, оставляя детей, которых он прижил, в сиротском доме. Я охотно признаю, что из Толстого не вышел бы компетентный профессор истории. Дружить с Бертольтом Брехтом, без сомнения, было очень опасно. А пророк разума Бертран Рассел соблазнял поголовно всех женщин, попадавших ему на глаза. Конечно, женщины, вышедшие замуж за гомосексуалистов типа Вернера Фассбиндера, страдают невыносимо. Есть философы и поэты, которые много говорят и редко умываются. И правда, что когда королевы или диктаторы снисходили к самолюбивым интеллигентам, те большей частью сдавались и обольщались.

Однако чем они хуже неинтеллигентов? Почему интеллигент должен быть чистоплотнее, воздержаннее, последовательнее, чем средний обыватель? Может быть, отсутствие моральной устойчивости, лишняя сексуальная энергия неотделимы от художественного новаторства и творческой стремительности? Пол Джонсон мало говорит о положительном в своих антигероях: например, как Руссо отверг дары Екатерины Великой, как Эдмунд Уилсон помог малоизвестному эмигранту Владимиру Набокову, как Кэннет Тайнен воскресил умирающий английский театр.

А что представляет собой Пол Джонсон? Имеет ли он право щеголять в барской шубе своего великого однофамильца из восемнадцатого века Сэмюэла Джонсона? Правда, он тоже редактор, историк-популяризатор и журналист. Сэмюэл Джонсон издавал двести лет назад «Жизнеописания поэтов», великий биографический сборник, в котором список грехов и недостатков не затенял справедливой оценки достижений поэтов. Двадцать лет назад Пол Джонсон был редактором единственного по-настоящему интеллигентного журнала в Англии «Нью стейтсмен»: в нем до сих пор теплится совесть интеллигента-социалиста. А Пол Джонсон за двадцать лет успел передвинуться так далеко вправо, что стал теперь защитником папы римского и лондонского премьер-министра. По какой-то непонятной теории относительности ему кажется, что он последователен в своих рассуждениях, пока прочая интеллигенция погрязла в фанатизме и цинизме.

Книгу Пола Джонсона тем не менее стоит прочитать, прежде чем бросить в костер. Надо напомнить и интеллигенции, и всему миру, что есть опасные люди, фальсификаторы, как американка Лилиан Хеллман, или бунтовщики, превратившиеся в сталинистов, как Бертольт Брехт. Но тот факт, что интеллигенты часто обманывались и промахивались, должен приближать их к нам: при всей своей гениальности они остаются человеческими существами.

И вот еще что: Руссо мыслил с подлинной оригинальностью. Толстой выразил то, что раньше другие только смутно ощущали. Бертран Рассел основал современную логику, а Брехт — современную политическую драматургию, Фассбиндер впервые снял кошмары, преследующие современного европейца. Пол Джонсон же в поисках скабрезного разграбил десятка два недавно вышедших биографий, даже не выразив авторам своей благодарности, и затем прибавил от себя идиотскую мысль, что надо защитить государство от власти интеллигентов. Сравнивая Троцкого со Сталиным, Альенде с Пиночетом, Майкла Фута с Тэтчер, Пуанкаре с Петеном, Пол Джонсон демонстрирует полную безмозглость. А ведь такие книги продаются в каждом крупном лондонском книжном магазине и рецензируются в каждой качественной газете рядом с произведениями тех великих интеллигентов, которых Пол Джонсон оклеветал.

ДУЭЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

В «Каменном госте» у Пушкина и у Даргомыжского Дон Жуан убивает соперника на дуэли, и Лаура, которая тому причиной, несмотря на кровавые пятна на ее же ковре, смеется: «Вечные проказы». С точки зрения нашей современной гуманности очень трудно понять, почему интеллигентные, чувствительные люди считали дуэль самым естественным, даже порядочным явлением. Сегодня дуэль существует только в глухомани: недавно бывший президент Уругвая бросил перчатку назойливому журналисту; семь лет назад в Шотландии два обвиняемых грабителя требовали по старинному шотландскому закону вместо суда поединка с главным прокурором Эдинбурга. Прокурора спас тот факт, что грабители забыли заранее бросить ему белый платок в лицо. Дуэль вянет от насмешек.

Но взгляните на историю дуэли и увидите, что она не была таким бессмысленным кровопролитием, каким ее изображают. Напрашивается вывод: дуэль — это один из способов естественного отбора самцов и узаконивания убийства. Если бы лани могли говорить, они сразу объяснили бы суть дуэли. В стаде оленей достаточно одного самца на сорок самок. Значит, лишние тридцать девять самцов должны каким-то образом установить иерархию. Одиннадцать месяцев в году самцы-олени живут в мире и согласии, а во время течки бьются смертным боем. Ланям не важно, с кем они будут спариваться. Пока самцы расправляются с делами чести, они пасутся. В этом смысле Лаура, спокойно выжидающая, кто кого убьет, поступает по законам природы.

Олени — рогами, Дон Жуан и Дон Карлос — шпагами по всем дарвинистским правилам устанавливают, кто достойнее жить и размножаться. А к началу девятнадцатого века шпаги заменили пистолеты, и немощный опытный старик мог спокойно сражаться со здоровым, умным, но невезучим молодцем. Дуэль начала щадить хилых и озлобленных и стала нравственной проблемой. Профессиональный убийца-психопат — хотя бы Толстой-Американец в жизни (родственник писателя) или Соленый в литературе — угрожал общественному благополучию.

И в Англии какое-то время дуэль была до того распространена, что и армия, и высший свет принуждены были объявить ее вне закона. Около Лондона были кабаки, куда на пути к дуэли счастливые дуэлянты заезжали, заказывая пистолеты на двоих и шампанское на одного. После наполеоновских войн, когда армия должна была беречь оставшихся в живых офицеров, подобные заведения закрыли. Но дуэль исчезла не сразу. Некоторые старшие офицеры смотрели на нее как на упражнение в храбрости или как на увлечение в скучное мирное время. Ведь статистика английских дуэлей показывает, что она вряд ли была опасней для жизни, чем попойка и дом терпимости. Смертный исход составлял около четырех процентов, то есть один смертный случай на четырнадцать дуэлей.

В литературе, конечно, дуэль сыграла огромную роль, особенно в мотивировке фабулы. Не только столкновения героев и нагнетание напряжения, но и сюжетные перипетии у Пушкина и Лермонтова «вытекают» из дуэли, как позже у Толстого и Достоевского — из вокзала и железнодорожного вагона.

Дуэль уже осмеяна, но и современный самец испытывает тягу к смертельной опасности, чтобы доказать свое право на самку. Вот почему на машинах «порше» ездят по автостраде со скоростью двести километров в час, или пьют залпом бутылку шотландского виски, или летают с кинокамерой в Бейрут. Не стоит забывать, что Ромео понравился Джульетте не только из-за красивых глаз, но и тем, что убил ее двоюродного брата на дуэли.

БРИТАНСКИЙ ЮМОР

«Британцы,— говорил один американец,— утратив империю, не находят себе роли». А может быть, роль найдена: мировые жандармы превратились в шутов. Британский юмор распространяется по всему миру в формах ярких и нелепых. Забудьте мистера Пиквика или Алису в стране чудес: телевидение вам покажет маниакального Бэзила Фолти, владельца гостиницы, где гости подвергаются тяжким унижениям, которые «Интуристу» могут только сниться, или вы увидите актера Роана Эткинсона в сериале «Черная гадюка» в роли средневекового аристократа, по сравнению с которым Василий Шуйский — принципиальный моралист.

Но в чем суть британского юмора и почему Бог наделил именно наш степенный народ таким бесцеремонным отношением к его творению? Недавно в издательстве Оксфордского университета импровизатор Фрэнк Мюир, сам талантливый юморист, после пятнадцати лет уморительного труда издал оксфордскую книгу юмористической прозы. На тысяче ста страницах этого сборника поместилась только крошечная доля гениального юмора последних пятисот лет.

У меня болит кадык от сдавленного хохота, но определить суть британского юмора я тем не менее не могу. Легко сказать, чем он не является! Это не остроумие — британцы не очень ценят меткие афоризмы; это не смех сквозь слезы — редкий юморист подталкивает своих читателей к покаянию. Можно сказать, во-первых, что лицемерие и юмор — это чет и нечет одной и той же монеты. На английском языке, где так много слов-омофонов и естественных каламбуров, очень трудно высказываться однозначно, недвусмысленно. Пользуясь двурушничеством, лицемер прячется от читателя, а юморист приоткрывает душу.

Юмор — это мщение тонкое и ядовитое. Возьмите, например, добродушные наблюдения Сэмюэла Батлера о женитьбе знаменитого, но несносного мыслителя Карлейля: «Да, Бог был очень добр, когда он разрешил брак Карлейля с госпожой Карлейль, и таким образом сделал несчастными не четырех, а двух людей». Особенно мстительны женоненавистники, которые умеют казнить, не проливая крови, тех страшных теток, по сравнению с которыми стюардессы «Аэрофлота» само обаяние. Вообще, английского юмориста сильно травмируют властные женщины. У гениального Вудхауса «тетя кличет тетю, как мамонты, ревущие через допотопные болота», и даже невеста героя «могла бы мерещиться Ибсену в один из его менее легкомысленных часов». Юмор — это подрывная деятельность против власть имущих — против матриархата, политиков, интеллигентов, иностранцев и даже против самого себя; вот как Вудхаус охарактеризовал англичанина за рубежом: «Его лицо сочилось тем хитрым стыдом, с которым англичанин провозглашает, что он сейчас заговорит по-французски».

Юморист развивает искусство фантастического сравнения. Родоначальником такого юмора был Лоренс Стерн, автор «Тристрама Шенди», без которого повествовательные приемы Гоголя немыслимы. Вот опять Вудхаус о беспомощном боксере, у которого шансы на победу равны шансам «однорукого слепого в темной комнате, который старается раскаленной иглой влить полкило расплавленного масла в левое ухо дикой кошки».

Даже в английской поэзии есть оттенок цинического отчаяния, возьмите, например, строки Ларкина: «Человек передает человеку страдание. Оно усугубляется, как матерковая отмель. Сматывайся как можно скорее и сам не плоди детей». Британский юмор жив тем, что он проповедует тайный обывательский нигилизм. Знаменитый священник-юморист преподобный Сидни Смит не мог не высмеивать всякую святыню. «В раю,— говорил он,— я буду кушать паштет из гусиной печенки и слушать трубы». Его не сделали епископом, и, обращаясь к собрату-счастливчику, он подытожил свою жизнь так: «Мы с тобой — исключения из законов природы. Ты с твоей весомостью поднялся, я со своей легкостью потонул». Власти понимают суть юмора и не гладят юмористов по головке. Вудхауса с жадностью читает королева-мать, а он жил в ссылке в Америке, и лишь за шесть недель до смерти, когда ему стукнуло девяносто три года, британский премьер-министр устыдился и произвел его в кавалеры.

Современные юмористы чуют своего врага. Джентльменский журнал «Панч» вымер: его заменил «Прайват ай», и новым оружием стали безжалостные и похабные личные нападки. Бедному мужу Тэтчер, любящему выпить Деннису, в «Прайват ай» приписывался дневник, который высмеивал его вместе с друзьями и министрами как развращенных черносотенцев. Маргарет Тэтчер родилась без искры юмора, и юмористы в конце концов свергли ее.

■

Трибуна переводчика

А. КАРЕЛЬСКИЙ

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА И ЕГО «СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СЛУХ»

«Иностранная литература» уже писала о скончавшемся в прошлом году замечательном германисте Альберте Викторовиче Карельском (см. № 8, 1993). Будучи тонким исследователем с безукоризненной репутацией (его две книги «От героя к человеку» и «Драма немецкого романтизма» были раскуплены мгновенно!), Альберт Викторович был также известен как талантливый переводчик. В его переводах вышли драмы Ф. Хеббеля «Агнеса Бернауэр», «Гиг и его кольцо», повесть Х. Додерера «Последнее приключение», цикл новелл «Три женщины» Р. Музиля, «На полном скаку» М. Вальзера, «Письма к Милене» Ф. Кафки, прозу З. Ленца, Кристы Вольф, У. Пленцдорфа, Г. Броха и Макса Фриша; стихотворения Й. Эйхендорфа, Г. Гейне, А. Ламартина, В. Вордсворта, Ф. Ницше, Р. М. Рильке, Г. Бенна и многих других авторов.

Время от времени Альберт Викторович выступал в роли составителя антологий, двуязычных изданий и как аналитик перевода. Одна из его последних показательных работ в этом жанре — предисловие к подборке русских переводов стихотворения «О фонтанах» Р. М. Рильке («Иностранная литература», 1990, № 7). Ниже мы публикуем статью по проблемам перевода из архива Альберта Викторовича. Это текст лекции, прочитанной, вероятно, перед аудиторией переводчиков (дата, к сожалению, неизвестна).

Во избежание возможных недоразумений я хочу прежде всего определить, в каком качестве я перед вами выступаю. Меньше всего я профессиональный теоретик перевода. В большей степени я могу считать себя переводчиком-практиком, поскольку я переводил (с немецкого языка) произведения разных жанров, и они публиковались. Но «теоретические» проблемы перевода меня интересуют — в том смысле, что я всегда охотно и с интересом читаю книги и статьи, трактующие вопросы художественного перевода. Правда, интереснее всего для меня опять-таки рассуждения не собственно теоретиков, а практиков. Я думаю, что если хочешь учиться переводить, то в качестве учебника гораздо больше пригодится не какая-нибудь книга под названием «Теория перевода», а книга К. И. Чуковского «Высокое искусство» или размышления об этом искусстве других наших замечательных переводчиков: Норы Галь, Николая Любимова, Риты Райт, Льва Гинзбурга. Все эти мастера не создавали «теорию» — они делились секретами ремесла, они учили решать задачи — решать не по готовым формулам, а исходя из каждого конкретного случая. Конечно, есть такие задачи, которые касаются азов ремесла, самых элементарных навыков, но ошибки, допускаемые в них начинающим переводчиком, таковы, что после первого же указания на них больше уже не повторяются; и потому для этого достаточно опять-таки одного «сеанса» работы с опытным редактором-переводчиком. Большинство же задач, по моему убеждению, не укладывается в теоретические формулы. Тут нужно много чего другого.

Вот я сегодня и попытаюсь, отталкиваясь от выделенной мне темы в программе, посмотреть на эту тему и разные ее аспекты глазами практика.

Творческая индивидуальность переводчика... Конечно же, переводчик художественного текста должен прежде всего быть творческой индивидуальностью, но если вы думаете, что этим проблема и исчерпывается, вы ошибаетесь. Вопрос о творческой индивидуальности переводчика оказался одним из самых острых в последнее время; во всяком случае, нескончаемые дискуссии по проблемам перевода, периодически вспыхивающие то в «Литературной газете», то в «Литературном обозрении», больше всего накаляются у этой точки. Как я уже сказал, я давно слежу за этими ожесточенными дискуссиями и уже давно пришел к убеждению, что они напоминают диалог глухих. Это потому, что одна сторона в них просто не хочет слышать другую, ибо самые простые вещи, которые та отстаивает, эту никак не устраивают. И вот первая сторона снова и снова навязывает другой ложные недоумения, дилеммы.

Одна из этих ложных дилемм такова: переводчик как творческая индивидуальность имеет право отступать от оригинала — иначе он превратится в механического копииста и буквалиста. (Речь идет прежде всего о переводе поэзии.) Защитники творческой индивидуальности убеждены, что переводчику дозволена полная свобода, а всякий упрек в излишней вольности он воспринимает как посягательство со стороны бескрылых, нетворческих, непоэтических буквалистов. По этой логике, стремление к верности оригиналу непременно должно убить поэзию. Либо полная свобода — либо иссушение, чахотка, смерть поэзии. Вот это я и называю ложной дилеммой. Когда в качестве альтернативы предлагается ни много ни мало смерть поэзии — остается, конечно, принять навязываемые условия! Пусть себе апологеты творческой индивидуальности вольничают как хотят и публикуют что хотят. Это очень напоминает старую дилемму «кошелек или жизнь».

Но, слава Богу, на самом деле положение не столь безвыходно. У нас существует вполне прочная традиция такого перевода, когда верность смыслу сочетается с поэтичностью. Таковы, например, переводы В. В. Левика из Гейне.

Вообще для такой традиции — для переводов В. В. Левика, Л. В. Гинзбурга — не существовало самой вышеозначенной дилеммы. Да и не только для современных переводчиков — для всех русских поэтов-переводчиков, начиная с Жуковского, как-то само собой полагалось, что ни точность не должна непременно ущемлять поэтичность, ни поэтичность — исключать точность. Это были два непременных условия профессионального труда и профессиональной этики, если угодно. Переводчик бился именно над этой проблемой — не исказить смысла и в то же время сохранить по возможности в полной мере также и поэтическое звучание подлинника. Если точный смысл оказывался в словах выраженным коряво, прозаично, переводчик отбрасывал найденное решение и искал нового, чтобы оно было не менее точным, но более поэтичным. *Искал, бился* — в этом-то все и дело.

Я убежден, что сегодняшние поборники переводческой свободы, эдакой неточной поэтичности, чаще всего и прежде всего жаждут облегчения труда. Я говорю так не по наитию. Мне приходилось не раз выступать также в роли редактора поэтических переводов — и не раз повторялась такая ситуация. Говоришь переводчику: вот здесь утрачен очень важный смысл. Он ощетинивается: нельзя же все передать точь-в-точь, вы хотите буквальности, а в поэзии она невозможна; главное — что строка по-русски поэтична. Я говорю: а все-таки вы попробуйте. И что же? В другой раз приходит измученный, в душе не очень довольный (топчется на том же месте, а мог бы уже за это время что-нибудь другое перевести!) — однако перевод-то хороший! И смысл соблюден, и поэзия осталась! Один из моих коллег-переводчиков откомментировал эту ситуацию просто: чтобы соединить поэтичность с точностью, надо просиживать штаны, а всякому ли этого хочется?

Сплошь и рядом такое искусственное противопоставление точности и поэтической свободы происходит от неосознанной филологической неграмотности. Что я имею в виду? Сейчас широко распространилась практика переводов с подстрочника, когда переводчик не знает языка оригинала, но лишь является поэтом либо считает себя таковым и потому придает поэтическую форму прозаическому переводу, сделанному человеком, знающим язык. Мы еще вернемся специально к этой ситуации, пока же отметим лишь вот такую ее черту. Когда человек не знает иностранного языка, он, как правило, бессознательно убежден в том, что всякому слову в чужом языке всегда соответствует какое-нибудь определенное, «точное» слово в родном языке и что любая переведенная фраза представляет собой механическую сумму вот таких «точных» слов. Но он и знает также, хотя бы из опыта чтения подстрочников, что сумма «точных» слов сплошь и рядом оборачивается на родном языке корявостью, неуклюжестью. Вот он и ополчается на «точность», полагая, что она неминуемо влечет за собой неуклюжесть.

Но те, кто изучает иностранные языки, знают, что филологически,

лингвистически понимаемая точность отнюдь не предполагает автоматического соотношения между словарями обоих языков по принципу: одно слово — одно соответствие. Большинство слов языка многозначны, одно и то же общее значение может быть передано разными словами на другом языке, в зависимости от ситуации. Вопрос о точности, таким образом, здесь не в том, чтобы знать весь диапазон, ореол смыслов, заключенных в слове, а выбрать из них тот смысл, который более всего подходит к общей изображенной в данной фразе смысловой ситуации. Но такое знание слова предполагает, конечно, глубокое знание чужого языка вообще. Вот тогда появляется и истинная свобода: она в выборе нужного значения из множества присутствующих, имманентных слову.

Итак, поостережемся с самого начала презирать «точность». Конечно, если понятие точности отождествлять с понятием буквализма, тогда другое дело. Буквализм, калька — это плохо. Если «точность» понимать как максимальное сохранение смысла подлинника, *верность* ему, то такая «точность» — первейшая задача переводчика. Если он не хочет сохранять этот смысл, тогда пусть не претендует на звание переводчика, пусть не ставит над стихотворением имя оригинального поэта. Пусть ставит свое имя, а стихотворение озаглавливает: «По мотивам такого-то» или «Из такого-то». Нельзя приписывать другому поэту свои фантазии, даже если они вполне поэтичны. Казалось бы, это так же ясно, как простая гамма. Однако нам снова и снова навязывают этот спор, снова и снова пытаются внушить, что верность смыслу принципиально невозможна, а потому «творческой индивидуальности» все дозволено. Не верьте этой логике, не поддавайтесь ей. Уважайте имя и славу того поэта, которого взялись переводить. Жертвуйте своими фантазиями этому имени и этой славе. Первая и высшая добродетель переводчика — самоотречение, готовность раствориться в другом поэте. Если вы к этому не готовы, пишите свои стихи, а не переводите.

Года два-три тому назад в «Литературной газете» появилась очередная статья, страстно ратовавшая за права личности переводчика. Автор возмущался величайшей несправедливостью, что-де не стоит у нас имя переводчика наравне с именем переводимого поэта. А есть-де, мол, переводы, в которых в полную меру воплотилась творческая индивидуальность самого переводчика, и тогда это в такой же мере его стихи. В доказательство приводились два стихотворения, очень хорошие. Одно было взято из сборника стихов армянской поэтессы Сильвы Капутикян. Но разве не слышится отчетливо в обоих этих стихотворениях, патетически восклицал автор, голос переводившей эти стихи Беллы Ахмадулиной? И разве не величайшее наслаждение для читателя — узнать здесь неповторимый голос этой поэтессы?

Простодушие этого рассуждения обезоруживает — или обескураживает. Ну ладно еще, когда речь идет о Сильве Капутикян; допустим, что для нее лучше заговорить по-русски голосом Беллы Ахмадулиной, чем голосом какого-нибудь бесталанного переводчика-строчкогона. Но вот Карло-то Каладзе каково? Каково мужественному и гордому горцу заговорить вдруг ломким и хрупким, таким до предела, до надрыва женственным голосом Беллы Ахмадулиной? Логика автора статьи сама себя высекла.

Поймите меня правильно — в данном случае мне важна была именно логика подобных рассуждений. Я не ставлю под сомнение ни поэтический, ни даже переводческий талант Беллы Ахмадулиной; чтобы оценить по достоинству второй, надо прочесть оба стихотворения в оригинале, а я не знаю ни грузинского, ни армянского. Но вот логика подобных «теоретических» рассуждений тут в особенно острой, уже анекдотической форме обнаружила свою несостоятельность, я бы сказал, невежество. Автор, конечно, тоже не знал ни грузинского, ни армянского, но счел, что он все равно вправе судить о проблемах перевода. Единственный факт, за который он мог в данном случае ухватиться,— тот, что он «распознал» знакомый ему голос; и этот факт должен был придать убедительность его рассуждениям.

В данном конкретном случае проблема получила комичный оборот, но на самом деле мы коснулись здесь той точки, на которой она приобретает в самом точном смысле слова этический характер. В какой мере дозволено — и дозволено ли вообще — навязывать другому автору свой голос, свою метафорику, свою интонацию, свое видение мира?

Причем, если мы имеем дело с живущим автором, это одно, здесь, по крайней мере, есть еще — хотя бы теоретически — возможность установить истину. Приведу случай из своей практики. Он тоже несколько анекдотический, но для пояснения мысли годится. Однажды я редактировал очень хороший перевод повести современного писателя ГДР. В этой повести в потоке вполне «нормального» повествования-воспоминания вдруг появляется фраза, в которой все слова были написаны слитно друг с другом, без интервалов. Сама по себе — по смыслу — фраза тоже была вполне обычная, она логически продолжала предшествующую фразу, а следующая

за нею фраза столь же логически продолжала ее. Переводчик и в русском тексте вставил «сплошную» фразу, соединив все слова в одно. Я говорю: странная какая-то история, и вообще, по-русски совсем дико выглядит на общем «нормальном» фоне это слипшееся, склеившееся предложение. Но переводчик запротестовал против какого бы то ни было вмешательства и развил целую теорию насчет того, что в данном случае это вполне осознанный художественный прием, полный глубокого смысла, и вдохновенно мне эту глубину стал объяснять. Я уже почти был убежден, почти сдался. Тем более что текст-то — перед нами обоими, а там черным по белому все склеилось! Но все-таки загадку эту мне хотелось разрешить — и, слава Богу, была реальная возможность: с этим писателем я давно знаком, у меня и другие накопились к нему вопросы в связи с этим изданием. Я позвонил и спрашиваю, в частности, об этой фразе. «Боже мой,— говорит он,— я так раздосадован, это глупая чисто типографская ошибка, которую вовремя не сумели исправить!»

Загадка разрешилась. Это я к тому, что с живущим писателем всегда остается возможность узнать, а что же думал «первоисточник». Но вот с умершими писателями совсем другое дело: они-то совсем беззащитны, они уже не смогут сами протестовать, когда им навязывают чужой голос, когда их так или иначе искажают. Переводчик должен осознавать всю ответственность этой ситуации! Его творческая индивидуальность не безгранична, и он не имеет нравственного права объявлять ее безграничной!

С другим переводчиком, тоже очень талантливым, мне пришлось работать над поэтическим переводом из немецкого классика. Как редактора, а больше-то, в общем, как человека, влюбленного в этого классика, меня многое в переводе смущало, казалось как раз слишком буквальным, слишком утяжеленным, иной раз по-русски неловким, неудобочитаемым. Причем я совсем не ставил этого переводчику в вину (текст был большой, очень сложный, и тут невозможно было сплошь «парить»), отдельные «недоделанные» места тут так естественны. Мне казалось, что тут надо быть только благодарным редактору — просто как лишнему глазу, «постороннему» взгляду, обратившему внимание на шероховатости. Сам-то ведь не всегда все видишь! Иноязычный текст обволакивает, к нему привыкаешь и иной раз *непроизвольно* идешь у него на поводу,— это, повторяю, лишь естественно. (Часто замечаешь свои собственные грубейшие промахи только через некоторое время, когда текст «полежал» и ты смотришь на него свежими глазами уже без магии чужеродной языковой стихии, уже как читатель русского текста! И сразу видишь: что же это я такое наворотил! Это же не по-русски!)

Но тут я совершил тактическую, вернее — психологическую ошибку. Я не просто указывал на промахи, я иной раз предлагал свои варианты решений, которые мне приходили сразу «на свежую голову» и представлялись более удачными. И вот я чувствую, что атмосфера накаляется, что мои советы раз от разу встречают все большее противодействие, что прежние варианты отстаиваются все ожесточенней даже в тех случаях, когда они явно неудачны. Я не сразу осознал свою ошибку. Мне казалось: ну разве может в такой ситуации иметь какое-то значение авторское самолюбие — переводчика ли, редактора ли? Что мы будем считаться, чей вариант в каждом конкретном случае лучше — его ли, мой ли,— когда мы должны думать лишь о нем, о третьем, об этом писателе, которого мы собираемся представить русскому читателю. Лишь бы он был лучше! Но это, повторяю, была психологическая ошибка, хотя установку я считаю единственно верной: *думать только об «интересах» переводимого автора.* Но задача редактора (особенно в случаях, когда у переводчика обостренное самолюбие) — прежде всего указать на «недоделку» и объяснить, чего не хватает, а не придумывать за переводчика «варианты». Пусть он сам подумает, поразмыслит, подвоспарит еще выше. Если он хороший переводчик, у него и без тебя хорошо получится. В этом я впоследствии не раз убеждался.

Но, повторяю, заповедью переводческого труда должно быть *сознательное ограничение своей творческой индивидуальности в пользу переводимого автора.*

Не решайте поспешно, что я тем самым «давлю» творческую индивидуальность. В таком самопожертвовании есть своя виртуозность, своя высокая красота — красота владения ремеслом, профессией. Тут масса возможностей для удовлетворения творческого самолюбия. Разве не высокое искусство — уметь заговорить голосом Бодлера, а потом голосом Байрона, а потом голосом Гёльдерлина! И неужели в самом деле читателю будет радостней, если и Бодлер, и Байрон, и Гёльдерлин заговорят все одним голосом Иванова, или Петрова, или Сидорова? Иванов, конечно, останется Ивановым — но не Байроном! Читатель может сказать: хороший Сидоров поэт — но не Бодлер!

Пренебрежение «точностью», дискредитация этого принципа опасна именно тем, что они широко открывают шлюзы для невольного — или вольного! — насилия над оригинальным автором, для безответственного, бесконтрольного воль-

ничания, для облегчения труда тем переводчикам, которые лишь считают строчки, а таких, уверяю вас, очень много. И это именно им в первую очередь мешает требование точной и верной передачи поэтического смысла. Ну и, конечно, тем, кто переводит, не зная языка, с которого переводит.

Это вообще особая проблема, и уж коль скоро я заговорил фактически об изначальных установках переводческого труда, скажу вкратце и об этом. Если смотреть на вещи реально, то без перевода с подстрочником нам сейчас, конечно, не обойтись. Огромное количество произведений, создающихся на языках народов нашей страны, должно, конечно, делаться достоянием всех ее читателей, должно переводиться на русский язык. Точно так же при переводах зарубежных авторов, представителей многочисленных малых наций невозможно пока найти такое количество поэтов-переводчиков, владеющих языком, да еще и талантливых. Но надо и четко осознавать, что это — *сугубо вынужденная процедура,* к которой мы прибегаем не от хорошей жизни. Между тем совсем недавно один наш талантливый поэт счел нужным пуститься в теоретические обоснования «законности» перевода с непонятного тебе языка. Логика была проста и нам уже знакома: сначала создается устрашающая картина того, как бездарный, непоэтический сухарь-книгочей, просидевший штаны над скучным делом изучения чужого языка, плохо, буквалистски, коряво переводит высокую поэзию. После того как возведен этот жупел, ему противопоставляется некий вдохновенный поэт божьей милостью, который мгновенно все улавливает с чужого пересказа, тут же без всякого усилия воспаряет и выдает перл творенья. Странно и горько было читать эту воинствующую защиту логического и филологического невежества. Человек, по самому роду своих занятий претендующий на владение последними тайнами языка, настолько не представляет себе азов его строения, что считает возможным вообще без него воссоздать произведение чужой культуры! Ну и, разумеется, возмездие не заставило себя ждать: нашелся досужий критик, насмешливый зоил, который вгляделся в переводы самого этого поэта и процитировал массу строчек глубоко и изначально анекдотических — причем с точки зрения русского языка! Может быть, прием не совсем корректный: знал или не знал поэт чужой язык, ничто не заставляло его создавать корявые русские строчки, но уж если ты считаешь, что знающие язык только и способны создавать корявые строки, то хоть сам-то таких не создавай!

В свое время Шоу язвил по поводу одного дурного перевода на английский: «Автор переводит с французского на другой, тоже неизвестный ему язык. Это было сказано о переводчике-англичанине, знавшем, конечно, французский,— просто плохо переводившем. Мог ли Шоу предположить, что его острота не только приобретет буквальный смысл, но и будет поднята в качестве знамени, теоретического обоснования переводческой практики? До такого парадокса едва ли додумался бы даже этот завзятый парадоксалист.

И опять-таки: поэт в данном случае простодушно и неколебимо убежден, что подстрочник дает ему исчерпывающие сведения об оригинале — во всяком случае, все что надо. Больше ему не нужно. Для него соотношение подстрочника и оригинала — как один к одному. Ему и в голову не приходит, что в чужом языке, как и в его родном русском, слово не только тоже многозначно по своей внутренней, имманентной форме, но и нагружено многочисленными окказиональными дополнительными смыслами, создаваемыми контекстом данного произведения, шире — контекстом творчества поэта, еще шире — контекстом данной национальной культуры. Всякий подстрочник — это уже ограничение смысла, уже определенный выбор из нескольких возможных. Эта проблема приобретает особую остроту в случае с поэзией XX века — поэзией, в которой высказывание сплошь и рядом строится не на прямом смысле слова, а на связях по ассоциации, на внушении этих связей, то есть на принципе косвенности, метонимичности. В этом случае «верный» подстрочник — если он действительно идеально верный! — уже, по сути, и есть поэтический перевод, только что не зарифмованный. И поэту, имеющему дело с таким вот «идеальным» подстрочником, право же, гораздо более приличествует скромность, а не занос, потому что на самом-то деле, если угодно, он выступает всего лишь в роли рифмователя, а это уж не бог весть какая сложная задача. Если же еще и подстрочник сделан наскоро, приблизительно, упрощенно, непоэтически, то роль рифмователя, его «творческой индивидуальности», становится вдвойне, втройне двусмысленной! Она весьма смахивает на роль последующего участника игры в испорченный телефон — роль не очень-то завидную. Так что уж тут для высокомерия меньше всего оснований.

Заостряя проблему, чтобы ее закрыть, я сказал бы так: только полная невинность в отношении чужого языка, только полное его незнание может породить такого рода установки. Это, так сказать, чистое невежество — невежество, которому не дано осознать всей своей глубины. Те же, кто хорошо знают чужой язык и поэзию

этого языка, знают, что верность и точность перевода — это и есть в этой сфере самый высокий пилотаж, самая достойная, потому что труднодостижимая, цель. Для них нет проблемы: точность или поэтичность, для них *точность* — синоним поэтичности. Если перед нами — поэтический шедевр, то точность его перевода на русский язык означает, что он и на русском языке должен быть поэтическим шедевром и не чем иным. Но — и это самое главное! — не за счет добавочных, каких попало красот, безотносительно к системе оригинала! Найти русскую языковую формулу, по сумме своих достоинств равноценную, адекватную иноязычному образу,— вот задача переводчика! Суметь заблистать в рамках, очерченных волей оригинального поэта, а не вырваться за эти рамки на более привычный для тебя простор!

Я бы сказал так: сфера проявления творческой индивидуальности поэта-переводчика — в умении щедро и бескорыстно оценить душу и личность другого поэта, перевоплотиться в него не как в соперника, которого желательно перещеголять, а как в собрата, в искренность которого надо поверить и полюбить его настолько, чтобы быть готовым безоговорочно принять на себя его судьбу. Переводчик, конечно, Протей, он обречен на перевоплощение, но в его перевоплощении, в его самоотречении нет самоуничижения; его «протеизм» — это широта души, широта диапазона его сострадательности.

И потому в идеале переводчик должен был бы очень тщательно, ответственно отбирать себе авторов для перевода, ибо, уж если вкладывать свою душу,— и желательно всю! — то надо четко сознавать, в кого ее вкладываешь. Надо отдавать себе отчет, способна ли твоя душа хоть на время зазвучать в унисон с этой чужой — и не искусственно, а искренне. Не решайте поспешно, что таким образом может резко ограничиться сфера применения ваших талантов; поэтическая душа на самом деле шире и многогранней, чем мы иной раз поначалу предполагаем.

Как вы могли почувствовать из всех пространных предшествующих рассуждений, для меня проблема перевода — проблема не только поэтическая (в смысле стилистическая, техническая), но и этическая; поэтика здесь неразрывно связана с этикой. В конце концов оригинальный поэт, сочиняя стихи, отвечает только за себя; переводчик, сочиняя перевод, берет на себя ответственность за чужую судьбу, за судьбу другого поэта. *Без этики в этой ситуации не обойтись.*

И я поэтому так подробно вдавался в общие рассуждения, что без этой базы, без этого раскрытия карт не считал себя вправе касаться никаких «чисто технических», практических проблем. Я не могу рассуждать о «творческой индивидуальности переводчика», не объяснив, что для меня эта творческая индивидуальность — не абсолютная свобода, а свобода добровольного самоограничения и, если надо, самоотречения. «Стилистический слух» переводчика — это не только чисто лингвистическая способность оценить стилистическую номенклатуру того или иного слова или фразеологизма, но и нравственная готовность настроиться в унисон, даже если чувствуешь, что тебе был бы ближе иной тон.

И тут я рискну высказать одно свое сугубо личное убеждение, которое «неподготовленных» может шокировать, но я честно старался вас подготовить. Я думаю, в отличие от нынешних ниспровергателей «буквализма» и защитников «поэтизма», что собственный поэтический талант, статус крупного оригинального поэта еще не есть достаточное условие и автоматическая гарантия идеального перевода, что, напротив, оригинальный и подлинный собственный поэтический дар скорее увеличивает риск перевода неадекватного, искажающего. Оригинальный дар способен подчас подавить возможность полного унисона именно потому, что он, этот дар, оригинален и неповторим. Слишком мощно звучит собственная музыка, собственная мелодия! И иной раз возникает гениальная аранжировка: как русское стихотворение она может быть прекрасна и безупречна, но она не столько перевод, сколько именно гениальная вариация на тему.

Вот пример для меня «классический»:

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок...

Разве не прекрасные строки? Какая блистательная звуковая аранжировка, какая безупречная поэтическая логика эмоции! Это — одно из лучших стихотворений

Пастернака — стихи поистине на его уровне, а в моей иерархии ценностей, скажу сразу, во избежание недоразумений, этот уровень — один из высочайших, из самых непререкаемых.

Но это еще и перевод одного из известнейших стихотворений Верлена. И вот тут начинаются вопросы — из тех, «проклятых», вопросов переводческой профессии. Звуковая аранжировка... Вот эти строки в оригинале:

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Quelle est cette langueur
Que pénétre mon coeur?

Даже и не зная языка, легко заметить, что эти стихи тоже демонстративно музыкальны. Так что один из самых очевидных принципов стихотворной структуры сохранен. Но сама мелодия, музыка в русском варианте столь же заметно иная.

Во французской строфе несущие гласные — закрытые, темные (pleure, pleut, coeur, langueur); несущие согласные — сонорные — l, r, причем преобладает плавная сонорная «l» (pleure, pleut, ville, quelle, langueur). В русской строфе несущая гласная — открытая, светлая «а» (растрава, с утра, право, такая хандра), несущая согласная — тоже сонорная, но не плавная, а раскатистая — «р». Музыка здесь громкая, по-пастернаковски торжественная, напористая, он любит аллитерации на «р»: «Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души» или «Лист смородины груб и матерчат».

Подходя к проблеме чисто формально, можно сказать: что вы придираетесь, ведь сам принцип ассонанса и аллитерации соблюден, что за педантизм, ведь нельзя же требовать, чтобы еще и звуки переводились теми же звуками! Важно, что музыка переводится музыкой! Но педант вам ответит: а давайте теперь проверим, в какой мере смысл, передаваемый музыкой у Верлена, переводится смыслом, передаваемым музыкой у Пастернака?

Слова, передаваемые этими звуками «ое», «е», «г», у Верлена такие: «плачется», «сердце», «дождь», «слабость», «вялость», «истома» (langueur). У Пастернака тоже есть «сердце» и «дождь», но кричат-то о себе не они, а опорные: «растрава», «право», «хандра». Чувствуете, как и *с этой точки зрения* выстраивается другой ряд и другой настрой?

Перейдем теперь от звуков и слов к фразам. Что говорит Верлен? Тут я вынужден буду давать подстрочник, насколько это возможно.

Плачется в моем сердце, как дождится над городом
(Слезы в моем сердце, как дождь над городом)
Что это за истома (тоска? слабость? расслабленность),
проникшая мне в сердце (наполнившая мне сердце).

Чувствуете, как эти жалобы просты и *приглушенны?* В центр смысла выходят *плач, слезы* (первые две строки обыгрывают созвучие по-французски этих двух понятий: «он плачет» и «идет дождь»). Этот тихий плач совсем исчез, вместо негромкой, монотонной жалобы появилась очевидная раздраженность:

И в сердце растрава, и дождик с утра,
Откуда же, право, такая хандра?

Раздраженность тут главенствует: она и в досадливом слове «растрава» (фонетически навязывающем, кстати, ассоциацию с раздражением), и в столь же досадливом вводном слове «право», и во всей царящей здесь стихии просторечия (тоже, как вы знаете, вообще-то «знак фирмы» Пастернака!). *И ничего этого нет у Верлена!* Перед нами — два разных поэта тоскуют в дождливый день в одиночестве — каждый по-своему! Верлен продолжает:

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie
O le chant de la pluie!

О мягкий шум дождя на земле и на крышах!
О песня дождя для томящегося сердца!

Продолжает Пастернак:

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок...

Не думайте о Пастернаке — думайте о Верлене. От магии русского стиха (и, между прочим, от магии имени!) нелегко избавиться, я все понимаю. Но все-таки: как бы неожидан и элегантен ни был этот «поворот винта», он — достояние одного Пастернака! Даже если счесть Верлена в этой строфе проще и хуже, он все-таки имеет право на свое достояние! (Как говорят немцы: klein aber mein [1].) Нет у Верлена того, что здесь приписано его имени! Нет этой скрытой иронии: шурши, шурши, дождик,— у меня будет предлог всплакнуть под твой шумок. Снова нет этого просторечия («под шумок»). К звуковой аранжировке добавилось плавное «я», но оно уже чисто формальный орнамент. Верлен по-прежнему просто плачет, просто жалуется — ведет одну и ту же монотонную, грустную мелодию, литанию — у Пастернака развертывается игра мысли, ирония, диалектика.

Верлен провозглашал в своем поэтическом манифесте: «De la musique avant toute chose!» — «Прежде всего — музыка!» Пастернак это прекрасно знал — он переводил и это стихотворение. И ему, поэту насквозь музыкальному, конечно же, невозможно было не учитывать этот принцип при переводе Верлена. Он его и учел, но, так сказать, как чисто технический общий принцип. Однако мелодию вывел свою, излюбленную, привычную. Унисона он не захотел; просто не подумал о нем, не придал ему значения.

А иной раз с большим поэтом бывает и наоборот: в переведенном им стихотворении вдруг появляются странные, корявые, натужные строчки, каких не встретишь во всем собрании его собственных стихотворений!

В свое время мне пришлось составлять стихотворный корпус нового русского издания избранных сочинений Гейне, и издательство просило меня решительно отвергать все неудачные переводы: либо мы попробуем дать совершенно новые, либо пусть лучше вообще не будет того или иного стихотворения, чем оно будет в неудачном переводе. Я увлекся этой задачей и решил работать по принципу «шифрованного», безымянного перевода: в случае с каждым стихотворением я читал его многочисленные переводы, по возможности не заглядывая в оглавление, где стоит фамилия переводчика, чтобы не поддаться магии имени,— вот такой конкурс. Выделял из всех переводов оптимальный (на мой взгляд, конечно) и затем справлялся об авторе перевода. И что же? Этого конкурса не прошли в большинстве своем переводы Фета, Тютчева, Блока! В чем тут дело?

Я объясняю это для себя вот как: поэт в данном случае сознательно не дает себе воли, понимая всю опасность чрезмерного вольничания; он, будучи сам поэтом, как бы *слишком* ценит волю оригинального поэта, чтобы отступить от нее хоть на йоту; он из тех же поминавшихся мною этических соображений предстает буквалистом. Вот она опять, вечная трудность переводческого искусства: плаванье между Сциллой и Харибдой.

Попробую показать это на одном примере — правда, не из Гейне, а из Гёте.

У Гёте есть прекрасная баллада «Певец». Я сперва процитирую вам ее начало в переводе, который представляется мне лучшим из тех, что мне известны.

«Что там за звуки у ворот,
За крепкими стенами?
Пустите песню — пусть войдет
И прозвучит пред нами!»
И паж мгновенно побежал,
Вернулся, и король сказал:
«Ко мне певца впустите!»

А теперь перевод, который меня в данном случае особо интересует:

«Что там за звуки пред крыльцом,
За гласы пред вратами?
В высоком тереме моем
Раздайся, песнь, пред нами!»
Король сказал, и паж бежит,
Вернулся паж, король гласит:
«Скорей впустите старца!»

[1] Маленький, но мой *(нем.)*.

Этот перевод — на меня, во всяком случае,— производит впечатление величественной руины необыкновенно прекрасного здания. Мы понимаем, что здание было прекрасным, даже, может быть, прекраснее, чем в первом случае, хотя там оно сейчас стройней. Но никуда не деться от того, что во втором случае все-таки руина.

Как невероятно тяжелы, громоздки, неловки две строки зачина: «Что там за звуки пред крыльцом, за гласы пред вратами?» — особенно эта вторая строка. Неловко и это «король гласит». Трудно представить себе, что стихотворение написано Тютчевым!

Но при сравнении с подлинником мы поймем и то, какую героическую борьбу вел Тютчев за адекватное воплощение красоты оригинала. В первом переводе — он, между прочим, принадлежит Михаилу Светлову — русский стих безусловно свободней, стройней. Светлов даже сохраняет опорные гласные в рифмующихся словах: у Гёте: Tor — schallen — Ohr — hallen; у Светлова: «ворот — стенами — войдет — пред нами»; и там, и там чередование «о-а-о-а». Но Тютчев хочет пойти еще дальше в передаче музыки оригинала: он учитывал, что оркестровка там еще богаче, чем только в рифмующихся словах, и он хотел сохранить все это богатство. Послушаем эти четыре строки в оригинале:

Was hör ich draussen vor dem Tor,
Was auf der Brücke schallen?
Lass den Gesang vor unserm Ohr.
Im Saale widerhallen!

Чувствуете, как нарастает здесь музыка и гармония, как все больше утверждает себя это широкое, звучное «а», подкрепляемое плавным «л» (и вдобавок эти ассонирующие слова еще и по смыслу связаны с музыкой, пением, резонансом: schallen — звучать, раздаваться; Gesang — пение, песнь, im Saale widerhallen — эхом звучать в зале, наполнить собой зал). И тютчевские строки: «За гласы пред вратами» — «Раздастся песнь пред нами» — были, очевидно, попыткой передать этот нарастающий вал звучания!

Больше того: в трех последних строчках строфы Тютчев ценит музыку и ритмику гётевского стиха острее, и он не согласен жертвовать ничем. Напомню вам эти строки в светловском переводе:

И паж мгновенно побежал,
Вернулся, и король сказал:
«Ко мне певца впустите!»

Здесь есть музыка, есть определенная динамика, сохраняется и это несущее «а» (паж, побежал, сказал, певца), но по сравнению с оригиналом все заметно ослаблено. Вот что в оригинале:

Der König sprach's, der Page lief;
Der Knabe kam, der König rief:
«Lasst mir herein den Alten!»

Тут, по-моему, даже без знания языка легко почувствовать строжайшую, поклассицистически стройную, симметричную архитектуру: две первые строки — это четыре грамматически абсолютно идентичные конструкции: подлежащее+сказуемое. Дословно:

Король сказал; паж побежал;
Мальчик вернулся, король воскликнул.

В таком русском буквальном подстрочнике это несколько все расплылось, потому что и глагольные формы разные по протяженности, и ударение на разных слогах; по-немецки, повторяю, математически безупречная соразмерность:

Der König sprach's, der Page lief;
Der Knabe kam, der König rief...

Вот где динамика и вот где гармония! И вот это все стремится передать Тютчев:

Король сказал, и паж бежит,
Вернулся паж, король гласит...

Но, конечно, хоть тут и соблюдена четырехчленность, архитектура все-таки несколько ослаблена, расшатана: разные глагольные времена, подлежащее и сказуемое один раз поменялись местами, возник однажды союз «и». У Светлова, однако, это все ослаблено еще больше:

И паж мгновенно побежал,
Вернулся, и король сказал...

Но, повторяю, хоть здесь много чего оказалось утраченным, само по себе это двустишие, если совсем отвлечься от оригинала, звучит по-русски естественней, раскованней, органичней. А Тютчев намекнул нам гораздо отчетливей на изначальную архитектуру, но ценой других утрат, нанесших ущерб естественности русского стиха. Вот и остается общее впечатление либо как от недостроенного прекрасного здания, либо от прекрасного здания, но уже полуразрушившегося. И вот в таких случаях я выбираю и предпочитаю перевод менее буквальный, но цельный, естественный, звучащий по-русски.

Не поймите меня, однако, из-за этих примеров так, что я вообще отрицаю возможность того, что талантливый оригинальный поэт способен адекватно («конгениально») перевести иноязычное стихотворение. Я всего лишь хотел показать — повторю это еще раз, ибо это для меня принципиально важно,— что сам по себе поэтический дар еще не есть заведомая гарантия конгениальности перевода, что и профессиональные поэты отнюдь не застрахованы от неудач. А пример с Тютчевым и Светловым показывает, что мера и адекватности, и поэтичности в каждом отдельном случае своя, каждый раз как бы создается заново. Тут трудно, едва ли возможно выработать четкую систему «беспроигрышных» правил и принципов. Безусловно, что стихотворение *не должно* оставлять ощущения *переведенности,* оно должно звучать так, как если бы это было оригинальное хорошее стихотворение русского поэта; но безусловно также и то, что оно не должно искажать смысла подлинника, что «естественность» не должна покупаться ценой слишком решительных, непоправимых утрат и смысла, и формы оригинала. А вот какова *мера допустимости,* какая жертва еще допустима, а какая нет — это уже особая проблема, и вот тут-то, по моему убеждению, и невозможны никакие правила, этого не высчитать математически, это можно решать, повторю, лишь в каждом конкретном случае. На том же примере со Светловым и Тютчевым я старался показать, что Светлов, на мой взгляд, сумел сохранить меру достижений и утрат: при всех утратах его перевод я считаю удавшимся; Тютчеву не удалось соблюсти эту меру: при всех достижениях я считаю его перевод неудавшимся. Освоить эту меру можно только на практике, посредством новых и новых «тренировок».

Что же касается переводческих способностей больших поэтов, то еще раз прошу: не приписывайте мне, так сказать, узкопереводческого «нигилизма». Помните, что я при отборе примеров Тютчеву противопоставил не безвестного переводчика Имярек, а все-таки Светлова. Можно привести и другие примеры гениальных переводческих удач гениальных поэтов. Например, я считаю таковым «Горные вершины» Лермонтова, хотя, строго говоря, это тоже переложение, вариация — прежде всего с резко переломленной ритмикой: вместо свободной формы — форма строго силлабо-тоническая. Но настолько совершенно переданы настроение, эмоция, тон и музыка этой эмоции (кстати, и при довольно точных смысловых и лексических соответствиях), что все утраты, на мой взгляд, компенсируются этим с лихвой. Во всяком случае, из предпринимавшихся попыток перевести это стихотворение с точной передачей ритмического рисунка ни одна не показалась мне достойной стать хотя бы вровень с лермонтовской вариацией.

Еще один яркий пример конгениального перевода поэта поэтом — бодлеровская поэма «Плаванье» в переводе Марины Цветаевой. Упоминаю об этом переводе еще и для того, чтобы оградить себя от упреков в банальном буквализме. Цветаева менее всего буквальна в своем переводе, частными образами Бодлера она распоряжается как хочет — что выбросит, а что и добавит,— но вот тут принцип унисона работает безупречно. Ни один из добавленных Цветаевой частных образов не диссонирует с общей тональностью бодлеровской поэмы, перевод выдержан строго в том же ключе; иной раз может показаться, что чисто бодлеровский накал усугубляется еще и цветаевским, но опять-таки собственная бодлеровская мера накала так велика (особенно если иметь в виду всего Бодлера, а не только эту поэму), что скрупулезные градации тут утрачивают смысл. Ясно, что здесь Цветаева нашла свое, созвучное, кровно родственное и, прежде чем загреметь и засверкать, растворилась в бодлеровской стихии щедро, без остатка. Они уже оттуда, эти громы и молнии, и когда перед нами такое слияние, что уж тут считать, какого происхождения каждый конкретный разряд.

Мы публикуем также ранее не печатавшуюся переводческую работу Альберта Викторовича. Это XXXIX сонет Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла», единственное обращение к творчеству этого французского поэта.

Тебе слагаю стих; пусть, если голос мой,
Пройдя сквозь шквал веков, когда-нибудь пристанет
К грядущим временам и грезой затуманит
Потомков наших взор в тоскливый час ночной,—

Пусть каждому из них тимпаном в сердце грянет,
Как вспомнившийся сон, туманный образ твой,
Пускай он обоймет, как цепью роковой,
Мой богохульный стих святым напоминаньем.

Ты проклята людьми; меж небом и землей,
В геенне и в раю,— лишь я один с тобой!
Бесплотными, как тень, бессмертными стопами

Прошла ты меж людьми, не стоившими слез,
И гордо поднялась над злобой и хулами,
Как каменный кумир, как пламень черных звезд!

Публикация подготовлена
ОЛЬГОЙ ВАЙНШТЕЙН

■

МАЙКЛ ИГНАТЬЕФФ

Рубец

Michael Ignatieff. Scar Tissue. «Viking»

Канадец Майкл Игнатьефф добился признания как писатель-историк в 1990 году, когда получил премию Генерал-губернатора за «Русский альбом» — книгу о своих предках (он внук последнего царского министра образования Игнатьева и княгини Мещерской). «Рубец» — его второй роман, финалист премии «Букер» 1993 года. В центре внимания обыкновенная семья: отец, мать, двое взрослых сыновей. Старший — невропатолог, живет в Бостоне и в родном доме бывает наездом. Младший — философ, от его лица и ведется повествование.

Роман начинается с эпизода смерти матери, страдавшей наследственным заболеванием. Для сына-врача это — тяжелый случай с летальным исходом, для сына-философа — потрясение. Не в силах примириться с утратой, он вновь и вновь воскрешает облик матери, мысленно возвращаясь в прошлое — и далекое, и недавнее, когда он мучительно переживал превращение близкого человека в полувменяемое существо.

В заботах о матери он забыл о собственной семье, стал менее внимателен к отцу, и именно тот неожиданно первым уходит из жизни. Сыновья вынуждены поместить мать в интернат. Теперь младший сын бросает жену и детей и остается с обреченной до последней минуты.

Зарубцеваться этой ране помогает его общение с двумя второстепенными персонажами: медсестра Миранда облегчает муки и матери и сына, а пациент старшего брата Моу открывает рассказчику мудрую истину: смириться — не значит отречься.

БОББИ ЭНН МЕЙСОН

Увенчанные мишурой

Bobbie Ann Mason. Feather Crowns. «Harper Collins»

Это третий роман американской писательницы (перевод романа «Там и здесь» см. «ИЛ» 1993, № 2, 3). Главное событие происходит в 1900 году на одной из табачных плантаций Кентукки — родного штата писательницы. В семье Уилеров рождается пятеро близнецов. К фермерскому домику торят дорогу родственники, соседи, а также репортеры, врачи и просто зеваки. Брать деньги за показ детей первым предлагает беднякам родителям их кредитор.

Но через двадцать три дня умирает самый младший из новорожденных, а следом за ним и остальные. Теперь уже патологоанатом ближайшего городка добивается от супругов согласия на бальзамирование младенцев для платной демонстрации в анатомическом театре. Проезжий лектор устраивает турне с участием прославившейся четы. Хотя ажиотаж вокруг «чуда века» постепенно спадает, Джеймс и Кристина успевают заработать и на жизнь, и на уплату долгов.

Шестьдесят с лишним лет спустя Кристина осмысливает прожитое. Былая известность ей и приятна и ненавистна. Оказаться знаменитостью страшно, тем паче на пустом месте: тягостен удел забавной, но уже наскучившей игрушки, которую бросают в поисках нового развлечения.

АЙРИС МЕРДОК

Зеленый рыцарь

Iris Murdock. The Green Knight. «Chatto and Windus»

Тема романа-притчи Айрис Мердок навеяна средневековой легендой о сэре Гавейне и Зеленом рыцаре: при дворе короля Артура появляется человек, который вызывает рыцарей на необычный поединок. Кто сумеет отрубить ему, Зеленому рыцарю, голову одним ударом, тот обещает через 12 месяцев подставить под удар свою. Сэр Гавейн принимает вызов и отрубает ему голову, но страшный рыцарь подхватывает ее и приставляет на место, а уезжая, напоминает Гавейну о данном обещании...

...Лукас Графф, уважаемый историк, подвергается нападению грабителя и убивает того ударом зонтика. На самом деле, как выясняется, не зонтиком, а бейсбольной битой. И вовсе не убивает, поскольку загадочный грабитель появляется вновь — весь в зеленом — и требует вернуть ему его доброе имя. Ведь он, Питер Мир, вовсе не собирался никого грабить, а случайно проходил мимо, когда

Лукас пытался убить своего младшего брата Клемента, и вмешался. В результате от полученного удара Мир почти полностью утратил память...

Многие герои романа носят символические имена: Клемент — милосердный, Лукас — в английском варианте представляет собой сочетание частей слов «Люцифер» и «Иуда», фамилия же «Мир» говорит сама за себя. Есть в книге отзвуки сюжетов об Авеле и Христе, трактатов Экхарта, Шопенгауэра, Ницше, шекспировские аллюзии, отголоски собственных эссе Айрис Мердок.

СЕВЕРО САРДУЙ

Птицы на берегу

Severo Sarduy. Pájaros de la playa. «Tusquets»

Этот роман оказался завершающим не только в задуманном автором символико-зоологическом цикле из ранее вышедших книг «Кобра», «Колибри» и «Светлячок». Он стал последним, посмертно изданным произведением известного латиноамериканского поэта и прозаика. Тщательно переработав роман, Северо Сардуй изменил его первоначальное название «Кайман», отведя, однако, этой аллегорической фигуре роль антипода центральному персонажу — Коню.

Сюжет и место действия (санаторий для обреченных пациентов) служат лишь фоном; главное — это наблюдения и размышления об угасании человеческой жизни. В основе романа дневниковые записи, которые кубинский эмигрант Северо Сардуй вел в последние отпущенные ему месяцы. Суть этого периода укладывается в четыре слова: одиночество, недуг, подавленность, тишина. В отличие от шумно агонизирующих (например, древней старухи, решившей омолодиться во что бы то ни стало), герой романа ожидает своего ухода без содроганий и пафоса. Нужно просто приготовиться к небытию, считает он. И если смерть как неизбежный конец всем земным трудам — это абсурд, то настоящему писателю остается ответить на него еще большим абсурдом: творить перед концом ни для чего и ни для кого.

АНРИ ТРУАЙЯ

Верлен

Henri Troyat. Verlaine. «Flammarion»

Легенды о великих никогда не занимали Анри Труайя. В своих книгах известный романист и драматург всегда стремится нарисовать максимально близкий к реальности портрет человека, будь то Золя, Бальзак, Достоевский, Гоголь или Петр I, Екатерина II, Николай II.

Член Гонкуровской академии остается верен своему принципу и в новой книге — биографии Поля Верлена. В личности французского поэта невероятно сочетались пристрастие к спиртному, упоение оргиями, привычка сквернословить и взрываться по пустякам (в 1873 году в порыве гнева он стрелял в Артюра Рембо, за что на два года угодил в тюрьму) и — ослепительная чистота, которая нисходила на него, виновного в стольких грехах, едва он прикасался к перу. Поэт создавал удивительно светлые миниатюры, которые А. Труайя предпослал каждой из глав книги. В. Гюго, С. Малларме, А. Жид и другие современники прощали собрату по перу его неприкаянность и ценили в нем великую поэтическую душу. А. Труайя поведал о загадочных превращениях этой души.

ДЖЕЙН ЭРКХАРТ

В дальние края

Jane Urquhart. Away. «McClelland and Stewart»

Очередная книга канадской писательницы Джейн Эркхарт стала у нее на родине бестселлером. Автор прослеживает историю жизни нескольких поколений, показывая неразрывную связь прошлого и настоящего.

Открывает сагу Мэри — уроженка одного из отдаленных островков Ирландии. Давным-давно, в годы ее юности, море вынесло на берег умирающего моряка. С того момента жизнь девушки круто изменилась. За мигом счастья последовали ужасы голода на острове, тяготы переселения за океан. Мэри умирает на берегах озера Онтарио, оставив после себя дочь Эйлин, родившуюся в Канаде. Большие и малые события рассказа Эйлин происходят в этой стране — в Порт-Хопе, Монреале, Оттаве. Она влюбляется в молодого танцовщика, и рамки семейной летописи расширяются. Завершает повествование ее внучка Эстер: действие переносится на семейную ферму близ Онтарио. Реликвии прошлого, воспоминания старших — все это девушка старается сберечь для будущих поколений.

Великобритания

РАМКИ «МУЖСКОГО» И «ЖЕНСКОГО» У ШЕКСПИРА

В серии «Пол, культура, непохожесть», публикуемой издательством «Рутледж», вышла в свет интереснейшая книга «Желание и страх: проявления сексуальности в пьесах Шекспира». Автор исследования — специалистка по драме эпохи Возрождения и по проблемам пола, преподавательница Вандербилтского университета Валери Троб.

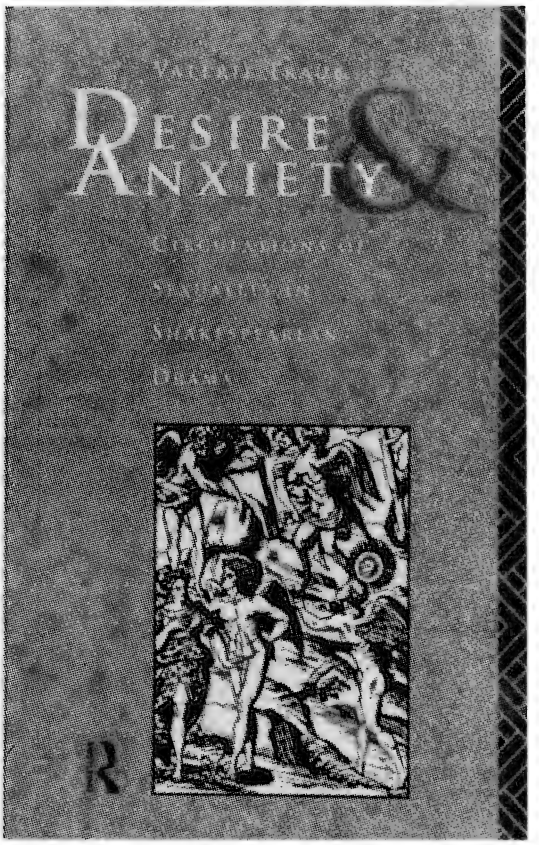
В отличие от традиционного шекспироведения, где сексуальность и пол всегда связывались напрямую, научный подход В. Троб отличает пристальное внимание к пересечениям и противоречиям сексуальности и пола во времена Шекспира и к их выражению в его драматических произведениях. Опираясь на новейшие достижения в области феминизма, психоанализа и социопсихологии, автор приходит к выводу о том, что именно переплетение желания и страха составляет эротичность шекспировских пьес.

Желание и страх (как тревога ревнивого импотента) служат психологической основой конфликта в «Отелло». Подспудное влияние женщин играет немалую роль в «Гамлете». Сексуальное желание и страх перед венерической болезнью, связанной с этим желанием, ярко обрисованы в пьесе «Троил и Крессида».

Частичное или даже полное смещение психологических и социальных половых ролей характерно для многих шекспировских персонажей, и один из самых заметных в их ряду — Фальстаф («Генрих IV»). Как и всякий толстяк с большим животом, он напоминает беременную женщину; телесный облик лишает его как сексуальной привлекательности в глазах любого пола, так и черт мужественности. Любопытно, что даже имя этого самодостаточного героя можно перевести с английского как «нечто ненастоящее».

Рамки «мужского» и «женского» сексуального поведения радикально ломаются в комедиях («Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь»). Переодевания, ухаживания, многие диалоги и поступки заключают в себе и нарушение табу, и гомоэротичность, и осуществление сексуально двойственных фантазий.

В своем исследовании Валери Троб не раз подчеркивает, что проявление сексуальности в произведениях Шекспира — весьма сложное, многоплановое явление. Помимо особенностей личности самого Шекспира, большое значение имеют внешние факторы. Как известно, в английском театре той эпохи женские роли исполняли мальчики, причем эти сценические женщины по сюжету нередко приобретали мужское обличье. К такому неоднократному нарушению сексуальных рамок добавляется специфическое восприятие постановки зрителями, каждый из которых обладает собственными сексуальными фантазиями и страхами. При этом, безусловно, нет прямого соотношения в восприятии публики XVI века и конца XX века. Наряду с анализом эротичности пьес Шекспира аналогичного прочтения ждут его сонеты, ибо Валери Троб коснулась лишь некоторых из них.



Обложка книги В. Троб «Желание и страх»

В ЛОДКЕ ДВОЕ С ПОЛОВИНОЙ?!

Да, именно столько героев, не считая собаки по кличке Барсук, путешествует по Темзе в книге Найджела Уильямса «2 1/2 в лодке» (издательство «Ходдер энд Стотон»). После первой публикации в 1889 году международный бестселлер Джерома К. Джерома постоянно — к величайшему удивлению автора — переиздавался. Теперь, век спустя, появился и современный вариант ставшего классическим сюжета.

Место Джерома занял новый автор — писатель-юморист, сотрудник Би-би-си. Джорджа заменил Дэвидсон — режиссер, снимающий фильм о своих экспедициях. Гаррис превратился в Алана, начальствующее лицо в Би-би-си. Оторвать его от служебных дел друзьям оказалось нелегко — на уговоры ушло несколько начальных глав романа. Алан и есть та «1/2», которая вскоре все-таки покидает компанию, и тогда третьим в ней становится сын Уильямса. Их четвероногий друг — не менее ученый пес, чем фокстерьер Монморанси, но это помесь колли с борзой.

Что самое интересное в сюжете Джерома? Конечно же, всевозможные отступления от него, попутно поведанные веселые истории. (Кто не помнит, как дядя Поджер вешал картину?) Н. Уильямс воспользовался этим испытанным приемом, скомпоновав, например, одну из глав так: «Антропологическое значение приготовления пищи мужчинами — Спагетти по-болонски по рецепту моего брата — Мысли о путешествиях на моторных лодках — Я занимаюсь самопознанием». Но если говорить серьезно — а именно так и хотел Джером К. Джером,— то Найджел Уильямс, как и его прославившийся предшественник, заклинает: «Выбрось балласт за борт, друг! И тебе будет легче плыть по жизни, у твоей лодки будет легкий ход».

Индия

МОЩНЫЙ ХОР СЛАБОГО ПОЛА

«Индийские женщины пишут» — так называется монументальная антология в двух томах, опубликованная издательством «Оксфорд юниверсити пресс». Обе составительницы, С. Тару и К. Лалита,— ученые из южноиндийского города Хайдарабада, профессора литературы и политологии соответственно. Шесть лет ушло у них на подготовку списка из 600 кандидатов, из которых затем было отобрано 140 авторов. Столь многочисленный состав объясняется тем, что временной диапазон произведений фантастически широк: начиная с 600 года до нашей эры и заканчивая XX веком. Написанные на одиннадцати языках Индии, произведения — благодаря труду девяти переводчиков — приобрели в антологии англоязычный вид.

Самые первые в хронологическом отношении тексты представляют собой рассказы буддийских монашенок о поисках блаженства в жизни после смерти; новейшие произведения затрагивают главным образом проблемы ставшего заметным в XX веке среднего класса индийского общества. Между этими двумя полюсами располагается широчайший спектр литературных творений индианок. Это и любовная лирика обыкновенной прачки, женщины из низшей касты, жившей в XV веке, и трогательная автобиография домохозяйки прошлого века, которая обучилась грамоте, царапая буквы на стене своей кухни; это и датируемая 1905 годом остроумная фантазия богатой мусульманки, которая отводит мужчинам только «мурдана» — мужскую половину дома.

Мир женской поэзии и прозы в Индии редко привлекает к себе внимание. Одно из ярчайших тому подтверждений — творческая судьба писательницы Сварнакумари Деви. На рубеже веков она была известна в Бенгалии не меньше своего брата, крупнейшего поэта Индии Рабиндраната Тагора. Однако если произведения Нобелевского лауреата изучаются и переиздаются и поныне, то литературное наследие его сестры оказалось незаслуженно забытым.

Каждый включенный в антологию текст сопровождается небольшой сопроводительной статьей, содержащей биографическую справку о той или иной писательнице и немного рассказывающей о темах ее произведений. Эти предисловия сливаются в единое повествование, которое позволяет по-новому взглянуть на многовековую культурную и литературную историю Индии.

Испания

ПОЛКУ ЛАУРЕАТОВ ПРИБЫЛО

Среди многочисленных литературных премий Испании наиболее престижными считаются «Надаль» и Национальная премия имени Сервантеса. Мигель Делибес удостаивался обеих —

Мигель Делибес — лауреат премии Сервантеса за 1993 год
(Газета «Паис»)

в 1948 и 1955 годах соответственно. В декабре 1993 года он стал дважды лауреатом премии имени Сервантеса. Такой триумф действительного члена Королевской академии языка закономерен: все его книги — будь то ранние «Дорога» и «Дневники охотника», более поздние сочинения, посвященные и селу, и городу, или недавно вышедшая «Сеньора в красном на сером фоне» — неизменно становились литературным событием. Пожалуй, будет также закономерно, если в будущем в Испании появится еще одна премия — имени Делибеса; тем более что прецедент имеется — премия имени Торренте Бальестера. В минувшем году ее пятым лауреатом стал галисиец Антонио Перейра. Его сборник рассказов «Западные города» был признан представительным жюри во главе с самим Бальестером лучшим из 242 конкурсных произведений на испанском и галисийском языках.

Тем временем на юго-востоке страны чествуют лауреата валенсийской премии «Асорин». Ею награжден Муньос Пуэльес за приключенческий роман «Императрица Эухения в Зулулан-

дии». В нем автор живописует путешествие сына Наполеона в страну зулусов. Отпрыск императора отправляется туда вместе с британскими колониальными войсками, дабы сразиться с непокорным племенем.

МЕМУАРЫ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА

Мемуары выдающихся писателей, особенно романистов,— большая редкость в испанской литературе XX века. Ныне, на пороге XXI столетия, вышла в свет книга «Мемуары. Мнения и действия» Камило Хосе Селы. Она привлекла внимание читателей, которым предоставлена возможность открытия и постижения творческой жизни живого классика, лауреата Нобелевской премии за 1989 г.

Впервые К. Х. Села обратился к мемуарному жанру в 1959 году в книге с поэтичным названием «Роза», повествующей о детстве. В предисловии он писал о новом замысле — продолжить мемуары, включив в них в качестве первой части «Розу», и дать им общее название «Доставшееся без труда», а новым частям — «Воздушный замок», «Цветок, лишенный красоты» и «Костер». Однако книга так и не появилась.

Лишь тридцать с лишним лет спустя опубликовал Села продолжение своих воспоминаний. «Мемуары. Мнения и действия» открываются описанием приезда девятилетнего мальчика — будущего писателя — в Мадрид. Однако безвозвратно уходит в прошлое безмятежно-доверительная интонация повествования о «прекрасной розовой» жизни — внимание писателя устремляется к проблемам иного характера. Мемуары — итог осмысления им отечественной истории, прежде всего второй половины 30-х годов. И вместе с тем книга проливает свет на становление писателя как личности, на формирование самобытного творческого мира и писательской манеры Селы.

Важнейшей вехой в жизни Селы стал 1936 год — начало братоубийственной гражданской войны в Испании. Как «удручающий ее итог», расценил он установление диктатуры, породившей у него активное неприятие фашизма, впоследствии нашедшее яркое художественное воплощение в романе «Семья Паскуаля Дуарте» (1942), вскоре запрещенном властями. Роман, переведенный на многие языки, принес К. Х. Селе широкую известность. В Испании его появление послужило «катализатором» осуждения франкистского режима, ибо Села первым нарушил всеобщее молчание писателей в первые послевоенные годы и в то же время он явился зачинателем нового течения в литературе — «тремендизма» (от испанского слова «тремендо» — ужасный).

До издания отдельной книгой мемуары печатались в течение 1992 года в газете «Диарио 16», на страницах которой Села часто выступает с публикациями на разные темы. Теперь почитатели ждут продолжения книги, обрывающейся записями за февраль 1943 года.

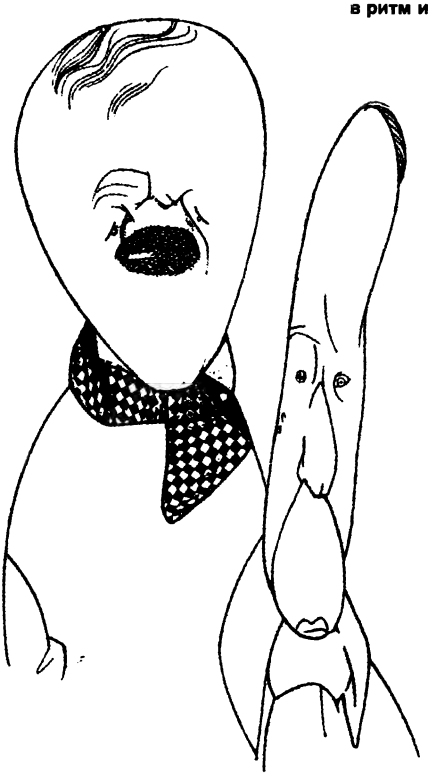
■ Италия

«НИТЬ АРИАДНЫ В ЛАБИРИНТЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ»

Начало книги: первая страница, фраза, строка. Можно ли по этой своеобразной визитной карточке судить обо всем произведении? Безусловно, считают авторы международных бестселлеров Карло Фруттеро и Франко Лучентини. Доказательства? Пожалуйста: они собраны в совместном труде этого известного тандема юмористов — антологии «Начало» (издательство «Мондадори»). Это первые фразы 757 всевозможных книг — от Библии до Конституции Италии, от «Божественной комедии» до очерков Дарвина. Многие из начальных фраз стали крылатыми — достаточно вспомнить, например, «Анну Каренину» или Конституцию США.

С выходом этой любопытной новинки туринский еженедельник «Стампа-Туттолибри» организовал викторину для читателей. Тот, кто по началу отгадает книгу и автора из числа предлагаемых поочередно 757, а также представит собственные интересные примеры, получит в награду книги издательства «Мондадори». К. Фруттеро и Ф. Лучентини будут оглашать имена победителей в специальных телевыпусках.

А что думают о явлении «начало» не менее известные коллеги двух авторов? «Оно сродни увертюре к опере; быть может, самое гениальное — в ней, как у Верди»,— считает Альберто Бевилакуа. «Начать книгу — это все равно что почать бутылку: опорожнить можно и не разом, но уже стремишься увидеть дно»,— высказывается Джене Ньокки. «Это словно первые па в танце. Важно попасть в ритм и не оступиться»,— говорит Дача Мараини. «В успехе первой атаки — залог победы»,— убежден Джузеппе Понтиджа. «Хорошую книгу видно по началу,— полагает Франческа Санвитале.— Взять хотя бы «Начало».



Карло Фруттеро и Франко Лучентини. Рисунок Лоредано *(Еженедельник «Стампа-Туттолибри»)*

Нидерланды

ЧЕЛОВЕК ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА

В 1993 году известнейший нидерландский писатель, поэт, переводчик, журналист и путешественник Сейс Нотебом отметил свое 60-летие. Замечательный подарок юбиляр преподнес себе сам, удостоившись Европейской литературной премии «Аристейон» за роман «Следующая история». Эта награда тем более почетна, что соперниками были популярные и именитые Мирча Динеску (Румыния), Петер Хёг (Дания), Хавьер Мариас (Испания), а также соотечественник победителя Харри Мулиш.

В своей книге неутомимый одиссей Нотебом, в молодости моряк, рассказывает о путешествии необычном, аллегорическом. Его совершает эксцентричный ученый Херман Муссерт. Отправившись однажды спать в своих амстердамских апартаментах, он просыпается наутро в лиссабонской гостинице. Панорама европейской жизни, которую он видит то ли во сне, то ли наяву, и составляет основу повествования. Оно изобилует изречениями великих: Херман — преподаватель греческого и латыни — сыплет ими, точно балагур прибаутками.

Сейс Нотебом, как и его герой, легок на подъем, но не только в фантазиях. Ныне у него, человека европейского масштаба, целых три родных дома: в Амстердаме, в Берлине, где он написал хроникально-документальное произведение «Падение стены» (1992), и на испанском острове Менорка, где в начале 50-х рождались его первые книги. Подметив, что белые стены средиземноморского дома помогают больше остальных, его хозяин работал здесь и над многими другими произведениями. Лучшим из них автор считает «Ритуалы». Это иронично-насмешливый роман, в котором сквозит грусть по подлинной Вере, вытесненной бессмысленными обрядами.

Путешествия и литература идут в жизни уроженца Гааги рука об руку: в первое из них он отправился в 1954 году, а год спустя дебютировал как литератор. «В жанре литературы о путешествиях есть два стиля. Первый английский — эпический, с кругосветными круизами и бойскаутскими приключениями. Я принадлежу ко второму,— пояснил Сейс Нотебом в одном из интервью.— Сбросив персонажей-десантников наудачу, мы сразу приступаем к главному — рекогносцировке».

Перу

ДРАМА В «ГОРОДЕ БАЛКОНОВ»

...Обосновавшийся в Перу итальянский профессор Альдо Брунелли одержим одной-единственной идеей — спасти балконы Лимы от разрушения. Ему противостоят проектировщик небоскребов, местный чинуша, индеец Уамани (последний — из неприязни ко всему, привнесенному конкистадорами). Донкихотствующий ученый вместе с несколькими сторонниками учреждает нечто вроде приюта для балконов, где занимается их реставрацией, классификацией и увековечиванием в виде фотоснимков...

С этого момента стрелки часов в новой пьесе Марио Варгаса Льосы «Помешанный на балконах» (издательство «Сеис Барраль») поворачивают вспять. Вознамерившись повеситься, чудаковатый старик взбирается на балкон — и тут его одолевают воспоминания. Сцены из прошлого разыгрываются прямо под объектом его поклонения, с которого он периодически спускается. Этот сценический эффект создает впечатление одновременности прошлого и настоящего.

По ходу действия выясняются причины, толкающие Альдо Брунелли на самоубийство: дома с балконами сносятся; сторонники разбегаются; родная дочь, дабы избавиться от сумасшедшего отца, выходит замуж за сына проектировщика. В финале побежденный перуанский Дон Кихот все же находит нового Санчо Пансу, изрядно пьяного.

Физическое опьянение этого «оруженосца» аллегорично: оно подчеркивает опьяненность главного героя утопической идеей. Вообще, в пьесе многое символично: и археологическая клептомания латиноамериканцев, и столкновение культур в «городе балконов» (как окрестил перуанскую столицу К. Гумбольдт), и само ее создание: Марио Варгас Льоса писал ее в Берлине, вскоре после падения Стены — этого гигантского идеологического балкона.

США

«МОЦАРТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ»

Так называют современного американского поэта Джеймса Меррилла. Обладатель всех мыслимых премий США — от Пулицера до Боллингена — раскрылся перед читателями и как прозаик, и как личность в недавно опубликованной книге мемуаров «Другой человек» (издательство «Кнопф»).

Джеймс Меррил.
Шарж Дэвида Левина
(Еженедельник «Нью-Йорк ревью ов букс»)

В центре этой автобиографии находится ключевой этап в поэтическом, мировоззренческом и личностном становлении Меррилла: два с половиной года, проведенные им в Европе. Когда в марте 1950 года двадцатичетырехлетний Джеймс отправился в Европу, пожалуй, лишь ему одному были понятны мотивы этого поступка. Ведь в Америке у него налаживалась внешне вполне благополучная жизнь: преподавательская работа в колледже, публикация первого сборника стихов. Однако Меррилла начинала тяготить неопределенность перспектив, общество бесконечно рассуждающих интеллектуалов, и он оставил Нью-Йорк в надежде вернуться «другим человеком».

Европа сыграла отведенную ей роль. Встречи с художниками, близкими друзьями, аристократами; знакомство с великими европейскими городами и великим европейским искусством — все это безмерно обогатило поэта. На страницах мемуаров, помимо автора, пред-

стает немало его друзей и современников (Роберт Лоуэлл, У. Х. Оден, Честер Каллман, Мария Мицотаки); значительное внимание уделено литературной и артистической жизни тех лет.

С тонкой самоиронией и насмешкой над обстоятельствами Меррилл пишет о своих странствиях по Европе: как в Греции его лечили от дизентерии; как через двух комичных докторов он познакомился с психоанализом; как в Италии он чуть было не расстроил помолвку молодого полицейского...

ЭРОС ВО ВЕСЬ РОСТ

«Эротическая литература: путеводитель знатока» — так называется солидное литературоведческое исследование, опубликованное нью-йоркским издательством «Континуум». Написал книгу Дональд Маккормик, автор более 50 произведений; он давно и пристально изучает отражение эротической темы в художественной и нехудожественной литературе разных стран и народов, для чего много путешествовал по Дальнему Востоку, Северной Африке и Европе.

«Путеводитель знатока» состоит из трех основных частей. Первая содержит шесть глав, названия которых говорят сами за себя: «Эллины и римляне», «Наши восточные учителя» (арабские страны, Индия, Китай, Япония), «Куртуазная любовь в эпоху Средневековья», «Период эротических мемуаров» (XVIII—XX века), «Эротические шифры и тайнопись» (во все времена), «В лабиринте современной эротики».

Рафаэль. Леда и лебедь.

Вторая часть представляет собой алфавитный справочник с биографическими данными о более чем 200 писателях, поэтах и драматургах, которые могут считаться классиками эротической литературы — от древних греков до ныне живущих. Каждая биографическая статья сопровождается кратким литературоведческим анализом произведений и зачастую цитатами из них (стихотворения, отрывки из романов, дневников, трактатов). В третьей части объединены подытоживающая глава об эротическом искусстве, любопытный словарик выражений и понятий, встречающихся в эротических текстах, а также подробные примечания и полезная библиография.

При всем разнообразии упомянутых в «Путеводителе» произведений и авторов это лишь небольшая их часть. Многое до сих пор неизвестно публике, ибо религиозные ханжи, цензура и суды упорно загоняли в угол все, что связано с человеческой сексуальностью. К счастью, немало настоящих раритетов сохранилось в частных коллекциях и запасниках библиотек. Крупнейшее собрание эротики (около 25000 томов) находится, как ни удивительно, в библиотеке Ватикана. Д. Маккормик отмечает огромную роль двух виднейших современных издателей эротики — Мориса Жиродиа («Олимпия-пресс») и Чарльза Скилтона — и подчеркивает тот неоспоримый факт, что эротическим центром мира остается Париж.

Почему в арабском языке больше, чем в любом другом, слов для обозначения гениталий? В чем суть «Камакалпы» — женского варианта «Камасутры»? Каково значение цифр в переписке между членами древнекитайского тайного общества «Золотой лотос», считавшими любовь высшим из искусств? Какова история создания и издания знаменитой «Фанни Хилл»? Что писали и рисовали на стенах жители древнего города Помпеи? Что такое «поэзия кинедов»? Каковы были «амурные фантазии» английского художника Бердслея? И действительно ли Г. Д'Аннунцио опубликовал первый сборник эротической лирики в четырнадцать лет? Ответы на эти и многие-многие другие вопросы даны в «Путеводителе», благодаря которому читатели смогут прекрасно ориентироваться в мире Эроса.

■ Франция

КАКИХ АНГЕЛОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛОДЫЕ

5 марта 1993 года тридцатипятилетний Сирил Коллар скончался от СПИДа. К тому моменту молодой писатель, поэт и кинорежиссер имел во Франции не просто феноменальный успех — он стал явлением общенациональной культуры. Его первый роман «Приговоренная любовь» разошелся тиражом в 150 тысяч экземпляров, книга «Жестокие ночи» побила и этот рекорд — 250 тысяч экземпляров, а фильм, снятый автором по ней, во Франции посмотрело около трех миллионов человек.

Перед смертью Сирил Коллар завещал близкому другу, кинематографисту Клоду Дави, свои записи (дневники, стихи, письма) и просил опубликовать их. Клод Дави сдержал слово: дневники С. Коллара «Дикий ангел» вышли в издательстве «Фламмарион». Название книге дала строка из стихотворения С. Коллара: «Молитесь, умирающие братья,/ Ваш дикий ангел тоже болен». Автор не случайно называет себя именно так: его мир (как и мир его литературных героев) — это бунт, отказ от условностей, то, что импонирует современным подросткам (а молодежь составляет подавляющую часть поклонников С. Коллара).

Дневник начат летом 1979 года, когда Сирил отправился с отцом в путешествие на Пуэрто-Рико. Там блестящий студент с научным складом ума в одночасье превращается в отчаянного бунтаря, отвергающего всякие социально одобряемые «буржуазные» нормы в сфере морали и секса. Гамбург, Саламанка, Будапешт, Мальта — «прóклятый поэт» кочует по городам и весям в поисках приключений, любви, счастья. И все это время С. Коллар пи-

шет — неустанно, «как приговоренный». Когда в 1984 году выясняется, что он инфицирован ВИЧ, то в его произведениях это страшное известие не оставляет ни малейших следов. Сирил Коллар решает бороться до последнего дыхания. В декабре 1992 года, уже до предела истощенный, он делает последнюю запись в дневнике: «дикий ангел» пишет о неслыханном желании жить.

Жан Жене. Рисунок Ж. Кокто
(Еженедельник «Таймс литерари саплмент»)

ПЛЕННИК ЛЮБВИ

Французы — удивительный народ. Они всегда разрывались между страстным индивидуализмом и подчинением строго очерченным правилам. Оттого и в истории французской литературы всегда находилось место и тому, и другому: с одной стороны — уважаемая Французская академия, с другой — «прóклятые поэты», которых любят и почитают не меньше.

К их буйному племени относит своего героя широко известный в англоязычных странах пятидесятичетырехлетний американский романист, эссеист и литературовед Эдмунд Уайт. Его солидная, почти 800-страничная биография Жана Жене опубликована одновременно во Франции (издательство «Галлимар»), США («Кнопф») и Великобритании («Чатто энд Уиндус»). Фактически это первое подробное исследование жизни и произведений Ж. Жене (перевод его повести «Дневник вора» см. «ИЛ», 1993, № 1).

Поселившийся в 1983 году в Париже Эдмунд Уайт (он, кстати, стал во Франции кавалером Ордена искусств и литературы) работал над книгой семь лет. Итог его трудов впечатляет: интервью с друзьями, издателями, знакомыми Ж. Жене, редкие документы и письма — некоторые публикуются впервые. В частности, Э. Уайт особое внимание уделяет двум ранее не издававшимся материалам: это пространное письмо Ж.-П. Сартру, в котором Ж. Жене разбирает социальные и философские аспекты однополой любви, и киносценарий «Исправительная колония», в котором сконцентрированы главные темы всех его произведений, начиная с написанных в тюрьме в 40-е годы первых романов «Богоматерь цветов» и «Чудо о розе».

Кадр из фильма Ж. Жене «Песнь любви», 1950 г.
(Из книги Дж. Джайлз «Кино Жана Жене»)

Вообще задача у Эдмунда Уайта была не из легких: сам Жене создал о себе немало мифов и легенд, а докопаться до истины в его случае проблематично, ибо готовых поделиться воспоминаниями родственников у Жене не было, да и окружение его — воры, зеки, уличные парни — публика весьма специфическая. Тем не менее упорство и тонкий, вдумчивый анализ художественного мира Ж. Жене помогли исследователю полнее представить самого удивительного французского литератора XX века.

Едва ли в современной литературе Франции (да и прочих стран) найдется столь же яркая и противоречивая личность, как Жан Жене (1910—1986). Вынужденный двенадцати лет оставить всякую учебу, он смог впоследствии стать мастером французской словесности, знатоком искусства Рембрандта и Джакометти. Сирота, для которого домом были интернаты, а затем колонии и тюрьмы, полюбил этот жестокий, опасный мир и изобразил его так поэтично и красиво, как не удавалось никому. Вор-рецидивист, который обворовывал и врагов, и друзей, в 1949 году получил помилование от президента Французской республики, причем ходатайствовали за «благородного преступника» Жан Кокто и Жан-Поль Сартр. Уже будучи знаменитым писателем, он продолжал бродяжничать, жил в дешевых привокзальных гостиницах, а все его нехитрые пожитки умещались в небольшом чемоданчике. Деньги он тратил на друзей, покупая им и их семьям дома,— как еще мальчишкой дарил украденные вещи нравившимся ему детям.

По материалам газет «Глоб энд мейл ов Кэнада» (Канада), «Паис», «Диарио 16» (Испания), «Стампа-Туттолибри» (Италия), еженедельников «Лондон ревью ов букс», «Таймс литерари саплмент» (Великобритания), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), «Вохе» (ФРГ), журналов «Ньюсуик» (США) «Кензен литтерер», «Лир» (Франция)

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ (HERBJØRG WASSMO; род. в 1942 г.) — норвежская писательница. Ее первый роман «Дом со стеклянной верандой» («Huset med den blinde glassveranda»), положивший начало трилогии, вышел в 1981 году. Затем последовали «Немая комната» («Det stumme rommet», 1983), «Беззащитное небо» («Hudløs himmel», 1986), получивший в 1987 г. литературную премию Северного Совета, и роман «Книга Дины» («Dinas bok», 1989), переведенный на многие языки (вышел по-русски в 1993 г.). В этом номере публикуется первая книга нового романа писательницы, «В поисках Дины (Сын Счастья)», вышедшего в Норвегии в 1992 году («Lykkens sønn». Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1992).
Полностью книга выйдет на русском языке в издательстве «Олимп — П. П. П.».

ЭРНЕСТИНА ДЕ ЧАМПУРСИН (ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN; род. в 1905 г.) — испанская поэтесса. После поражения Республики эмигрировала в Мексику, вернулась на родину в 1972 году. Автор многих поэтических сборников, в том числе «В тишине» («En silencio», 1925), «В этот миг» («Ahora», 1928), «Песнь без ответа» («El cántico inútil», 1936), «Ты дал мне имя» («El nombre que me diste», 1960), «Бытие и присутствие» («Poemas del ser y del estar», 1972), «Прозрачная стена» («La Pared transparente», 1984) и других, книги мемуаров «Белка и роза» («La ardilla y la rosa», 1981), составитель антологии испанской и латиноамериканской поэзии «Бог в поэзии» («Dios en la poesía», 1969).
Публикуемые стихи взяты из книги Э. де Чампурсин «Поэзия сквозь время» («Poesía a través del tiempo». Barcelona, Antropos, 1991).

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН (ALAN ALEXANDER MILNE; 1882—1956) — английский прозаик, драматург. Окончил Кембриджский университет. В годы первой мировой войны был офицером английской армии. Литературную деятельность начинал как журналист. Его перу принадлежат всемирно известные книги для детей о Винни-Пухе. Автор романов «Мистер Пим» («Mr Pim», 1921), «Загадка Ред Хауза» («The Red House Mystery», 1921; рус. пер. 1990), «Хлоя Марр» («Chloe Marr», 1946), сборников пьес, детских книг: «Когда-то давным-давно» («Once on a Time», 1917), «Когда мы были совсем маленькими» («When We Were Very Young», 1924), «Винни-Пух» («Winnie-the-Pooh», 1926), «Домик на Пуховой опушке» («The House at Pooh Corner», 1928; рус. пер. «Винни-Пух и все-все-все», 1960, включает обе книги).
Роман «Двое» вышел в США в 1931 году («Two people». New York, E. P. Dutton & C°, 1931).

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД (DONALD REYFIELD; род. в 1942 г.) — английский литератор, славист, специалист по русскому языку и литературе; заведует кафедрой русского языка в Лондонском университете (Квин Мэри энд Уэстфилд колледж), автор статей и монографий о Чехове, Мандельштаме, Пржевальском.
Публикуемые «Заметки об Англии» были прочитаны по радио «Свобода» в передаче «Поверх барьеров».

■ Переводчики:

ГОРЛИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА — филолог-германист, переводчик со скандинавских языков. Начала печататься с 1956 г. В ее переводах с норвежского издавались романы: «Веселый парень» Б. Бьёрнсона, «Музыка голубого колодца» и «В следующее новолуние» Турборг Недреос, «Великая игра» и «Птицы» Т. Весоса, «Былое — это сон» А. Сандемусе, «Акулы» Е. Бьёрнабу, «Книга Дины» Х. Вассму; со шведского — «Путь змея на скале» Т. Линдгрена, «Река памяти» и «Городские ворота» С. Дельбланка, «Милейший принц» К. Чильмана; с исландского — тетралогия «Свет мира» Х. Лакснесса и др.

ВАНХАНЕН НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА — поэт-переводчик. В ее переводах публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов — А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. А. Беккера, Л. Сернуды, А. Сторни, Х. Хорхе Падрона («ИЛ», 1988, № 4) и др.

КУЛАГИНА-ЯРЦЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА — переводчик с английского, испанского и польского языков. В ее переводах печаталась «Проза разных лет» (рассказы и эссе) Х. Л. Борхеса, «Что такое философия» и другие философские произведения Ортеги-и-Гассета, роман Ст. Лема «Фиаско» (совместно с И. Левшиным), рассказы У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда.

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1994, № 6, 1—256

ИНДЕКС 70394